

Сур



СТАРЫЙ УГОЛОВНЫЙ РОМАН



В. В.  
КРЕСТОВСКИЙ

ВНЕ  
ЗАКОНА













## СТАРЫЙ РУССКИЙ ДЕТЕКТИВ

Издательство «Современник» в 1995 году приступило к выпуску новой литературно-художественной серии «Старый уголовный роман». Предпринимая столь неожиданный для себя шаг, мы меньше всего думали о том, чтобы найти «легкую жизнь» на сегодняшнем книжном рынке. Наше стремление обратиться к этому популярному жанру прежде всего было продиктовано тем, чтобы вернуть к жизни из небытия многие превосходные произведения русского уголовного романа, которые, как нам кажется, вполне могут составить конкуренцию западным детективам, заполонившим книжные развалы.

Итак, русский детектив. Что это такое?..

До некоторого времени бытовало мнение, что подобного жанра в русской литературе вообще не существовало и отечественному читателю приходилось довольствоваться лишь переводами с французского, английского или немецкого. Между тем детективный, или, как его называли в старой России, — уголовный роман был одним из самых читаемых жанров. К сожалению, большинство этих книг в советское время не переиздавалось, история этого литературного жанра не изучалась, а многие русские писатели, успешно работавшие над криминальной темой и имевшие признание российской читающей публики, были несправедливо преданы забвению.

Русский детектив (кстати, само словосочетание может показаться непривычным, представляя собой стилистическую фигуру оксюморон — соединение противоположных по значению слов, логически исключающих друг друга, например, «живой труп», «обаятельный негодяй», «сладкая скорбь» — жанр особый. В отличие от западного, где первопричиной преступления, соответственно и романной интригой, является стремление к обогащению, в основе практически всех русских уголовных романов лежали преступления, содеянные на почве таких вечных человеческих страстей, как неразделенная любовь, ревность, к раскрытию которых невозможно было подойти только силой логики (дедуктивного метода, особо почитаемого Шерлоком Холмсом). У нас, где царствовал мир чувств и эмоций, было все гораздо сложнее, поэтому русские литераторы, естественно, предметом исследования делали психологию человека, преступившего закон, причины, побудившие его совершить преступление.

«Форма есть деспотизм внутренней идеи, не позволяющий матери разбежаться, — говорил русский религиозный писатель-философ К. Н. Леонтьев, — ...распыляться, гнить, обращаться в ничто». Смерть, разрушение происходят из-за болезненного состояния внут-

ренной идеи человека как образа и подобия Христа. Эта вечная мысль русской литературы переходит в структуру старого русского детектива, формирует его особую манеру изложения и составляет главное его отличие от западного «языческого» детектива, обладающего иной генеалогией и этикой.

Не секрет, что сегодняшний наш читатель, в силу известных обстоятельств незнакомый со многими русскими уголовными (детективными) романами, восхищается суперменами и феминами Запада и Востока, не обращая внимания на их ходульность и повторяемость. Не может же он, человек непрочной ненависти, взять и увидеть, к примеру, в добродушном Чичикове, хотя он и преступник, — злодея. Даже сам Пугачев, кровопийца и разбойник, для него совершенно не похож на супермена. Не повесил же он дворянина Гринева по причине подаренного ему заячьего тулупчика, да еще потому, что в них обоих неизбежно народное ощущение чести и благородства. Вот если бы они глотку друг другу перерезали, да еще — кто первый... Но в жизни на это способны только звери... да супермены. Правда, современная наша реальная жизнь превосходит, быть может, «их литературу», но так хочется верить, что это оттого, что «героям» нашего дня не на кого и не на что нравственно опереться. Однако «языческие» детективы нам уж очень приелись, а русские, да к тому же старые?.. Мы надеемся, что знакомство с ними значительно расширит читательское представление о детективе вообще и русском — в частности.

Новая серия «Старый уголовный роман» открывается некогда нашумевшим романом В. В. Крестовского «Вне закона», созданным писателем, младшим современником Ф. М. Достоевского и поклонником его знаменитого романа «Преступление и наказание», именно по канонам русского детектива.

В ближайшее время, вслед за этим романом, увидят свет произведения Н. Н. Брешко-Брешковского «Ремесло сатаны», А. Е. Зарина «В поисках убийцы», Н. Э. Гейнце «Месть дивы», А. И. Красницкого «Роковая тайна», Н. Д. Ахшарумова «Концы в воду», А. Н. Цехановича «Страшное дело», П. А. Крушевана «Дело Артабанова» и другие, не публиковавшиеся в постреволюционное время. Кстати, некоторые из них существуют только в старых журналах и никогда не выходили в виде книг. Предлагая их вам, читатель, мы уверены, что они будут прочитаны с интересом и явятся прекрасным материалом для знакомства с еще одной гранью русской жизни того времени.







# СТАРЫЙ УГОЛОВНЫЙ РОМАН



Замечательный русский писатель Всеволод Владимирович Крестовский (1840-1895) происходил из старинного дворянского рода. Его литературные дарования обнаружились довольно рано. Серьезно увлекаясь поэзией, он уже в 17 лет опубликовал свои первые литературные опыты. Его переводы Анакреона, Сафо, Горация, Гете, Гейне, Шевченко охотно печатают журналы «Русское слово», «Сын Отечества», «Русский мир», «Светоч» и «Время». В 1860 г. он становится членом литературного кружка братьев Достоевских, в который в то время входили многие известные литераторы, такие, как А. А. Григорьев, Я. П. Полонский, Д. Д. Минаев, А. Н. Майков, Л. А. Мей и другие. В конце 80-х и начале 90-х гг. из под пера писателя вышла трилогия «Тьма египетская», «Тамара Бендавид», «Торжество Ваала». Но громкую известность ему принесли романы «Петербургские трущобы» (1864-1867) и «Вне закона» (1873), ставшие бестселлерами. В них он использовал жанровые особенности зарождавшегося у нас русского классического детектива.



СТАРЫЙ УГОЛОВНЫЙ РОМАН



В. В.  
КРЕСТОВСКИЙ  
•  
ВНЕ  
ЗАКОНА

РОМАН В ЧЕТЫРЕХ ЧАСТЯХ

МОСКВА  
«СОВРЕМЕННОК»  
1995



ББК 84Р1  
К80

*Серия «Старый уголовный роман» основана в 1995 году*

Ответственный редактор серии *А. В. Диенко*

Текст печатается по изданию:

**К р е с т о в с к и й В. В.** Собр. соч.: В 8 т. Т. 7. Спб., 1900

Художественное оформление серии *Н. Б. Егоров*

**Крестовский В. В.**

**К80** Вне закона: Роман в четырех частях. — М.: Современник, 1995. — 382 с. — (Старый уголовный роман).

ISBN 5-270-01909-4

Всеволод Владимирович Крестовский (1840—1895) — один из самых читаемых в прошлом веке русских писателей, автор знаменитых «Петербургских трущоб», нашумевших романов «Панургово стадо», «Две силы», «Тьма египетская», «Тамара Бендавид», многочисленных повестей, рассказов, очерков.

Убийство, злой рок, подлость, измена, любовь и интриги, монастырское покаяние одной из любовниц главного героя — такова канва романа «Вне закона» (1873). Роман написан по материалам нашумевшего в России уголовного процесса и представляет собой захватывающее остросюжетное повествование в жанре классической беллетристики. Решая проблему «преступления и наказания», автор приводит своих героев к нравственному краху, он убежден, что высший суд над преступником — вне человеческого закона.

**К** 4702010101-029  
M106 (03)-95 Без объявл.

ББК 84Р1

ISBN 5-270-01909-4

© Художественное оформление,  
Н. Б. Егоров, 1995



## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

### I

«БАРИН СПИТ — НЕ ТРЕВОЖЬТЕ!»

Ирина Борисовна из столовой прошла в свои комнаты, а оба кузена направились в кабинет. Уходя, она мельком кинула многозначительный взгляд в лицо того, который не был ее мужем, и этот взгляд, казалось, спрашивал: «Неужели это и в самом деле будет?»

Глаза их встретились.

Платон Васильевич Вельтищев ответил на него беглой мимолетной улыбкой из-за спины своего двоюродного брата, и эта улыбка ясно сказала: «Будьте покойны... ступайте...»

И они разошлись.

\* \* \*

— Так вот, видишь ли, голубчик Платоша, — говорил Максим Григорьевич Вельтищев, положив руку на плечо брата и входя с ним в свой деловой комфортабельный кабинет, — теперь мы с тобою сквитались. Я очень рад! Но... говоря по правде, эти двести пятьдесят тысяч шибко хлопнули меня по карману... Ты знаешь, что из Славногогорского прииска я ведь выделил Картонаки да Пупыреву восемьдесят две тысячи.

— Но ведь зато, за исключением моих двадцати паев, вы остаетесь теперь единственным владельцем, — возразил Платон, который на двадцать лет был моложе своего кузена и потому, в силу детской еще привычки, относился к нему со всеми формами внешней почтительности. Максим Григорьевич говорил ему *ты* и «Платоша», как, бывало, говаривал и в те годы, когда держал маленького Платошу на руках, а маленький Платоша, сделавшись тридцатитрехлетним Платоном Васильевичем и ведя уже двенадцать лет общие большие денежные



дела и обороты со своим бывшим опекуном, относился к нему на *вы*, как и во время оно, а звал не иначе как «Максим Григорьевич», и только за глаза позволял себе иногда дружески-ироническое наименование «старец».

— Все так, — согласился Максим Григорьевич, — но я никак не рассчитывал, что придется платить тебе по этой сохранный расписке теперь же... Я думал, что ты раньше марта с меня не потребуешь...

— Ах, милый Максим Григорьевич! Мне ужасно совестно, но... что же делать!.. Вы сами знаете, какая нетерпящая крайность! — оправдывался Платон, не без удовольствия ощущая в своем боковом кармане толстую пачку крупных банковских билетов.

— Смотри, брат, зарываешься! — дружески предостерег Максим Григорьевич, покачав своею опрятненькой лысой и седой головой.

— Да ведь нельзя же и без риска! — пожал плечами Платон Васильевич.

— Кто говорит!.. Но риск промысловый не то, что риск биржевой. Лучше держись моего правила: «богатеи медленно», — это вернее будет.

— Не то время теперь, братец!

— Не то время... А в трубу вылетишь — при твоём-то положении в свете, при твоей служебной карьере, — тогда что?

— Я-то?.. А мозги на что?.. Знаете пословицу: «На то и щука в море...»

— «...чтобы карась не дремал», — знаю, голубчик; так вот, и будь карасем, по-моему...

— Нет, уж я лучше предпочитаю быть щукой!

— Я, мой друг, весь век карасем был и точно не дремал; зато теперь триста тысяч неприкосновенных, чистоганом лежат, да помимо того в оборотах, миллионными делами ворочаем!

— И все-таки, значит, рискуете.

— Мой риск — не твой. Пожалуй, рискуй по-моему — внакладе не останешься.

— А я и по-своему, и по-вашему рискую: ведь вот же проект насчет железопрокатного завода...

— А кстати, — перебил его кузен, по-видимому живо заинтересовавшись напоминанием об этом проекте, — давеча не успел я спросить тебя: был ты в министерстве?

— Был! И в министерстве был, и у Картонаки был, и у Гроднянского, и у Розеншпица, и в редакции у Цемша был, — одним словом, у вся эллины и иудеи!

— Ну, и что же? — оживленно спросил «старец».

— Прекрасно! В министерстве задержки не будет: там ведь, сами знаете, ваше имя — олицетворенный кредит! Картонаки и Розеншпиц идут в долю, Гроднянский охотно законтрактуется у нас, а Цемш обещал самую деятельную поддержку и агитацию в своей газете... Тысяч пять придется, конечно, заплатить ему.

— Ну, уж это как водится! — с оттенком какого-то презрения махнул рукою Максим Григорьевич.

Подали кофе.

«Старец» подошел к изящно инкрустированной шка-тулке и достал из нее сигару.

— Постойте, братец, не закуривайте! — с живостью остановил его Платон Васильевич. — Я вчера, по случаю, добыл себе на пробу сотню превосходных сигар и доволен как нельзя более! Розеншпиц рекомендовал. Я уверен, что вам понравится. Вот попробуйте-ка!

И он, вынув из портсигара совсем уже готовую, обрезанную регалию, предупредительно подал ее своему кузену.

Максим Григорьевич имел обыкновение, куря сигару, сильно увлажнять и растрошивать между зубами ее конец. Посмаковав предложенную регалию, он, после пер-вых же затяжек ароматным дымом, поморщился и отло-жил ее в сторону.

— Нет, брат, не нравится мне твоя сигара, — заме-тил он при этом кузену.

— А что так? — спросил Платон с какою-то стран-ной озабоченностью.

— Да и на вкус как-то не того... горечь в ней ка-кая-то странная, и вообще... не нравится.

— Нет, да вы курите! Это, может, вам только так вначале показалось или попалась скверная, — убеждал «старца» Вельтищев. — Не хотите ли, я вам дам дру-гую?

— Нет, спасибо... может, и в самом деле, так толь-ко показалось или это у меня нынче во рту скверный вкус какой-то... Я ведь вообще как-то все болен в по-следнее время.

— Бывает, — заметил Платон Васильевич.

— Вероятно, так, — согласился «старец» и снова взялся за оставленную сигару.

— Ну, однако, что это мы все о делах да о делах!.. Поболтаемте лучше о чем-нибудь о веселом! — развяз-но воскликнул Платон Васильевич, садясь подле «стар-

ца», который покойно погрузился в мягкую оттоманку, стоявшую против камина.

Вельтищев-старший, куря предложенную ему сигару, благосклонно-тихою улыбкой ответил на предложение Вельтищева-младшего.

— В прошлую среду, в опере, вы не заметили в бельэтаже новую *рыжую*? — тем же развязным тоном продолжал Платон.

— Не охотник я до ваших рыжих! — слегка, но благодушно поморщился «старец». — В наше время цыганки лучше были, да и за теми я не больно-то гонялся... А вот ты скажи-ка мне лучше, как твои-то дела?

— Которые? — улыбнулся Вельтищев.

— Да насчет Коробовой... Я слышал стороною, ты заставил ее развехаться с мужем?

Платон Васильевич слегка нахмурился.

— Да, я желаю этого, — ответил он, немного помедлив.

— И для чего это тебе нужно было — не понимаю! — пожал «старец» плечами.

— Для того, что этот муж, как глупая пешка, стоял на моей дорожке.

— Резон! — усмехнулся кузен. — Свертеть голову молодой бабенке...

— Мне так нравилось, — перебил с легким неудовольствием Платон, — я так хотел, и наконец... наконец, я люблю эту женщину!

«Старец» усмехнулся на это, как на вздорные и пустые речи.

Зная и любя своего кузена, он был убежден, что этот человек, в сущности, никого и ничего не любит, да и любить не может.

Они замолчали.

«Старец» сосредоточенно курил сигару и задумчиво глядел своими тихими, голубыми глазами в огонь камина. Нетронутая чашка кофе остывала перед ним на маленьком столике.

Платон, поднявшись с оттоманки как бы в ожидании чего-то, ходил неслышными шагами по мягкому ковру, сплошь покрывавшему паркет этой комнаты, и по временам искоса посматривал на брата острым и внимательно наблюдающим взглядом. Молчание это длилось минут десять.

Сигара была докурена уже до половины.

Вдруг «старец» сделал какое-то порывистое и как бы

вынужденное движение, словно бы силясь подняться, и тихо закряхтел болезненным стоном.

Платон вздрогнул, моментально остановился на месте — и все свое чуткое внимание, весь тревожный взгляд сосредоточил на своем кузене.

— Платоша... Платоша... — с усилием прошептал Вельтищев странно коснеющим и заплетающимся языком. — Что это... Господи!.. как дурно мне вдруг... Платоша... помоги, голубчик...

Платон на цыпочках, неслышными шагами поспешно кинулся к нему.

— Что с вами, братец? — спросил он встревоженным шепотом.

— Дурно... дурно... в глазах темно... мутит в груди... в голове что-то, — бормотал «старец» все более слабеющим голосом и, как слепой, ощупью простирал вперед руки, словно бы ища чего-то. — Воды... воды мне! — выговорил он с усилием, надсаживаясь грудью. — Только тсс... осторожней... чтобы жена не знала... молчи... не говори ей... испугается... не тревожь... это пройдет ведь...

— Пройдет! — успокаивал кузен. — Вы, должно быть, лишнего что-нибудь скушали за обедом... это простые спазмы... вы прилягте-ка, а я вам сейчас воды подам...

Но «старец» был уже в бессознательном состоянии. Платон одною рукою прислонил к своей груди его голову, а в другой держал его повисшую руку.

Максим Григорьевич изредка конвульсивно и тяжело подергивался, но вот он широко раскрыл свои, уже безжизненные, потухшие, глаза, — нервная судорога в последний раз искривила мускулы его гладенько выбритого лица; глаза опять захлопнулись, и... вслед за тем весь стан его как-то оселся и голова тяжело повисла на руку кузена.

Вельтищев продолжал стоять над ним все в том же положении, поддерживая его тело.

В комнате царствовала глубокая тишина. Только бронзовые часы на камине чуть слышно отчеканивали секунды да изредка каменный уголь потрескивал в пылающем камине.

«Однако как он быстро холодеет! — мысленно сказал себе Вельтищев, чувствуя, как под его ладонями начинает охладевать голова и рука его кузена. — Но точно ли?...»

Он бережно опустил голову «старца» на спинку



оттоманки. Пощупал пульс — неслышен. Внимательно приложил ухо к груди, послушал с минуту — не бьется.

Очевидно — дело уже было кончено.

Вельтищев поднялся, провел по лицу руками и потянулся, словно бы от чрезмерной усталости.

Пройдясь раза два по комнате, он неторопливо огляделся вокруг, как бы соображая, что теперь следует делать.

Взгляд его прежде всего отыскал на ковре окурок сигары, выпущенной в первую минуту дурноты обессиленными пальцами покойного.

Вельтищев бросил его в жарко пылавшие уголья и не сводил с него глаз до тех пор, пока тот не сгорел окончательно. Затем он тщательно смахнул носовым платком и развеял по полу пепел, оставшийся на ковре в момент падения сигары.

«Начало сделано — и след замечен, — подумал себе Вельтищев. — Теперь что же еще?»

Сегодня перед обедом, сводя с кузеном некоторые счета по общим их громадным оборотам и предприятиям, он получил со «старца» долг в двести пятьдесят тысяч и возвратил ему его сохранную расписку. «Старец» не разорвал ее тотчас же, потому что вообще не имел обыкновения рвать своих оплаченных векселей и документов, а складывал их, как бы на память или «про всякий случай», в особый ящик. Так и теперь: получив с кузена, почти перед самым обедом, свою расписку, он не успел ее спрятать в обычное хранилище, а положил пока до времени в бумажник, лежавший у него в боковом кармане. Вельтищев отыскал ее теперь в бумажнике кузена, просмотрел внимательно, чтобы убедиться, точно ли та самая, и, убедясь, переложил ее в свой собственный бумажник.

Затем он достал из кармана покойника связку ключей, выбрал один из них и отпер металлический несгораемый шкаф, где хранилась денежная касса. Осмотрительно вынув из нее две полновесные пачки, он завернул их в ворох газетной бумаги и прикрыл афишами да какими-то счетными делами.

«Однако при этом должна быть у него опись, откуда и сколько изъято, — вдруг домекнулся Вельтищев. — Улика, черт возьми, коли отыщут потом, при описи имущества... Надо отыскать!»

И он, хорошо зная аккуратность систематического старика, бросился прежде всего к несгораемому шкафу.

Ожидания, основанные на знании и верных соображениях, не обманули Вельтищева, вследствие чего его поиски продолжались недолго: вскоре он отыскал в этом шкафу уличающую опись, которая была составлена и написана собственноручно покойным кузеном.

«Уничтожить ее скорее!» — было первою мыслью, которая мелькнула Платону Вельтищеву при взгляде на найденную бумагу.

Он было направился с нею к камину, как вдруг остановился, когда рука его готова уже была швырнуть документ в жаркие уголья.

«Нет, лучше сохранить у себя, про всякий случай, — передумал он в это мгновение, — может, еще и самому пригодится... Я ведь не знаю, откуда и сколько изъято... могут встретиться какие-нибудь недоразумения, вопросы, сомнения... надо будет все это тщательно пересмотреть и проверить... Лучше пока припрятать ее...»

И, развернув добытые пачки, он присоединил к ним опись, после чего опять завернул и прикрыл их прежним порядком.

После этой операции шкаф был затворен, а связка ключей сунута в карман покойника.

При этом движении труп покачнулся.

Моментально и с ужасом отскочил от него Вельтищев на середину комнаты.

«Неужели жив еще?» — тревожно подумалось ему, когда через несколько мгновений рассеялся безотчетный панический ужас.

Он со страхом и опасением, несмело поднял глаза на мертвого. Но тот полулежал недвижно в самой покойной и естественной позе, как будто и в самом деле заснул на часок после обеда.

«Фу какое ребячество!» — мысленно укорил сам себя Вельтищев и крупными глотками выпил большой стакан воды, чтобы окончательно утишить минутную вспышку своего волнения.

Оправившись и приведя все в порядок, он осторожно вышел из кабинета, притворив за собою дверь, и отправился на половину Ирины Борисовны.

\* \* \*

На звук его шагов отпахнулась тяжелая портьера, и на пороге появилась изящная фигура Вельтищевой. Это была женщина лет тридцати восьми, уже блекнувшая, но

все еще красивая. Пожирающий, нетерпеливый взгляд ее тревожно и трепетно остановился на лице кузена. Сильное волнение, и страх, и ожидание смутными тенями пробегали по всем чертам ее физиономии.

— Ну?.. ну, что? — нервно схватив его за руки, чуть слышно спросила она голосом, обрывавшимся от внутренней тревоги стольких чувств и ощущений.

— Кончил, — ласково кивнул он ей, как бы лаская и глядя ее успокаивающим взглядом.

— Что кончил? — машинально повторила она, не совсем ясно давая себе отчет в произнесенном им слове.

— Успокойся, мой друг, все кончено, говорю тебе... Ты вся дрожишь... да что это у тебя такие холодные руки?.. Фу, моя милая, больше мужества! Больше силы!

— Что с ним?.. Говори, что с ним? — не слушая его, повторяла она все тем же задыхающимся шепотом.

— Ничего. Он спит, очень покойно и больше уже не проснется.

У Ирины Борисовны вдруг опустились руки и лицо побледнело еще более.

— Да успокойся же, — настойчиво, твердым и даже строгим тоном сказал он ей и, бережно взяв ее за талию, отвел в покойное кресло. — Теперь не время еще, или иначе можно сразу испортить и погубить все дело.

Она автоматически позволила посадить себя и, словно бы очнувшись, закрыла лицо руками.

— Ну, успокойся же и выслушай... постарайся понять, что я буду говорить тебе, и выполни в точности, — начал Платон Васильевич, опустясь перед ней на колени и крепко сжимая ее похолодевшие руки. — Слушай же, дорогая моя: теперь я уеду и возвращусь вечером, часов в десять... Ты, по крайней мере еще часа полтора, не выходи из этой комнаты, никому не подавай никакого вида... чтобы никто не догадался... Это необходимо, говорю тебе... Через полтора часа можешь войти в кабинет, а еще лучше дождись, когда придут и скажут тебе. К тому времени либо Демьян, либо конторщик войдут будить его... понимаешь?.. Так будет естественнее, проще... Тогда можешь все эти истерики, крики, слезы, обмороки — все что угодно! Но до тех пор, Бога ради, постарайся выдержать себя... будь тверже!

— Страшно!.. — вся дрожа, прошептала Ирина Борисовна.

— Полно! не думай об этом!.. Лучше думай и радуйся, что мы теперь у цели, что все состояние — твое и никто уже не отнимет его у тебя... никто!.. Ну, думай... думай обо мне, о любви, о нашем будущем... Ведь полтора часа, только полтора часа каких-нибудь! От этого, говорю тебе, все, все теперь зависит!

Ирина Борисовна бодро встрепенулась.

— Хорошо, — сказала она, подавляя в себе свои гнетущие впечатления. — Я выдержу... я буду спокойна и не выйду отсюда.

— Ну, вот и молодец! — ласково ободрил ее Вельтищев. — А теперь вот что: дай мне какой-нибудь платок, или сак, или что-нибудь такое...

Она достала с рабочего столика изящный и вместительный сафьяновый мешок и подала его кузену.

— Теперь прощай пока и помни же, как действовать!.. Не забудь послать за доктором, — напомнил он, нежно и крепко целуя ее руки, и вслед за тем тихо скрылся за портьерой.

\* \* \*

Пройдя в кабинет, он бережно уложил в мешок отобранные пачки.

Он старался не смотреть в ту сторону, где стояла оттоманка, и вместе с тем взгляд его порою как-то невольно, вопреки его собственному желанию, косил на это роковое место. «Старец» полулежал все в прежнем положении. Тухнувшие уголья кидали багровые, перебегающие блики на его мертвенно-бледное лицо и на голый лоб, и эта игра света как будто придавала ему какую-то жизненность; от этого он еще более походил на спящего человека.

Вельтищев взял мешок и осторожно, на цыпочках, вышел из кабинета.

В столовой он столкнулся в дверях с камердинером Демьяном и конторщиком, который шел с какой-то бумагой.

Те почтительно посторонились.

— Куда вы? — спросил их Вельтищев, которого внутренне покорило от этой неожиданной встречи.

— К барину... с бумагой.

— Барин спит... не тревожьте, — предварил он обо-

их, сумев придать своему тону полное и, так сказать, обыденное спокойствие. — А что, моя карета приехала? — обратился он тут же к Демьяну.

— Уж с полчасца, как у подъезда.

## II

### КТО ЭТОТ СОГЛЯДАТАЙ?

— Домой прикажете-с?

— Нет, в Дмитровский переулок! — крикнул Вельтищев своему кучеру, в то время как швейцар самого его подсаживал под руку в карету.

Дверца захлопнулась — и бородатый щеголь тронул вожжами пару породистых красивых рысаков, которые бойко покатили щегольской экипаж по освещенным улицам Петербурга.

Карета остановилась у ворот одного, старой постройки, трехэтажного дома.

Вельтищев взял свой мешок и направился с ним к ступенькам, ведущим из-под ворот на парадную лестницу. Проходя под воротами, он, при слабом вечернем освещении, заметил, как мимо его, словно тень, проскользнула чья-то мужская и как будто знакомая ему фигура. Эта встреча неприятно его покорибила.

Он обернулся — фигура проскользнула за ворота, на улицу.

Постояв мгновение в колеблющемся раздумье, Вельтищев усмехнулся про себя какою-то злобно-иронической усмешкой и направился по лестнице.

Но, подымаясь по ступенькам со своею ношей, он слышал — или ему почудилось, — что за ним кто-то следует осторожными, крадущимися шагами.

Он остановился и прислушался.

Звук шагов тоже замолк.

Вельтищев пошел далее.

Но нет, по пятам его решительно кто-то следует, кто-то крадется за заворотом каменной стены этой лестницы.

— Кто там? — резко окликнул Вельтищев.

Шаги притихли, притаились; но ответа нет ему.

Он повторил еще раз свой вопрос, и так как молчание это показалось ему подозрительным, то, оставя на площадке свою ношу, он быстрыми шагами стал спускаться с лестницы.

Кто-то шибко и уже не скрываясь сбежал по ней под ворота.

Вельтищев мельком, но ясно заметил даже проشمывшую тень этого странного соглядата.

— Мерзавец! — прошипел он ему вслед с презрением и злобой.

Но время ему было дорого, и потому, поднявшись до своей оставленной ноши, он не взошел, а взбежал с нею на третий этаж и дернул за ручку звонка, которая блестела своею вычищенной медью сбоку двери, обитой зеленым сукном, где красовалась под стеклом изящная дощечка, на которой четкими буквами было оттиснуто: «Людмила Сергеевна Коробова».

Молодая и опрятная горничная, услышав этот сильный, порывистый звонок, с полуиспугом и недоумением открыла дверь.

— Запирайте скорее дверь! — торопливо и озабоченно обронил он слово девушке, словно бы опасаясь, чтобы лестничный соглядатай силою не ворвался сюда по его следу.

Спустив с плеч шубу, Вельтищев, явно взволнованный, бросился со своею драгоценною ношей во внутреннее комнаты.

Его встретила там молодая стройная женщина с белокурой, роскошно распущенной косою и с голубыми глазами, которые из-под длинных ресниц и из-под черных бровей светились каким-то холодным блеском.

— Платон, что с тобой?! На тебе просто лица нет! — с удивлением проговорила она звучным, но тоже каким-то металлически-холодным голосом.

— На! Спрячь это... спрячь... куда-нибудь подальше... поскорее... чтобы никто не знал и не видел! — говорил он, указывая на свою ношу.

Людмила Коробова, не спуская с него глаз, в недоумении пожала плечами.

— После, после... теперь некогда... потом все узнаешь... А теперь пока спрячь мне это, пожалуйста.

Он огляделся вокруг, отыскивая глазами удобное место, и, не долго думая, сунул мешок под тюфяк роскошно драпированной постели.

— Пусть полежит тут... ты не тронь его... Я потом найду и возьму, — говорил он торопливо и как-то отрывисто.

— Да сядь ты и успокойся! — ласково тронула она его за плечо.

— Да, да... мне надо успокоиться... Я устал, очень устал сегодня... Дай мне стакан лафиту... это подкрепит меня несколько.

Выпив вино, он изнеможенно опустился на диван и полуприлег на нем.

— Ну, рассказывай же мне, что все это значит? — участливо и любопытно присела она к его изголовью.

— После, потом! — махнул он рукою с нервным движением в лице. — Теперь мне надо отдохнуть... Я сильно измучен... может быть, засну... В три четверти десятого ты разбуди меня; но только, Бога ради, никак не позже!

Людмила Сергеевна ответила на это кивком головы и тихо вышла из комнаты.

\* \* \*

Ровно в три четверти десятого ласковая рука красивой женщины осторожно разбудила Вельтищева.

Людмила Сергеевна вполне надеялась, что теперь он разрешит ее нетерпеливое любопытство и откроет причины своего волнения, но Платон Васильевич встал какой-то сумрачный, кислый и, почти молча простившись с нею, тотчас же оставил ее гостеприимную квартиру.

Он уже спустился на нижнюю площадку, как вдруг в полусумраке довольно слабо освещенной лестницы заметил притаившуюся в углу фигуру человека, закутанного в холодное пальто. Отсутствие мехового воротника заменялось у него кашемировым кашне, из-за которого выглядывало болезненно-бледное молодое лицо. Два глаза, горящие как уголья, страдальчески, но со злобной ненавистью глядели прямо в упор на Вельтищева.

Этот последний запнулся было на мгновение, но выдержал устремленный на него взгляд и, закутавшись в воротник своей дорогой шубы, твердою походкой сошел с последних ступенек.

Молодой человек, под гнетом чувства мучительной нерешительности, крепко стиснул пальцы своих сложенных рук, так что даже суставы их хрустнули, и с судорожным, подавленным вздохом бессильно опустил на грудь свою голову.

Вельтишев ушел, но беспокойство Людмилы Сергеевны не утишилось с его отсутствием. Оно длилось все время, пока он спал, и теперь достигло наибольшего своего предела. Нынешнее поведение этого человека — поведение столь необычное, его волнение, его смущенность, его неудовольствие, его явное стремление замять всякий разговор, всякую попытку к расспросам — все это казалось слишком необыкновенным и слишком загадочным, чтобы не возбудить в душе Людмилы Сергеевны целый рой сомнений и вопросов. Отчего он приехал такой странный, такой смущенный? Зачем так торопливо и взволнованно приказал девушке поскорее запирать за собою дверь? Что это за мешок, который он счел нужным прежде всего сунуть под тюфяк — в первое попавшееся место, которое показалось ему удобным? Зачем не велел трогать, не велел прикасаться к этому мешку, обещая заехать и взять его? Что такое, наконец, в этом мешке заключается?

Последний вопрос казался всего важнее, потому что он сильно затрагивал женское любопытство. Что в нем заключается? В этом-то и есть вся сила, вся сущность, вся разгадка мучительного вопроса. А вдруг он придет, возьмет этот мешок с собою, и тогда... тогда Людмила Сергеевна, быть может, и не узнает — никогда уже не узнает настоящей сути *какого-то* дела, в которое ее обещают посвятить со временем, «после», «потом», а может быть, и вовсе не посвятят; а когда мешок будет увезен, то добиться правды будет ей уже трудно, если даже не окончательно невозможно.

Соблазн был слишком велик. Евино любопытство слишком сильно подстрекало ее. Поколебавшись с минутой, она подошла к постели и с нервной быстротою выдернула из-под тюфяка вещь, в которой заключалась мучающая ее загадка.

«А!.. это женская вещь... стало быть, тут замешана женщина!» — мелькнула ей первая мысль при взгляде на туго набитый мешок, и эта мысль кольнула ее душу смутно ревнивым и озлобленным чувством.

Она уже хотела было надавить пружину стального замочка и удовлетворить своему женски жадному любопытству, как вдруг в прихожей раздался звонок.

Людмила Сергеевна, как пойманная на месте школь-



ница, поторопилась сунуть кое-как мешок на прежнее место и поспешила выйти распорядиться, чтобы, кроме Вельтищева, никого не принимать; но было уже поздно.

— Барыни нету дома, — слышала она голос своей девушки, говорившей с кем-то в дверях.

— Неправда, она дома... Я знаю, что она дома! — возражал ей голос человека, очевидно изъяслявшего твердое намерение войти в квартиру.

— Но уверяю вас... ей-Богу, ее нет дома! — настаивала горничная, загораживая дорогу.

— Вздор!.. Пропустите меня!

Людмила Сергеевна из-за двери стала чутко прислушиваться к голосу мужчины: кто б это мог так настойчиво ее спрашивать?

— А хотя б и дома, — продолжала горничная, — но она никого не принимает... она нездорова.

— Здорова ли, нет ли — это все равно! Мне нужно ее видеть.

Брови Людмилы Сергеевны нахмурились. Она узнала этот голос. Приход неожиданного посетителя был очень неприятен ей, и особенно в настоящую минуту.

— Ну, так я вам скажу, что вас-то именно и не велено впускать! — воскликнула горничная, делая последнюю попытку загородить собою дорогу назойливому гостю.

В это самое мгновение м-ше Коробова отворила дверь и появилась со своими нахмуренными бровями на пороге прихожей.

— Что вам угодно от меня? — спросила она посетителя ровным, сдержанным и холодным тоном.

— Видеть вас... говорить с вами! — порывисто кинулся к ней вошедший.

— Нам не о чем говорить с вами... Я считаю, что все наши разговоры уже кончены.

— Людмила!.. Бога ради!.. Я не уйду отсюда — мне нужно... необходимо говорить с тобою... Умоляю тебя!

Красивая женщина пожала плечами и с полупрезрительным состраданием проронила ему:

— Войдите!

Он вошел, как был, в холодном пальто, с кашемировым кашне, и словно бы в тяжелом изнеможении опустился на первый попавшийся стул, подперев рукою свою голову.

Людмила Сергеевна стояла перед ним, спокойно скрестив на груди руки, и, глядя на него холодным взором, ждала, что будет дальше.

Гость ее сидел, словно бы стараясь отдохнуть, успокоиться, подавить в себе волнение и собрать свои мысли.

Наконец он поднял на нее грустный взор, горевший лихорадочным блеском. Этот взор как будто искал — есть ли в ее лице хоть малейший оттенок участия и сострадания? Но Коробова стояла все с тем же ледяным спокойствием.

— Людмила, я не могу без тебя... не могу, — проговорил он смутно. — Людмила... вернись ко мне!

— Вам только это нужно было сказать мне? — спросила она в ответ на его просьбу.

— Нет, я много, много хочу сказать тебе! — торопливо поднялся он с места, опасаясь, чтобы она не кончила на этой же фразе его объяснение. — Но прежде всего — я люблю тебя... Знать, что ты бросила меня, ушла от меня, — для меня невыносимо!..

— Чем же я могу помочь тут? — пожала она плечами.

— Вернись ко мне — и я спасен!.. Ты воскресишь меня! Я снова начну трудиться, работать...

— Работать на двух гораздо труднее; тебе одному, я думаю, много легче теперь.

— Что говорить о том, что труднее, что легче! — перебил он. — Будь ты со мною — я бы чувствовал в себе силы на самый тяжкий труд и был бы счастлив до последней минуты моей жизни.

— Признаюсь, я этого не понимаю, — покачала она головою. — К чему мне твой труд, скажи, пожалуйста? Да и что такое труд какого-нибудь технолога? Много ли этот труд приносит в наше время?

— Как много ли?! Дай мне прежде кончить мое образование — и передо мною тогда открыта широкая дорога! Наш труд теперь нужен — он ценится, он откроет мне и дорогу, и средства.

— Хм!.. — усмехнулась она. — Ты говоришь о «средствах»... «Средства» для меня недостаточны. Мне нужны не «средства», а «богатство» — понимаешь ли, друг мой? — а до богатства какому-нибудь студенту-технологу еще очень далеко.

— И это ты говоришь мне! — с горечью промолвил он, глядя в ее холодные блестящие глаза. — Разве ты была богата, когда шла за меня замуж? Разве ты так привыкла к богатству, к роскоши?.. И для чего ж ты мне не говорила этого полтора года назад?

— Для того, что мне нужно было выйти замуж, — пояснила она, нимало не смущаясь.

— Молчи! — с силою схватил он ее за руку. — Молчи! Не напоминай мне хоть этого-то, если я раз уже простил вам эту гнусную ловушку.

— Валерьян Алексеевич, нельзя ли без трагикомических сцен! — с достоинством высвободила она от него свою руку. — И потом, я бы просила вас выбирать ваши выражения: моя мать и я — мы считаем себя выше всяких «ловушек». Вы забываете, что вы настойчиво просили моей руки, и я только согласилась на вашу просьбу; а если вы обманулись в ваших ожиданиях, то вас никто не просил прощать меня. Вы говорите, что любите меня, — очень сожалею об этом, но чтоб вернуться к вам — нечего и говорить! Я не вернусь к вам, во-первых, потому, что это было бы глупо; во-вторых, потому, что вы, с вашей глупой технологией, пока еще круглый голяк, вы — нищий, заботящийся о куске хлеба, а я нужды терпеть не могу! Я не выношу ее! Ведь вы не могли бы доставить мне ни этих ковров, ни этих бронз, ни экипажа, — так о чем же говорить нам?! Раз, что вы женились, вы хоть воруйте, мне все равно, мне нет дела до ваших путей, но доставляйте жене довольство и комфорт; вы этого не сумели сделать — пеняйте на себя, а меня покорнейше прошу оставить в покое.

Коробов всплеснул руками.

— Господи! И я все-таки люблю такую женщину! — с отчаянием прошептал он, закрывая лицо свое.

— Повторяю: очень жаль, если это правда, — равнодушно усмехнулась она, — но что же делать! Я могу вам посоветовать одно только: постарайтесь поскорее разлюбить меня.

— О, если бы это было возможно! — из глубины души вздохнул Коробов.

— А невозможно, так я бы на вашем месте, чем так-то мучиться да дурака из себя разыгрывать, уж лучше предпочла бы покончить с собою, хотя бы из-за одного только самолюбия.

— Как это покончить? — восторженно воскликнул он, выходя из минутного оцепенения.

— Очень просто: пулю в лоб или дозу стрихнина... да, наконец, и Нева ведь недалеко... мало ли есть способов!

Коробов с ужасом и изумлением, как бы не веря глазам и ушам своим, глядел на женщину, носящую имя жены его.

— А, так вот оно что! — медленно и глухо прого-

ворил он. — Ну так слушайте же! Ваш совет не дурен; но я за него не благодарю вас, потому что и без вас пришел было к той же самой мысли. Да, Людмила Сергеевна, я хотел покончить с собою; у меня уж и револьвер припасен для этого; но... откровенно говоря вам, струсил, духу не хватило в последнюю минуту!.. Во мне еще жила маленькая искорка надежды, что вы не окончательно для меня потеряны, — может быть, от этого-то и струсил я!.. Потом мне пришла другая мысль... не знаю, как она вам понравится... Вот видите ли: с тех пор, как вы переехали в эти палаты, я, тоскуя по вас беспредельно, имел глупость каждый вечер бродить по улице под вашими окнами, в надежде увидеть хоть тень вашу... я мучился, я страдал в эти часы, но все-таки шел сюда, — мне это даже какое-то болезненное наслаждение доставляло — прийти, ходить, и стоять здесь целые часы, и наконец увидеть ваш облик, когда вы на мгновение мелькнете в окне...

— Недостойно порядочного реалиста, — перебив его, с небрежной иронией уронила слово Людмила Сергеевна.

— Может быть, но потрудитесь выслушать.

Он сделал над собою усилие и продолжал:

— Бродя у вас под окнами, я почти каждый раз видел, как к этим воротам подъезжал экипаж, как из него выходил господин... господин Вельтищев (последнее слово Коробов произнес, делая над собою тяжкое усилие). После этого я видел, как иногда в ваших окнах мелькали две тени.

— А после этого? — поддразнила его супруга.

— А после этого... то есть после того, как я смалодушничал в последнюю минуту, готовясь застрелиться, мне пришла другая мысль.

— Без сомнения — покончить прежде с господином Вельтищевым и со мною? — с высокомерным презрением перебила Коробова.

— Первое вы угадали. Да: я хотел покончить с человеком, который разбил всю мою жизнь, отнял у меня мое счастье.

— Pardon, вы начинаете изъясняться рутинно-красивыми фразами: вы знаете, я этого в вас никогда не любила.

Коробов как бешеный вскочил с места. Если фраза его и была насколько-нибудь рутинно-красива, то она вырвалась у него невольно из души, сама собою, потому что он действительно чувствовал глубокую истину своих слов, потому что действительно пришел откуда-то посто-

ронный человек и незаметно отнял у него все, чем дорога и красна казалась ему жизнь, — и потому-то эта последняя язвительная и ледяная насмешка жены подействовала на него так, как будто он нечаянно прикоснулся к какой-то гадине, к чему-то живому, но холодному и склизкому.

— Что? — обернулась она на него при этом движении. — Уж не хотите ли вы застрелить меня сейчас же? Можете! Но это будет бесполезное и бессильное мщение, потому что, умирая, я все-таки скажу, что вы человек глупый и бесхарактерный.

— Бесхарактерный — может быть, — грустно согласился Коробов, — потому что сегодня у меня не поднялась рука убить вашего любовника.

— И никогда не подымется! Я в этом совершенно уверена. А главное — это совершенно бесполезно; убей вы сегодня Вельтищева, у меня завтра будет другой, а не другой, так третий; но вы — пока вы бедны и ничтожны — вы у меня не будете.

Она вдруг остановилась перед ним и даже очень ласково взяла его за руку.

— Послушайте, я ведь не враг вам, я вовсе не ненавижу вас, да мне и не за что вас ненавидеть, в сущности! — заговорила она спокойным, ласковым и даже кротким голосом. — Ведь если я бросила вас, то это единственно потому, что я не выношу бедности, мы с вами расстались не ссорясь, я, не обманывая вас, прямо сказала, что переезжаю на содержание к Вельтищеву... Я жить хочу!.. Мне — поймите вы — мне нужен тот воздух, которого вы мне дать не в состоянии... Мы, в сущности, можем остаться с вами друзьями. Если вы меня ревнуете к Вельтищеву, то это совсем неосновательно, потому что я Вельтищева не люблю ни на каплю. Я им только пользуюсь, но... ведь не всегда же мы с вами будем порознь, ведь я ваша законная жена. Пока — я хочу еще жить так, как мне хочется; но... пройдут годы, пройдет молодость, захочется покою, — мы с вами можем снова сойтись... у меня будут хорошие средства; может, и у вас они будут, — мы обоим приготовим себе мирную и покойную старость... Смотрите на вещи прямее и практичнее. Хотите вы ежемесячно получать с Вельтищева хорошие деньги?.. Хотите? — я легко могу вам это устроить!

Коробов с омерзением выдернул свою руку.

— Жаба!.. холодная, склизкая жаба! — гадливо и презрительно произнес он и быстро вышел из комнаты.

Людмила Сергеевна, не ожидавшая столь скорого и решительного окончания этой сцены, в недоумении стояла на одном месте. Она слышала, как, удаляясь, муж хлопнул за собою выходной дверью, и, с полной искренностью пожав плечами, могла произнести одно только слово:

— Глупец нелепый! Никого больше не принимать, Палаша! — крикнула она горничной.

— А Платона Васильевича?

— Даже и Платона Васильевича, пока я не скажу тебе!

И м-ше Коробова на ключ затворила за собою дверь своей спальни.

#### IV

#### ЧТО ТАКОЕ В СПРЯТАННОМ МЕШКЕ?

Почувствовав себя снова совершенно наедине и удостоверясь, что за нею нельзя наблюдать даже и сквозь замочную скважину, Людмила спешно достала из-под тюфяка сафьяновый сак и нажала стальную пружину. Сак раскрылся. Газетная бумага и больше ничего представилось взгляду Людмилы Сергеевны в первое мгновение. Но этого не может быть; в этой газетной бумаге, должно быть, что-нибудь твердое. Попыталась вытащить — нет, запихано довольно плотно. Однако она повторила усилие и вытащила одну за другою две полновесные пачки. Инстинкт ей подсказывал, что это неспроста, что в этих пачках кроется нечто особенное, важное, большое. Она развернула одну — деньги!.. Развернула другую — тоже деньги!

У нее захватило дух и опустились руки. Словно обессилев и даже испугавшись разгадки того, что мучило ее любопытство, она опустилась на минуту в кресло, чтобы собрать в порядок свои мысли и пересилить ощущения, поднятые в ее душе этим внезапным открытием.

Через несколько минут она обстоятельно и с полным вниманием стала пересматривать обе пачки. В одной были все крупные банковые билеты, в другой — весьма немного векселей, еще менее акций и облигаций и вообще разных процентных бумаг; но зато очень, очень много радужных ассигнаций.

Коробова начала считать.

Трепещущая рука ее нетерпеливо и нервно перебира-

ла бумагу за бумагой, блестящий взор лихорадочно следил нумера и цифры, а побледневшие, сухие губы, дрожа, лепетали счет единиц, десятков, сотен и тысяч.

Волнение Людмилы Сергеевны было слишком велико. Она невольно сбивалась и путалась в счете, начинала снова и снова сбивалась, пока наконец не прибегла к помощи карандаша и бумажки. Отсчитав известное количество сотен, она отмечала цифру и начинала следующий счет. Прошло около двух часов времени, когда она наконец справилась с этой работой и свела общий итог. В этом итоге оказалось банковых билетов на триста тысяч, а прочих бумаг и денег на двести тысяч с лишком.

\* \* \*

Это была часть той оборотной суммы, которую покойный Вельтишев, заранее изъяв из обращения, приготавливал для первых расплат и задатков по новому своему предприятию, которое, как известно уже, заключалось в железопрокатном заводе. Цифра этого предприятия доходила до двух миллионов. Покойник, конечно, рисковал, но риск его всегда отличался тонкою и верною сметкой; он знал себя, знал свое дело и в эфемерные предприятия никогда не пускался. Он всегда почти, можно сказать, бил только наверняка. Ворочая миллионными делами, он имел большие капиталы в обороте; но этих капиталов, согласно своим нравственным правилам, он не считал исключительно своею собственностью, так как тут в значительной доле были деньги и его старого компаньона Платона Васильевича, и Пупырева, и Картонаки, и некоторых других. Своими он считал только те «неприкосновенные» *триста* тысяч, которые лежали у него в банке и должны были теперь сделаться наследием Ирины Борисовны. Платон Васильевич сам давно уже не занимался как следует своими делами, сдавши эту обузу исключительно на плечи старого кузена и бывшего опекуна своего, который, оставаясь вечно погруженным в свои громадные дела и обороты, был слеп до всего остального, не замечая и не подозревая даже того, что уже два или три года — правда, очень тонко и ловко — происходило на половине его супруги, у которой, по близким родственным отношениям, зачастую за полночь сиживал Платон Васильевич. «Старец» был очень расчетлив, даже, можно сказать, скуп до известной степени и во многом стеснял неосновательные при-

хоти своей супруги, которую, однако, в скупости и слепоте своей любил всею душою. Отношения его к кузену в последние два года приняли несколько натянутый характер. Платон Васильевич, слишком надевавшийся на неисчерпаемость своего состояния и на дельную голову кузена, уже много лет предавался безрасчетным тратам, не стесняя ни в чем свои капризы и прихоти. Он предался биржевой игре, в которой у него уже неоднократно лопались очень крупные куши. Максим Григорьевич выручал его, предупреждал, советовал, соболезновал; но кончилось все это тем, что Платон в глубине души стал тяготиться нравственным авторитетом своего двоюродного брата. Между ними, несмотря на все благодушие Максима Григорьевича, зачастую стали выходить неприятные сцены. «Старец» видел, что кузен его путается все более, и, боясь, что по неосторожности он может как-нибудь запутать и его, предложил ему однажды окончательно выделиться из общих дел и предприятий. Это предложение было крайне неприятно Платону, который чувствовал, что с выделением его он чрез несколько лет лопнет окончательно, при своем относительно уже маленьком капитале. Оно даже пугало его, потому что его сила, его кредит только и держались авторитетом его старшего кузена. Между тем ему думалось, что имея он в руках своих безраздельно все те капиталы, которыми двигает «старец», то через несколько лет он изумил бы мир своими гигантскими предприятиями и своим несметным состоянием. Мы можем полагать, что это была не более как приятная иллюзия, но эта иллюзия подвигла Платона Васильевича на многое... «Старец» меж тем окончательно уже порешил выделить из дела кузена, но... этого, как мы видели, не удалось ему привести в исполнение. Смерть захватила его, так сказать, на половине дороги. Между обоими компаньонами были свои старые счета, в силу которых Максим Григорьевич (окончательно не обращавшийся к своим «неприкосновенным») занимал иногда на свои особые дела и предприятия значительные суммы у своих компаньонов, между которыми Платон Васильевич, как ближайший его родственник, был первым лицом. «Старец», ведя очень аккуратно их общие дела, не прочь был иногда слегка поэксплуатировать займом капитал кузена, которому в подобных обстоятельствах выдавал собственноручную сохранный расписку. Эта эксплуатация всегда происходила в тех случаях, когда Максим Григорьевич затевал устройство, вне компании, какого-нибудь своего



собственного, особого предприятия. Таким точно образом были им заняты у Платона и те двести пятьдесят тысяч, которые он возвратил ему сегодня, вследствие экстренного требования, предъявленного кузеном накануне. Но эта экстраординарная уплата окончательно утвердила в «старце» убеждение в необходимости выделить из дел кузена. Кузен, которому за несколько времени до нынешнего дня сгоряча высказал Максим Григорьевич свое намерение, принял это известие довольно равнодушно, потому что в это время в душе и в голове его зрели уже другие обширные планы.

Необходимое начало осуществления этих планов нам показала первая глава нашего повествования.

Максим Григорьевич, порешив взять на себя новое двухмиллионное предприятие с железопрокатным заводом, изъял из оборотов свыше пятисот тысяч, чтобы на первое горячее время иметь в руках своих необходимые деньги, и эти-то самые деньги лежали теперь перед Людмилой Сергеевной.

## V

### М-МЕ КОРОБОВА ДОХОДИТ ДО ПРАВДЫ

Теперь для нее еще более важный и настойчивый вопрос представился в том, как и зачем попали в ее квартиру эти деньги. Зачем они так спешно были сунуты под тюфяк? Что значит этот странный, взволнованный вид, с которым Вельтищев появился нынче у нее? Его усталость, очевидно более нравственная, чем физическая, его сумрачность, молчаливость и даже какая-то таинственность — что все это значит? — задавала она себе тысячу вопросов.

«О, это неспроста! и надо во что бы то ни стало добиться истины!» — решила себе Людмила Коробова и, упаковав деньги в мешок, велела девушке дать ей одеваться и кликнуть поскорей извозчика. Накинув на голову темный платок и закутавшись в шубу, она захватила мешок с собою и велела извозчику ехать в Галерную улицу, где обитал Платон Васильевич в своей роскошной холостяцкой квартире. И прислуга, и расположение комнат этой квартиры были ей хорошо известны, потому что уже не в первый раз доводилось ей совершать сюда свои экскурсии.

— Дома барин? — спросила она отворившего ей ка-

мердинера, не забыв предварительно спрятать мешок под широкую полу своей дорогой шубы.

— Никак нет, они теперь, должно быть, у братца, потому там такое несчастье, — сообщил ей словоохотливый лакей.

— Какое несчастье? в чем дело? — насторожила Коробова свое пытлиное внимание.

— Максим Григорьевич изволили скоропостижно скончаться.

— Быть не может! — с искренним изумлением воскликнула Людмила Сергеевна.

— Так точно-с. После обеда, значит, как сидели перед камином, так и скончались... Никто не знал... Вечером, часов в девять, приезжал сюда камердинер ихний Демьян, будучи, значит, послан от барыни за Платон Васильевичем; так Демьян сказывал, что конторщик вошел в кабинет с докладом и думал, что Максим Григорьевич почивают, ан глядь — они уже померши... Переполох такой в доме, что просто страсть!

— Платон Васильевич давно как из дому? — спросила Коробова.

— Давно-с. Они еще днем как поехали к братцу кушать, так и не возвращались.

— Так он обедал у Максима Григорьевича?

— Так точно-с, и как мне Демьян доподлинно сказывал, что после обеда они коё время сидели с братцем в кабинете, а потом вышли оттелева, и как, значит, Демьян с конторщиком попались навстречу, так они приказали им даже не тревожить Максима Григорьевича, потому, сказывают, спит. А Платон Васильевич не у вашей ли милости изволили быть?

— Да, он был у меня, — оторопев несколько, ответила Людмила. — А что? в чем дело? — с внутренней тревогой спросила она.

— Ничего-с, дела, собственно, никакого, а только Демьян сказывал, что, сядившись в карету, они кучеру крикнули: в Дмитровский переулок; так я это себе и подумал, что, должно быть, они изволили к вашей милости поехать, потому хотя я доподлинно в точности вашего адреса и не знаю, но только известен, что вы изволите проживать в Дмитровском.

— В котором часу, говорите вы, он уехал от брата? — как бы невзначай спросила Людмила.

— В точности знать не могу, но только Демьян сказывал, что около часу спустя после обеда — часу в восьмом, значит.

Это был уже последний вопрос, предложенный m-те Коробовой словоохотливому лакею. Теперь она сочла только нужным выразить свое сожаление, что не застала Платона Васильевича дома, и отправилась восвояси.

\* \* \*

«Часу в восьмом, значит, — повторяла она себе дорогою последние слова лакея. — Около половины восьмого он был уже у меня... и кучеру приказал ехать в Дмитровский... Значит, он ни к кому и никуда не заезжал, судя по времени, а оттуда проехал прямо ко мне... Откуда же этот мешок взялся?»

«Вышел прямо из кабинета, приказал не тревожить — потому спит... — продолжала соображать Людмила. — А эта ажитация, в которой он приехал ко мне?..»

— О, теперь все понятно!.. Теперь я догадываюсь, откуда взялся мешок и чьи это деньги! — чуть не в полный голос воскликнула Коробова и, беспрестанно по-нукая извозчика, приказала ему как можно скорее возвести себя в Дмитровский переулок.

Приехавши домой, она снова затворилась в своей спальне и снова выложила обе пачки.

«У кого, однако, мог он взять этот мешок? — задавала себе вопрос Людмила Сергеевна. — Мешок, нет сомнения, женский... он взят у женщины... Осмотреть бы его хорошенько — не найдется ли в нем еще чего любопытного?»

И вот, осматривая внутренность сака, она нашла в нем особую папку, запустила в нее руку и достала сложенный листок бумаги.

Это был счет из модного магазина, в заголовке которого значилось: «A madame de Weltistcheff».

— А, так вот кому принадлежит мешок! — воскликнула Людмила Коробова. «А что, если скоропостижная смерть «старца» — их обоюдное дело?»

Платон Васильевич проговорился ей однажды, что «имел несчастье» затеять связь с женой своего кузена, что эта связь подчас тяготит его и что хорошо было бы как-нибудь ловко от нее отделаться. Затем, в одну из откровенных минут, он высказал ей, что дела его несколько запутаны. Точно так же, любя иногда помечтать, он высказывал, что если бы какими-нибудь судьбами ему досталось в руки хорошее состояние, хотя бы несколько побольше того, которое было у него лет две-

надцать—тринадцать назад, хотя бы такое, как состояние «старца», то он изумил бы мир грандиозностью своих оборотов: он в пять-шесть лет удесятирил бы это состояние и стал бы кумиром всех европейских бирж. Это были мечты, но мечты такие, в которых слишком ясно сказывалось стремление Вельтищева к крупной наживе. Зная хорошо характер и нравственные принципы своего возлюбленного и соображая все эти обстоятельства, Людмила Коробова пришла почти к убеждению, что странные деньги эти находятся в ее руках благодаря скоропостижной смерти «старца».

«А что, если я вдруг возьму и разрушу ваши широкие планы, мой милейший Платон Васильевич?» — пришла вдруг ей в голову злостная, но веселая мысль.

## VI

### ВОР У ВОРА ДУБИНКУ УКРАЛ

«Быть содержанкой — быть рабой, — не одно ли и то же?.. Даже хуже: это значит — быть игрушкой! — думала Людмила Сергеевна, глядя на полновесные пачки. — Нравится сегодня игрушка — ее холят, лелеют, берегут; а завтра игрушка надоела — бросай ее в сторону или ломай ее! — все равно новая будет. Так не лучше ли, вместо того чтобы самой играть роль игрушки, заставить его быть моею игрушкой?.. И разве невозможно это? Стоит только воспользоваться деньгами, которые лежат теперь передо мною!»

Она в раздумье раза два прошлась по комнате.

«И в самом деле, что может угрожать мне, если бы я решилась воспользоваться ими? Кто знает, кто видел, что он привез их ко мне? Где доказательства на это?»

Но мало того! Эти деньги нечистые! Они добыты не прямым путем, потому что иначе ему незачем бы было везти их ко мне и совать под тюфяк, когда гораздо проще он мог привезти их в свою собственную квартиру. Это, очевидно, сделано впопыхах, необдуманно или плохо обдуманно, сгоряча, просто по первому впечатлению, при желании где бы то ни было, но только поскорее скрыть свою добычу. Вот почему это сделано! Он хотел скрыть — потому что иначе незачем было бы и от меня скрывать, что тут деньги. Это ясно. Стало быть... Стало быть, мне ровно ничто не угрожает! Доносить на меня он не пойдет и не посмеет, потому что

это значило бы донести на самого себя... самого себя послать на каторгу!.. А если моя догадка справедлива, что это их обоюдное дело, — тогда они оба в моих руках, и навсегда, навсегда — пока живы! Я могу тогда сделать с ним все, что бы ни вздумала. Он тогда раб мой, игрушка моя! Могу заставить его развести меня с мужем, жениться на мне — и он слова не пикнет против! Он сделает все, все, потому что в моей воле будет ошельмовать его, швырнуть на скамью подсудимых, послать на каторгу... И все это зависит от одной только моей доброй воли сделать эти деньги моими!

А если... если они добыты не тем путем, как я думаю? Если эти деньги, без всякого преступления, просто принадлежат ему или кому другому и ко мне попали только так, в силу какой-нибудь случайности, которой я не знаю, — тогда что? Тогда?..»

Людмила Коробова на минуту призадумалась.

«И тогда они все-таки мои! — с торжеством порешила она. — Прежде всего нет свидетелей, нет доказательств, что они были привезены ко мне, да и притом самый привоз их сюда и все обстоятельства так странны, что все это могло бы прийти в голову либо преступнику, либо сумасшедшему... В этом случае придется уничтожить только векселя да несколько именных билетов, и за всем тем у меня все-таки останется более трехсот семидесяти тысяч. Значит, я могу не быть ни содержанкой, ни рабой, ни игрушкой!

Но так как мне инстинкт какой-то говорит, что тут дело не обошлось без преступления, то... Да! то я буду его женою, буду носить громкое, известное имя, буду иметь видное положение в свете, вечного раба у своих ног; буду иметь свое, свое собственное состояние, независимость и свободу делать все что угодно!»

\* \* \*

Людмила Коробова быстро сообразила весь план. Дело казалось так легко, так просто и сулило такую соблазнительную удачу!

Она изорвала четыре каких-то романа, несколько газетных листов и целый ворох афиш, обрезала их и складывала в тот самый формат, который имели обе денежные пачки. Вес и объем этой мешаной бумаги показались ей наконец удовлетворительными, и она бережно запаковала их в те самые газеты, которые служили оберткой денежным пачкам. Сходство было полное, но

тут особого сходства и не требовалось — лишь бы только в мешок уложились.

Коробова попробовала запихнуть — обе пачки вошли в сак хотя и трудно, но как раз в достодолжную меру, после чего стальная замочная пружина была захлопнута и сак отправлен под тюфяк, на свое прежнее место.

## VII

### НЕЖНАЯ МАМЕНЬКА

Девушка m-me Коробовой осталась очень удивлена, когда ее барыня во втором часу ночи приказала ей снова подать себе одеться и кликнуть извозчика.

На этот раз путешествие Людмилы Сергеевны было непродолжительным, так как она приказала везти себя поблизости, в Свечной переулок, где обитала ее маменька.

Людмила Сергеевна в жизни своей являлась достойным яблоком этой старой яблони, от которой оно и по пословице не должно далеко откатываться.

Маменька Людмилы Сергеевны во время оно плясала «у воды» в составе императорского санкт-петербургского балета.

Однажды, несмотря на то что эта жрица Терпсихоры весьма скромно подвизалась «у воды», на заднем плане, в числе целых трех дюжин статисток, ее зорким оком заметил старый граф *Харитонов-Трофимов* и порешил: *qu'elle est charmante, cette petite!*<sup>1</sup> А порешив такое, он вслед за тем порешил, что эту *charmante petite* необходимо нужно взять к себе на содержание. Это было нетрудно, так как «обделать все дело» взялась одна приятельница одного из старых приятелей старого графа, тоже подвизавшаяся на балетной сцене. Плодом этого «содержания» явилась хорошенькая девочка Людмила, названная сим именем в честь слабости графа к романтическому направлению поэзии его молодого времени, когда имя Людмилы, с легкой руки Жуковского и Пушкина, играло не последнюю роль в поэмах тогдашних стихотворцев. Старый граф, позабавившись некоторое время, выдал свою балетную *faiblesse*<sup>2</sup>, как водится, за-

---

<sup>1</sup> как она мила, эта крошка! (Фр.)

<sup>2</sup> слабость (фр.).

муж за одного из своих подчиненных чиновников, который, ввиду приличного вознаграждения и будущих благ по службе, решился прикрыть старческий грех собственною своею персоною. Чиновник пожил некоторое время и скончался, не оставив по себе никакого следа в сердце графской слабости, которая еще и при жизни его не особенно стеснялась в выборе своих средств жизни и сердечных развлечений, тем более что, кроме старого графа, оказывалось не мало охотников доставлять эти развлечения балетной корифейке. По смерти мужа та же самая жизнь продолжалась в размерах еще более широких, так как теперь балерина, в положении интересной вдовы, не находила нужным прикрывать флером скромности и таинственности интимные стороны своего будуара. Девочка ее росла среди атмосферы интриг театральных, интриг будуарных, интриг маскарадных, интриг денежных... Матушка мало заботилась о том, чтобы скрыть от взоров чуткого ребенка закулисную сторону своего существования. Девочка привыкла видеть скабрёзные сцены, слышать скабрёзные разговоры, ибо других и не полагалось в гостиной ее матери. Она видела, как меняются один за другим «друзья» этой матери, как легка и доступна ее «дружба», как эта дружба основывалась исключительно на цифрах, на денежном интересе, на расчете сорвать с одного друга новый экипаж, с другого — уплату за квартиру, с третьего — уплату по счету модистки, с четвертого — просто сорвать приличный куш, — все это видела, слышала, чувствовала и понимала маленькая и хорошенькая Милочка, и... в ней органически сложилось, воспиталось и вкоренилось глубокое убеждение, что это-то вот и есть жизнь, что жизнь только в этом и заключается, что для женщины нет и не должно быть иной жизни, что всякая иная жизнь есть не жизнь, а предрянное прозябание. Слышала она, что есть еще жизнь великосветских салонов; но о представительницах этих салонов мать ее всегда отзывалась с завистливой насмешкой и презрением, говоря, что и они «тем же миром мазаны и, в сущности, одного с нею поля ягоды», с тою разницей только, что Бог ей не дал счастья быть графиней или княгиней, а сделал ее «театральной», хотя ее Милочка «такая же графиня по рождению, как и законные графини». Милочка где-то и чему-то училась, французский пансион придал ей известный внешний лоск, а нравственные качества ее закалились в житейской школе ее матушки. Нетронутыми оставались один природный, довольно сильный ум и

характер, вероятно перешедшие от отца по крови; но как тот, так и другой, под влиянием атмосферы ее детства, получили прочное и определенное направление.

В настоящее время экс-балерина уже отцвела, но... все-таки имела при себе одного из старых своих поклонников, который во время оно истратил на нее все свое небольшое состояние и все-таки остался верным поклонником. Теперь, когда блестящая молодежь не только отвернулась от нее, но даже и забыла давно про самое ее существование, а бедный поклонник ходил без сапог, — старая содержанка нашла, что ей все-таки нужен человек, который делил бы ее скучные досуги, и призрела сего неимущего. Она одевала, поила, кормила его и за то властвовала над ним беспрекословною деспотическою властью. От прежней роскоши у нее сохранился кое-какой капиталишко, правда, маленький, но все-таки он мог несколько обеспечить ее существование, начинавшее становиться старческим; экс-балерина пускала в оборот свои деньги: она давала их в рост на проценты, под верное обеспечение.

Когда ее Милочке исполнилось шестнадцать лет, нежная маменька сосредоточила свои надежды и расчеты на единственном детище. Она не прочь была бы выдать ее и замуж, «если бы подвернулся человек подходящий», но эта идея менее улыбалась ей, чем другое предположение, гораздо более сочувственное ее сердцу.

— Что нынче в замужестве-то проку! — не раз говорила она Милочке. — Еще каков-то черт накачается!.. Это значит только путать себя: лишняя обуза на плечи!

— Но ведь надо же, мамаша, пристроиться, — возражала на это Милочка, — и притом мне вовсе не интересно быть по паспорту Санкт-Петербургской мещанкой.

— Ах, мой друг, да ведь ты по рождению, по крови графиня! Кто там будет с твоим паспортом справляться, если ты сама очаровательна для мужчины? Твой паспорт — ты сама, твоя наружность. Умей нравиться — и вот тебе весь твой паспорт!

— Но все же лучше называться женой дворянина, чем так-то, — не соглашалась Милочка.

— Ну и называйся! Разве я против этого? Да Боже меня сохрани, чтобы я когда-нибудь пошла против твоего счастья! Ведь ты дочь моя... Конечно, если подвернется дурак такой с хорошей фамилией, да если еще и богатый, — я слова не скажу, отдам обеими руками: иди, матушка, — но если не так, то, по-моему, не сто-



ит... Что за корысть венчаться? Пока ты невинная девушка и хороша собою, на тебя действительно может обратить внимание человек порядочный, богатый, солидный, который обещает тебе на всю жизнь. Вот, к примеру, отец твой, покойник граф (дай Бог царство небесное!), сумел же заметить и вытащить меня, можно сказать, из ничтожества, а почему? Потому что я была добродетельна, потому что я сумела соблюсти и сохранить себя до хорошего случая.

— Да, жди такого случая! — вздыхала Милочка.

— Жди и дождешься! Только умей соблюсти себя! — ободряла маменька. — Уж положишься на меня: я гораздо опытнее тебя и сама сумею устроить твоё счастье! Я — мать горячая, и ты думаешь, разве сердце мое не болит о тебе? погоди, дай время: у меня все же таки есть старые связи, старые отношения. Бог поможет — я сама выйшу тебе человека, сама все устрою и благословлю тебя: только помни одно, что для этого надо строго беречь себя и не увлекаться!

Но увы! Этой чадолубивой маменьке суждено было несколько обмануться в своих блестящих ожиданиях. На восемнадцатом году жизни Милочке показалось, что она и сама, без посредничества мамы, может устроить свое счастье. Летом на дачу к ним в Новую деревню стал ездить один блестящий гвардеец. У этого гвардейца было имя и хороший рысак, запряженный в щегольскую эгоистку; костюм его — всегда как с иголки — сидел на нем прекрасно. Матушка навела справки о его состоянии, но слухи оказались противоречивые: одни из них утверждали, будто гвардеец имеет хорошие средства, другие же, с большею основательностью, клонились к тому, что, кроме обширных долгов, у него ничего не имеется. Матушка советовала дочери «держаться ухом востро» и сама не дремала, но Милочка сумела обманывать иногда ее бдительность и доставляла себе маленькие развлечения, вроде вечерних прогулок en deux по тощей новодеревенской аллейке и по Елагинскому парку.

За это ей каждый раз сильно доставалось от маменьки, которая даже плакала и говорила, что она «неблагодарная дочь, сокрушает и разрывает на части ее материнское сердце». Дочка искренно уверяла ее, что все это одни пустяки, что ничего серьезного у нее нет, да и быть не может, что она знает, что делает, а между тем незаметно сама увлеклась немножко блестящим гвардейцем. Это крошечное увлечение было единственным увлечением в ее жизни — быть может, невольная

дань сердца ее весеннему, семнадцатилетнему возрасту. Она видела, что гвардеец интересуется ею, и, судя по рысаку, костюму, конфетам, букетам, подаркам и по его рассказам, верила в его богатство; Милочка думала, что было бы вовсе не дурно увлечь этого поклонника до такой степени, чтобы в один прекрасный день сделаться его законною супругой. Между тем одна из ее подруг и дачных соседок тоже стала выказывать явное, почти навязчивое расположение к ее герою, и герой, к досаде Милочки, не относился безучастно к такому вниманию. Милочка рассорилась с подружкой, но это насколько не поправило дела. Напротив, подруга ее начала уже прямо и не стесняясь «отбивать» у Милочки ее поклонника. Милочку стали мучить ревность, досада и опасения возможной утраты человека, на котором зиждись ее расчеты и к которому вдобавок не оставалось равнодушным ее собственное сердце. Слишком понадеявшись на себя и думая вследствие того одним решительным шагом поправить свое дело, Милочка опрометчиво переступила тот заветный предел, за который более всего опасалась ее матушка. Но... она ошиблась в расчете... Эта ошибка — дань молодости и маленькому чувству — послужила ей уроком для всей остальной ее жизни... Сначала казалось, дело идет совсем на лад: гвардеец уверял, что как честный человек он, конечно, поправит женитьбой свое увлечение, как вдруг векселя, угрожающие взысканием, заставили его внезапно и, так сказать, украдучись искать спасения в Ташкенте.

— Что, матушка, на бобах осталась! — с отчаянием и злобой корила Милочку мать. — Гвардейская-то свадьба тью-тью!.. А что? а что? не говорила я тебе, не предупреждала?.. Так нет, нынче вы думаете, что вы умнее матерей своих стали! Мать дура!.. что ее слушаться! что она понимает!.. И что же теперь я с тобой буду делать?

— Вас никто и не просит «делать», — возражала не менее озлобленная дочка. — Найду и сама себе, что мне делать!

— Нет, врешь! врешь, не найдешь! Теперь капитал-то твой потерян! безвозвратно потерян!.. Теперь тебе и цена другая!.. И за что же это я тебя, змееныша эдакого, поила, кормила, воспитала, сердцем своим болела о тебе? За что все это, неблагодарная тварь?! Посчитать бы, чего мне стоят одни твои тряпки да наряды! И это ли теперь оплата за все мои материнские чувства, за все мои терзания и заботы?!

И обе они злобно и горько плакали о безвозвратно утраченном капитале.

Но прошло некоторое время — и первый пыл обоюдной их злобы и скорби поунялся. Обе пришли к сознанию и необходимости какими-нибудь судьбами поправить свое проигранное дело. Милочка находила, что ей было бы лучше всего выйти теперь замуж, «пристроиться», но пристроиться так, чтобы, во-первых, променять свое паспортное мещанство, которое для нее было презренно и невыносимо, на какое-нибудь дворянское имя; во-вторых, пристроиться так, чтобы, воспользовавшись преимуществами законной жены и своего имени, сохранить за собою, про всякий случай, полную свободу действовать и распоряжаться своею особой по собственному произволу.

Мать находила оба эти стремления вполне основательными.

— Конечно, — говорила она с грустным вздохом, соглашаясь с доводами дочери, — конечно, если раз уже позволила себе опростоволоситься, то впредь не следует быть душой. Теперь тебе, разумеется, надо выйти замуж... будешь ли там жить ты с мужем или не будешь, за это в нынешнем веке трудно поручиться, вернее, что не будешь; теперь вон, куда ни обернись, все врозь да врозь живут замужние! Но замуж все-таки следует выйти: нынешние дураки охотнее, вишь, кидаются на замужнюю женщину! Это, конечно, с их стороны одна только глупость, но оно так в нынешнем свете, и ты это, мой друг, верно, понимаешь! Раз, что ты добродетельная девушка — тебе одна цена, потеряла ты добродетель — и никакой цены тебе нет; но вышла ты после этого замуж, поглядишь — и опять тебе цена подыметя. Только уж в этом случае, из-за собственного интереса, конечно, надо выходить с умом, не за сапожника какого-нибудь, а за человека хотя и бедного, но благородного, чтобы тебе, по крайней мере, хоть имя-то дворянское осталось: это, друг мой, тоже подымает положение женщины, кредит совсем другой и другой взгляд на дворянку!

На следующее лето они жили на даче уже не в Новой деревне, а в Полюстрове. Здесь, по соседству с ними, нанимал себе конурку студент-технолог Валерьян Коробов, богатый своим двадцатилетним возрастом, а еще более — своими надеждами и мечтами, в сущности же его существование обеспечивалось теми пятьюдесятью рублями, которые ежемесячно присылала ему из Рязан-

ской губернии какая-то старая и добрая родная его тет-ка. Матушка Милочки случайно познакомилась с ним и как-то узнала, что он дворянин — «настоящего, друг мой, столбового происхождения!».

— И скажите, пожалуйста, отчего же вы, при вашем происхождении, не выбрали себе какое-нибудь другое занятие? — участливо спросила его однажды матушка.

Тот пожал плечами на такой глупый вопрос.

— Да потому, я думаю, что в выборе занятий происхождение не играет никакой роли, — ответил он.

— Но ведь вы могли бы выбрать для себя какую-нибудь дворянскую службу — чиновником бы или в офицеры пойти?

— Сердце больше лежит к технологии, — улыбнулся он, — да и притом же это дело в наше время хлеба больше дает.

— А разве эта служба выгодная? — с живым интересом спросила матушка.

— И очень даже! — подтвердил Коробов.

— А как то есть выгодная? Поди-ка, с голоду, пожалуй, не умрешь — только в ней и корысти?

— Что с голоду не умрешь — это во-первых; а во-вторых, есть множество примеров, что технологи — на наших глазах вот — делают себе громадные состояния.

— Неужели?! — изумилась матушка, уже в высшей степени заинтересовавшись последним сообщением.

Коробов рассказал ей несколько примеров.

— И вы, значит, тоже надеетесь сделать себе состояние?

— Я учусь ради дела, — скромно ответил студент, — а состояние — дело случая. Впрочем, у меня есть много надежд на будущее.

Маменька приняла близко к сердцу все сведения, полученные из разговора с Коробовым.

— Вот, матушка, жених тебе! — сказала она в тот же день Милочке. — И молод, и дворянин, и даже может в будущем состояние себе сделать!

— Чересчур мизерен, — поморщилась дочка.

— Скажите пожалуйста, герцогиня какая! — вспылила экс-балерина. — Принца Оранского для вас не прикажете ли? Испанского посланника, что ли, еще?.. И, во всяком случае, если желаешь сделать шаг, то этот барин, по моему мнению, отличная для тебя ступенька.

Милочка поразмыслила хладнокровно и согласилась с матерью.

С этой минуты она повела своеобразную игру с Валерьяном Коробовым. На одной ставке была красота и хладнокровно расчисленный, обдуманый, шулерский расчет, на другой — молодость и беззаветное увлечение.

Не прошло и двух недель, как Коробов был уже влюблен со всем пылом первого молодого чувства. Он сделал предложение.

— Переговорите с мамашей, — скромно ответила ему Милочка.

Коробов исполнил ее желание.

Мамаша при этом даже прослезилась от избытка чувств нежной души своей.

— Валерьян Алексеевич, я мать... я мать, вы понимаете меня! — сказала она, крепко сжимая его руку. — Я не могу противиться ее сердцу, но... простите за откровенность: вы еще оба так молоды... это такой важный шаг... чтобы не раскаяться вам впоследствии!.. тогда на меня же попеняете!.. И наконец, чем же вы жить будете? Какие ваши средства к жизни? У Милочки у моей ведь ровно ничего нет, кроме ее невинности и чистого сердца!

Коробов пустился в длинный и горячий монолог, в котором, развивая свои планы и надежды, говорил, что Милочка его любит и понимает, что она не потребует с него лишнего, что она готова сама трудиться и помогать ему, что у него и теперь уже, кроме теткинских пятидесяти рублей, есть несколько хороших «уроков», а женившись, он достанет их еще более да, кроме того, станет работать хотя бы «переводы» для какой-нибудь «честной» редакции, что он уже несколько раз брал на себя «черную» литературную работу для редакции Цемша и ею всегда оставались довольны, что рублей сто, полтора в месяц он всегда свободно зарабатывает, а этой суммы достаточно для неприхотливой жизни, и что, наконец, оба они молоды, полны жизни, энергии, любят друг друга и светло глядят в свое будущее.

Монолог был очень горяч, а экс-балерина показала вид, будто он даже и вполне убедителен.

— Ну, конечно, это уж ваше дело, — сказала она, — я только как мать высказала свои опасения, чтобы потом мне же не было укоров да попреков, а там как знаете... Только помните одно, Валерьян Алексеевич, помните, что я отдаю вам с рук на руки мое чистое и непорочное сокровище... Берегите же его!.. Она у меня такая девушка, что может составить счастье любого человека — надо только хорошо понять и оценить

ее!.. Теперь ваше счастье в ваших руках: не убережете его — сами будете виноваты! Это теперь вполне от вас самих зависит.

Коробов вовсе не обратил внимания на это предостережение, напоминавшее воронье карканье, и, вполне счастливый и довольный, торопил день свадьбы.

Вождеденный день наконец настал — и Коробов сделался мужем.

Молодая супруга его сразу же захотела «общества и развлечений». Но какое же, в самом деле, «общество» мог предоставить ей Валерьян Коробов? — Несколько студентов, которых еще некогда Аскоченский называл «кашлатыми», да два либеральных сотрудника с заднего двора Цемшевой газеты — вот и все его общество. Людмиле Сергеевне это «общество» пришлось не по вкусу: она нашла, что все эти господа говорят совсем скучные, неинтересные для нее вещи и что все они «ужасно дурно и безвкусно одеты», а она не переносила дурно одетого человека.

— Валерьян Алексеевич, мне Милочка жалуется, что она скучает, — с значительным видом сказала ему однажды матушка. — Вы бы ей хоть какие-нибудь развлечения доставляли — так же ведь невозможно! Она женщина еще молодая.

Коробов пожал плечами.

— Какие же развлечения, Ольга Романовна, — возразил он. — Я, кажется, и то уж стараюсь! Захотелось ей пианино — я взял напрокат; сказала, что на окнах пусто, — я цветов купил; раз в неделю в театре бываем; товарищи приходят...

— Ну да вот, товарищи! — подхватила матушка. — Они все такие грубые, неотесанные, неумытые, скучные — разве это общество для Милочки?

— Грубые, зато честные, — отрезал Коробов.

— Этого у них ведь ни в каком патенте не прописано, что они честные; да, впрочем, в нынешнем свете, друг мой, что и честь, коли нечего есть!

— Вы, Ольга Романовна, говорите безнравственные вещи, и я бы вовсе не желал, чтобы это говорилось при жене моей.

— Покорнейше благодарю за замечание, в котором я, впрочем, не нуждаюсь, — сухо ответила матушка. — Милочка дочь моя, мое рождение, и потому сама я знаю, что мне следует и чего не следует говорить при ней. Я вовсе не хочу ссориться с вами, Валерьян Алексеевич, но как истинно любящая мать, по-дружески го-

ворю вам, что моя дочь скучает и что вам поэтому не мешало бы обратить несколько более внимания на ее развлечения. Ведь она так любит, так любит вас, как словно ангел какой небесный, и неужели же вы за всю любовь ее не захотите побаловать ее хоть немножко!

— Боже мой, да я рад! Я рад, я всю жизнь свою готов для нее! — воскликнул Коробов. — Но чем же? Чем могу я? Я готов все сделать, все исполнить, только скажите мне, что именно?

— Мало ли «что»! Помилуйте! У нас есть столько клубов, столько «семейных вечеров», артисты поют и читают, публика веселится, ужинает... наконец, маскарады... Я не говорю о катаньях на тройке — это, положим, пока еще дорого для вас, это со временем... Вы видите, что я, мать, вовсе не хочу, чтобы вы разорялись; я, голубчик мой, ведь вхожу тоже и в ваше положение; но, например, маскарады — это ведь не дорогого стоит, а между тем какое развлечение.

Коробов гонял как почтовая лошадь с одного урока на другой, с другого на третий, сидел за какими-то переводами для Цемшевой газеты и для книгопродавца Пархатова, корпел над какими-то корректурами, и все это для того, чтобы принести на пятый этаж, в маленькую двухкомнатную квартирку, к своей Милочке несколько лишних денег. А чуть только перепадали ей в руки эти деньги, она тотчас же летела в Гостиный двор и тратила их на разные тряпки; из тряпок мастерилась какая-нибудь принадлежность к наряду, а вечером наряд этот изящно облекал стройную фигуру Милочки — и Милочка в наемной карете ехала, в сопровождении своей матушки, в какой-нибудь клуб или собрание, где «артисты поют и читают» или где шныряют вовсе не интересные, но зато прожорливые маски.

Коробов не имел ни времени, ни охоты постоянно сопровождать супругу на все эти «развлечения». В те долгие часы, когда она плясала на каком-нибудь клубном «семейном вечере», он до одурения гнул спину над тяжелой «черной» и малоблагодарной работой. Неизменной и доброхотной спутницей Милочки во всех этих случаях являлась ее матушка.

— Милочка, я вот по газетам прочла, что послезавтра вечер в «Артистическом» — надо быть непременно, — говорила Ольга Романовна.

— Не знаю, мамаша... если деньги будут.

— Вот это мне нравится — «если будут»! — фыркала носом вверх матушка. — Должны быть!.. Скажи му-

жу, чтобы достал, — на то он и муж, слава тебе Господи! Он обязан работать! На кого же ему и потрудиться, если не на жену... Пусть по гостям меньше ходит и к себе не принимает, а больше сидит да работает! Ты бы, матушка, заставляла его.

— Я уж и то долблю ему, мамаша.

— Мало долбишь, друг мой, мало! У меня уж и то сердце порою ноет, глядя на твои лишения. Он все-таки лентяй у тебя препорядочный. Должен бы больше, гораздо больше зарабатывать! Да ты поверяешь ли его каждый раз, сколько он денег-то приносит?

— А то как же, мамаша! Каждый раз я сама от него все до копейки отбираю, а потом выдаю на табак и на все, что следует; да он, впрочем, и сам добровольно отдает мне все сполна — на это я пока не могу пожаловаться; он трудится изрядно, так что мне подчас и жаль немножко становится, что он все сидит да работает, а я без него все одна да одна ежу...

— Как одна! — фыркнула Ольга Романовна. — Ты, кажется, не одна, и не с кем-нибудь, а с родною матерью показываешься в свете. Каждый очень хорошо знает и понимает, что это вполне прилично, потому что мать родная свою дочь ни на что дурное никогда не наставит! А чем пустяки-то толковать, так ты лучше пентюху своему прикажи, чтобы к завтрашнему дню деньги непременно были! А если не достанет, так вот тебе мой прекрасный совет — уж это я тебе по опыту говорю — не подпускай его к себе ни на шаг, ни одной ласки, ни одного милого взгляда, ни одного слова; потом да помучь его хорошенько — благо, тебе это по хладнокровной натуре твоей ровно ничего не стоит; не бойся, как эдакую-то тактику с ним примешь — тотчас же достанет! Ихнего брата прежде всего никогда баловать не следует!

И Милочка мужа своего действительно никогда не баловала, но деньги тем не менее всегда являлись к ее услугам. Коробов самому себе отказывал во всем необходимом, ходил в заплатанных сапогах, в заштопанном платье, имея всего только две перемены белья, — зато жена его всегда была одета как куколка. Сила любви делала для него легким самый тяжелый труд, и ни одна жертва не казалась ему жертвою.

Когда же у него окончательно уже истощались деньги и не у кого было перехватить на время хоть несколько жалких рублишек, а Милочке с матушкой между тем непреклонно хотелось ехать в маскарад или в



собрание, то в этих случаях выручательницей из затруднительного положения всегда являлась сама же добрая и обязательная матушка. Она охотно ссужала Милочке несколько денег, но при этом непременно прибавляла:

— Вот, дружок мой, когда у тебя нет, я всегда охотно даже последним делюсь с тобою; а ты, когда ты будешь богата, — неужели ты тогда мать свою позабудешь?! Такую горячую мать! Ну, уж тогда тебе и по совести стыдно, и от Бога грех будет!

Милочка морщилась, но совестливым видом заявляла, что этого никогда не случится.

Однажды в очень скромной квартирке Коробова появился новый гость, который был знакомым уже собственно Людмилы Сергеевны.

Каким-то недобрым и тревожным предчувствием екнуло сердце Валерьяна Коробова, когда Милочка, рекомендуя, назвала ему имя и фамилию своего гостя.

Это был Платон Васильевич Вельтищев.

Коробов издали знал Вельтищева. Он несколько раз встречал его в редакции у Цемша. Вельтищев иногда приезжал к Цемшу в смысле очень важного, влиятельного по службе и по бирже человека, в смысле «деятели», который может иногда сообщить очень важные и самые свежие новости из мира административного и финансового. Вельтищев был «на виду» и очень успевал по службе, как современный «либеральный чиновник» хорошего тона, имеющий связи с редакцией «умеренно-либеральной газеты» и притом «отлично владеющий пером». Его «перо» и «связи с литературным органом» давали ему по службе вес и значение в глазах начальства, а его чиновность умножала его значение в глазах Цемша и его ближайших сотрудников. Затем как начальство, так и Цемш очень уважали Вельтищева — во-первых, за его деньги, которыми иногда первое пользовалось в виде займов, а второй в виде субсидий за поддержку какого-либо финансового предприятия, близко интересовавшегося собою Платона Васильевича; во-вторых, и начальство и Цемш уважали его за его «умение жить», за его обеды и ужины, которыми они пользовались часто и безвозмездно. Этот современно-либеральный чиновник, с его «пером», с его «умением жить», с его изящными манерами, успевал в свете, и по службе, и в Цемшевой литературе. Иногда он удостоивал газету Цемша своими заметками и даже передовыми статьями по вопросам административным, юридическим, социальным, земским и

финансовым; некоторые из его статей были ему даже «внушаемы свыше» — и Цемш особенно гордился редкими, но меткими и всегда прекрасно и либерально изложенными статьями Платона Васильевича.

Коробов видел иногда, как этот светски блестящий, богатый и либеральночиновный сотрудник с апломбом проходил прямо в кабинет Цемша и как Цемш встречал его с подобострастными рукопожатиями; но Вельтищев, с своей стороны, конечно, не мог заметить какого-то маленького и бедненького сотрудника, который корпел в уголке общесотрудничьей комнаты над какими-то газетами и статьями.

И вот теперь вдруг этот самый Вельтищев появляется в бедной квартирке Коробова, и Милочка развязно рекомендует его как своего нового, доброго знакомого.

Вельтищев случайно встретил ее на вечере в Купеческом клубе, куда заезжал повидаться по биржевому делу с одним «нужным человеком». Его поразила свежая и крайне своеобразная красота этой женщины. Он тотчас же навел справки — кто, мол, такая? Оказалось — «какая-то м-те Коробова, из разряда дам, часто посещающих клубы». Впрочем, Людмила Сергеевна, в сопровождении своей маменьки, всегда держала себя вполне прилично, и только в походке и манерах ее сказывалась та особенность (никогда почти не замечаемая у женщин высшего круга), которую ближе и вернее всего можно определить, назвав «изяществом и грацией актрисы». Несмотря на наряд, который был весьма скромнен сравнительно с роскошью и часто безвкусием других нарядов Купеческого клуба, Людмила Сергеевна все-таки выдавалась из сотни женщин и была очень эффектна. Вельтищев достаточно проследил за нею и нашел, что она «достойна его внимания». Найти случай тут же познакомиться с нею было для него вовсе не трудным делом, что он и не замедлил исполнить. Внимание, которое весь вечер оказывал ей Вельтищев, было слишком исключительно и потому заметно. Он попросил позволения быть у нее. Людмила, вспомнив свою квартиру, лестницу и пятый этаж, сначала было замялась и даже несколько сконфузилась, но матушка поспешила дать за нее полное и любезное согласие.

— Людмила, кажется, Бог тебе *случай* посылает! — внушительно и даже как будто с оттенком какого-то религиозного чувства заметила она дочери, возвращаясь домой в извозчичьей карете.

Вельтищев после первого визита стал довольно часто

заглядывать в квартирку Людмилы Сергеевны, выбирая по преимуществу то время, когда самого Коробова не было дома.

Валерьяну крайне не нравились эти посещения. Он стал дуться, делать жене сцены ревности и однажды выказал явную невежливость ее гостю. Застав его у жены, он вошел к ней в пальто и в шляпе, не ответил на любезный поклон Вельтищева, протянувшего ему руку, повернулся и вышел, хлопнув за собою дверь. Людмила Сергеевна очень сконфузилась и даже заплакала. Вельтищев стал утешать ее, а она начала жаловаться на свою жизнь, на мужа, на положение, на обстановку — вообще на все, на что обыкновенно жалуется женщина, ищущая себе утешителя.

Вельтищев, видя бедную обстановку ее обиталища и слыша эти горькие жалобы, попытался очень осторожно и деликатно предложить ей «взаймы» денежную помощь.

Людмила сначала сконфузилась и даже как будто испугалась этого предложения; но он не смутился и с дружескою откровенностью спросил — сколько ей нужно?

Она затруднилась ответом.

Тогда Вельтищев вынул и развернул перед нею свой туго набитый бумажник, приглашая ее своим ласковым, ободряющим взглядом брать смелее, не стесняясь и не конфузясь.

Она робко вытащила одну радужную бумажку.

— Берите больше — ведь это же пустяки! Разве сто рублей деньги? Берите столько, сколько вам надобно! — ласково и убедительно предлагал Вельтищев.

Людмила зацепнула пальчиками другую, третью бумажку и запнулась.

— Ну, ну?! ну?! еще! еще! смелее, мой друг, смелее! Не бойтесь, они не кусаются, — шутил Платон Васильевич. — Я счастлив, что могу оказать вам хоть маленькую услугу такую безделкой!

Людмила Сергеевна отхватила пять радужных, хотела было взять и шестую, но посовестилась, разочтя, что на первый раз это будет уже слишком. Она с жаркою благодарностью протянула Вельтищеву свою руку, к которой тот прильнул горячим поцелуем.

Тотчас же, вслед за его отъездом, поспешила счастливая Людмила Сергеевна к своей «мамаше» и вместе с нею покатила в Гостиный двор покупать себе многие и дорогие наряды и обновки.

— Милочка, это Бог тебе за мои теплые материн-

ские молитвы такое счастье посылает! — с чувством умиления высказывала дочке Ольга Романовна. — Нарочно съезжу ко Всех Скорбящих Радости и молебен отслужу Заступнице!.. Ты уж расщедришь, купи мне манчестеру на кофту — из эдаких-то денег можно бы для матери!..

Милочка охотно согласилась на это предложение.

— Вот благородный-то человек! — продолжала умиляться матушка. — Еще раньше всякого поощрения с твоей стороны, так сказать, ни за что ни про что — и вдруг сам предлагает эдакие деньги! Да ты, дурочка, мало взяла! И чего тут совеститься? Бери, благо предлагают!.. Ну, скажи мне, однако, как он тебе нравится?

— Да никак, — пожалась гримаской в лице Людмила Сергеевна.

— Ну нет, однако; такой видный, красивый мужчина — и вдруг «никак»! Этого быть не может!

— Мне нравится в нем то, что он всегда так чисто, элегантно, с таким изящным вкусом одет! — вполне искренно заявила Милочка.

— Ну, конечно, со вкусом! На то он и богатый!.. Но нет, как мужчина... как мужчина! — закатив глазки и вздернув нос, мечтательно выводила нараспев Ольга Романовна. — Такой бельом<sup>1</sup>, такой представительный, с такими бархатными глазами?.. Н-да!.. Если бы мне в жизни встретился такой человек, я бы, несмотря даже на мои годы, могла бы страстно, страстно полюбить его и увлечься напропалую! — заключила она каким-то развратно-сентиментальным вздохом.

— Признаюсь, я не понимаю того, что вы говорите, — пожалла плечами Милочка. — Я вообще не понимаю, что это такое значит «страстное увлечение», «страстная любовь». Когда я слышу об этом или в романах читаю — мне кажется, что все это величайший вздор и враки.

— Ах нет, мой друг, не говори!.. Я по себе знаю! Это так натурально! — вступилась за страсть Ольга Романовна.

— Ну, вот вы знаете, а я хоть и ваша дочка, но признаюсь — вовсе не понимаю этих ваших потребностей... Мне всякая эдакая страсть и в мужчине, и в женщине противна! Ну просто гадка и противна до глубины души моей!

---

<sup>1</sup> красавец-мужчина (от фр. *bel homme*).

— Да ты у меня ледышка, льдинки кусочек! — нежно потрепала ее по щечке матушка. — Хорошо, что у тебя натура такая, но все же... ведь придется, мой ангел...

— Это совсем другое дело. Я понимаю, что их можно и должно увлекать, но самой увлекаться, самой желать в то же время — это решительно не в моей натуре! — искренно порешила Милочка.

Мать пораздумала над ее словами и в глубине души своей созналась, что дочка права, что действительно только с такою глубоко бесстрастной, холоднокровной натурой, никогда не ощущающей ни малейшей потребности в любви и ее увлечениях, только и возможен видный успех и карьера на том скользком поприще, на которое теперь готовилась выступить ее возлюбленная дочка.

Затем дело пошло по естественному своему ходу, как салазки, пущенные с ледяной горы. Вельтищеву надоело соображать свои посещения со временем отсутствия Коробова, а убедить Милочку окончательно бросить мужа не стоило ровно никакого труда — и вот в один прекрасный день, написав мужу, что, предоставляя ему полную свободу, она переезжает на новую квартиру, где намерена жить одна, Людмила Сергеевна со всеми своими тряпками и нарядами перебралась в небольшие, но роскошно отделанные «апартаменты» в Дмитровском переулке.

— Ах, как это все прекрасно! Как это все великолепно! Прелесть!.. И с каким вкусом!.. Восторг! — восхищалась мамаша, оглядывая драпировки, мебель, картины, ковры и бронзы. — Видно, по крайней мере, что порядочный человек, а не технологишка какой-нибудь несчастный! Вот это подлинно что квартира, достойная моей Милочки! Теперь и принять кого, так несовестно в глаза глядеть, как в том-то чуланишке!.. Но скажи, пожалуйста, — перебила она самое себя, впадая в деловой тон, — как же ты теперь с мужем-то?

— Я с ним кончила, — объявила Людмила Сергеевна.

— То есть как это кончила? Пустила на все на четыре стороны?

— Хоть куда угодно!

— Ну, извини, мой друг, а я, по материнской откровенности, скажу, что это глупо! Как?! Так-таки ни за что ни про что взять да и выпустить человека на волю: гуляйте, мол, где благоугодно! Да ведь он тебе,

матушка, не любовник, а муж, понимаешь ли: муж, законный муж твой!

— Ну, так что же из этого? — недоуменно подняла на нее глаза свои Милочка.

— Ах, мой друг, ты меня просто поражаешь иногда своею непрактичностью и несообразительностью! — всплеснула руками Ольга Романовна. — Да пойми же ты наконец, что всякий законный муж обязан по закону выдавать жене своей содержание, ежемесячное содержание! Так и в законе положено!

Милочка с пренебрежительной гримаской махнула рукой.

— Велико содержание может он дать! — сказала она. — Гроши какие-нибудь! Да и на что мне оно теперь?

— Как на что! Как на что?! Хоть и гроши, а все-таки годится! Все, мой друг, годится! Хоть на моток ниток, хоть на керосин в кухню! Ты ведь женщина — самой себе неоткуда взять и заработать, так по неволе должна все из чужих рук смотреть! А ты вдруг от своего, от законного отказываешься! Это совсем уже глупо!

— Ну, Господь с ним! Не надо мне его денег!

— Не надо? Глупо, глупо и глупо! — фыркнула носом вверх Ольга Романовна. — Если хочешь быть панишкой и послушаться доброго материнского совета, так я тебе одно скажу: копи на старость, копи! А для того, чтобы скопить хоть сколько-нибудь, бери!.. бери не церемонясь!.. Дери и с мужа, дери и с любовника! Нечего их жалеть да в зубы-то глядеть им. С обоих тяни! Оба давать тебе обязаны.

## VIII

### В ВЕРНЫХ РУКАХ

К этой-то нежной маменьке ехала теперь, в два часа ночи, Людмила Сергеевна, захватив с собою свою драгоценную ношу.

Ольга Романовна уже спала. Она очень изумилась и даже перепугалась, увидев свою дочь, вошедшую к ней в столь необычное время.

— Милочка! так поздно... Да ты на себя не похожа!.. Уж не случилось ли, сохрани Боже, несчастья какого? — залепетала она, меряя встревоженным взглядом Людмилу.

— Напротив, счастье, — спокойно ответила та с легкой улыбкой.

— Счастье... ты говоришь, счастье... Ничего не понимаю... где? зачем?... какое счастье? — говорила матушка, хлопая сонными глазами.

— Тсс... прежде всего молчите: не ахайте, не восклицайте, не изумляйтесь и слушайтесь меня.

Людмила при этом осмотрелась и тихо, но тщательно затворила дверь спальни комнаты.

— Мамаша, могу ли я на вас положиться?

Ольга Романовна, видя столь загадочное поведение дочери, окончательно отказалась понимать ее действия и намерения.

— Я вас спрашиваю, могу ли я вполне положиться на вас, довериться вам, мамаша?

— То есть как это положиться?... Конечно... Смотря по тому, как, в чем... ежели, впрочем, как долг... или денег надо, то теперь я решительно не в состоянии... сама нуждаюсь... но ежели что другое, то конечно... ты знаешь мои материнские чувства... я всегда была тебе другом-матерью.

— Вот на дружбу-то я и рассчитываю. Ведь вы не продадите меня? — спросила Людмила быстро и решительно.

— Господи! Что такое ты это говоришь!.. Я, кажется, всегда тебе только одного добра желала, и все молитвы мои к тому были направлены...

— Ну вот, по молитвам-то, видно, и исполнилось! — шутя перебила ее Людмила. — Вы знаете, что я теперь очень, очень богата!

— Я знаю это, потому, конечно, Платон Васильевич такой благородный человек, что он всегда должен обеспечить тебя. Этого надо было ожидать.

— Тут не Платон Васильевич! — полупрезрительно усмехнулась Людмила. — Я сама себя обеспечила.

Мать опять перестала понимать ее слова и только, глядя на нее, хлопала глазами.

— Мамаша, что бы вы сказали, — начала не то шутя, не то серьезно Людмила, — что бы вы делали, если бы ваша дочь приехала к вам и привезла с собою много... много, очень много денег?

— А как много? — оживилась матушка.

— Да тысяч около пятисот, например.

— Пятьсот тысяч?! Я бы сказала, что ты врешь. Этого быть не может! Шутка сказать — пятьсот тысяч!

— А если бы я вам показала их?

— Я бы не поверила.

— Поверили бы, когда б сами увидели собственными глазами?

— Милочка... да что это ты морочишь меня!.. — затревожилась Ольга Романовна. — Что это ты, право, после ужина, что ли, приехала ко мне?.. Я даже не понимаю тебя...

— Вы отвечайте на мой вопрос: что бы вы сделали, если бы сами увидели? — настойчиво повторила Людмила.

— Что бы я сделала... — пожала матушка плечами. — Ну, конечно, спросила бы тебя, откуда ты взяла такие деньги?

— А если бы вот именно на этот-то самый вопрос я бы вам и не ответила?

— Так что же ты в таком случае...

Матушка запнулась и продолжала недоверчиво глядеть на нее с возрастающим изумлением.

— В таком случае, значит, ты их украла?

Людмила слегка рассмеялась.

— А если бы и украла? — загадочно пошутила она.

— Людмила! да что это ты только тревожишь меня своими выдумками! — взволнованно и с неудовольствием заговорила Ольга Романовна. — Ты, кажется, знаешь — я женщина нервная, которой нужен покой, а ты меня по ночам морочить приезжаешь!

— Да кто же вам сказал, что я вас морочу? — серьезно вступилась за себя Людмила.

— Не морочишь?.. Так что ж ты, в самом деле украла?

Ольга Романовна, в ожидании ее ответа, ощущая какое-то странное чувство, похожее на страх и на алчное удовольствие, даже поднялась с постели.

— Украсть... не то чтобы украла, — улыбнулась Людмила, — а так... как бы это вам сказать?.. ну, просто решилась, для достижения моих собственных целей, воспользоваться на время чужими деньгами.

— Какие ж это деньги? — тревожно спросила матушка.

— Краденые, — спокойно ответила дочка.

— Тобою?!

— Нет, не мною, я только воспользовалась крадеными деньгами.

— Но кто же украл их?

— Этого я вам сказать не могу.

— А вор-то знает, что ты ими воспользовалась?



— Нет, и вор этого не знает, да и никто в мире не знает и никогда не узнает этого!

— Так вор-то это, значит, ты, милочка!

Людмила вспыхнула краской достоинства и негодования.

— За кого вы меня принимаете, мамаша?.. Как вам не совестно!.. Вы оскорбляете меня...

— Тьфу!.. сам черт тебя не разберет! — с досадой плюнула матушка и, вздев на ноги туфли, в волнении заходила по комнате.

— Понимаете ли, в чем дело, — продолжала Людмила. — краденые деньги помимо моего ведома и воли были привезены в мою квартиру и спрятаны у меня тем человеком, который их украл. Понятно?

— Ну, положим, понятно. Значит, они привезены к тебе на хранение?

— Вроде этого, только без всякого документа с моей стороны и без всякого объяснения, что привезены именно деньги. Понятно?

— Понятно, мой ангел. Но как же ты-то узнала, что это деньги, и притом краденые?

— Это уже дело моей находчивости, только я знаю, что деньги эти нечистые и что вор ни в каком случае не станет поднимать против меня дела, если бы даже и был убежден, что я ими воспользовалась, и, во всяком случае, вор теперь в моих руках: что захочу, то с ним и сделаю! Понятно?

— Понятно, понятно, моя дочушка! как не понятно! — радостно умилилась растаявшая матушка. — Эдакие деньги! — шутка ли, пятьсот тысяч! Да я бы, кажется, и сама украла, подвернись мне случай такой! Ведь это не пять рублей! За такой-то куш можно и грех на душу принять. Да и грех ли? Ведь уж это именно, что как бы сам Бог посылает на счастье бедному человеку... Но что же именно ты намереваешься теперь делать, Людмилчик?

— Обо мне не беспокойтесь, у меня — ух какие обширные планы, верные и хорошие планы! — как-то загадочно и вместе самонадеянно ответила Людмила, давая чувствовать вескость и значение своих предположений и мыслей.

— Да ведь матери-то можно сказать, мой ангел; я тебе не чужой человек, а кровная.

— Погодите, скажу и вам, как придет время. Вы, конечно, одна только в мире и будете посвящены в мои планы; больше никто не узнает.

— Благодарю тебя, Людмилыч! Как мать и как друг, благодарю! Но только, чур, с условием! — спохватилась Ольга Романовна. — Я во всем тебе верный помощник, а ты можешь рассчитывать на меня как на каменную скалу; но ежели, сохрани Боже, дело какими ни на есть судьбами дойдет до суда, то чтобы я первым долгом была в стороне: и знать не знаю, и ведать не ведаю! Ты меня отстрани и не путай. Это и от Бога грех тебе будет — родную мать свою запутать!

— Да что это вы, маменька! — с благородным негодованием отозвалась Людмила.

— Нет, я только к тому это, мой ангел, говорю, — поспешила объясниться матушка, — что суд, видя твою молодость и красоту, может тебя и оправдать, и потому тебе нечего особенно страшиться, а я уже не молода, и красоту мою потеряла, и, значит, менее могу рассчитывать на снисхождение, я это к тому только... И, во всяком случае, станут меня таскать, беспокоить, а я женщина слабая и нервная, и это мне будет тяжело; поэтому ты уж как знаешь, а только меня обязана выгородить, а иначе я хоть сию минуту от всего отказываюсь! Я вед не корыстолюбива и чужого не желаю, а единственно только по горячей любви моей к тебе...

— Да успокойтесь, ни в какой суд ни меня, ни вас не потянут, — с маленькой досадой возразила дочка. — Вы, кажется, и в самом деле вообразили себе, что я мошенница, воровка и вас приглашаю воровать с собою вместе. Хорошие у вас обо мне понятия, нечего сказать! Могу только благодарить... Вы забываете, что на нас прежде всего некому жаловаться, — горячо принялась убеждать Людмила, — что тот, кто бы мог это сделать, должен при этом погубить самого себя и что, кроме вас, никто ничего не знает и не подозревает, и наконец... наконец, единственный человек, который может пожаловаться и поднять все дело — это я, сама я и никто более! Довольно ли с вас этого?

Матушка поспешила обнять и расцеловать свою дочку. Этим пассажем она как бы спрашивала себе у нее прощенья и примиренья.

— Друг ты мой! Людмилыч мой! — нежно и умиленно приговаривала она среди объятий и поцелуев. — Ты моя единственная радость, единственное утешение, посланное мне Богом на старость!.. И чего я только для тебя не сделаю!..

— Ну, так вот что, мамаша, — серьезно остановила Людмила поток ее нежностей. — Спрячьте эти деньги

до времени у себя; но спрячьте так, чтобы, кроме меня да вас, ни единая душа в мире не знала, что они у нас есть, и не подозревала бы, где они спрятаны. Если вы сумеете сохранить верно и честно мою тайну, то и мне, и вам очень хорошо будет в жизни... очень, очень хорошо, мамаша! — подразнила и обнадежила ее в заключение Милочка перспективой заманчивого будущего.

— Я готова все для тебя! — еще раз подтвердила матушка. — Я все сделаю и уверена, что ты не оставишь, не забудешь меня при эдаком богатстве... Тебе не грех будет обеспечить вполне мою старость... Я многого, конечно, не желаю, но ты, за всю мою любовь к тебе, да и вот хоть бы за нынешние мои услуги, — должна поделиться с матерью: это тебе Бог да и совесть велит, если ты христианка и хорошая дочка.

Людмила горячо обнадежила ее в отношении вознаграждения за услуги и передала с рук на руки свою полновесную пачку.

У экс-балерины при виде такой массы денежных бумаг разгорелись глаза и задрожали руки.

— И это всё деньги?.. — взволнованно воскликнула она, с восторгом и недоверием вместе. — Милочка! ангел мой! Неужели всё, всё это деньги?!

— Да разве вы сами не видите, мамаша? — улыбнулась Людмила.

— Вижу, друг мой, вижу и ощущаю, но ни глазам, ни рукам своим не верю... И это все будет наше!.. Наше!.. Господи!.. Милочка, я их при себе спрячу: я сделаю на них кожаный мешок, прочный эдакий, крепкий, и на ремнях буду вокруг стана при себе носить... даже на ночь снимать не буду... а то, Боже сохрани, как это можно в комодке сохранять эдакую пропасть!.. Тут уйдешь из дому, а тут неравно пожар или воры... Нет, уж на себе самой вернее: всегда и везде при себе будут... Ах, Боже мой, я теперь просто всю ночь не усну над ними... бояться буду... караулить буду... Но зато ты у меня можешь быть покойна: у меня, мой друг, верные руки!

— Только постойте! — перебила ее Людмила. — Мне тут кое-что надо еще вынуть... Вы не беспокойтесь: это пустяки, это совсем постороннее, — предупредила она свою матушку и, отыскав между бумагами магазинный счет на имя Ирины Борисовны и опись денежных сумм, писанную рукою покойного Вельтищева, бережно спрятала их к себе под корсет и стала одеваться.

— Ты уж домой? — осведомилась матушка, видя ее

сборы. — Ну, прощай, моя красавица! Подойди ко мне, дай я тебя благословлю и поцелую. Господь с тобою!

И она, не выпуская из левой руки денежной пачки, которую крепко прижала к сердцу, благоговейно стала крестить свою Милочку, бормоча какие-то молитвенные призывания и пожелания, и засим наделила ее на прощанье нежным родительским поцелуем.

## IX

### ИРИНА ВЕЛЬТИЩЕВА

Ирина Борисовна Вельтищева провела страшные, мучительные полтора часа после той минуты, как покинул ее cousin Platon, захватив ее кожаную сумку. Она сознавала, что страшное дело уже совершилось бесповоротно, окончательно и нет уже на земле такой силы, которая могла бы поправить это роковое дело. Она сознавала, что всего лишь несколько шагов, какие-нибудь три-четыре комнаты — отделяют ее от кабинета, в котором лежит ее мертвый муж, — и это сознание веяло на нее страшным холодом. Закутанная в теплый кашемировый платок, она, свернувшись, лежала на кушетке, стараясь прикрыть уши и зажмурить глаза. Она боялась пошевелиться, боялась раскрыть свои веки. Ей все казалось, что она не одна, что здесь кто-то есть, кто-то присутствует, неслышимый и незримый, но которого присутствие ясно ею чувствуется. «Это он... это дух его стоит надо мною», — смутно мелькала в голове ее все одна и та же неотвязная мысль. Казалось ей, что — открой она прикрытое ухо — он тотчас же шепнет в него какое-то страшное слово; раскрой она глаза — ее зрению предстанет где-нибудь в углу, в полумраке этой комнаты, укоряющий призрак мужа; пошелохнись она только — и ее сразу охватят его холодные мертвые объятия. Малейший шорох, чуть слышный скрип, чуть заметный треск мебели или паркетной половицы или вообще один из тех странных, почти необъяснимых легких звуков, которые часто слышатся в глубокой тишине, соединенной с темнотою, — повергал Ирину Вельтищеву в трепет панического ужаса. При каждом подобном звуке сердце ее вдруг падало и замирало, по телу электрическим током пробегали нервные мурашки, и вся она холодела в оцепенении безотчетного страха. «Это он... это дух его», — чудилось ей в каждом шорохе и скрипе.

Странное дело! Когда Платон Васильевич убеждал ее, что «старца» надо покончить, — ей эта мысль не казалась особенно страшною; даже сегодня за обедом, зная, что это должно совершиться сейчас, она оставалась спокойною; мысль о насильственной смерти до сей минуты вовсе не рисовалась ей во всем своем ужасе, да и притом же в ней смутно жила какая-то странная надежда, что авось это и не совершится или совершится как-нибудь не так, что никаких особенных последствий ни для ее сердца, ни для ее совести не принесет эта смерть с собою. Вообще к предстоящему делу относилась она так легко, как будто это будет не настоящая смерть, а одна только комедия смерти и преступления, после чего все окончится благополучно и все актеры останутся на своих местах, при своем деле и спокойно разъедутся по домам, позабыв о том трагическом спектакле, который они только что разыграли на сценических подмостках. Ирина Борисовна, слушая своего кузена, относилась к его намерениям именно как к сценическому представлению, которое хотя и разыграется, но в сущности ничего не изменит, ничего не нарушит. Ей и верилось, и не верилось, и вообще она относилась очень легко к предстоящему делу, а главное — вовсе не задавалась мыслью о той роли, которая выпадет собственно на ее долю в предстоящей драме.

Но теперь, когда главный акт пьесы был уже разыгран, когда дело безвозвратно уже совершилось, — ей вдруг представился весь факт во всем ужасе и наготе своего безобразия. И именно только теперь, только в минуту, как вошел к ней любовник, совершивший убийство, она почувствовала и сознала все тяжкое значение совершенного.

\* \* \*

Но как и почему согласилась она быть участницей такого дела?

Чтоб разъяснить этот вопрос, мы должны вернуться назад, года за два, за три до дня насильственной смерти «старца».

Покойник был человек хороший, муж добрый и любящий, но крайне своеобразный. «Неприкосновенные» триста тысяч он понемногу скопил на тот именно случай, чтобы по смерти оставить своей жене обеспеченное и хорошее состояние. Детей у них никогда не было, а потому он и хотел сделать Ирину Борисовну единствен-

ною своею наследницей. Духовное завещание, уже несколько лет составленное в ее пользу, было засвидетельствовано и обставлено всеми формальностями, которых требует закон, так что ни в каком случае не могло возникнуть сомнений в его подлинности.

Покойник очень любил Ирину Борисовну, но никогда никаким внешним проявлением не обнаруживал своего чувства и никогда, кажись, не относился к жене своей как к взрослому и самостоятельному человеку. Смотри на нее вроде как на ребенка и не признавая в ней особенного ума, он требовал от нее только, чтобы она держала себя в обществе, «как прилично жене Вельтищева», — и Ирина Борисовна в совершенстве применялась к этому требованию.

В доме своем, как хозяйка, она не имела ровно никакого самостоятельного значения: Максим Григорьевич сам заправлял всем домом, рассчитывал людей, рассчитывал повара и выдавал деньги на все хозяйственные расходы. Если Ирине Борисовне хотелось иногда прокатиться и она приказывала заложить в коляску пару серых, то человек, прежде чем исполнить ее приказание, шел к барину «докладывать» о желании барыни и спрашивал: «Прикажете-с именно серых или вороную пару?» — и Максим Григорьевич, осведомясь от того же человека о состоянии погоды и здоровья барыни, иногда разрешал, а иногда и не разрешал ей катанье, говоря в последнем случае: «Передай барыне, что она не поедет нынче», — и барыня оставалась дома, без всяких дальнейших разговоров и объяснений по поводу причин отказа: покойник не любил никому давать отчет в своих распоряжениях. Точно так же по его прихоти, вместо серых, которых желала барыня, запрягались вороны, которых она не желала, и Максим Григорьевич никогда не удостоивал разъяснить ей, что серых потому-де не приказал я закладывать, что они вчера много были в езде. По таким-то мелочам, одну из которых мы привели для примера, можно судить, какова и во всем остальном была жизнь ее в смысле хозяйки. Прислуга оказывала ей полное внимание и уважение, ибо за малейший недостаток того или другого барин тотчас же прогнал бы эту прислугу без всяких разговоров, но, показывая ей и то и другое, прислуга все-таки не смела исполнить даже малейшей ее прихоти, не осведомясь предварительно у барина: «можно ли» и «как прикажете-с?». Таков уж был порядок, искони заведенный в доме.

К числу своеобычностей покойника принадлежала еще и та особенность, что он никогда во всю свою жизнь не выдавал жене своей на руки буквально ни копейки денег. В прежние годы, когда она еще иногда заявляла ему желание иметь свои отдельные, хотя бы маленькие, деньги, он ей очень категорически отвечал: «Незачем тебе иметь их. Деньги не бабье дело. Я, кажется, плачу всегда самым аккуратнейшим образом по всем твоим магазинным счетам и никогда не препятствую тебе наряжаться сколько душе твоей угодно».

— Но помилуй, Макс, — возражала Ирина Борисовна, — мне иногда хотелось бы случайно купить себе какую-нибудь безделку в лавке, ну хоть фунт конфет, ну хоть нищему подать, наконец, — и я даже на это не имею своей копейки!

— Во-первых, — возражал на это супруг, — если тебе понравилась какая безделка, ты всегда можешь приказать в магазине, чтобы тебе ее принесли на дом, во-вторых, за фунтом конфет ты всегда можешь послать в кондитерскую буфетчика или рассыльного, а я ему выдам деньги не то что на фунт, а на сорок фунтов, если только тебе это угодно, и наконец, в-третьих, подавать по копейке — значит, развивать в народе попрошайничество и нищенство как ремесло, а если ты встретила действительно бедного, то прикажи ему приходить в мою контору ежемесячно — ты, кажется, знаешь, что я через контору выдаю ежемесячно пособие очень многим семействам: тысяча двести рублей в год идет у меня исключительно на это дело, — и, стало быть, желание твое иметь карманные деньги совершенно неосновательно; это — чистое ребячество, ты во всем обеспечена. Когда умру я, — прибавлял в заключение Максим Григорьевич, — то все мои деньги тебе же оставляю, но ты тогда уже, благодаря моей школе, узнаешь, по крайней мере, *цену денег* и не станешь тратить их непроизводительно.

При второй и при третьей просьбе этого рода Ирина Борисовна получала один и тот же ответ: «Ты уже знаешь мое мнение на этот счет: деньги у жены при муже не бабье дело, и я не люблю несколько раз повторять одно и то же; постарайся, мой друг, понять это».

После таких ответов она уже никогда более не возбуждала вопроса о карманных деньгах и, чтобы иметь их, вынуждена была тайком, через посредство своей горничной, изредка прибегать к продаже старых своих нарядов в руки перекупщиц-евреек и татарок.

Театры для Ирины Борисовны были вполне доступны: для этого ей стоило только заявить о своем желании мужу — и лучшая ложа бельэтажа всегда являлась к ее услугам; но ехать в театр она могла не иначе как в сопровождении мужа или кузена с кем-нибудь из доверенных его родственников. В свете показывалась она очень редко и не иначе как с мужем. Впрочем, круг его знакомства был весьма ограничен: несколько крупных капиталистов и крупных представителей мира административно-правительственного — люди исключительно солидного возраста, солидной жизни и положения — составляли то общество, для которого радушно открывались столовая и салон богатого дома Максима Григорьевича. Балов он не любил и никогда ни сам их не давал, ни к другим не ездил. «Лишняя, бесполезная и скучная потеря времени», — отзывался он о развлечениях этого рода. Зато любил он «для избранных» задавать обеды — и эти обеды действительно отличались у него всегда высшим гастрономическим достоинством. Дом его был закрыт для молодежи мужского пола: он тщательно и систематически избегал знакомств с «шалопаями, которые только и норовят за чужими женами таскаться», — и Ирина Борисовна, зная взгляд на сей предмет своего мужа, никогда не дерзала пригласить к себе в дом ни одного молодого человека. Выбор ее знакомств исключительно зависел от мужа и потому был крайне ограничен. Один только Платон Васильевич составлял исключение, но и то потому, что «старец» привык к нему, как к ближайшему своему родственнику, которому он был опекуном, а ныне компаньоном и на которого, в силу старой привычки, до конца своей жизни продолжал глядеть почти как на мальчика, на «миллого Платошу». Нельзя сказать, чтобы ревность была сколько-нибудь присуща ровному, спокойному и хладнокровному характеру Максима Григорьевича; но он принял относительно жены такое, по-видимому, ревниво оберегающее положение на основании все той же своей систематичности: «потому что жен вообще следует вести именно таким, а не иным каким-либо образом». «Так следует», «так быть должно у порядочного мужа и семьянина» — и этим у него все объяснялось. Он был ровно настолько же последователен, точен, аккуратен и систематичен в своих супружеских обязанностях, как и в своих делах, как и в расплатах по своим коммерческим обязательствам. Он всю жизнь свою во всех своих потребностях следовал «золотой умеренности», несколько



не соображаясь в последнем случае с темпераментом своей супруги, и по принципу хранил ей вечную и безусловную верность.

Раз заведенный в доме порядок, раз установившиеся отношения к жене и ко всему окружающему оставались у него неизменными. *Сегодня походило на вчера, а вчера на завтра* — и таким-то образом вся жизнь и весь обиход этого своеобразного человека шли точно и аккуратно, как верные часы, как заведенная исправная машина. Раз навсегда установив у себя «все, как следует», Максим Григорьевич словно бы застыл на этом и отдался исключительно, всею душою своим коммерческим предприятиям. В них — и только в них — была его жизнь, его душа; сюда направлялась его мысль и вся его некипучая и прочная энергия. Зная, что все в доме идет как заведенная машина, что все устроено «как быть ему следует», он на жену, и на весь дом, и на все окружающее обращал внимание свое ровно настолько, насколько, во-первых, это «было нужно» по его собственным убеждениям, а во-вторых — насколько все это само заявляло ему о своих требованиях и о своем существовании.

Ему, например, некогда было следить, что делает и чем занимается его жена; но он, казалось ему, знал в точности все, что она *может* и что *должна* делать, ибо, в силу заведенного порядка, она ничего иного и не могла, как только то, что было разрешено и введено силою установленного им обихода.

Действительно, оно так и было, так и велось — до последних двух лет его жизни.

Подобного рода монотонное и подневольное существование было невыносимо скучно и тяжело для страстной, живой и пылкой натуры Ирины Борисовны.

Она проскучала всю свою лучшую, цветущую пору, всю свою молодость, скучала в зрелые свои годы, приготавливалась скучать и на старости. Она еще ни разу не любила в своей жизни, да и замуж вышла не любя, а «по рассудку», потому что ее близкие и родные убеждали ее, что ей, девушке без состояния, глупо пренебрегать столь блестящею партией, которая даст ей блеск богатства и солидное положение в свете.

Характер у нее был живой, но слабый, и потому все протесты ее противу такого скучного, бесцветного существования разбивались как волны о гранитный утес — встречаясь с непреклонно холодной и спокойно крутою волей ее мужа. Мало-помалу она, с первых же дней

супружеской жизни, незаметно как-то подчинилась воле этого человека и не имела энергии вырваться из-под его тяготения. Да говоря по правде, ей и некуда было вырываться: она ровно ни к чему не была приготовлена для настоящей, серьезной и самостоятельной жизни. А между тем в глубине души ее таилось желание воли, свободы и хоть какой-нибудь поэзии, какой-нибудь светлой странички в жизни!

Но... проходили годы, а заветная страничка не подвertyвалась, и над существованием ее царила все та же беспросветно гнетущая, сытая, позлащенная и аккуратнo монотонная скука.

Она чувствовала, что начинает уже блекнуть, и хотя все еще сохраняла свою красоту, но это была уже красота поздней осенней астры... Ей стукнуло тридцать шесть лет — роковой период для красивой женщины — период увядания.

«Как! неужели же и вся, вся жизнь пройдет вот так-то! — с горечью думала себе порою Ирина Борисовна, сидя перед зеркалом за утренним своим туалетом. — И никто никогда не полюбуется ни этою роскошною грудью, ни этою черной косою... и неужели эти яркие глаза ни на кого не посмотрят с любовью, эти красивые руки никого не обнимут, не приласкают так, как хотелось бы по душе, по сердцу... Неужели же? Господи! Неужели мне не суждено столкнуться с человеком, которого я полюбила бы хоть раз — единственный раз в моей жизни?»

С течением времени накоплялись горечь и яд подобных сетующих дум и неудовлетворенных стремлений, а вместе с горечью выросло в душе тайное озлобление на мужа, «загубившего» все ее лучшие годы, и это озлобление незаметно и мало-помалу переходило в глухую, скрытую ненависть к этому человеку. Ненависть становилась тем сильнее, что несчастная по-своему женщина чувствовала полное бессилие этого нового чувства. А между тем муж ни на волос не замечал того, что творится в ее душе, и, занимаясь своими делами, продолжал по-прежнему любить своеобычную любовью.

Но вот злая судьба как будто сжалилась немного над Ириной Борисовной.

Ее cousin Вельтищев, в силу одного из своенравных капризов, на которые была так способна его натура, избалованная и развращенная жизнью, начал оказывать ей несколько более чем простое родственное внимание. Первою причиной этого внимания послужило довольно

низменное и развратное побуждение. Однажды, в жаркий июльский день, сидя на дачной террасе подле своей кухни, которая была одета в легкое платье с широкими рукавами, он совершенно случайно обратил внимание на ее случайно обнажившуюся руку и нашел, что у нее «славное, свежее тело». «Черт возьми, я никогда еще не испытывал любовь женщины этого возраста! — подумалось ему в то мгновение. — А ведь она все еще очень хороша собою... Между прочим, почему не начать бы?»

И он начал.

Родственная короткость отношений, существовавшая и до этой минуты, как нельзя более послужила ему на пользу. Она, во-первых, позволяла те полушутливые, полусантиментальные интимности, которые с первой же минуты его искательств были бы невозможны без этой родственной короткости; во-вторых, она маскировала истину завязывавшейся интриги, и прежде всего маскировала ее в глазах Максима Григорьевича, который при своем вечном отвлечении в финансовую сферу ничего не видел, ничего не подозревал и ни о чем не догадывался до последней минуты своей жизни.

Постепенный ход и развитие интимных отношений к кузену вначале ускользали даже и от женского чутья самой Ирины Борисовны, от ее внутренней наблюдательности над собственным сердцем. Она и сама не знала и не замечала, как все это делалось, как и с чего оно началось, как подвигалось далее, росло, развивалось... «Родственная короткость» и вообще понятие «родства» даже ей самой отводило глаза от истины; она и сама не понимала вначале того, что составляло скрытую сущность искательств ее кузена, и очнулась, догадавшись об истине, только тогда уже, когда сильные руки Платона Вельтищева внезапно охватили и сжали ее стан и горячие губы покрывали все лицо ее страстными поцелуями.

Она испугалась этого внезапного и наглого нападения. В ней заговорил и женский стыд, и негодование, и чувство своего достоинства, но при всем этом она ничем не выразила Вельтищеву своего протеста; она не дала ему ни пощечины, ни назвала его тем именем, каким бы назвать его следовало, не прибегла к помощи глупого, но решительного средства, каким является крик, не сказала мужу, даже не выгнала его вон от себя, — перепуганная и ошеломленная, она только слабо отбивалась от его нападения и, когда наконец удалось ей вырваться из его объятий, — надулась на него несколько глупым и совершенно пассивным образом.

Вельтищев считал, что начало сделано удачно, и это пассивное дутье причислил к хорошим шансам будущего успеха.

Оставшись одна, Ирина Борисовна даже самой себе удивилась, когда заметила, что теперь она вовсе не сердится на своего кузена, «а уж как бы, кажись, не сердиться за такое оскорбление?». Но отчего это и зачем он так поступил с нею? «Затем, что любит, — подшепнуло ей чувство исключительно женского самолюбия. — Любит!.. да, любит!» — и это сознание очень приятно пощекотало и ее сердце, и ее самолюбие.

Ей было страшно, боязно, стыдно и в то же время безотчетно приятно, что он сжимает ее в своих объятиях и что она чувствует на своем лице его поцелуи. Ощущение этой минуты она проверила в своей душе только теперь, после его ухода. И страшно, и хорошо — отчего бы это?

«Оттого, что ты сама любишь его, — шепнуло ей сердце, — оттого-то ты и не сердишься на него больше; оттого и оскорбления никакого не чувствуешь».

Это было в некотором роде открытие для Ирины Борисовны — открытие, сделанное ею в своем собственном сердце, потому что до этой минуты она и сама не сознавала, что в ее душе таится теплое чувство, Бог весть как и когда зародившееся. Теперь же она только назвала, определила, сформулировала его в собственном сознании.

На душе ее вдруг просветлело, и сердце забилося, жаждая жизни и жизни — больше, полнее, созвучнее!

Она нашла наконец ту искорку поэзии, ту цветистую страничку в монотонной и серой повести своей жизни, о которых доселе скрытно и тщетно мечтала.

Она полюбила только еще впервые на своем веку, уже достаточно прожитом.

На следующий день Платон Вельтищев, не зная еще, как она его встретит после вчерашней сцены, вошел к ней, однако, в силу присущей ему наглости, уже как человек, имеющий над нею нравственное право.

Она встретила его полуробко, полусмущенно. Рука ее слегка дрожала, но тепло и сочувственно ответила на его пожатие, а взор хотя и избегал встречи с его глазами, однако же скользнул по нему приветливо, ласково, и даже сверкнула в нем мгновенная искорка радости и удовольствия, возбужденных приходом этого человека.

Вельтищев, заметив все это, сразу же понял, что его ждали и желали.

С этой минуты внутренние, психические отношения были уже завязаны, а затем быстрокрылое время незаметно перевело их на почву страсти уже не платонической...

Когда женщина этих лет, женщина, уже теряющая обаяние своей молодости, искренно полюбит вдруг человека и притом сама еще только впервые узнает это чувство, — она любит беззаветно, слепо, всецело подчиняясь воле, взгляду, уму, капризу, прихоти того человека, который первый сумел зажечь в ее сердце огонек страсти. То же самое было и с Ириной Борисовной. Платон Вельтищев стал ее идолом, ее богом и дьяволом, который мог заставить, приказать ей сделать все, что бы ему ни вздумалось, — и встретит в ответ одно только слепое, благоговейное исполнение его воли. Она смотрела его глазами, думала его мыслями, жила его умом, веровала его убеждениями. Своего — осталась у нее одна только беспредельная и горячая страсть к этому человеку; во всем же остальном личность ее рабски стиралась пред его волей. Он имел в ней рабу самую преданную, верную, слепую и на все готовую ради любимого человека.

Все обстоятельства сложились для них так счастливо, что вполне покровительствовали их связи. Короткость их, основанная, впрочем, на строгом приличии для глаз света, никому не могла показаться особенно странною, благодаря «близкой родственности»; и прежде всего она не была подозрительной для доброго и педантичного Максима Григорьевича. Даже самая ограниченность в круге знакомств и отсутствие частых приемов и посещений посторонних людей много покровительствовало им в том отношении, что препятствовало распространению глухих толков и сплетен. Покров тайны царил над этою связью, и эта тайна имела в глазах Ирины Борисовны обаяние романтической прелести. Так называемая «преступность» их взаимных отношений даже усиливала для нее это обаяние, даже более помогала ему, и так как в жизни ее не было ровно никаких серьезных сторон, да и делать ей было ровно нечего, а празднo сытого времени вдоволь, то эта страсть наполнила и поглотила все ее существование и даже составила единственную серьезную его сторону.

Между тем финансовые дела Платона Васильевича, как уже известно читателю, вследствие безрасчетных и часто безрассудных трат и особенно вследствие биржевой игры, которой он предался со всем азартом записного

игрока, сильно подорвали и расстроили его прекрасное состояние, которое только и держалось на подобающей высоте благодаря кредиту, уменью и авторитету Максима Григорьевича, заправлявшего значительную часть его дел и оборотов. В голове Платона быстро и часто создавались проекты смелых, грандиозных, но рискованных предприятий, которые ему «вернее верного» всегда казались столь осуществимыми, что лишь бы некоторые деньги — и он чрез два года потягается с Ротшильдом! Быть может, иные из этих предприятий и могли бы удалиться, но для проведения их в жизнь, для осуществления их у Платона Вельтищева не хватало той упорной трудовой усидчивой энергии, которая движется хоть и медленно, но зато осмоторительно, прочно и верно и которую столь богато одарен был Максим Григорьевич.

Но... изверясь в своего кузена, «старец» уже не обращал ровно никакого внимания на блистательные проекты Платоши. Это бесило в глубине души и даже оскорбляло Платона Васильевича, который стал видеть в «старце» свой единственный тормоз для осуществления грандиозных предприятий. Чем более расстраивалось его состояние, тем более овладевала им страсть и жажда легкой, быстрой и громадной наживы.

А между тем «старец», видя, что кузен своим финансовым поведением очень легко может не сегодня-завтра сильно скомпрометировать не только свой, но и его собственный кредит как дольщика и компаньона, твердо решился — не ссорясь, окончательно выделить Платона из дел. Это намерение было для Платона Вельтищева надвигающеюся грозой тучей: он знал, что осуществление его будет для него страшным, громовым ударом, который окончательно рушит его кредит, его проекты и все его состояние. Он решился во что бы то ни стало не допустить этого удара и для того — произвести некоего рода *coup d'état*<sup>1</sup>.

Как человек, либерально держащийся принципа, который гордо в наши дни заявляет, что все средства хороши, лишь бы вели к цели, кажущейся лично нам выгодной и хорошою, он не остановился перед мыслью отправить «старца» к праотцам и через его смерть поправить свои обстоятельства. Он было затруднился только в выборе средства, которое должно было спровадить на тот свет его кузена; но тут пришли ему на помощь на-

---

<sup>1</sup> действие, ход (фр.)

ука, в которой он был несколько сведущ, и деньги, которых у него оставалось слишком еще довольно для того, чтобы добыть себе средство верное, надежное и не оставляющее ясных последствий в отношении судебно-медицинском.

Засим — оставалось еще, для полного успеха, заручиться на всякий случай согласием Ирины Борисовны. Он исподволь, шутя и с крайней осторожностью, стал подготавливать ее к мысли, что существование «старца» является лишним и тяжелым бременем для них обоих, для их жизни, для их любви и даже для их материального существования. При той затаенной ненависти к мужу, которую давно уже питала в сердце своем Ирина Борисовна, никогда его не любившая, и при ее рабски слепой любви к Платону — для него не составило особенно упорного труда привлечь ее на свою сторону даже и в отношении задуманного дела. Вельтищев так ловко и так завлекательно сумел убедить ее, что эта смерть, не возбуждая ничьих подозрений и ничем не обличая их перед уголовным судом, принесет с собою столько свободы, столько светлого счастья для их любви, столько независимости для их жизни, не здесь, а где-нибудь за границей, и столько новых богатых средств им обоим, что Ирина Борисовна ни в чем не противоречила своему возлюбленному. Читатель, впрочем, знает уже, как ребячески легко смотрела она на готовящееся дело до самой минуты его осуществления, веря и не веря в его возможность.

Но роковой час настал. Мертвый муж лежал в своем кабинете — и тут только почувствовала она весь ужас совершенного дела.

\* \* \*

Эти полтора часа, которые, по приказанию любовника, она должна была безвыходно провести в своей комнате, казались для нее целою вечностью, минуты тянулись мучительно долго, и чудилось, что никогда-никогда не кончится это положение, что никто не придет и не нарушит ее одиночества, никто не выведет ее из этого оцепенения ужаса, и только одна тень мужа незримо, но слышимо и ощущаемо станет витать над нею.

Но вот в смежной комнате раздались чьи-то быстрые и тревожные шаги.

Вельтищева вся задрожала, но все-таки сделала над собою усилие и притворилась спящею.

— Сударыня... сударыня! — раздался на пороге смущенный и перепуганный голос Демьяна. — Максим Григорьевич... не извольте пугаться, сударыня... Максим Григорьевич, кажись, изволили скончаться.

Она стремительно поднялась с места.

— Что?!

— Я докладываю, что барин... кажись, померши...

— Кто?... Кто такой?

Ирина Борисовна чувствовала, что кровь прихлынула ей к сердцу и мысли начинают путаться и теряться. Она почти машинально, почти сама не понимая, что и кому говорит, сделала последние вопросы.

Демьян пояснил ей, кто умер.

— Муж?... муж умер?... Зачем?

— Не могу знать... может, мы и ошиблись, — пожал плечами Демьян, — но только очень похоже...

— Неправда... не может быть.

Она сделала над собою страшное усилие, выпрямилась всем станом и постаралась собрать потерянные мысли и весь остаток сил и энергии.

— Веди меня к нему! — приказала она и, чувствуя, что ноги дрожат и подкашиваются под нею, оперлась на плечо Демьяна.

Он привел ее в кабинет, где над оттоманкой стояли уже конторщик и несколько человек перепуганной и недоумевающей прислуги.

— Доктора... Платона Васильевича... и доктора, — проговорила она задыхающимся голосом, только еще появляясь в дверях кабинета, но еще не видя покойника.

Приближался страшный момент: ей — волей-неволей — надо было взглянуть в лицо мужа. Внутренний голос подсказывал ей весь ужас этого момента; она не хотела, не могла — просто органически не могла сделать этого и вместе с тем знала и чувствовала, что это *будет* — будет сейчас же, неизбежно, неотвратно, что она должна это сделать, вопреки всей своей природе.

— Где он? — через силу вымолвила она, ни к кому не обращаясь.

Прислуга расступилась — и перед глазами Вельтишевой открылся полулежащий труп и глянуло на нее спокойное, мертвое лицо ее мужа.

В глазах у нее помутилось, застучало в висках, к груди подступила тяжесть обморочной дурноты — и с слабым, захлебывающимся криком она без чувств опрокинулась на руки Демьяна, успевшего поддержать ее в эту минуту.



## «БЕДНЫЙ!.. КАК ОН ГЛУБОКО СТРАДАЕТ!»

Быстро подоспевшему доктору с мертвым нечего было делать, так как он сразу убедился, что здесь смерть вступила уже в полные права свои; но зато не мало возни пришлось на его долю около Ирины Борисовны. Довольно продолжительный обморок принес такое потрясение ее организму, что можно было опасаться за очень дурные последствия. Доктор уложил ее в постель и употребил несколько успокоительных средств, стараясь пуше всего предупредить возможность нервной горячки.

С приездом Платона Вельтищева она несколько успокоилась и даже ободрилась. Он никак не ожидал, чтобы эта смерть подействовала на нее столь глубоко и сильно. Это его до некоторой степени и встревожило, и смутило: «Надо, черт возьми, наблюдать за нею, как бы она еще глупостей не наделала да не выдала бы и себя, и меня вместе».

— Бога ради, только чтобы нервной горячки не было! — умолял он доктора, имея в виду возможность бредов, а с бредом — выдачу тайны.

Она почти ни на шаг не отпустила от себя Вельтищева, боясь остаться без него, а напуганное воображение все рисовало ей незримое веяние над нею духа усопшего.

Вельтищев ежеминутно ободрял и нравственно подерживал ее, насколько у самого хватало нравственных сил и умения.

А между тем дела и хлопот ему было теперь по горло: как ближайший родственник и компаньон умершего, он по необходимости должен был принять на себя все хлопоты и распоряжения насчет похорон и прочего — возиться с гробовщиками, которые, словно жуки-могильщики, почуяв мертвечину, в тот же вечер набегали с черного хода в квартиру «новопреставленного» с предложением своих обязательных услуг; возиться с полицией, которая явилась описывать имущество покойного, составлять акт и прикладывать печати; возиться со специалистом-кухмистером, заказывая поминальный кладбищенский обед для духовенства; возиться с портным, заказывая ему траурные костюмы для всей прислуги; рассылать пригласительные билеты, начинавшиеся известною фразой: «с душевным прискорбием и проч.»; откупать на

кладбище место для могилы, устраивать в ней склеп; приглашать важное и многочисленное духовенство — и много, много еще иных забот и хлопот крупного и мелкого свойства.

К счастью, доктор успел предупредить возможность нервной горячки у Ирины Борисовны, но все-таки находил ее настолько слабою, что, по просьбе Вельтищева, положительно запретил ей присутствовать при погребении и предписал, по крайней мере, трое или четверо суток оставаться в постели. Измученный Вельтищев проводил ночи у изголовья ее постели, вместе с камеристкой, потому что она, под наитием ночного страха, решительно не выпускала его из своей комнаты. Платон Васильевич злился и проклинал ее в душе, но по необходимости должен был исполнять ее волю, все еще боясь, как бы она — не ровен час — не выдала невзначай все дело.

На третий день по Невскому проспекту, мимо Знаменской церкви тянулась длинная и пышная погребальная процессия, по пути, усеянному зеленым ельником, направляясь в Александро-Невскую лавру.

Конные жандармы по бокам всей процессии, вереница факельщиков, герольды с гербами покойного, ассистенты с его регалиями, два хора певчих, причетники в стихарях, голосистые и массивные дьяконы, священники в скуфейках, протопопы в камилавках, два архимандрита в митрах и один архиерей с посохом — все в новом траурном облачении, предшествовали парадной колеснице, где, под высоким балдахином, украшенным страусовыми перьями и серебряными кистями, стоял гроб, унизанный гирляндами дорогих цветов и роскошно покрытый дорогим парчовым покровом, который, драпируясь тяжелыми складками, ниспадал чуть не до самой земли. За гробом шла толпа друзей и знакомых. Тут можно было встретить множество знакомых и интересных лиц: вся биржа, все тузы, весь цвет миров промышленного, купеческого, экс-откупного, акционерного, чиновно-административного и бюрократического собрался сюда — отдал последний долг покойному. Редактор Цемш тоже ковылял в толпе на своих соломенных ножках и горестно думал, насколько эта смерть — увы! — лишает его лишних субсидий, которые нет-нет да все-таки перепали от покойника в его кассу; поэтому он тоже пришел отдать последний долг если и не самому покойнику, то уж, наверное, его приятным субсидиям.

Но впереди всей этой толпы, и притом непосред-

венно за самым гробом, следовал Платон Васильевич Вельтищев. Он все время шел без шляпы, храня сосредоточенное и прилично печальное выражение в своем бледном и несколько помятом лице.

Время от времени некоторые из более близких знакомых покойного обращались к нему с вопросами: как и отчего умер почтеннейший Максим Григорьевич?

— Скоропостижно... от нервного удара, — отвечивал Вельтищев с выражением глубокого родственного горя.

— Верно, вследствие неприятностей каких-нибудь? — осторожно продолжали осведомляться приятели.

— Нет, напротив... дела его шли как нельзя лучше... я за час до смерти оставил его почти бодрым и веселым; так, слегка только жаловался на головокружение и боль под ложечкой.

— Как это должно было поразить супругу! — официально соболезновали знакомые. — Она, кажется, и на похоронах не присутствует?

— Помилуйте, куда уж, сама чуть не на краю могилы! Доктор даже опасается за состояние умственных ее способностей, — грустно сообщал Вельтищев.

Приятели сочувственно чмокали языком и качали головою, словно бы и взаправду соболезнуя, и отходили прочь, чтобы дать место новым лицам, которые обращались все с теми же казенными вопросами.

\* \* \*

Когда гроб уже должны были нести к могиле, Платон Вельтищев смело, спокойно и первый взялся за скобку в головах гроба и с выражением большой, искренней скорби собственноручно отнес двоюродного брата в его последнее жилище.

— Бедный, как он любил его!.. и посмотрите — это видно, как он глубоко страдает! — указывая на Вельтищева, замечали промеж себя некоторые приятели покойного.

## XI

### ЗНАЕТ ИЛИ НЕ ЗНАЕТ?

На другой день после похорон Платон Васильевич проснулся поздно. Это была первая ночь, которую он,

сильно усталый физически и отчасти морально, провел у себя дома, в своей привычной, покойной постели, и хорошо выспался. До этого же времени, пока покойник стоял в зале, Вельтищев, так сказать, не принадлежал самому себе: заботы о нравственно потрясенной кухне, боявшейся тени мужа, и хлопоты по поводу похорон отнимали весь его досуг, покой и все мысли. Да и на сей раз стоило ему немало труда успокоить Ирину Вельтищеву, рассеять ее ложные страхи и вырваться в свою собственную квартиру.

Встав с постели, он прежде всего отпер шкатулку, где всегда хранились у него деньги и важные документы. В эту шкатулку вчера вечером, по возвращении домой, бережно спрятал Вельтищев сохранный расписку покойного своего брата, которую в минуту его смерти, после истребления в камине обличительной сигары, он потрудился прежде всех других операций добыть из кармана покойника и переложить обратно в свой собственный.

Теперь же он достал ее снова, развернул и стал перечитывать, разглядывать и любоваться ею с тем чувством светлого довольства, которое было очень похоже на чувство дитяти, когда оно, после вчерашней рождественской елки, прежде всего хватается поутру за игрушку, подаренную вчера, и начинает ею любоваться: дитя давно мечтало и желало получить эту игрушку; она давно уже была особенно мила его сердцу и воображению — и вот теперь, проснувшись, ребенок спешит опять взглянуть на нее заспанными еще глазами, ощутить ее осязанием, понюхать запах ее свежего лака — потому что не успел еще вдоволь налюбоваться ею.

И кажется, ведь никакой особенной перемены не произошло в этой сохранной расписке, она всего лишь на два, на три часа, после погашения долга, перешла в карман покойного и давно уже очень хорошо была знакома Платону Васильевичу во всей форме и подробностях своих, а между тем в эту минуту он любовался ею таким лелеющим, ласкающим взглядом, как будто какую новую новинкой: ему просто весело и приятно было посмотреть, каково-то она из себя выглядит. Этот человек мог испытывать над нею светлое ощущение наивно-ребячьего чувства и мечтать... мечтать беспрдельно...

Однако же если чувство его было детски-наивно, то мечты далеко не отличались ребяческими свойствами. Это были мечты серьезного рода.

Уложив опять этот важный документ в надежное хранилище, он присел к письменному столу и над стаканом остывающего чая принялся за расчеты и арифметические выкладки на бумаге, соображая свои гениальные проекты и высчитывая, какие громадные проценты должны принести ему все его грандиозные предприятия, осуществление которых теперь уже не должно замедлиться. Но тут ему встретилось маленькое препятствие: он не знал в точности, до какой именно цифры простираются те суммы, которые успел он вынести из братни-на кабинета в кожаном мешке Ирины Борисовны; поэтому он мог рассчитывать пока только приблизительно.

Вельтищев взглянул на часы и увидел, что незаметно просидел около двух часов за этим занятием.

Теперь уже ему не для чего было оставлять долее заветный мешок в посторонних руках, и потому он решил тотчас же ехать за ним к т-ше Коробовой.

\* \* \*

Людмила встретила его как ни в чем не бывало. Привет ее был так же обычно ласков и весел, как всегда, очаровательная улыбка и светлый взгляд летели навстречу Вельтищеву — и в этой улыбке, равно как и в этом взгляде, сквозил обычный их внутренний ледяной холодок глубоко бесстрастной натуры. Но — странное дело! — именно этот-то холодок и нравился в ней иным мужчинам; именно он-то и действовал обаятельно на Платона Вельтищева.

— Где это вы изволили, мой друг, пропадать целые четверо суток? — шутя спросила она своего покровителя, но спросила так, как будто имела право в качестве близкой женщины требовать некоторого отчета в его поступках.

— Ах, матушка, все брата погребали! — махнул рукою Вельтищев, принимая кисловатый вид очень уставшего человека.

— Слышала и даже в газетах читала, — сообщила Людмила. — И во все время ты не успел выбрать ни одной минутки, чтобы заехать ко мне!.. Хорошо! — тем же тоном укорила она.

— Где уж там заехать!.. Весь дом вверх дном! — и все это на мне; совсем с ног сбился... Главное — все это так внезапно случилось, — небрежно оправдывался Вельтищев.

— Да в последний раз, как был у меня, ты разве

не знал, что брат умер? — спросила она как бы невзначай и бросила испытующий взгляд на Платона Васильевича.

Тот несколько смутился, никак не ожидая такого вопроса.

— Я?... н... н... Ну да, конечно, не знал! — замаявшись на мгновение, бойко поправился он в ту же минуту.

«Значит, знал», — твердо решила она в душе. Это легкое смущение, которому не могло бы быть места, если бы смерть действительно произошла помимо его ведома, окончательно утвердило Людмилу в ее предположениях касательно «нечистых путей», которыми добыты привезенные к ней деньги. Она с заранее обдуманном умыслом задала последний вопрос, желая проверить до возможной степени свои заключения. Теперь она убедилась и, отбросив всякое дальнейшее исследование, легко и свободно перевела разговор на совершенно посторонние, незначащие темы.

Болтая очень весело и беззаботно, Вельтищев просидел с нею за завтраком около часу.

Но все-таки, несмотря на всю свою веселость, он был как-то необычно рассеян. От тонко-внимательных наблюдений Людмилы не ускользнуло, что в уме у него, должно быть, вертится какая-то назойливая мысль, которую он не знает, как бы половчее привести в действие. И точно: в голове Платона Васильевича бродила мысль о неоконченных давеча вычислениях, о том, знает ли Людмила, что в мешке лежат деньги, раскрывала она его или нет, и о том, как бы поскорее сосчитать эти деньги, как бы половчее добыть теперь мешок от Людмилы, избавясь при этом от всяких ее расспросов, и уехать домой, чтобы тотчас же заняться прерванным делом.

Наконец Вельтищев поднялся и взялся за шляпу.

— А, кстати! Чуть было не забыл! — как бы между прочим спохватился он, прощаясь. — Где у тебя тот сак, который я оставил?

— Все там же, куда ты его сунул, — равнодушно и просто ответила Людмила Сергеевна.

Он достал из-под тюфяка мешок и слегка ощупал его — ничего, все, кажись, в исправности, и набит все так же плотно и туго.

— Что это у тебя в мешке? — спросила вдруг Людмила с совершенно наивным видом самого невинного простосердечия.

— Таинственное нечто, — отшутился Вельтищев.

— Покажи, я хочу видеть! — своенравно схватила она за стальную цепочку.

— Таинственных вещей непосвященным видеть не полагается, — продолжал он отшучиваться, уклоняя от ее руки свою ногу.

— Ну, так посвятить меня, чтобы полагалось, — шутливо настаивала Коробова.

Вельтищев принужденно засмеялся.

— А уж будто вы и не любопытствовали заглянуть в него? — спросил он, придавая своему тону оттенок легкого недоверия.

— Я? — подняла она на него взоры с видом чисто-сердечного удивления. — Да с какой же стати?

— Ба! это мне нравится! «С какой стати»! Просто в силу любопытства праматери Евы.

— Ошибаетесь, мой милый: любопытство мое не простирается на чужие вещи; я любопытна только в том, что лично меня касается, — не без достоинства заметила Людмила Сергеевна.

— А это вас нимало не касается, — указав на мешок, продолжал он отшучиваться.

— Ну вот потому-то я и не любопытствовала. Да, по правде говоря, — прибавила она как будто совсем искренно, — в течение этих четырех суток я даже и позабыла вовсе, что тут есть какой-то мешок — благо лежал в ногах и нисколько меня не беспокоил. Так, так я и не узнаю, что в нем такое? — снова зашутила Людмила.

— Так и не узнаете, — комически-вежливо поклонился Вельтищев.

— Ну, так пошел же вон, гадкий, несносный, противный! — кокетливо хлопнула она его слегка по плечу. — Когда так, я и сама знать не хочу! Теперь хоть бы и говорил, я слушать не стану! Вот же тебе за это!

— О, какое жестокое наказание, — засмеялся Платон Васильевич и поспешил откланяться, вполне довольный таким исходом этой сценки: теперь он был убежден, что Людмила ровно ничего не знает и в мешок вовсе не заглядывала.

## ХП

### БОРЬБА ЗА СУЩЕСТВОВАНИЕ

Никуда больше не заезжая, он помчался прямо домой, горя нетерпением обозреть и пересчитать на свободе полного уединения новые свои богатства.

Не велел никого принимать и ни о чем себе не докладывать, вполне счастливый и сияющий, заперся Вельтишев в своем кабинете и с чувством полной удовлетворенности и высокого самодовольства, как гастроном перед роскошным и тонким обедом, приготовился систематически заняться своим делом.

Наконец-то он у цели! После стольких трудов, после стольких дум, сомнений, планов, после такой решимости и такого отчаянного риска, как отравы родного человека, — риска, пахнувшего Сибирью и долгими годами каторги, — он достиг своих стремлений! План удался в совершенстве; он исполнил его с таким хладнокровием и расчетом, с таким спокойствием и верою в себя, он вполне и до конца выдержал характер — теперь все концы в воду! Кто знает? кто видел? кто был свидетелем? кто осмелится бросить хотя бы малейшую тень подозрения на честь его высокостоящего имени? Теперь за все это он имеет полное право жить и наслаждаться всеми благами жизни — он взял их с боя, и с какого боя!.. Он горд был своею победой. Теперь осуществляются наконец его грандиозные проекты: он будет ворочать миллионами — и тысячи людей, тысячи «рабочих», которым он даст труд и, стало быть, «честный кусок хлеба», станут благословлять его имя... Теперь он может иметь свой собственный умеренно-либеральный, литературно-общественный орган, переманить к себе всех лучших и самых зубастых сотрудников Цемша и влиять на общественное мнение, на биржу, на высшие административные сферы. Он сам будет скоро принадлежать к этим «влиятельным сферам» и неуклонно станет проводить спасительную идею «чиновничества», то есть «настоящего, либерального и относительно всех старых форм и предрассудков даже, пожалуй, радикального чиновничества», — он все это «освежит», «обновит» и «двинет»... Положение его в свете и служебная карьера уже и без того хорошо поставлены, а теперь они упрочатся окончательно, станут расти, развиваться; он шибко пойдет дальше, вперед, вперед... в ту заманчивую даль, где в перспективе сияет «солидный портфель», статский мундир, залитый золотом, звезды, ленты и при всем этом — «сочувствие просвещенной, мыслящей и либеральной части общества»... Сколько либеральных мероприятий будет принадлежать его инициативе! Сколько принесет он блага и пользы — «насушной», «практически реальной» пользы!.. И все это — благодаря нескольким струйкам благовонной сигары! Но что же значит



какая-нибудь сигара перед такою идеей? И может ли иметь она какое-нибудь укоряющее нравственное значение, если с помощью ее достигаются такие великие гуманные цели?!

Такие-то мысли и радужные мечты целым роем толпились в голове Вельтищева, когда он заперся в своем кабинете.

Но что же это, однако?

Он вынул из мешка две пачки, развернул газетную бумагу... Но точно ли? Уж не обман ли зрения?.. Где же деньги? где они?

Перед ним лежали какие-то истрепанные французские книжки да куча листов изрезанной бумаги и тряпки.

Что же это значит?

«Неужели я ошибся? — подумалось ему. — Как! ошибиться в ту минуту, когда я вынимал их из братни-на шкафа?! Это невозможно! невероятно!.. этого не было! Я сам брал их, сам видел собственными глазами: то были деньги».

Не веря самому себе, он ощупал рукою внутренность мешка, заглянул под стол, под кресло, еще раз перевернул весь лежащий перед ним ворох, осмотрелся вокруг, во все углы комнаты.

Нигде ни малейшего признака.

«Неужели Людмила?» — блеснула ему пугливая мысль — и при этом холодный пот выступил на лбу его крупными каплями.

«Людмила... Возможно ли?.. Ее слова казались так искренни, — возможно ли такое притворство, такой подлог, такой систематический и тонкий обман?

Но если не она, то кто ж тогда?»

И Вельтищев, подумав хорошенько, твердо решил, что это Людмила, что кроме нее положительно некому.

Не дожидаясь кареты, он сбегал вниз, спешно накинул шубу и бросился в сани первого попавшегося извозчика, приказав гнать что есть мочи в Дмитровский переулок.

«Быть может, она это только глупую шутку разыграла со мною», — мелькал ему, в виде кратковременного утешения, слабый и туманный луч надежды.

\* \* \*

— А, мой друг, ты опять ко мне!.. И так скоро! — открыто и спокойно встретила его Людмила Сергеев-

на. — Да что это, однако? На тебе опять лица нет. Что с тобою? — добавила она, глядя в него с удивлением и участием.

— Людмила, где же мои деньги? — прямо приступил он к делу, будучи не в силах превозмочь лихорадочное волнение.

— Какие деньги, мой друг? — перепросила она, ни на йоту не изменив своему открытому и спокойному виду.

— Ну, полно, оставь эти шутки! — силился он натянуто улыбнуться. — Пошутила, и будет!.. Мне некогда...

— Но о каких деньгах говоришь ты, я не понимаю?

— О моих... о тех, что были в мешке, — пояснил Вельтищев, в котором страх, сомнение и беспокойство усиливались с каждым мгновением.

— А разве в мешке были деньги? — с чистосердечной наивностью продолжала она удивляться.

— Разумеется! — нетерпеливо повысил он голос. — Разве ты не знаешь!

— Господи, да откуда же мне знать, — пожала плечами Людмила. — И много денег?

— О, да не мучь же меня! — страдая, воскликнул Вельтищев.

Коробова отступила от него на шаг и начала пристально глядеть в него с таким участливо недоуменным и опасливым видом, как будто явно заподозрила, что перед нею стоит умопомешанный.

— Повторяю тебе, отдай мне деньги! — возвышал голос Платон Васильевич. — Это не мои... это чужие, — понимаешь ли, чужие!.. мне надо сейчас же отдать их!

— Боже мой, что с ним! — скорбно взволновалась Коробова. — Друг мой, сядь, успокойся... приди в себя, мой милый... образумься, — участливо и нежно приступила она к нему с увещаниями, — сядь... сядь сюда вот и успокойся, Бога ради!.. Не пугай меня... Объясни мне, что с тобой это сделалось?

— Ну, изволь, я постараюсь быть спокойным, если тебе так угодно, — сказал, пересиливая себя, Вельтищев и опустился в кресло. — Только об одном прошу: кончи, пожалуйста, эту комедию со мною!

— Какие тут комедии! — пожала она плечами. — Ты расскажи мне толком: разве в том мешке, который ты сунул мне под тюфяк, были какие-нибудь деньги?

— Были, — подтвердил Вельтищев, — были, и не

мои, а чужие, которые мне были отданы на сохранение и я их должен теперь возвратить.

— Но зачем же, в таком случае, ты привез их ко мне, особенно если это большие деньги!

— Зачем?... зачем?... — взволновался Вельтищев, подбирая в своих расстроенных мыслях достаточную причину. — Затем, что тут умер мой брат и мне некогда было возиться с ними.

— Постой, мой милый, ты говоришь несообразные вещи, — остановила она его со всею деликатностью нежно любящей женщины. — Час назад ты мне рассказывал, что в тот раз, как был у меня, ты еще не знал о смерти брата.

— Я не говорил этого! — закричал, весь вспыхнув, Вельтищев, словно раненый зверь, неожиданно попавшийся в сети. — Ты лжешь! Я не говорил тебе этого!

Коробова смело и открыто посмотрела ему прямо в глаза.

— Платон, — сказала она спокойно, твердо и убедительно, — нас только двое, свидетелей нет между нами, к чему же это пустое и недостойное заpiresательство? Ведь ты же сам очень хорошо знаешь и помнишь, что ты сказал мне это.

Вельтищев не нашел ничего возразить ей — на первый шанс он был пока подавлен ею и, молча уставясь в нее глазами, дрожал как в лихорадке.

— Потом другая несообразность, — столь же кротко и мягко продолжала Коробова, — если бы у тебя точно были тогда деньги, да еще данные тебе на сохранение, разве бы мог ты привезти их сюда и сунуть под тюфяк, не предупредив меня ни словом? Ну, какой же благоразумный человек сделает такой проступок, а ведь ты же благоразумный и — слава тебе Господи — кажется, очень хорошо знаешь, что такое деньги? Ведь для денег есть банки и кассы; да наконец, вместо того чтобы ехать ко мне, ты мог бы прямо проехать к себе и спрятать их в своей собственной квартире. Ну, не так ли, друг мой? Согласись!

— Что же ты хочешь сказать этим? — надсаженным голосом прохрипел Вельтищев.

— То, что никаких денег у тебя не было! — необыкновенно мягко и нисмало не затрудняясь, пояснила Людмила. — Я не знаю, что с тобой сделалось? Ты сам, твой рассудок... Прости меня, но... твой рассудок теперь просто в болезненном, в ненормальном состоянии, и я хочу убедить тебя только в том, что ты заблужда-

ешься... Это просто какая-то галлюцинация; тебе все это, друг мой, так только показалось, почудилось... Ей-Богу, почудилось! И ты когда успокоишься, то сам же первый посмеешься над этими деньгами.

— Змея!.. Ехидна!.. И у тебя хватает еще духу издеваться надо мною, — вскричал Вельтишев, цепко схватив и потрясая ее руку.

— Платон, образумься! — строго и твердо проговорила она, не смутясь его выходкой и болью. — Я теперь обращусь к твоей чести. Я не желаю оскорбить тебя, но ведь ты сам должен понять, что если в твоих словах есть правда, если ты не сумасшедший, если действительно было все то, что ты рассказываешь, то ведь подобным образом привозятся только деньги, добытые нечистым путем! Так прячутся только краденые деньги, а разве ты можешь сделать преступление? Подумай только, что ты на себя взводишь!

Это был своего рода ловкий удар ножа, направленный прямо в сердце.

Вельтишев не выдержал. Он вскочил как бешеный и бросился на Людмилу.

— Деньги!.. отдай мои деньги, подлая!.. Или убью... убью... задушу на месте! — хрипел он задыхающимся шепотом, сильно потрясая руками ее плечи.

Людмила сделала отчаянное усилие и успела освободиться из-под его впившихся пальцев. Как дикая кошка, с глазами, которые засверкали у нее зеленым огнем бешенства, она быстро отпрянула в сторону и успела в одно мгновение схватить с камина тяжелый бронзовый подсвечник.

— Если вы ко мне приблизитесь, я положу вас на месте! — грозно крикнула она Вельтишеву, с решимостью, не оставляющую ни малейших сомнений.

Тот остановился как вкопанный, озадачившись на мгновение.

— А!.. вы, видно, не знали, с кем имеете дело! — продолжала она, мало-помалу овладевая собою и понизив голос на более спокойные, но твердые и решительные ноты. — Вы хотите ваших денег... Ну, так выслушайте же меня прежде: вы, вместе с вашей любовницей, госпожою Вельтишевой, отравили ее мужа.

Платон вздрогнул и, весь как-то осунувшись, невольно подался назад.

— Вы выкрали из его кассы более пятисот тысяч денег; там есть именные векселя и билеты — это несомненная улика против вас, — продолжала Людми-

ла. — Вы впопыхах запихали кое-как деньги в мешок, который дала вам Вельтищева. Она не знала, какое там было против нее доказательство! — в мешке был магазинный счет на ее имя... он был, говорю вам, но теперь там нет его: он уже в надежных руках!

Вельтищевым овладел ужас. Все здание, которое строил он, казалось, так искусно, так прочно, было разрушено в одно мгновение. Холодный пот снова проступил на его побледневшем лбу; лицо, налившееся желчью, кривила порою нервная судорога; он стоял с опущенными руками, словно бы слушая свой смертный приговор, весь осунувшись, умалившись как-то, и глядел испуганными глазами на своего прелестного палача, который в эту минуту был грозен и беспощаден и каждое слово которого плющило его, словно бы тяжкий молот.

— Вы эти деньги прямо из дома вашего брата, — продолжала Людмила, — привезли в мою квартиру и сунули под этот тюфяк. От меня вы поехали тогда прямо к вашей старой любовнице и провели у нее все это время. На это, конечно, есть много свидетелей. Довольно ли с вас этого, господин Вельтищев?

Тот, вместо ответа, машинально поник головою.

— Затем я предупреждаю вас, — добавила она уже совсем спокойным голосом, — денег ваших в моем доме нет, они давно уже в верных и хороших руках, из которых вам не удастся их выцарапать. А если вам придет охота убить или отравить меня, то знайте, что в случае моей насильственной смерти эти деньги вместе с другими документами будут переданы прокурору, и тогда... и вам, и вашей любовнице уже наверное придется от позорного столба прогуляться на каторгу. Теперь вы знаете все. Можете удалиться отсюда!

Вельтищев был раздавлен, уничтожен. И все это говорила ему женщина, для которой он, по его искреннему убеждению, ничего не сделал, кроме добра, которую он даже любил — любил настолько, насколько вообще была способна любить его эгоистическая натура... Теперь — все кончено, все погибло: мечты, надежды, планы, честолюбие, слава, предприятия... Теперь уже он несомненно беднее и ничтожнее, чем был до смерти брата; теперь он — нищий, потому что последние его средства, последний кредит не сегодня-завтра лопнет окончательно!.. И в заключение всего эта дорогая и милая ему женщина — так надменно и презрительно выгоняет его от себя и нет в ней ни малейшей тени жалости и сострадания!..

Вельтищев бросился перед ней на колени.

— Пощади меня! — простонал он отчаянно молящим воплем. — Пощади или хоть сжался надо мною и убей меня сейчас же, но так... так мне жить невозможно!

— Пощадить? — холодно усмехнулась она. — А минути назад, когда вы хотели задушить меня, разве вы думали о том, чтобы щадить меня?

— Людмила!.. ведь я люблю тебя! Ведь ты же женщина! — молил ее Вельтищев. — Хоть во имя любви!.. Требуй с меня все, что хочешь, приказывай, повелевай, но только пощади меня!

Раза два Коробова прошлась по комнате, как бы обдумывая и соображая что-то.

— Хм... пощадить вас! — иронически усмехнулась она. — Вы запросили пощады только тогда, когда воочию убедились, что вам окончательно уже нет никакого выхода; вы просите потому, что узнали, что даже самая смерть моя поспособствует скорее вытащить на свет Божий все ваши преступления... Пощадить вас!..

Людмила Коробова остановилась перед ним и смирила его испытующим взглядом.

— Извольте: я пощажу вас, — согласилась она, — но не иначе, как на основании моих условий, которые вы примете без возражений.

— Я слушаю, — склонил он в знак согласия свою голову.

— Хорошо, будем договариваться. Прежде всего я хочу быть вашею законною женою, — начала Людмила. — Роль содержанки безнравственна, роняет мое положение, и потому она мне глубоко противна. Я хочу носить ваше имя, принадлежать к вашему кругу, хочу быть женою, а не кокеткой. Это мое первое и необходимое условие. Согласны вы будете принять его?

— Но... ведь вы замужем, — слабо возразил Вельтищев.

— Это уж другое дело, и речь об этом впереди, — осадила его Людмила. — Вы изыщете средства развести меня с мужем, — продолжала она, — употребите для этого деньги, связи ваши, влияние, интригу — все что хотите, хотя бы даже новое преступление, но я должна быть разведена с ним. Это мое второе условие.

Вельтищев опять ответил молчаливым склонением головы.

— Когда я буду разведена, вы на мне женитесь. Я сама скажу вам, когда наступит для этого время, —

продолжала предписывать ему Людмила. — Деньги ваши, со всеми доказательствами вашего преступления, будут находиться в тех руках, в которых они и теперь, и я возьму их из этих рук не ранее того, как выйду за вас замуж. Затем деньги эти останутся не вашим, а моим собственным благоприобретенным состоянием, а доказательства будут все в тех же руках.

— К чему же это?.. чтобы лишить меня покою? чтобы вечно мучить меня? — угнетенно возразил Вельтищев.

— Нет, не для этого, — опровергла она, — не для этого, а для того, чтобы держать вас в руках; для того, что если вам придет когда-нибудь мысль избавиться от меня, спровадить меня на тот свет по примеру вашего брата, то доказательства вашего нынешнего дела тотчас же выплывут наружу и вы все-таки не избегнете каторги. Но если вам такие мысли приходить не будут, то я наперед вам ручаюсь за полное ваше спокойствие и безопасность. Это мое третье условие.

— Но мне нужны деньги... Мне необходимо надо, чтобы они были моими, потому что от этого зависит все мое благосостояние, вся будущность, — возразил Вельтищев.

— Будут ли они вашими или моими — это решительно все равно, как скоро я сделаюсь вашей женою, — порешила Людмила, — благосостояние ваше от этого нисколько не потерпит.

— Нет, потерпит! — не соглашался Платон Васильевич. — Мне эти деньги нужны для моих предприятий, которые мне могут принести миллионы: а раз что они ваши, я не могу свободно ими распоряжаться.

— Для этого вам стоит только подробно и основательно посвятить в ваши предприятия меня, — предложила Людмила Сергеевна, — и если я найду, что они точно выгодны, я сделаюсь участницей и тогда, конечно, позволю распорядиться тою суммой, которую они требуют, а если они не выгодны, то вам же лучше: я сохраню, по крайней мере, средства для нашего дальнейшего благосостояния.

— Но... вы забываете, что я не один, — сделал Вельтищев еще одну слабую, и уже последнюю, попытку, — вы забываете, что по поводу этих денег я волея-неволей связан с другою особой...

— То есть с кем это? с госпожою Вельтищевой, которая заодно с вами обработала своего мужа? — прищурилась Людмила Сергеевна.

— Хотя бы и так, — согласился Платон.

— Хм... Вот оно что!.. Ну, на этот счет можете быть совершенно покойны. Во-первых, я думаю, — продолжала она, — что у нее и без этих денег останется после мужа достаточно средств для жизни; а во-вторых, она не пойдет доказывать на вас в суд, потому что это значило бы на самое себя накидывать мертвую петлю, а идти на каторгу, полагаю, ей нет ни малейшего расчета.

Вельтишев почувствовал себя окончательно сбитым на всех пунктах. Больше возражать было нечего.

— Теперь я, со своей стороны, могу обещать вам одно, — приступила Людмила к изложению своего последнего условия. — Где бы мы ни были, где бы мы ни жили, я всегда, среди всякого общества, сумею поддержать достоинство вашего имени и дома: не бойтесь, сумею снискать себе всеобщее уважение: на то я и буду называться вашей женою. Вы нигде и никогда за меня не покраснеете. Нечего и говорить, что я заранее обеспечиваю себе полную свободу действия и поступков (это само собою подразумевается), но можете быть твердо уверены, что я — хоть бы даже по свойствам моей натуры — никогда не употреблю во зло этой свободы и не поставлю вас в то жалостное положение, каким пользуются в свете рогатые мужья. Надеюсь, что этих украшений вы никогда носить не будете. Итак, Платон Васильевич, я сказала все! — заключила она со своею холодно-беззлобною и спокойною полуулыбкой. — Теперь согласны ли вы на мои условия?

Что было отвечать ему на это? и где, и какой выход из этой замкнутой железной клетки? Он видел, чувствовал и сознавал только одно, что нравственная воля и характер этой женщины неизмеримо выше, тверже и сильнее его собственной, далеко не слабой воли и характера. Коса нашла на камень. Все здание, нагроможденное им, оказалось картонным домиком, тогда как она из этого же самого материала сумела быстро воздвигнуть такую твердыню, под которую подкопаться у него не было ни средств, ни силы. Он почувствовал себя окончательно в руках женщины, которую вдобавок любил всею силою физической привязанности и страсти. Эта страсть и прежде еще неоднократно заставляла его невольно выказывать нравственную слабость пред обаянием ее странной красоты, а теперь — было исключительно уже в ее воле спасти его или прямо с эшафота отправить на каторгу. Но в душе его блистал еще ка-



кой-то смутный луч надежды. «Нет, это еще не все! Этим еще не кончено с тобою! — мелькала ему живительная мысль. — Я притворюсь, я покорюсь на время, но этим у тебя не кончится! Посмотрим, кто кого перехитрит и чья возьмет впоследствии!»

— Дьявол! — прошептал он, подавляя в груди истерически злобное рыдание. — В чем же выбор, позор или рабство?.. Это все, что ты предлагаешь... Изволь! я выбрал! — решил он после минуты тяжкого, по-видимому, колебания. — Я выбрал: я — раб твой навеки!

Людмила подошла к нему, со своими ясными глазами, и протянула прекрасную руку.

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

### I

#### «ИГРА НАЧИНАЕТСЯ»

— Отпросись со двора и приходи ко мне вечером... сегодня! — шепнул Вельтищев на ухо горничной Палаше, уходя от Людмилы Коробовой. Он был уже на лестнице, шепча эти слова, а для того, чтобы предложение его имело некоторую долю основательности, усилил его двадцатипятирублевой бумажкой, ловко всунутой в руку горничной.

Та, почувствовав на ладони деньги, с приятною улыбкой утвердительно кивнула ему головою.

— Придешь?

— Непременно.

— Я жду тебя весь вечер.

«Хорошо, хорошо!» — ответили ему безмолвные кивки и подмигиванья Палаши.

\* \* \*

Платону Вельтищеву еще в первый раз в жизни доводилось ждать с таким лихорадочным нетерпением свидания с женщиной, которая по общественному положению своему была не более как горничной его любовницы.

«Деньги, ласку, вино, соблазн — все надо пустить в ход, чтобы выпытать! — думал Вельтищев, закусывая губы и нервно шагая по кабинету. — Но попытаться надо необходимо!.. необходимо! и притом сегодня же, чтобы знать, как действовать... Надо сообразиться... Она, верно, знает хоть что-нибудь!»

Главная сила всего дела заключалась теперь для него в том, чтобы знать — где, в чьих руках находятся украденные деньги.

Давеча он по необходимости должен был, как баран,

пассивно склонить свою голову перед Людмилой, покоряясь безусловно всем ее велениям, потому что другого выхода ему не было. Но ни его ум, ни его гордость, ни его самолюбие, ни все его планы и расчеты на блестящее и независимое будущее не могли помириться с таким положением. При воспоминании о том, что было сегодня, и при мысли о будущем, которое сулит ему Людмила, — вся душа его возмущалась, все сердце кипело непримиримой злобой. Он чувствовал, что его жестоко оскорбили, жестоко обманули, надругались над ним и готовы вертеть его особой, как ничтожным мячиком; он чувствовал, что во время сегодняшнего свидания с Людмилой уже сыграл жалкую роль подобного мячика, что начало его положено, а теперь следует ждать дальнейшего и еще горшего продолжения. С нынешнего дня он ненавидел, но — увы! — все-таки любил эту женщину, любил силою той животной страсти и физической привязанности, которая в громадном большинстве является отличительным и характерным признаком «любви» людей нашего времени, потому что и самая любовь является в этих людях не тем здоровым и возвышающим чувством, которое сродни нормально развитому человеку, а болезненным капризом уродливо извращенной натуры.

Но главное для него заключалось все-таки в деньгах. Ему во что бы то ни стало надо было вырвать их из неведомых рук, сделаться опять бесспорным обладателем всех своих богатств.

Для поддержки его нравственной энергии ему нужна была кипучая деятельность, мечты и надежды на свои громадные предприятия.

Это был своего рода азартный игрок, но игрок такой, которого не могло удовлетворить никакое узкое и тесное поле карточного стола; при такой всепожирающей страсти к быстрой, легкой и громадной наживе его зеленым полем могли бы быть только европейские биржи.

И вдруг все это лопнуло, все это потеряно!..

Вот с чем не мог помириться Вельтишев, вот против чего он задумывал бороться в эту минуту.

Для такой борьбы все средства в его сознании были равно хороши и пригодны.

Одного только нельзя было: спровадить Людмилу на тот свет по примеру двоюродного брата. В силу ее предостережения он знал, что ее смерть тотчас же отправит его на скамью подсудимых и, стало быть, рушит все дальнейшие надежды и планы.

Значит, кроме этого средства, все остальное возможно. Надо только действовать ловко и осмотрительно.

Но убивать Людмилу ему вовсе не хотелось. Ненавидя и любя ее в одно и то же время, он жаждал над нею торжества, но торжества совсем иного рода; ему захотелось теперь обменяться с нею взаимными ролями, хотелось сделаться опять сильным, независимым человеком, полноправным и бесконтрольным обладателем всех своих средств и через то подчинить себе опять эту столь обаятельную для него женщину, властвовать над нею, сделать ее своею безусловною рабою. Он был бы счастлив, если бы не Людмила за ним, а он за нею знал теперь какое-нибудь кровавое преступление. Тогда бы он держал ее в своих руках, в силу постоянного страха, что он может открыть и выдать ее преступление, тогда бы он мог *заставить* ее любить его и наслаждаться ее любовью до тех пор, пока самому вздумается. Ненависть, которую в данную минуту вместе со страстью питал он к Людмиле, подсказывала ему, что это была бы лучшая, торжествующая месть, какую он только мог бы нанести ей за все зло, за все коварство, причиненное ему этою женщиной.

Вот почему он так нервно ходил по своему кабинету и с такою лихорадкой ждал условленного свидания.

\* \* \*

В восьмом часу вечера человек с некоторым недоумением доложил ему, что пришла с черного хода какая-то девушка, которой нужно его видеть.

— Палаша?! Сюда! Сюда, Палаша!.. Ко мне! — кинулся к ней навстречу Вельтишев. — Здравствуй, моя милая!.. Как я рад, что ты пришла!.. Снимай твою шляпку... садись... Сюда — здесь покойнее... Чего ты хочешь? Чаю, кофе, шоколаду, конфет или фруктов?

Вельтишев с такою радостью и так суетливо хлопотал около своей гостьи, что та поневоле глядела на него недоуменными глазами.

Он заметил это и почувствовал свою ошибку. Но что же делать! После долгого и томительного ожидания первый порыв его был так невольно стремителен, что он позабыл о необходимой выдержке.

— Вам угодно было видеть меня? — проговорила наконец Палаша.

— Да, да, моя милая!.. И ты видишь, как я рад твоему приходу... Мне надо кой о чем потолковать с

тобою, но это потом... а пока — ты моя гостья, и я хочу прежде всего угостить тебя.

Он приказал человеку, чтобы на стол сейчас же были поданы фрукты, вино, чай и сладкие печенья.

Палаша не знала, что и думать о таком приеме.

Он сам помог ей снять шляпку, скинуть пальто и усадил на широкий турецкий диван, куда камердинер придвинул им стол с чайным прибором.

— Мы сегодня одни и оба будем хозяевами, — весело предложил ей Вельтищев. — Ты, как хозяйка, угощай меня чаем, а я по-хозяйски стану угощать тебя вином и фруктами.

И он налил ей вместительную рюмку сладкого венгерского.

Палаша с полным аппетитом ела печенья и фрукты, пила чай и вино, и хотя все еще недоумевала, однако глазки и щечки ее разгорелись, а губы то и дело слагались в приветливую улыбку.

Платону крайне хотелось напасть поскорее на руководящие нити и следы своего дела, но он чувствовал, что пока еще не время, что надо погодить немножко, и потому, сдерживая себя, старался шутить с Палашей, казаться веселым и беззаботным и не забывал подливать ей венгерского, которое, по его мнению, должно было развязать язык хорошенькой камеристки.

Шутя, он подсел к ней ближе; шутя, стал играть ее рукою и выхватил эту «ручку» и, наконец, шутя, неожиданно поцеловал ее в румяную щеку.

Палаша вскочила и отодвинулась.

— Что это! как вам не стыдно! — заговорила она, скромничая, притворно обиженным тоном. — Это даже, извините меня, довольно бессовестно с вашей стороны быть таким изменщиком.

— Кому же я изменяю! — улыбнулся Вельтищев.

— Как кому! Сами знаете кому!.. А я вот пойду да и скажу моей барыне, какой вы есть мужчина!

— А разве я боюсь твою барыню?

— Бойтесь не бойтесь, а все же нехорошо это, такие поступки...

— А если барыня твоя сама мне изменяет? — не то шутя, не то серьезно прищурился на нее Вельтищев.

— Ну, уж извините, никак я этому не могу поверить!

— Как знать, чего не знаешь! — пожал он плечами.

Палаша взглянула на него удивленно испытующим взглядом.

— А что, Палаша, хотела бы ты быть на месте твоей барыни? — после краткого молчания, сопровождавшего некоторую душевную борьбу, спросил ее вдруг Вельтищев.

Та удивилась еще более, так что в первую минуту не сообразила, что и отвечать ему.

— То есть как это наместо барыни? — переспросила она.

— Да так, как она вот! Иметь у себя доброго приятеля, который обеспечил бы тебя, жить в хорошей квартире, кататься на рысаках, ездить по театрам...

— Помилуйте-с, что это вы говорите! — потупила она в землю свои масляные глазки. — Как этому возможно быть!.. я очень хорошо об себе понимаю, потому как есть я девушка простая и необразованная...

— Да тут и не нужно никакого образования!

— А что же тут нужно-с?

— Нужно нравиться, и только!.. И представь себе, — лукаво продолжал Вельтищев, — что ты кому-нибудь понравилась, и этот человек богатый, и он вдруг делает тебе такое предложение; что бы ты ответила ему?

— Вы все шутить изволите! — замялась Палаша, уклоняясь от прямого ответа и потупясь еще ниже.

— Напротив, я тебя спрашиваю совершенно серьезно и жду твоего ответа.

Палаша пылала ярким румянцем и хранила полное молчание.

— Наша сестра может похвалиться только своему же брату, — решила наконец она вымолвить.

— Да разве не бывает случаев, когда ваша сестра нравится и не своему брату? Мало ли есть примеров! Даже и женятся иные!.. Так как же ты думаешь на этот счет, Палаша? Отвечай-ка!

— Конечно... кто же себе враг, чтоб от своего счастья отказываться, — высказалась наконец девушка.

— И ты бы не отказалась? — подступил к ней Вельтищев.

— Я-то?.. хм!.. Такое счастье не про нас писано!

— Опять-таки ты этого знать не можешь... А я вот что скажу тебе...

Он прошелся по комнате, потирая свой нахмуренный лоб, словно бы соображал и обдумывал нечто.

— Вот что, Палаша! — остановился он перед нею. — Счастье твое от тебя самой зависит. Я буду го-

ворить с тобой откровенно, но требую, чтобы и ты была откровенна также. Согласна?

— Извольте... Мне что же скрываться!

— Ну, так вот что... Ты, может быть, слышала из своей комнаты, что сегодня мы с твоей барыней поговорили довольно крупно и даже повздорили...

— Да, я слышала, у вас там был крик какой-то, — подтвердила Палаша.

— Твоя барыня пренесносная женщина и мне уже порядочно надоела через свой вздорный характер! — объявил Вельтищев. — Ты не удивляйся, — поспешил он предварить, заметив ее взгляд, — я знаю, что говорю!.. Но... кроме того... кроме того, я начинаю подозревать, что она мне неверна... я даже знаю это и только хотел бы окончательно убедиться, чтобы разорвать с нею все отношения.

— Ну, уж это, кажется, совсем неправда! — вступилась Палаша.

— Полно, я знаю, что говорю! Я знаю, что оно так, но, если я буду окончательно убежден, тогда — пойми ты — я буду иметь полное право разорвать и покончить с нею... Но ты мне помоги убедиться... И после этого, так как ты мне очень нравишься — то можешь остаться при мне, на месте твоей барыни...

Девушка смутилась.

— О чем же ты задумалась, Палаша? — ласково и участливо спросил ее Вельтищев.

— Да вот... думаю насчет того, что вы мне сказали...

— Что же ты думаешь?

— Да я... извините меня... я думаю себе, что ежели вы так легковерно хотите бросить Людмилу Сергеевну, эдакую красавицу и барыню, так меня-то, как есть я девушка из простого звания, вы еще легче бросите...

Вельтищев засмеялся.

— Этого опасаться тебе нечего! — принялся он успокаивать Палашу. — Ты ведь, кажется, знаешь — я человек добрый и не скряга: я тебя предварительно обеспечу, так что тебе на всю жизнь хватит! Я за этим не постою! Я положу в банк билет на твое имя, ты будешь иметь свой капиталец, можешь выйти потом замуж, хоть за чиновника!.. Да, впрочем, что болтать-то! — махнул он рукою. — Чтобы ты верила, что я не лгу, — на вот тебе!

И он сунул ей в руку радужную ассигнацию.

Палаша еще никогда не чувствовала себя обладательницей такого богатства.

— Полноте шутить, Платон Васильевич! — смущенно проговорила она, и веря и не веря своему счастью.

— Я не шучу, Палаша! — с видом полной искренности убеждал он девушку. — Я прошу тебя принять этот пустяк как подарок. Эти деньги тебя ровно ни к чему не обязывают. Я только хочу, чтобы ты верила моим словам. Если ты мне веришь и поможешь разделиться с Людмилой Сергеевной, то, повторяю тебе, ты можешь сделаться для меня тем же, что и она; а если не хочешь быть на ее месте, то, во всяком случае, за твою услугу я награжу тебя, как ты и не чаешь!

— Да в чем же вы подозреваете Людмилу Сергеевну? — с недоумением пожала плечами Палаша.

— Я тебе сказал уже в чем.

— Да почему это вы так думаете?

— А вот почему...

Вельтищев снова прошелся, потирая нахмуренный лоб.

— Ты сама увидишь, прав ли я; только скажи мне откровенно... Ты помнишь, когда я перед смертью брата был в последний раз у Людмилы Сергеевны? Ведь после того я до сегодня у нее не был...

— Это я помню, — согласилась Палаша, — вы тогда еще на диване почивать изволили.

— Совершенно верно, моя милая!.. Но теперь скажи мне, был у нее кто-нибудь после того, как я уехал?

— Так вы вот к кому ревнуете! — весело засмеялась девушка. — Быть-то был, только уж это вы совсем напрасно!.. ей-Богу, напрасно!.. Ведь у барыни был муж ее...

— Муж? — весь вздрогнув, поднялся Вельтищев.

«Неужели же это их общая стачка? — подумал он с испугом и тревогой. — Но тогда что же подумать о требовании развода?»

— И она его приняла? — спросил он девушку.

— Да как же не принять, коли он ворвался силою!.. Но только они недолго промеж себя поговорили и, сдается мне так, будто поссорились, потому ушел он такой сердитый, что даже дверью хлопнул с досады.

— И это ты правду говоришь, Палаша?

— Как Бог свят на небе! — искренно и открыто подтвердила горничная.

«Значит, дело обработано не с ним», — подумал Платон Васильевич.



— Так ушел он, говоришь ты, скоро?

— Даже очень скоро; как, почитай, вслед за вами пришел, так не более десяти минут и оставался.

— Ну, а потом, после его ухода, что делала Людмила Сергеевна?

— Потом... потом они не велели никого принимать, даже и вас самих не велели, и сколько-то времени сидели у себя в спальней даже совершенно одни и затворившись на ключ. Мне это даже довольно странно показалось, зачем они одни и вдруг на ключ запираются, потому никогда этого не бывало.

— А потом? — допытывал Вельтищев, у которого сердце забилось тревогой сомнения и надежды.

— Потом они приказали мне кликнуть извозчика и поехали куда-то...

— В котором часу это было?

— Так примерно в двенадцатом.

Платон Васильевич кивнул головой и погрузился в некоторые соображения. Он вспомнил теперь, что вчера вечером, когда ему удалось наконец вырваться от Ирины в свою квартиру, лакей его доложил, что в его отсутствие приезжала г-жа Коробова; но вчера он не обратил на это сообщение никакого внимания; в настоящую же минуту оно получало некоторую важность. Выйдя под благовидным предлогом из комнаты, он тихо осведомился у своего человека, в какой именно день и в котором часу заезжала к нему Людмила. Показание дня и времени, данное лакеем, совершенно совпало с показанием Палаши. «Значит, она была у меня», — вполне справедливо заключил Вельтищев; но это заключение еще ровно ничего существенного ему не пояснило.

— Теперь вот что, Палаша, — озабоченно обратился он к своей гостье, вернувшись в кабинет, — скажи ты мне, долго проездила тогда Людмила Сергеевна?

— С час времени, не больше.

— И после того воротилась домой? Хорошо. Но что она делала дома, когда вернулась?

— Опять же, этого я не знаю, потому они снова замкнулись на ключ и только уж часа в два ночи приказали мне кликнуть извозчика.

— Как! Опять извозчика? — оживился Вельтищев.

— Опять.

— И ты не знаешь, куда она ездила?

— То-то вот, что знаю! — похвалилась Палаша. — И потому говорю вам, что вы совсем напрасно ревнуете и беспокоитесь. Я сама даже рядила извозчика в Свеч-

ной переулочек, а в Свечном переулке — сами знаете — живет ихняя мамаша. Они к мамаше ездили.

Кончик запутанного клубка, как радостная надежда, мелькнул в сознании Вельтищева.

— Ты не помнишь, — продолжал он, стараясь быть как можно спокойнее, — она никакой вещи не увозила с собою?

— Н-нет, кажись, в руках у них был узелок какой-то...

— Узелок?

Вельтищев от радости чуть не бросился на шею к Палаше.

— А назад она как — с узелком или без узелка уже приехала?

— Назад-то, кажись, что... без узелка, — старалась вспомнить девушка. — Да, точно, без узелка! — подтвердила она.

— И долго пробыла у матери?

— Часу уже в четвертом вернулись и легли спать... Я и раздела их.

«Стало быть, деньги у матушки!.. Вот они где, эти «надежные руки»!» — злобно подумал Вельтищев.

— Теперь скажи ты мне откровенно, — продолжал он, — был кто-нибудь у Людмилы Сергеевны в течение этих дней, пока меня там не было?

— Окромя мамыши, никого не бывало, и сами они никуда не выезжали; а мамаша раза два заходила, — сообщила горничная.

— Ну, а не заметила ты, о чем они говорили между собой?

— Нам господские разговоры где же знать, — пожала плечами Палаша, — потому говорили они промеж себя все тихо, затворивши двери, а когда ежели я входила по какому делу, так они сейчас же свой разговор прекращали и при мне никакого разговору не было.

«У мамыши! у мамыши!.. О да! теперь верно, что они у мамыши!» — думал Вельтищев, взволнованно шагая по комнате.

— Вот что, Палаша! — решительно остановился он перед девушкой, пристально глядя ей в глаза и дружески положив ладонь на плечо ее. — Дай мне твою руку!.. Вот так!.. Ты помнишь, что я тебе предложил. Я сдержу мое слово, а начало ты уже и сегодня видела... Если хочешь быть счастлива, если хочешь, чтобы я тебя вознаграждал и обеспечил — возьмиись помогать мне!..

Даешь свое слово?.. Хочешь быть мне верною слугою и другом?

— Помилуйте, Платон Васильевич, да я завсегда готова! — жеманно потупив глазки, заговорила девушка. — И не токмо что из-за интересу какого, а просто любя вас...

— За мое добро и любовь Людмила Сергеевна отплатила мне черною неблагодарностью! — с чувством продолжал Вельтищев. — Я с нею расстанусь, Палаша... но прежде мне надо кое-что выследить... Тебе это удобнее, чем мне... Берешься ты за это?

— Я с моим удовольствием, Платон Васильевич, но только что же мне следить за ними, коли у них, кроме вас, нет никаких приятелей?..

— Ну, уж это мое дело! — настойчиво перебил Вельтищев. — Когда придет время, я тебе скажу, что именно нужно будет сделать и как поступить! А пока следи ты зорче за всем: кто, и когда, и сколько раз у нее бывает без меня; в особенности следи за матерью и старайся подслушивать их разговоры. Понимаешь?

— Как не понять, Платон Васильевич!.. Дело немудреное.

— Но только ни гугу!.. Молчок прежде всего! — внушительно предостерег Платон. — Смотри ни перед кем не проврись и помни, что от Людмилы Сергеевны ждать тебе нечего, а от меня ты все получишь!

\* \* \*

«Теперь посмотрим еще, чья возьмет! — злобно потирая ладони, думал он после ухода Палаша. — Потягаемся!.. Хоть и «верные руки», но надо на эти «верные руки» устроить верные сети... Игра начинается, игра неприятная, быть может, нелегкая, но... извольте, Платон Васильевич, выйти из нее победителем!»

## II

### ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТАНТАЛ

На следующее утро, едва лишь Вельтищев успел проснуться, как человек подал ему два письма. Одно — исполненное скорби и смятения — было от Ирины, которая призывала его к себе, хотя бы из сострадания к ее любви, мучениям и страху; другое — от Людмилы

Коробовой, которая в самых изысканных выражениях предлагала ему «немедленно» заняться хлопотами «по известному делу». Вельтищев ясно почувствовал ту холодную, повелевающую и неуклонную волю, которая была очень понятна для него, сквозь из-под всей изысканно-вежливой и милой внешности последнего послания.

Оба эти письма и огорчили, и озлили его в одно и то же время. Одна из этих женщин его любила, и любила до самоотвержения, но он скучал ею и тяготился ее любовью; другая его не любила — мало того: презирала его, повелевала им, эксплуатировала его, высасывала его средства, как паук высасывает муху, обокрала и уничтожила его — но он все-таки чувствовал, что эта последняя женщина дорога его капризному сердцу.

Что делать? Которой из них прежде откликнуться?

Не ехать к Ирине. Он бы и не поехал, но — увы! — этого нельзя: ехать к ней необходимо, так как он все еще не совсем-то был покоен за нее, все еще сомневался, как бы она не наделала глупостей, не выдала дела. Пренебречь письмом Коробовой еще менее возможно в данном положении дел: Вельтищев помнил, что он безусловный раб ее, пока краденые деньги находятся в ее руках. Стало быть, надо ехать к одной с утешениями, с ласками и надо работать «по делу» другой, привезти ей отчет, насколько успел уже он «сработать». Вельтищев решил, что он сначала съездит к Ирине, а потом повидается и переговорит с адвокатом — на каких условиях возможно поднять бракоразводное дело Людмилы с ее мужем. Но над этими двумя неприятными обязанностями стоял еще один вопрос — вопрос главный, эгоистический и потому наиболее близкий и достолюбезный его сердцу. Это был вопрос о том, каким образом легче и удобнее выцарапать обратно «свои» деньги из рук «нежной маменьки».

Вельтищев решил, что он поедет и к ней, для того чтобы произвести необходимую рекогносцировку, так сказать, выщупать почву. Это была самая трудная задача из всех дел, предстоящих ему сегодня.

\* \* \*

За какие-нибудь полтора суток, в течение которых Вельтищев не виделся с Ириной, он нашел в ее наружности довольно резкую перемену. Вся она как-то осунулась, пожелтела, глаза потускли, веки запали, окружась

темными подглазьями, в лице появилась какая-то болезненная дряблость, вялость, а в густых черных волосах ясно засеребрились седые нити... Видно было, что эта женщина вся находится под постоянным давлением гнетущей мысли и страдающего чувства.

«Эге, да в тебе уже сказывается старуха!» — подумал себе Вельтищев, взглянув на нее при дневном свете.

Она несколько оживилась с его приходом, но это было оживление минутное. Она молила его не покидать ее одну, говорила, что, оставаясь сама с собою, она чувствует мучительную тоску в этих опустелых комнатах, что ей просто страшно становится, что мысль о преступлении, о смерти мужа гнетет и гложет и не дает ей покою ни днем ни ночью, что нигде и ни в чем она ни на минуту не может забыться и что подобное существование становится ей невыносимо.

— Я или с ума сойду, или что-нибудь да сделаю над собою! — порывисто заключила она свою глубоко искреннюю исповедь.

«Только этого бы еще и недоставало!» — досадливо думал про себя Вельтищев. В глубине души он злился на Ирину и за ее исповедь, и за ее притязания — чтобы он не разлучался с нею, и даже за то, что она чувствует и страдает. Ему бы хотелось, чтоб она была весела и беззаботна, чтобы ко всему происшедшему относилась с равнодушным спокойствием, — «а вместо того вдруг нытье и эта отвратительная навязчивость!» — думал он, слушая Ирину. Будь она спокойна и беззаботна, ему легче было бы обмануть ее бдительность, провести ее и чрез это устроить на ее счет свои собственные дела. Он еще до смерти кузена рассчитывал в этом отношении именно на ее равнодушие и спокойствие, а теперь вдруг их-то и не оказывается.

Чем нежнее становилась к нему Ирина, чем глубже изливала пред ним свою страдающую душу, чем теплее молила не оставлять и поддерживать ее в ее гнетущем положении, тем более злился на нее в душе Платон Вельтищев, тем более ощущал в себе какой-то отталкивающий от нее холод, и наконец, когда она среди своей мольбы и горя, жаждая искренней ласки и утешения, приблизила к нему заплаканное подурненное лицо и нежно положила ему на плечи свои беспомощные руки, — он вдруг почувствовал, что она становится ему противна.

«И как это я мог увлекаться такой женщиной?!» —

с тайным омерзением подумал Вельтищев, забывая, что не всегда же, однако, она была «такою».

Ему хотелось бы как-нибудь резко оборвать, оскорбить ее, насмеяться и надругаться над нею, над ее «старушеством» и любовью, выместить на ней всю злость и досаду, все свои неудачи с Людмилой, сделать ей мерзкую сцену, затем — «плюнуть на все и покончить все разом», — но... *«собственный интерес»* положительно воспрещал ему малейшим намеком, даже малейшим движением и взглядом проявить перед нею настоящие его чувства: он твердо помнил одно, что «пока — еще не время», что надо еще во что бы то ни стало лгать и притворяться любящим, сочувствующим другом и любовником, пока не удастся усыпить ее тревогу; он помнил, что в настоящем его положении ему прежде всего нужно полное, безграничное доверие этой «противной» женщины, — и он лгал и притворялся. Но от тонкого женского чутья не ускользнуло, что во всех его ласках и утешениях кроется что-то неладное. Она еще и сама себе не могла дать отчета, что именно тут неладно, но инстинкт успел уже заронить в нее какое-то недоброе предчувствие и сомнение.

Когда он, взглянув на часы, торопливо стал прощаться, извиняясь, что ему крайне надобно спешить по очень важным делам, но что он постарается заехать еще сегодня вечером, — Вельтищева пристально и грустно взглянула на него.

— Что это за взгляд, Ирина? — недоумевая и отчасти смущенно спросил озадаченный Вельтищев.

Та молча и печально покачала головою.

— Милая моя, что это значит?.. Ты, никак, опять.. за тоску принимаешься?.. Ну, скажи же, чего ты?

— Того, что мне кажется, — тихо вздохнула она, — мне кажется, будто ты уже не тот...

— А ты разве та, что прежде? — силился он ласково улыбнуться, меж тем как сам опять почувствовал новый прилив злости с опасением — не дурно ли он играл свою роль и не подметила ли она его притворства. — Ведь и ты не та! Я люблю тебя счастливую, веселую, а ты вон плаксою стала! Это вовсе нейдет к тебе.

— Может, ты и прав, — грустно улыбнулась Ирина. — Может, я уже и точно не та... хоть и люблю тебя все так же... Знаешь что? — с печальным одушевлением вскинула она на него свои взоры. — Говорят, будто преступление связывает между собою людей тес-

нее всякого родства, теснее всякого брака, всякой любви и дружбы; а мне сдается, что наше общее преступление как будто провело между нами какую-то роковую черту... Да, мы оба не те, что прежде!.. Между мной и тобою как будто стоит тень моего мужа...

Вельтищев ласково и шутя называл ее «лазеркой», но сам уехал в смущении и тревоге.

«Притворяться, притворяться и притворяться!.. лучше, искуснее, артистически притворяться — вот все, что теперь нужно! — думал он, едучи к адвокату. — Но легко сказать! Притворяться здесь, притворяться там, и с той, и с этой, и с горничной, и с матушкой, и с целым светом — везде и всегда будь настороже, играй роль и вечно заботься, вечно думай, как бы не прорваться, как бы ловчее сыграть ее — Господи! да на это ведь, наконец, никакого таланта не хватит!»

### III

#### ГАМБЕТТА НЕПРИМИРИМЫЙ

Вельтищев подъехал к роскошному подъезду того дома, в котором обитал адвокат барон фон Шнитцли. Барон случился на ту пору дома — и Платон Васильевич был принят самым любезным образом. Это был великий маг и волшебник. Чему и кому только не служил он и от кого не пользовался! В те дни, когда еще сидел на правоведской скамье, — он уже был «непримирим». То были дни, совпадавшие с рождением так называемого «русского прогресса»; мы были злы вследствие того, что нас побиили англо-французы, мы кричали об «обновлении»; Хомяков призывал к покаянию, Кокорев писал либеральные статьи, Щедрин обличал губернских чиновников, Герцен ударил набат в свой «Колокол». Барон фон Шнитцли был в это время «красен», требовал «крови» и «ста тысяч дворянских голов для очищения и освежения воздуха». Впрочем, это требование, которому он оставался верен и после, по выпуске из заведения, не помешало ему занять «приличное место» в правительствующем Сенате и сделать самые почтительнейшие визиты к Татьяне Борисовне, к графу Ш., к княгине В., к барону Х. и ко многим сильным мира аристократических гостиных и мира административного. В те дни, когда каждая выходка «Колокола» насчет «трехполенного» графа П. или К. принималась с фарисейски злорад-

ственным удовольствием в некоторых салонах, наш юный барон фон Шнитцли успел себе составить даже очень приятную и лестную репутацию «милого красного» и «непримиримого, но очень благовоспитанного и изящного молодого человека». «Oh! savez vous, il est rouge, mais c'est une forte tête!»<sup>1</sup> — говорили о нем графиня З. и баронесса Ноль-Ноль в своих гостиных. Эта репутация благодаря духу комического времени весьма помогла его первым шагам на поприще служебной карьеры. Тогда это было в моде. В 1863 году, когда шашки переменились и акции «милый красноты» пали весьма низко, — барон фон Шнитцли вдруг явился одним из первых «русских деятелей» в Северо-Западном крае. Он даже, будучи лютеранином, пел на клиросе, отправлял и переправлял разные образа и церковные вещи, обращал в православие и посылал приветственные телеграммы графу Михаилу Николаевичу и в Москву Михаилу Никифоровичу. В это время, когда ему случалось приезжать иногда в Петербург и посещать аристократические гостиные, — у него здесь уже была составлена отличнейшая репутация: как прежде, бывало, называли его «непримиримым, но милым красным», так теперь все эти модные светские барыни, которые в это время усердно вышивали знамена, подушки и попоны «roug pos héros russes»<sup>2</sup>, стали называть его «непримиримым русским» — и он действительно был непримирим. «О, это Марат русского дела и русской идеи!» — с увлечением говорила о нем благочестивая княгиня N. — и шансы служебной карьеры непримиримого барона поднялись еще более.

Настали иные времена: в Остзейском крае делали фурор брошюры Бокка и Ширрена, а барону фон Шнитцли почему-то вдруг не посчастливилось на службе в Северо-Западном крае. Он приехал в Петербург просить о переводе на службу в край Прибалтийский и в течение своего кратковременного пребывания в Северной Пальмире успел написать целый ряд громоносных статей о состоянии покинутой им области, об «узкости и односторонности применения русской идеи» и проч. — и эти статьи нашли себе почетное место на столбцах Цемшевой газеты, ибо в них иронически и «непримиримо» порицались «русские деятели» и сочувственно превозноси-

---

<sup>1</sup> О! знаете, хотя он и красный, но это сильная натура! (Фр.)

<sup>2</sup> для наших русских героев (Фр.)



лись «лишенные прав еврейская и угнетенная, но высоко цивилизованная польская нации». «О, это человек либеральный, просвещенный и непримиримый!» — ликовали о нем в эти дни некоторые из наиболее наивных сотрудников Цемша.

На службе в Остзейском крае барон фон Шнитцли тоже был непримирим, но только непримиримость его направилась в иную сторону: он вспомнил теперь, что и он тоже *фон* и в некотором роде сын общенемецкого фатерланда. Время от времени он корреспондировал «беспристрастному» Цемшу о положении дел прибалтийских губерний, и в этих корреспонденциях, конечно, остзейские бароны и бюргеры, «с их культурой, с их вековой европейской цивилизацией, с их уважением к преданиям и своим родовым правам», возводились в перл создания как благородные борцы против русификаторских насилий. Ни одна из этих корреспонденций, конечно, не обходилась без яростных нападок и выходок против «Московских ведомостей» и «Голоса». Фон Шнитцли, по своим служебным отношениям, находил более удобным благоразумно умалчивать о своих непримиримых корреспонденциях, но однажды как-то дело всплыло наружу — у непримиримого автора произошло резкое объяснение с одним из высокостоящих русских чиновников, после чего ему стороною было деликатно предложено удалиться из края, с переводом в какое-нибудь другое ведомство. «Оскорбленный и невинно пострадавший» фон Шнитцли предпочел вовсе оставить неблагодарную русскую службу и уехать в Петербург. Долговременное отсутствие из этого ветреного города значительно повлияло на его связи и отношения: в аристократических гостиных успели не только сделаться к нему равнодушными, но даже и вовсе позабыть о нем. Фон Шнитцли крайне оскорбился этим обстоятельством и сделался непримиримым врагом аристократии и аристократического принципа. Один только «благородный и беспристрастный» Цемш сохранил к нему свои отношения, все еще продолжая по наивности считать его «человеком влиятельным и вращающимся в сферах», и снова «радушно открыл ему столбцы своей честной газеты». Покончив с русской службой и с аристократическими салонами, фон Шнитцли решил, что с его умом и способностями, с его красноречием, с его юридическим образованием ему теперь пристойнее всего заняться «свободною адвокатурой». Новые собраты с почетом и распростертыми объятиями приняли его в свою среду, как человека, державшегося

«честных либеральных принципов», что уже доказывалось его сотрудничеством в уважаемой Цемшевой газете. Фон Шнитцли начал с того, что перестал называть себя бароном и *фоном*, оставив эти слова только на своей дверной доске и на некоторых из визитных карточек, но это исключение было сделано ввиду практических соображений, что есть-де иногда и такие глупые клиенты, на которых может весьма благосклонно влиять его *фон* и баронский титул. Для всех же остальных либеральных и современных людей он сделался просто Адольфом Ивановичем Шнитцли.

Впрочем, и самое баронство его было весьма сомнительного качества. В Бердичеве, говорят, и по сию пору живы еще некоторые старики евреи, которые по рассказам своих отцов знают, как родной дедушка нашего барона, Мойша Шапир, перевозивший на своей спине кавалерийских офицеров через классическую грязь бердичевских улиц, попался в начале нынешнего столетия на сбыте фальшивых ассигнаций и успел как-то ловко бежать из острога в Австрию. Эти старики повествуют, будто ловкому Мойше, добывшему себе чужой паспорт, удалось поступить на службу к одному из самых значительных венских банкиров, после чего, по прошествии нескольких лет, Мойша и сам сделался банкиром — сначала маленьким, потом крупным и под конец своей жизни совершил еще один ловкий и выгодный гешефт, а именно: за дешевую цену приобрел себе и своему потомству какой-то фиктивный титул австрийского барона.

Папенька нашего непримиримого героя приехал в Россию уже бароном Иваном Моисеевичем фон Шнитцли и занялся откупам да подрядами. В тридцатых годах ему посчастливилось взять на юге России большие казенные подряды, и эта операция вместе с откупам столь ему понравилась, что он всем сердцем своим возлюбил благословенную русскую землю и осчастливил ее тем, что сделался российским гражданином. Многие баре того времени, черпавшие из его кармана, оказывали ему свою любезность и покровительство — быть может, на основании мудрой пословицы, которая гласит, что «рука руку моет и обе чисты бывают», а баронский титул открывал Ивану Моисеевичу двери многих гостиных и кабинетов. Таким-то образом барон Иван Моисеевич доставил своему сыну Адольфу возможность получить образование в одном из замкнутых аристократически чиновничьих заведений, мечтая, что сын его со временем будет министром. Он думал оставить ему после себя и

очень значительное состояние, но — увы! — этой надежде не суждено было осуществиться, ибо состояние барона Ивана Моисеевича лопнуло вскоре после Крымской войны, когда в охватившей нас акционерной горячке полопались многие тузы откупной и акционерной колоды. По смерти родителя юный Адольф унаследовал только юридическое и светское образование, баронский титул и семитический тип, который хотя и в третьем колене, но очень ясно отпечатлевался на его физиономии.

В настоящее время Адольф Иванович Шнитцли — адвокат, и притом адвокат «из самых непримиримых». Непримиримость эта у него столь велика, что многие в шутку величают его «Гамбеттой непримиримым» — и сам Адольф Иванович думает о себе, вовсе уж не шутя, что он при случае действительно сумел бы превосходно разыграть диктаторскую роль Гамбетты. Он и в настоящее время не чужд литературы, но из всей российской журналистики признает «честною» одну лишь газету Цемша, в которой и участвует иногда своими литературно-юридическими работами. Все, за исключением Цемша, по мнению этого непримиримого человека, суть подлецы, инсинуаторы и молчаливики. С некоторого времени он в особенности невзлюбил г-на Щедрина и «Отечественные записки», и если ему суждено будет разыграть роль Гамбетты (чего, впрочем, надо полагать, не случится), то он непременно сказнит всю редакцию означенного журнала вместе с ненавистными ему московскими именами.

Как бывший чиновник, как «деятель» и как уважаемый сотрудник Цемша, он был хорошо знаком с Платоном Васильевичем Вельтищевым и даже пускался с ним иногда в некоторые откровенности.

— Конечно, — говорил он ему однажды с великим апломбом, — мы с вами — люди известной политической идеи и очень хорошо понимаем друг друга. Мы знаем, чего хотим и куда идем, но... *top chër<sup>1</sup>*, у нас с вами есть общественное положение, которым надо дорожить, и в то же время мы общественные деятели, а эта деятельность требует от нас некоторой солидной позировки; поэтому, конечно, нам с вами всего удобнее и безопаснее принадлежать к солидному, честному кружку, сгруппированному под знаменем умеренно-либерального

---

<sup>1</sup> дорогой мой; милый мой (фр.)

органа нашего многоуважаемого Цемша, который, *entre nous soit dit*<sup>1</sup>, глуп, как сивый мерин, но он для нас с вами человек пригодный, — *n'est-ce pas*?<sup>2</sup>

И Вельтищев вполне соглашался с мнением барона фон Шнитцли.

Барон вообще был человек нравственно очень гибкий, и потому адвокатская совесть его сразу приняла весьма определенный закал. Он говорил, что порядочный адвокат прежде всего должен заботиться о том, чтобы его профессия приносила ему, по крайней мере, тысяч семьдесят пять годового дохода, и когда это достигнуто, тогда порядочный адвокат может и подумать, пожалуй, за какое дело ему браться и каким пренебречь. Браться же следует вообще за те дела, которые прежде всего — выиграешь их или нет — во всяком случае, представляют возможность сорвать кругленький куш с клиента, а во-вторых, за такие, которые представляют все шансы на несомненный выигрыш. (Дела сего последнего рода очень удобны для постоянной поддержки блистательной репутации.) По его убеждению, для порядочного адвоката нет и не должно существовать щекотливого, грязного и бесчестного дела; всякое дело ему годится, если только представляет хорошие шансы для ловкой защиты, если адвокат может на нем показать с блистательной стороны свое красноречие, эрудицию и талант. В этом отношении даже чем сквернее дело, тем более ему чести, коли он успеет его выиграть, и в таком случае он с чистой совестью и открытым лицом может пользоваться своим честным материальным заработком. Эти принципы Адольф Шнитцли провозглашал гордо и громко, тем более что они находили себе полную поддержку в солидном органе Цемша. Таким образом, брался ли он защищать какое-нибудь «золотое» скопческое дело — в его защите фигурировала свобода совести, религиозное убеждение, высшее стремление человеческого духа к высшей истине и т. п.; защищал ли отъявленного вора — на сцену являлась среда, нищета, голод, злосчастное социальное положение, недостаточность умственного развития и образования; приходилось ли выгораживать мошенника разглагольствовать присяжных тем, что здесь человек-де вынужден был на грязное мошенничество именно в силу

---

<sup>1</sup> между нами говоря (*фр.*)

<sup>2</sup> не правда ли? (*Фр.*)

высших привычек своей натуры, требовавшей комфорта и изящества, что образование и светское положение его стояли выше и требовали более того, что могла доставить ему действительность, и потому, ради удовлетворения этих законных требований, человек, быть может с грустию и скорбью в душе, решился на незаконное и грязное дело; приходилось ли защищать административного мошенника — Шнитцли очень искусно проводил тонкую разницу между казенными и общественными деньгами, между служебными обязанностями и общественным доверием, между присвоением чужой собственности и простым позаимствованием; при защите убийцы — на сцену опять-таки выступала злосчастная среда, нищета, голод, грубость и неразвитость общества и, наконец, известная теория о невменяемости; одним словом, все возможные аргументы были ему равно пригодны, и надо сознаться, он пользовался ими, как ловкий фокусник шарами или картами. В результате всего этого у Адольфа Шнитцли явилась громкая популярная репутация блестящего адвоката, великолепная квартира, экипажи, рысаки, многочисленные клиенты и прелестная француженка. Газета Цемша постоянно оказывала ему ревностную поддержку и дошла даже в своем усердии до того, что однажды объявила, будто дело, самое нечистое на вид, положительно не может быть неблагоприятным и сомнительным, если за него взялся такой честный, даровитый и дорожащий своею репутацией адвокат, как Адольф Иванович Шнитцли, что одно уже его «честное имя», даже вопреки всем очевидностям, вопреки всему общественному мнению, является несомненным ручательством чистоты и правоты бесчестного дела и что подло то общественное мнение, которое осмеливается заподозрить честность и бескорыстие Адольфа Ивановича Шнитцли — «нашего почтенного, даровитого и уважаемого сотрудника».

\* \* \*

С этим-то непримиримым Гамбеттой сидел теперь Вельтищев в его комфортабельном кабинете. Вопрос, подлежащий обсуждению, был довольно щекотливого свойства.

— *Ecoutez, cher baron*<sup>1</sup>, я должен говорить с вами с

---

<sup>1</sup> Послушайте, дорогой барон (фр.).

полною откровенностью, — начал Платон, дружески пожимая руку Адольфа Ивановича. — Я являюсь к вам почти в качестве клиента, и действительно, если в этом деле я и не буду клиентом номинальным, то я клиент фактический, и притом я принимаю на себя все материальные расходы по этому делу. Возьметесь ли вы быть моим адвокатом?

— Платон Васильевич! — поспешил ответить ему Шнитцли с самою любезною предупредительностью. — Об этом, кажется, излишне и спрашивать! Мы с вами люди солидарные, и потому достаточно одного вашего желания, чтобы я со всею готовностью принял на себя ради вас какие угодно труды и хлопоты. Я надеюсь, что общность наших идей делает нас не только товарищами, но и друзьями! Я весь к вашим услугам! Я слушаю! Приказывайте, говорите, что вам угодно?

— Видите ли, это история романическая, — приступил Вельтищев к объяснению с некоторою фальшиво скромною застенчивостью. — Я люблю одну женщину, которая в свой черед любит меня... Я люблю ее настолько, что хотел бы сделать ее моею законною женою, но... тут есть одно препятствие.

— Вероятно, муж? — домекнулся фон Шнитцли, знавший кое-что об отношениях Вельтищева к m-me Коробовой.

— Да, она замужняя, — со вздохом подтвердил Платон Васильевич.

— Стало быть, надо устроить бракоразводное дело?

— Вы угадали, мой милый барон! Да, надо развести их, но так, чтобы право нового брака осталось за этою женщиною. Признаюсь вам, сам я по моим отношениям к этой особе лишен всякой возможности вступать в сделки с ее супругом и потому просил бы вас принять на себя это дело?

Фон Шнитцли вперил глаза в неопределенное пространство и задумался самым деловым образом.

— Мм... что касается до меня, — процедил он сквозь зубы, — то вы — повторяю вам — можете быть уверены в полной моей готовности, но... мм... ведь это дело потребует с вашей стороны больших расходов.

— Что ж делать! — пожал плечами Вельтищев. — Я готов на это.

— Вот видите ли, — продолжал Гамбетта, начиная высчитывать по пальцам, — надо думать, что муж этой особы захочет сорвать с вас значительный куш вознаграждения за то, чтобы принять на себя вину и выпу-

стить на волю свою супругу. Это первое. При этом, положим, полицейские и прочие аксессуарные расходы относительно составят пустяки; но второй важный расход — это консистория... Вы ведь знаете, что вообще бракоразводные дела — это для наших консисторий самая лучшая дойная корова, и особенно если консисторские чиновники какими-нибудь лазейками пронохают, что негласное, но активное и главное участие в этом деле принимаете вы, человек богатый, человек с положением. Я уж о своем собственном вознаграждении не говорю: мне, положим, никакого вознаграждения и не надо, потому что это дело, в сущности, и не требует никакого адвокатского таланта, и притом же мое правило: с друзей не брать ни копейки. Это мой принцип, которым я не поступлюсь ни ради кого и ни ради чего на свете! Но... во всяком случае, вам придется на это дело пожертвовать тысяч двадцать пять, тридцать, а может, и пятьдесят... а может, и более. Согласны ли вы будете на подобную издержку?

— Если она необходима! — пожал плечами Платон Васильевич, как бы покорясь своей участи.

Непримиримый Гамбетта опять уставил взоры в пространство и задумался.

В эту минуту он рассчитывал, что авось-либо удасться ему негласным, келейным образом уломать мужа, чтобы тот согласился на меньшую сумму откупа, тысяч на десять — ну, на пятнадцать, положим; в таком случае в его собственный адвокатский карман может перепасть от десяти до пятнадцати тысяч барыша; от десяти до пятнадцати тысяч потребуетсЯ на ведение дела, на хлопоты, на взятки — стало быть, и с этой стороны может перепасть малая толика; одним словом, рассчитал Гамбетта, что он свободно может попользоваться тысячами тридцатью, коли не более, — дело, значит, подходящее.

— Предупреждаю вас, что я буду стараться вести это дело как можно экономнее, — сообщил Гамбетта с такою полною искренностью и прямою, которые не оставляли в себе ни малейшего сомнения. — Но чтобы я мог быть относительно всех этих господ, так сказать, господином своего положения, — продолжал он, — и чтобы впоследствии не нарушать ваших денежных расчетов, я попрошу вас сказать мне наперед: до какой цифры вы можете простереть тахітш ваших расходов на это дело?

— Мм... тысяч до пятидесяти, положим... — помор-

щился Вельтищев. — Да, тысяч до пятидесяти, но никак не более.

— В таком случае, это дело почти решенное! — открыто, быстро и «честно» протянул ему руку многодоговорный Гамбетта.

Вельтищев сообщил ему адрес Валерьяна Коробова, посвятил его в некоторые особые обстоятельства и подробности дела, касательно общественного и материального положения этого «мужа» и его отношений к жене, и затем, довольный возможностью дать сегодня же некоторый положительный отчет Людмиле, поехал к ее нежной маменьке. По дороге он завернул к ювелиру и на всякий случай выбрал у него изящный браслет. Вещь была массивная и очень ценная.

#### IV

#### БЕС В РЕБРО

Ольга Романовна очень и очень смутилась, когда Вельтищев совершенно неожиданно появился в ее квартире. Хотя Людмила и не сказала ей, кому именно принадлежат заимствованные ею деньги, но матушка и собственным умом догадалась, что им неоткуда больше быть, как только от Платона Васильевича. Надо сказать еще, что визиты его к Ольге Романовне представляли собою явление крайне редкое: он заезжал к ней только в самых официальных случаях — поздравить в именины да во вторые или в третьи дни Нового года и Пасхи.

Ее невольное смущение, удивление и замешательство выдали Вельтищеву всю правду: теперь он был убежден, что деньги находятся именно здесь, у нее — иначе с чего бы ей так растеряться?

И он с ониму же решился воспользоваться минутным преимуществом своего положения, пока матушка не успела еще опроститься и сообразиться.

— А я к вам нарочно заехал, милая Ольга Романовна, чтобы поблагодарить вас за вашу добрую услугу, — начал он, крепко и радушно пожимая ее руки. — Вы так обязали, так обязали меня, что просто нет слов благодарить вас!

— Чем же... за что же... помилуйте! — пробормотала старая балерина, теряясь и недоумевая еще более.

— Как за что? За деньги и бумаги, которые вы у себя спрятали! — высказался Вельтищев, глядя привет-



ливо, но упорно и прямо в ее глаза. — Этим вы оказываете и мне, и Людмиле громадную услугу. Видите ли, по некоторым нашим соображениям, нужно, чтобы этот капитал на некоторое время хранился не в банке, а в частных, надежных руках. Я было привез его сначала к Людмиле, но она — спасибо ей — еще лучше меня догадалась, передавши его вам. Но только, Бога ради, Ольга Романовна, — предостерег он дружески внушительным тоном, — Бога ради, молчите, чтобы никто не знал про эти деньги! Ведь на них строится вся наша будущность. Вам Людмила не говорила еще? Ведь я женюсь на ней!.. Подымаем бракоразводное дело — и под венец!.. Поздравляйте меня, chère maman, поздравляйте!

— Да?! Неужели?! И вы не шутите?! — радостно изумилась Ольга Романовна.

— Разве подобными вещами шутят! — посолоничал Вельтищев. — Так вот, видите ли, в этих деньгах вся наша общая будущность: и моя, и ее, и ваша. Со временем мы вам расскажем, как, что и почему нужно было, чтоб они хранились у вас, но пока еще раз повторяю мою усердную просьбу: поберегите их, и чтобы никто не ведал про это!

— Да уж будьте покойны! У меня они в верных руках! Я уж никому не выдам! — проболталась обрадованная балерина.

— Да вы, голубушка моя, где их держите? — озабоченно и участливо спросил Вельтищев. — Надежно ли они у вас хранятся?

— О, уж совсем надежно! — похвалилась Ольга Романовна. — Я их думала было на себе носить, эдак, знаете, вокруг талии, да только неудобно: чересчур, знаете, уж пышно и очень подозрительно выходит; так я их под чистым бельем в комодержу.

— Да надежно ли это, в комодетто? — озабочился Платон. — Ведь в комод и прислуга ваша, вероятно, ходит.

— Нет уж, нет! Я никому не позволяю! Я все и везде сама и одна, и ключи у меня всегда с собою; я стараюсь теперь все больше дома сидеть да караулить, а как ежели к Милочке ухожу, то всякий раз, придя домой, посмотрю эдак потихоньку — целы ли?.. Нет, уж за это вы можете быть вполне спокойны!

— Ну, вот и прекрасно! — с чувством пожал ей руку Платон Васильевич.

Балерина немножко призадумалась. Она успела уже

несколько оправиться и получила возможность соображать. Вельтищев своим откровенным видом и этим неожиданным приступом сразу к самой сути дела и тою уверенностью, тем положительным внутренним убеждением, которыми сопровождалось его слова, так ошеломил Ольгу Романовну, что она опростоволосилась с первой же минуты и выболталась. Уверенность, с которою он говорил, не могла оставить в ней ни малейшего сомнения в том, что Вельтищев не только заранее был посвящен во все дело, но что оно и устроилось таким образом именно в силу его желания, согласия и наущения; а если это их общее дело, то что же и скрывать перед главным участником — и особенно когда он объявил такой сюрприз, такую новость о бракоразводном деле, про которую даже и Людмила не сказала ей. Теперь нежная матушка знала, что эти деньги предназначаются для их общего будущего счастья.

— Только... что же это Милочка, — раздумчиво заговорила она, — ничего она мне не сказала про вас, что вы знаете... и про брак тоже... и все это... Странно!

— Неужели ничего? — слегка удивился Вельтищев. — Про брак, положим, она не могла еще говорить вам, потому что мы с нею на этот счет только вчера лишь сговорились, но деньги... Я-то именно и просил ее припрятать их в надежные руки. Положим, она могла распорядиться ими как полною своею собственностью, потому что мы и располагали сделать из них именно ее законную собственность; но... к чему же скрывать мое имя и участие от родной матери, тем более что я считаю вас совсем за родную!.. Это действительно немножко странно с ее стороны... Да, впрочем, — прибавил Вельтищев с беззаботной улыбкой, — ведь вы знаете, у нее вообще ужасно скрытный характер.

— О, мне ль уж не знать ее характера! — мотнула головой Ольга Романовна. — Еще и девчонкой, бывало, ругала ее за скрытность — и тогда такая же была!.. И представьте себе, — продолжала матушка, — вот за все эти дни, как бывала у нее, что ни заговорю о деньгах, ничего она мне положительно не открывает! Так, только пустячки одни да общие фразы! «Ну чего ты, говорю, от матери родной, от такого друга-матери скрываешь и не скажешь толком?» — «Ничего я еще, мамаша, и сама, говорит, не знаю, как и что из всего этого будет; впоследствии, мол, сами все увидите, а пока, говорит, молчите».

— Ну, и молчите! — ласково смеясь, перебил ее

Вельтищев. — Это, конечно, пустая и совсем неосновательная скрытность, но что же делать, если уж у нее характер такой!.. Я нахожу даже, что в данном случае по отношению ко мне эта скрытность является в ней, коли хотите, высокоблагородною чертою: она, вот видите ли, даже и вам не хотела сказать моего имени. О, я очень, очень ценю в ней это!.. Но я, как от родной матери, от вас не скрываю, тем более что вы — моя будущая теща.

Вельтищев почтительно и нежно поцеловал ее руку. Ольга Романовна совсем умилилась и растаяла от такой любезности и чести.

— И знаете ли, — продолжал он с дружескою искренностью. — Вы не тревожьте и не нарушайте ее скрытности!.. Пусть ее думает, что вы про меня и не знаете, если уж ей так хочется! Вы, пожалуй, коли хотите, можете и не говорить ей, что я был у вас, что мы с вами виделись и так откровенно обнаружили все дело... Да и действительно, лучше не сообщайте ей про это свидание... Я очень понимаю то деликатное и тонкое чувство, которое заставляет ее скрывать от вас мое имя и участие! О, милая Людмила! — засмеялся Вельтищев. — Но потом, — прибавил он, — потом, когда мы обвенчаемся, — мы вместе с вами дружески посмеемся и пошутим над нею. Не правда ли, *chère maman*? — нежно заглянул он ей в масляные глазки, снова целуя ее пухлую руку.

— О, конечно, конечно! — закатила она к потолку свои умиленные взоры. — Вы действительно правы, да я и сама нахожу теперь, что до времени лучше скрыть от нее наше свидание и разговоры.

— Да, — согласился Вельтищев, — вы этим меня даже очень обяжете. Пусть она до времени ничего не знает, а уж лучше я сам буду иногда заезжать к вам и откровенно поверять ход дела бракоразводного и все прочее — можно и посоветоваться, и подумать вместе, и вообще побеседовать с вами по душе. Не так ли?

Нежная маменька была необыкновенно польщена таким высоким вниманием к своей особе.

— А между прочим, вот что, — с скромной улыбкой заговорил Вельтищев, вынимая из своей собольей шапки изящный сафьяновый футляр. — Позвольте мне, в качестве будущего зятя и в благодарность за вашу услугу, просить вас принять от меня на память эту скромную безделку... Это пока еще первая, но надеюсь, конечно, не последняя! — любезно прибавил он, рас-

крывая перед изумленными глазами будущей тещи изящный золотой браслет, осыпанный бриллиантами вокруг прелестного и крупного рубина.

Ольга Романовна была так удивлена, так польщена, так обрадована этим вовсе уж неожиданным сюрпризом, что только ахнула и в безмолвном восторге глядела разбегающимися глазами на драгоценную вещицу.

— Позвольте мне самому надеть его на вашу руку! — еще любезнее и милее предложил Платон Васильевич.

Сияющая балерина протянула ему свою длань, обнажив ее почти по локоть, не без некоторой претензии на кокетство.

Немудрено: она была счастлива — она вспомнила старину...

Увы! — для нее давно уже минуло то блаженное время, когда шальные поклонники делали ей такие ценные подарки!.. И теперь, при таком неожиданном сюрпризе, ей невольно вспомнились прежние годы и приятно, очень приятно было вспомнить это счастливое золотое время.

— О, да какая, однако, у вас еще прелестная рука! — застегивая браслет, сказал Вельтишев тоном такого изумления, как будто он и взаправду был поражен столь приятно неожиданностью. — Ей-Богу, да это прелесть что за рука! какая свежесть! какая белизна! какая форма изящная!.. Нет, как хотите, но я не могу удержаться, чтобы еще и еще раз не поцеловать ее!

И он нежно, даже с заметным оттенком некоторой чувственности, поцеловал несколько раз ее руку и спереди, и в ладонь, и ниже, и выше браслета.

Ольга Романовна чуть не трепетала от восторга и счастья... Увы! — и опять-таки увy! — ей давным-давно уже никто не целовал рук с оттенком подобного чувства, которое очень хорошо было ей знакомо по приятным воспоминаниям и потому чутко подмечено в настоящую минуту. Не отымая руки своей, она только улыбалась широкою, сентиментально-счастливою улыбкой и смеялась тем особенным, радостно-самодовольным смехом, который какими-то захлебывающимися, рыгочущими звуками вылетал из ее колыхающейся груди.

«Эврика! — подумал себе Вельтишев. — Слабая струна, кажись, найдена, и на ней можно разыграть прелестные вариации!»

— О, да вы небезопасны, как я вижу! — шутил он,

нежно ощупывая и пожимая ее руку. — Эдак, пожалуй, чего доброго еще, как я женюсь да вы с нами вместе жить будете — так я в добрый час и не на шутку могу влюбиться в вас!.. Ей-Богу!..

— Нет уж, прошло то время! — с нежной и грустной сентиментальностью вздохнула экс-балерина. — Еще лет десять назад я и сама бы, пожалуй, в вас влюбилась, а теперь... теперь уж я старуха!..

— Старуха?! — поднял на нее Вельтищев удивленный взор и засмеялся, как на пустое, неосновательное слово. — Вы забываете, — прибавил он, по-видимому, совершенно серьезно, — что для нас в женщине, пока она может нравиться, ее возраст, ее годы не существуют! Вспомните хотя бы Нинóну Ланклó!

— Нет, я уж отказалась от этих мыслей и желаний! — с тем же вздохом проговорила Ольга Романовна.

— Отказались?.. Гм!.. желал бы я посмотреть, — говорил, шутя, Вельтищев, — нашлось ли бы у вас духу отказаться, если, положим, хотя я начал бы серьезно за вами ухаживать? Но понимаете, серьезно! то есть совсем серьезно, желая и добиваясь вашей взаимности!

— Это невозможно! — засмеялась старая балерина с легким кокетливым жеманством.

— Отчего же невозможно?

— Да все оттого же, что я старуха... Положим, сердце и чувства могут у меня еще быть молоды и горячи, но внешность... годы... ведь мне уж за сорок... хотя, конечно, немного еще за сорок, но все же...

— О годах мое мнение вы уже знаете, — перебил ее Вельтищев, — а внешность... Напрасно вы такого скромного мнения о вашей внешности! А я вам скажу вовсе без шуток, что вы еще очень и очень можете нравиться, но только человеку со вкусом, человеку, смыслящему толк в женщинах. Ну, да подойдите к зеркалу и взгляните на себя: эти чудные волосы, которые вы передали и вашей дочери, у вас еще так хорошо, так пышно сохранились, в глазах еще есть огонь и ослепленное женское выражение, лицо еще совершенно свежо, и стан еще гибок; а эта рука? а ножка? О, эти изящные ножки танцовщицы!.. Скажите: скольких вы свели с ума вашими ножками?.. Признайтесь!.. И наконец, эта роскошь форм, эта белизна, прозрачность, тонкость и свежесть вашей кожи, ваш бюст и шея, — нет, да вы еще, клянусь вам, очень и очень можете нравиться, — заключил он, по-видимому, с неподдельным

увлечением, — и я, право, не понимаю, зачем вы так рано отrekliсь от радостей жизни!

— Затем, что я вся теперь живу в моей дочери, — с чувством достойной скромности заявила нежная матушка.

— Но это одно другому не мешает! вовсе не мешает! — убедительно возразил Вельтищев. — Да поглядите вокруг себя: разве в нашем обществе, в нашей жизни мы не встречаем поминутно примеров, что женщины, не так как вы, а уж действительно пожилые, имеющие взрослых сыновей и замужних дочерей, — живут себе и пользуются жизнью? Те сами по себе, а эти сами по себе тоже! И благо им! Пусть их живут и наслаждаются!.. Да, мой друг, надо пользоваться жизнью, надо брать от нее все, что только она может дать нам, и брать до тех пор, пока нам дается, пока мы сами в состоянии брать хоть что-либо! А вы вдруг отрекаетесь! Да это ведь в некотором роде душегубство, самоубийство с вашей стороны! ей-Богу!.. Нет, погодите, — прибавил он, впадая снова в игриво-шутливый тон, — погодите, дайте мне только жениться на Людмиле, я серьезно примусь за вас! И теперь даю вам торжественное обещание начать серьезно ухаживать за вами. О, я вас еще заставлю вспомнить со мною ваши молодые, счастливые годы!.. Согласны?

— Нет, не согласна, — нерешительно ответила Ольга Романовна, глядя на него маслено-ласковым взглядом.

— Какая же вы, однако, упрямая!.. Так-таки и не согласны?.. Но отчего же бы это?

— Оттого, что вы будете мужем моей дочери.

— Так что ж?.. Тем лучше! — засмеялся Вельтищев. — Тем лучше для нас, моя прелестная маман! Мы с вами, по крайней мере, прикроемся щитом родственной близости, и это ни для кого не будет зазорно.

— А дочка-то? — возразила балерина. — Разве она-то не заметит. Уж это, извините меня, ни на что не похоже, как если дочь да вдруг станет ревновать мужа к родной матери!

— А зачем же возбуждать ее ревность? — в свой черед возразил Вельтищев. — Я, конечно, шучу и уверен, что вы очень хорошо это понимаете. Естественное дело, что ничего подобного между нами никогда не будет, но... для разговора допустим эту возможность. Представьте себе, что я женат уже на Людмиле и вдруг между вами и мной такой грех случился — ну, просто дьявол попутал! Очень естественно, что и вы, и я, как

умные и осторожные люди, вели бы себя так, что жена моя никогда ничего не знала бы и не подозревала, а вместе с нею и целый свет ни о чем не догадался бы, а мы-то себе втихомолку были бы счастливы!.. ха, ха, ха!.. Как вам нравится такая перспектива?

— Ах, какой вы шутник, однако!.. Я не подозревала этого за вами! — закинувшись в кресле, хохотала разливистым смехом Ольга Романовна. — Я, конечно, крепка и к себе ваших слов никак не отношу, но вы хоть кого убедите!.. Вы даже монахиню, даже святую — так и ту-то в грех введете!.. Вы просто демон-искуситель, и я понимаю, почему вами женщины так увлекаются!..

— Помилуйте, какие теперь женщины! Что это за женщины! — пренебрежительно махнул рукою Вельтищев. — Они, конечно, очень милы и прекрасны, но.. наш век не производит более настоящих женщин! Теперь все это такая хилая, болезненная калечь. Они у нас хоть и прелестны, но все какие-то дохленькие!.. Произвела на свет одного или двух потомков — и уже, глядишь, хиреет, страдает разными там малокровиями, нервами, слабостями; лечится, охает, и Бог знает что только с нею не делается!.. И это женщины! Да какое же сравнение между ними и хоть бы вами, например!.. Вот, Ольга Романовна, вот почему я говорю, что смыслящий человек очень легко еще может увлечься вами! Вы — сталь прежнего, старого закала, вы лучше тысячи современных женщин, которые пред вами никуда не годятся!

Экс-балерина все еще сидела в прежнем положении, небрежно и — по ее мнению — кокетливо-роскошно закинувшись в глубокое кресло и только слегка покачивая не без умысла высунувшейся ножкой. «Так, так!.. молодец баба!.. Хвалю! одобряю!» — думал про себя Вельтищев, созерцая с внутренним смехом все эти кокетливые проделки старой балерины, которая слушала его речи как словно бы какую музыку, слушала и наслаждалась: ей так давно уже никто не говорил ничего подобного, а теперь все это говорилось таким соблазнительно убедительным тоном, что все слова своего гостя о ее преимуществах, о ее наружности и красоте Ольга Романовна приняла за чистую монету.

— Однако же я заболтался с вами и, кажется, наговорил вам много вздору — простите великодушно! — взглянув на часы, поднялся он с места.

Балерина томно и как бы нехотя очнулась.

— Вы уже уезжаете... так скоро! — протянула она с кокетливо недовольной гримасой.

— А вам жаль отпустить меня? — ловко пококетничал в свой черед и Вельтищев.

— Конечно, жаль... Вы мне напомнили мою молодость! — томно вздохнула она, подавая ему руку.

— В таком случае, если хотите, я буду являться к вам почаще и постараюсь еще лучше напоминать ее, — любезно шутя, предложил Платон Васильевич.

— Пожалуйста!.. Я так буду, так буду рада! — подхватила балерина, с чувством пожимая его руку. — Я ведь почти всегда дома и все одна... Милочка, вы сами знаете, почти никогда у меня не бывает, да и никто не бывает!.. Но... вы не найдете странную одну мою просьбу? — несколько затрудняясь, спросила она, с скромным смущением потупив голову и взоры.

— Сделайте одолжение — все, что вам угодно! — изящно и предупредительно поклонился Вельтищев.

— Я бы желала... если только это возможно... я бы желала, чтобы Милочка... не знала...

— О наших свиданиях? — облегчил он ей высказаться.

— Да, о наших свиданиях... потому что... у нас с вами могут быть серьезные и откровенные разговоры и о деле, и о деньгах, а она такая скрытная... она не хочет, молчит!.. Ну, и пусть ее... А мы ведь для ее же счастья стараемся!

— Ну, конечно! — сочувственно пожимал он ей руку. — Если хотите, я буду нем как рыба, только вы-то сами, глядите, не проболтайтесь как-нибудь!

— Я?... О нет, ни за какие деньги!.. ни за что!.. — встрепенулась Ольга Романовна, делая и головой, и руками отрицательные жесты. — На меня вы можете положиться, как на самого верного и преданного друга.

— Значит, и о нашем нынешнем свидании, и о разговоре про деньги она тоже не должна знать?... Да и в самом деле, пусть лучше не знает пока до времени! — дружески предложил Вельтищев.

— Пусть не знает! — порешила матушка.

— Ну, а о браслете? — спросил он, глядя на нее лукаво-заискивающими глазами.

— О браслете? — с живостью и опасливо подхватила балерина. — О браслете, Бога ради, ни слова!.. Вы знаете, она ведь у меня такая завистливая! Еще, пожалуй, сцену вам выведет! С нее ведь всего станет.

— Так, значит, ни слова!



— Да, да! Пожалуйста!.. «Об этом ни сло-о-ва!.. Молчи-и! молчи!» — кокетливо и лукаво грозя пальцем, пропела она ему заключительную фразу из песенки «Периколы».

Он еще раз взял ее за руку, повернул ее ладонью вверх и прильнул значительно выше браслета долгим поцелуем, в котором теперь еще яснее сказался чувственный оттенок.

Ольга Романовна в ответ не без нежности облобызала еще его в щеку, но он не отнимал губ от ее белой и мягкой руки.

— Ну, будет... будет... Шалун! — тихо и томно-застенчиво проговорила она, чуть-чуть освобождая свою руку, и с кокетливой лаской слегка и вскользь хлопнула его по волосам пальцами.

Вельтищев в заключение крепко, выразительно пожал ей руку и удалился.

\* \* \*

Проводив его, старая грешница с легкостью былой танцовщицы (хотя эта легкость и была уже у нее довольно тяжеловата) подпорхнула к туалетному зеркалу и напудрила свое пылавшее лицо, поправила на лбу буколки, провела по бровям и векам послушенными пальцами, помазала губною розовой помадой улыбающиеся губы, нежной ваткой подрумянила щеки и, проделав очень аккуратно ловкой и привычной рукою все эту операцию, полулегла в «изящной» позе на кушетку, стоявшую против туалета, но прилегла так, чтобы ей можно было всю себя созерцать в зеркале, и задумалась — весело, нежно, сентиментально, хорошо задумалась, любуясь в то же время новым браслетом и игрой его бриллиантов, которые, между прочим, не забыла пересчитать, а также и прикинуть на опытной руке вес его золота.

Она мечтала и думала... О чем думала? — это трудно сказать, потому что мечты и думы ее были очень легки, очень приятны и беспрестанно сменялись одни другими. Определеннее других, однако, была дума о Ниноне Ланкло, имя которой мимоходом упомянул Вельтищев и о которой, между прочим, некогда слыхала и даже читала в какой-то книжке сама Ольга Романовна. Она вспомнила теперь, что эта Нинона Ланкло даже в глубокой старости пленяла ветреных мужчин, наперыв добивавшихся ее благосклонности, и даже чуть ли

не на девятом десятке своей жизни сподобилась страстной любви от собственного родного внука, который, как говорят, был осчастливлен взаимною любовью своей бабушки.

## V

### РАБ

«Платон Васильевич, сегодня пока я вами доволен!.. Еще раз хвалю и одобряю! — мысленно обращался к самому себе в шутку Вельтищев, весело мчась на рысках к Людмиле. — Теперь, значит, сейчас новая перемена декораций — и мы появляемся в новой роли».

И действительно, на сей раз у м-ше Коробовой он играл роль совершенно новую и притом добровольно на себя взятую.

Он был кроток и смирен, как агнец. В его тоне, в манере и вообще во всех отношениях к Людмиле проглядывала сегодня несколько суховатая покорность, так что м-ше Коробова ясно могла понять, что хотя в душе он и не доволен, хотя еще и не примирился с новым своим положением, но, чувствуя полное свое бессилие, смирился пред ним, покоряясь ему по необходимости неволе и навсегда в силу полной безысходности.

Он довольно кратко передал ей, что желание ее исполнено, что он был у адвоката, который берется вести дело, и что оно может обойтись от двадцати пяти до пятидесяти тысяч. Когда же Людмила захотела узнать самый ход свидания и разговор во всех подробностях, то Платон Васильевич, с тем же кротко-суховатым видом покорности, объявил, что подробности предстоящего дела она узнает сама от барона фон Шнитцли, который не замедлит посетить ее лично. Засим Вельтищев взялся за шляпу и откланялся вежливо, без малейшей фамильярности.

— Разве вы уже удаляетесь? — остановила его Людмила.

— Как видите.

— Но для чего же так скоро?

— Я уже исполнил все, что от меня требовалось вами на нынешний день, и сообщил вам о результате.

— Но вы, кажется, еще так недавно любили посидеть, помечтать, отдохнуть у меня, в моей уютной квартирке...

— То было недавно, — с легким склонением головы заметил Вельтищев.

— Разве вам необходимо ехать туда?

— Я еду домой. Но, быть может, вам угодно приказать мне, чтобы я остался?

— Это совершенно зависит от вашей доброй воли.

— В таком случае позвольте мне удалиться.

— Если вы так хотите, — пожала она плечами.

— Вы ничего не имеете приказать мне на завтра?

Она пристально взглянула на него своими лучистыми глазами и рассмеялась самым дружеским и миролюбивым образом.

Эта смиренная сухость и натянутость, этот тон, какой-то официально-почтительный, — все это было так несродно Платону Вельтищеву, что даже несколько озадачило и неприятно покорило Людмилу.

— Платон Васильевич, полно играть комедии! — совсем дружески и благодушно отнеслась она к нему, протягивая руку. — И что мы с вами, в самом деле, французские проверки, что ли, разыгрываем?!

— Напрасно вы так думаете, — возразил он, — я никогда не позволю себе играть с вами какие бы то ни было комедии.

— Так что ж это за странный тон и манера, которых вам угодно держаться со мною.

— Я полагаю, что в моем тоне нет ничего для вас оскорбительного.

— И вы долго намерены его придерживаться?

— Навсегда, полагаю. Да и чего ж иного вы от меня хотите?

— Полно, Платон!.. Ты меня не понимаешь! — дружески, но серьезно взяла она его за руку, которую тот в течение ее речи сухо и деликатно старался высвободить! — Ты меня не понимаешь, говорю тебе!.. Дуйся, пожалуй, сколько тебе угодно, но моя воля, мое вчерашнее решение остаются неизменны. Знай только одно: все, что я делаю, — я делаю для твоего же блага. Когда я буду твоей женой, ты перестанешь, друг мой, дуться! Ты только тогда вполне поймешь, узнаешь и оценишь меня! Я буду редкою в наши дни женою; я сумею всегда и везде поддержать тебя на той высоте, на которой ты должен стоять по твоему положению, по твоим достоинствам, — тогда ты не станешь дуться, и тем более... тем более что ведь ты любишь меня, и я это очень хорошо знаю!.. Ты сам придешь ко мне! Пла-

тон! тебе нужна любовь моя — нужна и теперь, нужна и в будущем!.. Или я, как женщина, уж не имею силы над тобою?

Платон Васильевич дал вполне ей высказаться.

— Не требуйте от человека более, чем он может, — тихо и сдержанно-спокойно начал он в ответ Людмиле. — Я не отрицаю вашей силы надо мною, она есть, и теперь даже более, чем прежде, чем до вчерашнего дня. Но это не сила любви, а сила цепи; это кандалыная сила. Конечно, я любил вас, но вы сами разбили эту любовь. Вы избрали путь насилия и устрашения; вы предпочли вместо друга сделать из меня раба, вы сами дали мне на выбор каторжную работу или рабство — и что же? Как видите, я раб ваш, самый покорный, самый безусловный. Малейшая воля ваша всегда будет исполнена мною беспрекословно, и можете быть на мой счет вполне спокойны; вы отняли у меня все выходы, вы сковали меня — и я не ищу свободы. Быть может, это-то и есть моя кара за Максима Вельтищева. Что ж делать! — я покоряюсь... Вы имеете право требовать от меня самой тяжелой работы, и я буду нести ее; но не требуйте от раба любви, Людмила Сергеевна!

Эффект этой речи, несколько обдуманной заранее, на взгляд Вельтищева, был вовсе не дурен: Людмила стояла молча, очевидно под впечатлением его слов, и глядела на него широко раскрытыми, серьезно удивленными глазами.

Он безмолвно отдал ей глубокий поклон и тихо вышел из комнаты.

## VI

### ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ ПОСОЛ

Валерьян Коробов запил. Такой грех случился с ним еще в первый раз от роду. С той самой минуты, как он почувствовал в своей жене не человека, а холодную жабу в прелестном женском образе, им обуяло чувство горького, отчаянного разочарования. До этой минуты он был способен все простить, и если не забыть, то никогда ни словом, ни намеком не вспоминать ей о связи с Вельтищевым; он еще мечтал о возможности возврата к прежнему, о спокойствии тихого семейного очага, думал, что Людмила опомнится, угомонится, что на нее подей-

ствуется слово убеждения и мольбы, запечатленное столь горячим чувством самоотверженной и прощающей любви; он склонен был обвинять даже самого себя в том, что из-за своей работы мало думал иногда о жене, в том, что развивал иногда ей теорию свободного чувства и тем как бы сам наталкивал ее поступить в силу этой теории; но после своего последнего свидания с этой женщиной он убедился, что теория тут ровно ни при чем, что тут нет ни малейшего чувства, что побуждающими двигателями у Людмилы остаются одни лишь инстинкты, так сказать, прирожденной содержанки, одна лишь алчность к роскоши и богатству, откуда бы оно ни шло и какими путями ни досталось бы. Теперь он понял, что судьба его связана не с женщиной, не с человеком, а с какой-то холодной жабой, которой ему нечего ни прощать, ни забывать, равно как и нечего рассчитывать на возможность возратить или установить какие-нибудь сносные человеческие отношения с нею. Глубокая горечь и глубокое презрение — вот что унес в душе Коробов, выйдя в последний раз от Людмилы; но с этими двумя чувствами он все-таки создавал, что в его душе нет еще настоящего и полного разрыва с этой женщиной, что она все-таки привязывает к себе некоторые тонкие, но сильные, нервные нити его души и что ослабить или разорвать эти нити остается вне его силы и воли — по крайней мере, в данное время. Он испытывал к ней то же самое чувство, что и Платон Вельтишев. И тот и другой любили ее силой той животной страсти, которая не поддается ни анализу, ни требованиям рассудка. Рассудок говорит: разорви, кончи все с этой жабой; мир не оскудел еще женщинами, ты можешь встретиться с другой, которая тебя полюбит по-человечески, скрасит твою неприглядную жизнь, даст тебе покой и долю возможного счастья; а какая-то темная сила души или, вернее, крови и привычки отвечает на это: нет для меня иных женщин, кроме этой! Пусть она мерзка по качествам своей души, пусть в ней нет ничего человеческого, но меня неодолимо тянет к ней какой-то непонятный мне самому магнит; никто, кроме нее, не умеет и не может с такой силой будить во мне инстинкты жгучей страсти, которая становится тем горячее, тем капризнее, тем настойчивее, чем более растет бесстрастность и холод этой женщины! Быть может, этот-то самый холод сердца, заключенный в оболочку столь изящного, столь прелестного тела, и делает эту женщину обаятельной до такой степени,

что нет сил оторваться от нее, несмотря на все ее нравственное безобразие! Как бы то ни было и что там ни говори, но я помимо рассудка хочу — и не в силах не хотеть — обладать бкак женщиной этой ледяной глыбой!

И надо сознаться, что прелестные жабы вроде Людмилы Коробовой всегда бывают в высшей степени наделены подобными магнитными свойствами. Их презирают, но их хотят — хотят всесильно и почти безотчетно.

Томимый своими тягостными чувствами, Валерьян Коробов бесцельно шел из улицы в улицу, с трудом волоча ноги. Он не видел себе никакого исхода, не знал, что ему делать, что предпринять, на что решиться. Презрение, погибшая, но неподавленная любовь, желчь и чувство безнадежности разом вставали теперь в его изнемогшей душе. Надо было чем-нибудь притупить их, хотя бы на время. Внутри у него ныло; голова и грудь горели, во рту ощущалась сухость и вкус какой-то вяжущей горечи. Несмотря на то что на дворе стоял зимний холод, ему было душно и казалось, что не хватает воздуха для дыхания; ему было тяжело, и тяжело до такой степени, что казалось, будто даже это легкое летнее пальто, вся эта скудная одежда невыносимо тяготит его плечи, и спину, и все его тело. Он распахнулся и бесцельно остановился на углу какого-то перекрестка. На противоположной стороне улицы мигал малиновый фонарь и освещал вывеску с виноградной кистью и с надписью: «Виноторговля».

Коробов почти машинально спустился в подвальный этаж, где помещался этот погреб, и спросил, чтобы ему дали бутылку чего-нибудь покрепче. Приказчик отвел его в какую-то узкую, тесную конурку и откупорил перед ним коньяк русской фабрикации. Коробов с жадностью сильной жажды залпом осушил стакан, не почувствовав даже жгучей крепости этого напитка.

Это был первый его дебют на поприще облегчения человеческих горестей. С шибко отуманенной головой, он кое-как успел добраться до своей квартиры и как убитый повалился на свою постель, без мысли, без чувства, без боли и горя. Коньяк на первый раз сделал свое дело.

С тех пор подобные приемы возобновлялись каждый день — и Коробов быстро стал втягиваться в состояние пьяницы.

Однажды Коробов, возвратясь домой, нашел у себя на столе клочок бумажки, указанный ему кухаркой, где было написано карандашом следующее:

«Был Антизитров по весьма важному делу и очень сожалел, что не застал дома. Буду завтра утром в девять часов и покорнейше прошу либо подождать меня, либо назначить время для свидания».

«Что за Антизитров?» — изумился Коробов. Никакого Антизитрова он не знал и даже не слышал никогда подобной фамилии. Тем не менее тон записки был настолько положителен, что он решился подождать прихода этого г-на Антизитрова.

Тот аккуратно явился в назначенное время.

Это был человек лет тридцати с небольшим, высокого роста и атлетического сложения. Одет несколько аляповато: в бархатном пиджаке, в пестром жилете и в полосатых брюках. Густые, длинные черные волосы были закинuty назад и открывали узкий и низенький лоб; узкие черные глаза глядели беспокойно, остро и лукаво из-под сросшихся густых и несколько нависших бровей; прекрасная окладистая борода спускалась почти до половины груди. Под мышкой у него был деловой портфель. Походка и манера держать себя обличали несколько нахальную самоуверенность, а общее впечатление было таково, что мы не ошибемся, назвав этого человека неприятно красивым мужчиной.

— Вы господин Коробов? — прямо начал вошедший хриплым басом.

— К вашим услугам.

— В таком случае позвольте рекомендоваться: Антизитров... Аристарх Кононов Антизитров — частный помощник адвоката.

И он сам подал Коробову руку, не выжидая, пока тот протянет свою как хозяин.

— Вы ведь сотрудник Цемша? — продолжал Антизитров.

— Да, я работаю в его газете.

— Я сам тоже иногда пописывал там кое-какие заметочки, но перестал, потому я уважаю направление более радикальное.

Затем г-н Антизитров сел без приглашения и закурил хозяйскую папироску.

— Вы ведь женаты, — продолжал он, устремляя на

Валерьяна свои неприятные острые глазки, — и притом, кажется, несчастливо женаты?

Коробов поморщился с явным неудовольствием.

— Оно и поделом, не потворствуйте общественным предрассудкам. Впрочем, это не мое дело! — махнул гость рукой. — А вы вот что, вы знаете барона фон Шнитцли, адвоката? Он тоже ведь сотрудничает у Цемша, — значит, вместе с вами.

— Знать — не то что знаю, а так... видывал, встречался в редакции, — сообщил Коробов.

— Это мой патрон, — заметил Антизитров с такою улыбкой, которая могла быть названа и насмешливой, и ничего не значащей. — Ведь он у вас там один из самых «уважаемых» сотрудников и Цемш за ним очень ухаживает?

— Кажется, — кивнул Коробов.

— Да уж не кажется, а так, коли я говорю. Вы ведь и сами, поди-ка, очень его уважаете?

— Да, он пишет весьма дельные статьи.

— Ну, конечно, дельные! Вам с ним и карты в руки!

— Однако... позвольте узнать, — нахмурился Коробов, — чему, собственно, обязан я вашим посещением и ради чего я должен выслушивать ваши резкости?

— Резкости?.. хм! — ухмыльнулся гость. — Ваша правда: я резок, но я честен, а вы — позвольте вас спросить — где это вы до сих пор вращались? Где и с кем это вы жили, что до сих пор не научились понимать язык и тон честных людей? Честные люди все резки! А в Цемшевой газете, правда, у вас там все это на взаимной дипломатии да на деликатных политесах!.. Ха, ха, ха!.. Вы меня, дружище, не браните за мою резкость, а то я и сам выругаюсь!

— Я желал бы знать только, чему я обязан вашим посещением? — с некоторой настойчивостью повторил Коробов свою прежнюю фразу.

— Ну, на этот счет вы обязаны «многоуважаемому» барону фон Шнитцли, который послал меня к вам с поручением. Вот чему вы обязаны!

— Какого рода ваше поручение?

— Да вот, видите ли, он имеет для вас в виду одно выгодное дело... то есть очень и очень выгодное для вас лично.

— В чем же это дело?

— Ну, это вы сами от него узнаете, а я передавать вам не уполномочен. Я уполномочен только на то, чтобы сообщить вам следующее.



Антизитров поднялся с места и стал в любезно-официальную позу, в которой обыкновенно сообщают известия театральным герцогам и королям театральные герольды и вестники.

— Многоуважаемый барон Адольф Иванович фон Шнитцли, — начал он, — свидетельствуя вам совершенное свое почтение, извиняется, что, по причине многочисленных занятий, лишен удовольствия лично быть у вас, а потому покорнейше просит вас пожаловать к нему для переговоров по очень интересному для вас делу. В случае вашего согласия он просил меня быть вашим проводником, а если не хотите, я оставляю вам адрес: но мой совет — лучше поедemте... Ей-Богу, дело очень выгодное!

Коробов стоял в полной нерешительности.

— Ну, чего же вы, дружище, мнетесь-то? — ласково-покровительственным тоном ободрил его Антизитров, заложив в карманы панталон свои руки.

— Согласитесь, что все это очень странно, — улыбнулся Валерьян. — Я с господином Шнитцли никаких дел не имею и не могу даже понять, какого бы рода могла быть у него ко мне надобность? А вас совсем уже не знаю, и вдруг это ехать с кем-то, куда-то, по какому-то делу... И ради чего все это я стану проделывать?

— Ради собственного интереса, говорят вам! Или у вас уже так густо в карманах, что лишняя тысяча рублей не имеет для вас ровно никакого значения? И наконец, ведь вы не маленький! Разве я предлагаю вам завязать глаза и препроводить в темной карете в некое таинственное место? Слава тебе Господи, теперь ведь день, утро, на каждом углу торчит полицейский, и поедем мы с вами на извозчике, значит, в открытом экипаже, да и везу я вас не в таинственное подземелье, а в очень изящный дом, где на дверной доске вы прочтете имя барона фон Шнитцли. О чем тут, кажется, беспокоиться и думать?

— Но все-таки я желал бы знать, хотя приблизительно, сущность дела, — слабо настаивал Коробов.

— Экой вы упорный... говорят же вам, что насчет сущности я не уполномочен, да и сам еще не знаю ее хорошенько; мне поручено только пригласить вас и сообщить, что дело выгодное, что я и делаю, а вам вольно же ломаться!

Коробов подумал и согласился ехать.

## ДОН-КИХОТ ЛАМАНЧСКИЙ

Фон Шнитцли принял его самым предупредительным и любезным образом, извинился, пожимая руки, что решился беспокоить, что сам бы счел долгом приехать первый, если бы не множество дел, но он надеется, что Коробов, в качестве его литературного собрата, извинит ему. Затем он усадил своего гостя в покойное кресло и предложил дорогую сигару, от которой, впрочем, Коробов отказался.

— Признаюсь вам, дело, по которому желал я вас видеть, несколько щекотливого свойства, — начал фон Шнитцли с улыбающимся лицом, потупя глаза и поигрывая костяною разрезкой, — но я надеюсь, вы на меня не будете в претензии, потому что я постараюсь оставаться на нейтральной почве моей специальности. Я полагаю, что могу быть чьим угодно адвокатом, но это нимало не нарушает моих личных отношений... Прежде всего надо вам знать, что я — адвокат вашей супруги.

Коробов вздрогнул и даже побледнел от этой неожиданности, которая покорила его весьма неприятно и сразу же настроила несколько настороженным и враждебным образом против предупредительного барона.

— Но это, в сущности, ничего не значит, — продолжал фон Шнитцли, — потому что, будучи адвокатом одной стороны, я ничего не имею и относительно стороны противной, тем более если усматриваю возможность согласить дело так, что обе стороны останутся довольны.

Он пытливо вскинул взгляд на Коробова, как бы в надежде найти в его лице сочувственную поддержку своему мнению; но Коробов глядел на него пристально, серьезно, холодно, с самым сдержанным, ничего не выдающим выражением.

— Ваша супруга предлагает вам развод, — продолжал Гамбетта. — Что вы на это скажете?

— Я? — отозвался Валерьян. — Я пока еще слушаю вас и жду, что будет дальше.

Этот сухой ответ, в свою очередь, неприятно покорибил адвоката.

— Я думаю, что ее предложение вовсе не безвыгодно, и особенно для человека в вашем положении...

— А позвольте вас спросить, почему это вы знаете мое «положение»? — сдержанно прервал его Коробов.

Фон Шнитцли окинул его бегло тревожным взглядом и несколько замялся.

— В качестве адвоката вашей супруги, которая, конечно, не имела причин быть со мной неоткровенною, — ответил он, немножко подумав.

— В таком случае, я попрошу вас говорить о деле, не касаясь собственно моего личного положения.

Гамбетта с улыбкою пожал плечами.

— Постараюсь, насколько возможно, удовлетворить вашему желанию, — слегка поклонился он, — хотя не могу не сознаться, что обходить в этом деле ваше положение для меня будет весьма затруднительно, и потому я заранее прошу извинения, если обстоятельства вынудят меня поневоле несколько коснуться его.

Коробов закусил нижнюю губу и решился выслушать.

— Ваша супруга, — продолжал адвокат, — желала бы получить развод такого рода, который бы дал ей право вторично выйти замуж.

Коробов побледнел еще более.

— Вы, конечно, понимаете, — говорил меж тем Гамбетта, — что в наше время было бы более чем странно, и особенно для человека с вашим развитием, насильствовать свободу женского чувства. Женский вопрос в наше время...

— Ну, а мужской вопрос? — перебил его Коробов. — Разве мужское чувство, по-вашему, не заслуживает того же уважения, как и женское?

— По-моему, мужчина в этом случае должен быть великодушнее, тем более что мужское чувство у нас давно уже пользуется довольно широкою свободой, на практике, по крайней мере.

— Настолько же, как и распущенное женское, если уж говорить о «практике», — заметил Коробов.

— Не смею спорить... я человек не женатый, — скромно улыбнулся адвокат. — Итак, супруга ваша желает выйти замуж за человека, которому — извините — принадлежит ее сердце. Вы понимаете, что тут без развода не обойдется. Поэтому ваша супруга желает, чтобы, ради формальной стороны дела, вы приняли вину на себя... Повторяю, что женский вопрос в его современном значении и развитии...

— Ну, а я вам повторяю о мужском вопросе, — снова перебил Коробов.

— То есть что вы разумеете под именем «мужского вопроса»?

— Да хотя бы то, что вы предлагаете мне, человеку, не прегрешившему ни на йоту перед моею женою, принять на себя несуществующую вину и через то лишиться на всю жизнь одного из весьма существенных гражданских и человеческих прав. Вы говорите об уважении к свободе женского чувства, — продолжал Коробов, — хорошо-с, но вы не берете в расчет, что я могу еще в жизни моей встретиться с женщиной, которую полюблю настолько, что захочу, чтобы и весь свет уважал ее вместе со мною. Для этого у нас пока есть один только путь — путь законного брака.

— Для современного человека, я полагаю, гораздо более преимуществ имеет за собою брак гражданский, — с улыбкою сказал фон Шинтцли, не замечая, что эта улыбка внутренне все более и более бесит и возмущает Коробова.

— Я с вами не говорю о преимуществах того или другого брака, — отозвался последний, — я объявляю вам только то, что из-за развратных прихотей моей супруги, не чувствуя себя ровно ни в чем виновным пред нею, я не желаю лишать себя одного из гражданских прав и служить действующим лицом в той гнусной и скандальной комедии, которая ради формальности обыкновенно проделывается в подобных случаях.

— Но... все-таки... — возразил ему с некоторым затруднением фон Шинтцли, — ведь супруга ваша тем или другим путем, а все-таки в конце концов добьется себе развода.

— Что-с?! — недружелюбно возвысил голос Валерьян Коробов. — Желал бы я знать, каким это путем она будет добиваться?

— Pardon?.. На одну минуту! — вежливо спохватился осторожный фон Шинтцли и мелкими шажками торопливо вышел в другую комнату, где у него занимался за конторкой г-н Антизитров.

— Это черт его знает, какой-то бешеный дурак, с которым просто говорить невозможно! — шепотом обратился он к своему помощнику. — Я уж на всякий случай оставлю дверь полураскрытою, а вы, мой милый, пожалуйста, будьте настороже, и как ежели чуть что, сейчас же ко мне бегите... Ей-Богу, это бешеный какой-то!

И он вернулся к Валерьяну.

— Вы говорите о путях, — начал Гамбетта, — да мало ли есть путей-то! Помилуйте!.. Была бы только охота, а пути всегда найдутся.

— Например-с? — решительно уставился на него Коробов глазами.

— Да, например... я не говорю собственно о вас... но представьте себе в вашем положении человека молодого, как вы, в котором еще не ушли его страсти... Очень естественно, что у такого человека легко могут быть самые обыкновенные случайные связи, которые как нельзя легче могут быть выслежены и накрыты агентом противной стороны, и, стало быть, скандальный результат выйдет тот же, что и с «комедией», как вы называете, и человека все-таки разведут, но уже без тех выгод, какие ему может представить его добровольное согласие.

— Ну... знаете ли, что я вам скажу на это, господин адвокат, — поднялся Коробов. — Пока-то вы еще с моею супругой станете за мною шпионить да выслеживать, я попрошу вас не забывать, что я и теперь уже имею каждодневную возможность «накрыть» ее; но пока еще — слава Богу — лишен бесстыдства прибегать к подобной мере.

— Ах, господин Коробов! — залебезил Гамбетта. — Я понимаю, поверьте мне, я очень, очень хорошо понимаю то благородство, которое воздерживает вас от такого шага, но... будьте говорить хладнокровнее!.. Успокойтесь! Ведь нам с вами, право же, не из-за чего ссориться!.. И признаюсь вам, приглашая вас сюда, я прежде всего думал и заботился о вашей собственной выгоде! Ну, рассудите: в настоящее время вы женаты, но вы не живете с вашею супругой, стало быть, это брак фиктивный. Я не отрицаю возможности того, что вы встретите еще в жизни женщину, достойную всякого уважения, достойную вашей любви, и она в свой черед вас полюбит, но... вы женаты. Ergo<sup>1</sup>, вы, несмотря на всю любовь, на все ваше желание, все-таки лишены права назвать эту женщину своей законною женою, ибо вы состоите в законном, но фиктивном браке. На что же вам остается рассчитывать? Единственно на смерть вашей настоящей супруги — но... народ говорит, что «в животе и смерти один Господь Бог волен и повинен». Почем знать, кто из вас умрет раньше, а супруга ваша, по всем видимостям, может еще рассчитывать на очень продолжительное существование. Стало быть, говоря в строгой сущности, у вас нет ровно никаких шансов на

---

<sup>1</sup> Следовательно (лат.).

лучшее будущее. Между тем человек практический на вашем месте постарался бы извлечь возможные выгоды из своего положения.

— Какие же это «выгоды»? — напирая на последнее слово, спросил Валерьян с нескрываемым презрением.

— Во-первых, принцип, — начал высчитывать Гамбетта. — Давши полную свободу вашей супруге, вы показали бы всему свету, что глубоко уважаете свободу женского чувства; вы заявили бы себя человеком принципа, который в наши дни разделяется всеми передовыми и свободомыслящими людьми, а верность принципу — дело далеко не шуточное для человека, подобно вам, принадлежащего к честному, к порядочному литературному кружку, где нравственное нерешество не допускается, где все члены зорко следят друг за другом, за всеми мнениями, за всеми поступками и отношениями друг друга. Это первое: и я бы советовал вам серьезно подумать над этим!

— Далее-с? — улыбнулся Коробов.

— Далее... я не думаю, чтобы вам было особенно приятно видеть и сознавать, что женщина, носящая ваше имя, живет в открытой связи с другим, пользуется его роскошными средствами и прочее... Тень от всего этого, как хотите, несколько падает и на вас, что не может быть приятно и для того порядочного литературного кружка, к которому вы принадлежите.

— Согласен: но вы забываете две вещи, — возразил ему Коробов. — В то время когда супруга моя пользуется роскошными средствами, я хожу чуть не без сапог и середь зимы щеголяю в легоньком летнем пальтишке. Это первое. А второе то, что и в случае развода она все-таки сохранит за собою мое имя.

— Это так-с, но это уже не то!.. Помилуйте, мало ли есть Коробовых на свете?! Разве только вы один? Да и что мы с вами за аристократы такие, чтобы нам особенно уж так заботиться о щепетильной чистоте нашего имени в этом отношении? Мы ведь, слава Богу, не какие-нибудь лорды английские, а просто себе честные труженики, рядовые рабочие! Будем лучше заботиться о честных принципах, за которые мы боремся и в жизни, и в литературе!.. Да и притом же ваша супруга, говорю вам, намерена выйти замуж и, стало быть, не будет даже носить и вашего имени.

— Это все, что вы мне имели сказать? — спросил Коробов, готовясь уходить.

— Н-да... то есть... почти все, — появился Гамбетта, потирая руки.

— В таком случае позвольте вам сообщить, что я остаюсь при моем первоначальном решении: я ничего не имею против развода, но не желаю брать на себя несуществующую вину. Честь имею кланяться!

— Но... позвольте!.. мои доводы и предложения еще не кончены, — вежливо остановил его Гамбетта, подумав в душе: «Черт бы тебя драл! Видно, и в самом деле придется с тобою делиться львиною долею!»

— Предупреждаю вас, что все дальнейшие ваши доводы будут совершенно напрасны, — обернулся на него Коробов.

— Бог знает, так ли! — сомнительно усмехнулся фон Шнитцли. — Вот видите ли, ваша супруга желает получить себе свободу, в очерченной мною рамке, не даром, а за известное материальное вознаграждение, которое я уполномочен предложить вам. Скажите откровенно, сколько вы хотите?

— Чего это? — весь вспыхнув, нахмурился Коробов.

— Разумеется, денег! — усмехнулся Гамбетта.

— Денег? И это говорите мне вы, «адвокат с честным именем», человек, принадлежащий «к порядочному литературному кружку», «человек принципа», — вы предлагаете мне откуп, продажу моей жены... Знаете ли, милостивый государь, что вы заслуживаете за это полновесного плевка в вашу «честную» физиономию, и — признаюсь вам — я только с великим трудом воздерживаюсь от этой достойной расплаты с вами!

Валерьян Коробов плюнул на пол и с энергически сжатыми кулаками, чуть не задыхаясь от гнева, вышел из кабинета озадаченного и пораженного Гамбетты.

— Дон-Кихот Ламанчский! — с насмешливым презрением, но трусливо-тихо прошептал вослед ему фон Шнитцли.

## VIII

### «ЧЕСТНЫЙ РАБОТНИК»

Утром, на другой день после свидания Гамбетты с Коробовым, Вельтищеву доложили, что его желает видеть г-н Антизитров, присланный по делу от барона фон Шнитцли. Этого, конечно, было достаточно, чтобы Вельтищев немедленно же принял адвокатского посланца.

Господин Антизитров, отрекомендовавшись, по обыкновению, приватным помощником поверенного, передал Платону Вельтищеву письмо от Шнитцли, которое тот не замедлил пробежать с подобающим вниманием.

Гамбетта извещал, что, несмотря на все свои старания, он встретил со стороны Коробова такое ослиное упорство, что считает себя вынужденным отказаться от дела.

Все время, пока Вельтищев читал, г-н Антизитров внимательно наблюдал за изменением оттенков его физиономии, но, вопреки своему ожиданию, не нашел, чтобы содержание этой записки действовало каким-нибудь особенным, раздражающим, досадным или грустным образом на Вельтищева. Физиономия Платона сохраняла полное спокойствие, и даже слегка проявилось в ней нечто похожее на какое-то внутреннее, затаенное удовольствие.

— Вчера приходил к барону господин Коробов, — проговорил Антизитров, когда Платон положил на стол письмо Гамбетты.

— Да, барон мне пишет об этом, — небрежно ответил Вельтищев.

— Этот барин ни на что не согласен, — продолжал посланец.

— Да, барон и об этом пишет.

— А я был почти невольным свидетелем их переговоров... я занимался в другой комнате. Господин Коробов даже очень чувствительно выругал барона.

— Ы-гы? — кивнул головой Вельтищев.

— Да-с, выругал... и я слышал весь разговор...

— Ну, так что же? — с суховатым и недоумевающим видом спросил Платон Васильевич.

— Да ничего, в сущности... я, конечно, человек посторонний, но... если бы лица заинтересованные захотели прибегнуть к моей помощи, то я бы мог почище всяких баронов обработать для них всю штуку.

— То есть что вы хотите этим сказать?

— Да не более как то, что там, где ни шиша не поделает присяжный адвокат, может обработать помощник адвоката.

— Какой помощник?

— Помощник-то? А вот, Аристарх Кононов Антизитров, то есть я самый.

— Что же вы можете? — равнодушно спросил Вельтищев.

— Я-то?... Хм... Я все могу!



— То есть, что же это *все*?

— Да все, как есть, все!.. Я, конечно, «человек маленький», но маленькие люди из народа иногда обладают могуществом кесарей... У маленьких людей есть такие силы, которыми не всегда располагают сильные мира сего... Вот вы и сильный мира, а в этом деле без «маленького человека» ничего не поделаете.

— Да кто же вам сказал, что я хочу тут что-нибудь поделывать?

— Хе-хе!.. Вы это, значит, в жмурки думаете играть? Тогда нам с вами, конечно, и разговаривать не о чем!.. Я ведь знаю, зачем вы приезжали к фон Шнитцли, и если заговорил с вами, так это потому, что надеялся, как порядочный человек, оказать вам существенную услугу, а коли вы хотите со мною в политику Бейста играть, так я могу и убраться.

Вельтищеву показались довольно оригинальными и забавными тон и манера этого странного господина, который, однако, успел своими словами несколько заинтересовать его. «Не то нигилист, не то выгнанный юнкер, а скорее всего проходимец какой-то», — подумал он, оглядывая г-на Антизитрова.

— Очень рад бы воспользоваться вашими услугами, — сказал он. — Но только не могу представить себе, какого рода могли бы быть эти услуги?

— Услуги-то?.. А вы прежде всего откажитесь от бейстовской политики со мною, тогда мы это дело начистоту поведем, — знаете, эдак à la Бисмарк!

— Да я не политикую с вами; я просто не понимаю вас, — улыбнулся Вельтищев.

— Не понимаете!.. А еще статьи пишете, и вдруг не понимаете!.. Хе-хе!.. Ну, видно, мне и взаправду придется жевать и в рот класть. Слушайте: вы принимаете участие в бракоразводном деле Коробова с его женою?

Вельтищев неприятно поморщился.

— Ну, конечно, принимаете! — подтвердил Антизитров. — А иначе на кой черт бы приезжать вам к Шнитцли, а ему писать к вам эти послания?.. Шнитцли, говорю вам, после вчерашней штуки, ни черта тут не поделает, да и никто не поделает, коли будете идти этим путем! Один я могу повернуть это дело как следует.

— Каким же родом вы его повернете?

— А, это уж мое дело!.. Так вот я вам взял да и сказал! Нашли дурака!.. Дело мастера боится!.. Это уж мой секрет, на который я желаю получить от вас при-

вилегию. Ведь с вас Шнитцли, поди-ка, уйму денег заломил за это дело. Ну а я, как «маленький человек», обварганю его гораздо дешевле: больше пяти тысяч не потребуется.

Вельтищев вскинул на него взор, исполненный любопытства и живого интереса.

— Даю вам честное слово! — подтвердил Антизитров. — И притом я все это дело поведу помимо всякой консисторской грязи, помимо всяких взяток и прочей мерзости, и нам разрешит его наш суд «скорый и правый», да и вы-то сами, по моей системе, останетесь совершенно в стороне, так что о вашем участии никто и не догадается!.. Ей-Богу!.. Ни о вас, ни о жене Коробова, то есть ни единая душа! Вы все будете в стороне, а все дело это разыграется от воли Божией!.. Лестно?

Вельтищев улыбнулся отчасти безразлично, отчасти недоверчиво.

— Да вы, кажется, равнодушны к моему предложению? — слегка нахмурился Антизитров. — Конечно, если вам приятнее швырять в воду десятки тысяч, то я не препятствую... в таком случае и я продолжать не стану.

И, медвежесовато поклонившись, он повернулся к двери.

— Позвольте! — остановил его Вельтищев. — Вы еще не дали мне высказаться. Вот видите ли, — начал он. — Что касается собственно меня, то мне, ей-Богу, все равно, будет ли госпожа Коробова замужем или в разводе, — для меня это вопрос безразличный, но для нее-то собственно оно, конечно, небезынтересное дело. Я сообщу ей, и... если она будет согласна, тогда позвольте мне вас уведомить... Тогда я вас попрошу взяться за него, и можете быть уверены, что вы не останетесь без вознаграждения: госпожа Коробова, без всякого сомнения, будет очень благодарить вас.

— Да что благодарность! — махнул рукой Антизитров. — Я в благодарности не нуждаюсь, а в случае согласия она или вы заключите со мною условие, по которому я и получу вознаграждение за мой труд. Честный работник, знаете, нуждается в честном заработке, а не в благодарности. Я человек порядочный и потому заранее не хочу вытягивать у вас ни копейки... Конечно, на ведение дела вы мне предварительно выдадите, сколько потребуется, но это только тогда, если вы мне скажете: «Антизитров, работай!» — не ранее!.. Но если мои услуги вам действительно потребуются, тогда черк-

ните мне одно только слово — и я предстану!.. Явлюсь к вашим услугам! Тогда мы и потолкуем обстоятельно, а пока, чтобы вы не забыли мой адрес, позвольте на всякий случай записать вам его. Да еще — чур! — Шнитцли об этом ни слова, а то вы мне всю обедню испортите!..

И г-н Антиситров расстался с Вельтищевым.

## IX

### МАМЕНЬКА НА РОЗОВОМ ПУТИ

Прошло несколько более двух недель с того дня, как Вельтищев подарил браслет Ольге Романовне. Времени, по-видимому, утекло немного, но много было сделано в этот недолгий срок. Впрочем, то, что было сделано, оказалось заметно только одному человеку, который и оценил по достоинству все, содеянное в этот недолгий период.

Фон Шнитцли на другой же день после того, как был у него Вельтищев, поехал к Людмиле Сергеевне и самонадеянно уверил ее, что, по его убеждению, бракоразводное дело должно состояться несомненно и притом быстро и вполне благоприятно для его «прелестной клиентки».

Увы! — это посещение происходило еще до свидания Гамбетты с Коробовым.

Тем не менее Людмила была успокоена и беспечно ожидала самого благополучного результата.

Платон Васильевич, которому удалось почти неожиданно и негаданно открыть в Ольге Романовне самую слабую струну, решил себе, что ему следует разыгрывать на этой струне всевозможные аморозные вариации с тою целью, чтобы в конце концов добиться возврата «своих» бумаг и денег.

Ольга Романовна, которую после визита Вельтищева мы оставили погруженною в сладкие и легкие мечты, проснувшись на другой день в таком же приятном настроении духа. Она более обыкновенного просидела перед туалетным зеркалом, обдумала свою прическу, в которой немалую роль играл новый шиньон, употребила все различные косметики для придания себе большей красоты и свежести и в заключение серьезно призадумалась над нарядом — что предпочесть: шелковое ли платье или батистовую распахнутую блузу? После некоторого колеба-

ния вопрос был решен безусловно в пользу блузы, так как, во-первых, блуза представляла собою костюм вполне домашний и, во-вторых, с помощью широких рукавов позволяла заманчиво обнажать руки, которые, по мнению Ольги Романовны, сделали вчера столь сильное впечатление на Платона Васильевича.

Устроив свой туалет, старая балерина по-вчерашнему поместилась в «изящной» позе против зеркала, взяла в руки какую-то книжку и, любуясь собою, принялась ожидать Вельтищева.

Но — увы! — ожидание ее было напрасно: Вельтищев на этот раз не приехал. Он понимал, что нельзя начать игру свою сразу решительным приступом — а то, пожалуй, наведешь и на разные сомнения, — и потому на первые поры предпочел некоторую выдержку.

Ольга Романовна прождала его до полуночи и, наконец убедясь, что сегодня уж он не придет, со вздохом и досадой скинула свой наряд. Но тщетное ожидание отнюдь не разочаровало ее. Всю ночь ей грезился Вельтищев в самых романтических положениях, так что на следующее утро она еще с большею тщательностью занялась своим шиньоном и косметиками. Блуза осталась та же, равно как и поза против зеркала.

«Неужели не будет и сегодня? — с тревожным сомнением задавала себе вопрос Ольга Романовна. — Неужели все это было так, один мимолетный миг?.. О, мужчины, мужчины!»

И за этим мысленным восклицанием последовал сентиментально-грустный вздох.

Она беспрестанно подбегала к окну — высматривая, не подъехали ли сани Вельтищева? Каждый шорох в прихожей и стук отворяемой двери заставлял ее вспыхивать и волноваться. Она с лихорадочным нетерпением ожидала звонка — и наконец этот желанный звонок раздался.

Ольга Романовна, выходившая в это самое время в кухню — распорядиться чем-то по хозяйству, опрометью кинулась в свою комнату, боясь, что не успеет занять «изящную позу». И точно, едва-едва успела она расправить складки своей блузы и схватиться за книгу, которую второпях, не замечая сама, устала перед носом, как говорится, вверх ногами, — как уже вошел Вельтищев.

Ольга Романовна слегка ахнула, придав этому восклицанию тон самого неожиданного и приятного изумления. Восклицание, конечно, сопровождалось улыбкой, ко-

торая должна была, по мнению экс-балерины, быть очаровательной. Рука, протянутая гостю, как бы невзначай высунулась из-под широкого рукава выше обыкновенного принятой меры — и Вельтищев не замедлил воспользоваться этою нечаянностью.

— Ах, как вы, однако, любите целовать женские руки, — целомудренно и скромно надвигая рукав, заметила балерина.

— Не все, но только красивые, — добавил он к ее замечанию.

— Ха, ха, ха, — засмеялась она тем горловым, деланным смехом, каким обыкновенно смеются на сцене александринские актрисы старой школы, когда изображают кокетливых и элегантных дам хорошего тона. — А вы видите, я неразлучна с вашим браслетом, — заявила она вслед за этим смехом, показывая ему другую руку.

Вельтищев изъявил видимое намерение повторить тот же маневр.

— Ну, полноте шалить!.. Ведите себя скромно, садитесь вот здесь, подле меня, в это кресло, будьте умником и не забывайте, что я ваша теща. Хотите кофе? — предложила она, как-то особенно, «по-александрински», протягивая и выговаривая последнее слово.

Вельтищев внутренне поморщился, но согласился.

У Ольги Романовны все уже было готово: и сервиз, и спиртный кофейник, и сливки, и сухарики; она уже заранее рассчитала и приготовилась поить кофе своего гостя, и поить не просто, а так, как бывает в романах, где описываются «дамы хорошего тона». Ольга Романовна рассудила, что если дама хорошего тона хочет выказать своему гостю отличительное внимание, то должна поить его «ко-офэ» не иначе как в своем «будуаре», и притом «козируя», должна сама приготовить «ко-офэ» на спирту и налить его непременно в маленькую чашечку — «потому это, мой друг, у порядочных дам всегда так принято», а Ольга Романовна теперь прежде всего желала казаться перед Вельтищевым «элегантною и порядочною дамой, хотя она и театральная».

Она изящно плавным движением руки с натянутой небрежностью дотронулась с кушетки до бронзового колокольчика, стоявшего подле нее на маленьком столике, и позвонила, но прислужница ее, не привыкшая к такому зову, не сообразила, в простоте души, что сей звон означает, и со всех ног кинулась в прихожую отворять двери, думая, что это кто-нибудь «звонится». Ольга Романовна осталась очень недовольна и даже сконфужена

таким «пассажем», тем более что ей пришлось оставить свою изящную позу и самой отправиться на кухню, чтобы распорядиться всем окончательно. Но все эти маленькие неприятности уладились благополучно; кофе, приготовлявшийся и наливавшийся с самыми «изящными и грациозными» приемами рук и вообще всех телодвижений, удался на славу: Вельтищев пил и расхваливал, но Ольга Романовна и сама чувствовала, что «ко-офэ» ее действительно превосходен.

— Ну, как дела? — спросила она между прочим Платона.

— Ах, Бога ради! — поморщился тот, схватившись за голову. — Забудемте на время про эти несносные дела! Я к вам приехал просто поболтать, забыться, рассеяться... Да и какие тут дела, когда такая женщина сама приготовляет вам такой кофе!.. Тут все дела вылетят из головы!.. Давайте лучше болтать о чем-нибудь более веселом!.. Дела же, как кажется, идут у меня пока прекрасно — и потому говорить о них нечего!

И они перевели разговор на темы более легкого свойства, которые оказались вполне подходящими. Ольга Романовна еще смолodu была великая охотница и мастерица вести с мужчинами пикантные и скабрзные разговоры, поэтому и теперь она с приятностью вспомнила свое бывое искусство, призвав его к себе на помощь для развлечения Вельтищева. Болтая, она то и дело шаловливо выставляла на вид свою ногу, обутую в тонкий ажурный шелковый чулок и в красивую туфлю, словно бы нарочно с тем намерением, чтобы «он» обратил наконец на эту «ножку» свое благосклонное внимание. И «он» не замедлил в подходящую минуту удовлетворить затаенному желанию старой грешницы.

— Снимите вашу туфлю! — неожиданно предложил Вельтищев.

— Зачем? — словно бы не понимая, вскинула она на него свои взоры.

— Я хочу полюбоваться на форму вашей ноги... Я уверен, что у вас — артистически созданная нога.

Она скромно и торопливо убрала ее под юбки.

— К чему же? — с шутливым укором заметил Платон Вельтищев.

— Так... так должно... у меня нога вовсе не красива.

— Если вы станете ее прятать, то поневоле заставите думать, будто это и в самом деле правда.

— Ах, какой вы плут! — томно прищурясь на него,

покачала она головой. — Теперь я понимаю, каким способом вы заставляете покоряться вашим капризам слабых женщин!

— Моим капризам?.. Вовсе нет!.. Я только хотел полюбоваться на изящную ногу совершенно так же, как стал бы любоваться на ногу какой-нибудь античной статуи — не более!.. Но вы ее прячете, вы боитесь показать, стало быть, она у вас вовсе не так хороша, как я думал.

— Так смотрите же! — воскликнула она с капризно-своенравной наивностью девочки и, быстро сбросив туфлю, выставила ему напоказ свою ногу.

Вельтищев, для того чтобы с большим удобством любоваться этим «артистическим произведением природы», взял и поставил ее носок на свое колено.

— О, какой вы плут!.. Нет, но вы совсем... то есть совсем плут!.. Большой плут!.. — слабо сопротивляясь, причитала Ольга Романовна наивно-томным и ослабевающим голосом.

\* \* \*

Экс-балерина, после второго визита Вельтищева, ясно убедилась, что у нее начинается интересная «игра в чувство» или, иначе, что, «кажись, Бог счастье посылает». Поэтому она убедительно и дружески-нежно просила навещать ее почаще, по возможности каждый день — и утром, и вечером, когда угодно, потому что ей так приятно, так весело и прочее, и прочее. Платон вторично подтвердил свое обещание и действительно почти каждый день стал навещать Ольгу Романовну.

Она поила его своим «ко-офэ», а он усердно подерживал «интересную игру», которая — по пословице «чем дальше в лес, тем больше дров» — с каждым разом обогащала его какими-нибудь новыми шансами и сулила полную победу в самом недалеком будущем.

Вскоре к дорогому браслету у Ольги Романовны присоединились столь же дорогие брошь и серьги, которыми она осталась «очарована». Вельтищев нашел, что эти вещи были бы очень эффектны при черном бархатном платье; Ольга Романовна согласилась с этим мнением — и не далее как на другой же день француз-комми привез ей на полное платье самого дорогого лионского бархату.

К концу второй недели, прельщенная ухаживаниями и подарками, она убедилась, что могущество ее, как женщины, далеко еще не кончено, и незаметно влюбилась по уши в Платона Васильевича, — влюбилась со всем безобразием, на которое только может быть способна старая грешница, давно забытая всеми, но которой вдруг мелькнул светлый луч надежды, напомнившей ей былое могущество.

До этого времени она уже было постепенно приучила себя к мысли, что поприще ее кончено, что она становится старухой, хотя и держала при себе бессапожного старого поклонника, позволяя ему иногда навещать себя, но это было уже более в силу старой привычки и притом сопровождалось убеждением, что поклонник держится при ней только благодаря своему бессапожью — «а сама-то я все-таки старуха!..». Это было тайное, но жестокое, беспощадное сознание, с которым долго не могла примириться Ольга Романовна. И вдруг судьба посылает ей блестящего, богатого Вельтищева, который хоть и шутит, но, кажись, видимо увлекается ею. Старая грешница воспрянула духом. «Значит, не все еще для меня кончено! Значит, я в себе ошиблась! — подсказало ей гордо-самолюбивое чувство. — Я могу еще потягаться... даже с моею дочерью!»

Упоенное самолюбие ее отнюдь не допускало ни малейшего сомнения в том, что нет ли, мол, здесь со стороны Вельтищева какой-нибудь фальши, какой-нибудь особой, своекорыстной цели? Она была убеждена, что она — и только она одна — она сама во всех ее прелестьях составляет цель и предмет искательств Платона. «О, я буду еще счастлива! Я люблю, я любима!» — говорила себе Ольга Романовна. Иногда внутренний голос подсказывал ей, что эта любовь, вероятно, будет уже последнею в ее жизни; но старая грешница не смущалась.

Лови, лови часы любви,  
Пока огонь горит в крови! —

закатывая глазки и дергая вверх носом, выразительно напевала она себе в ответ на подсказыванье внутреннего голоса.

Она редко стала бывать у дочери и каждый раз сама напоминала Платону, чтобы тот как-нибудь не проговорился перед Людмилой об их интимных свиданиях. Особенно же когда приказчик из французского магазина доставил ей лионский бархат, то она, горячо благодаря



Платона, умоляла его не говорить про этот подарок ее дочери.

— Уж я лучше сама ей скажу как-нибудь потом... скажу, что задешево купила по случаю!

Впрочем, он и сам стал бывать у Людмилы весьма редко, являясь каждый раз не иначе как по ее предварительному вызову, и строго продолжал выдерживать с нею сухо-покорную и холодную роль безусловного раба. В глубине души Людмиле было очень досадно такое поведение ее друга, но она решилась предоставить его времени, надеясь, что время его переработает и помирит с нею: она сильно рассчитывала на свое женское обаяние, на могущество своего красивого тела и была спокойна.

Вельтищев скрыл от нее полную неудачу переговоров Шнитцли с ее мужем, но зато откровенно и притом весьма печальным тоном рассказал об этой неудаче Ольге Романовне.

— Вы, как кажется, очень сожалеете об этом? — заметила она с плохо скрытым чувством ревности к своей сопернице.

— Конечно! — подтвердил Вельтищев. — Я так надеялся, так был уверен... тем более рассчитывая, что мой брак с Людмилой еще теснее свяжет мою дружбу с вами.

— А мой добрый совет — не торопиться с этим разводом! — подумав с минуту, высказалась матушка.

Платон поднял на нее несколько удивленный и вопросительный взгляд.

— Да право, так! — искренно убедительным тоном продолжала Ольга Романовна. — И куда, и зачем вам спешить? Связать себя браком всегда еще успеете! Во-первых, сами вы говорите, что разводное дело потребует очень больших расходов; да и в самом деле, шутка ли сказать — пятьдесят тысяч! Но положим, что это для вас не главное, а сила-то вот в чем, друг мой: любит ли она вас как следует?

Вельтищев пожал плечами с таким видом, который ясно говорил — «не знаю».

— Ну, вот то-то же и есть! — продолжала матушка. — По-моему, если женщина любит, так для нее это должно быть все равно, в браке ли она или без брака. Что вы там мне ни говорите, а уж я настолько хорошо знаю мою Милочку, что почти уверена, что это она первая вас подстроила жениться на ней.

— Ну, признайтесь, не так разве?

— Может быть, — улыбнулся Вельтищев.

— А!.. Вот видите ли!.. Я в этом была уверена!.. А уж если женщина хочет покрутить за себя мужчину, значит, у нее есть на него свои какие-нибудь корыстные расчеты, значит, она любит не его, а самое себя прежде всего! Для себя, значит, строит!.. Нет, если бы я была на ее месте, — вздохнула Ольга Романовна с благородным видом, — я бы никогда не потребовала, чтобы вы на мне женились! Я и без брака сумела бы доставить вам счастье!

— Да ведь вы не она, Ольга Романовна! — поддакнул ей Вельтищев.

— Вот потому-то я и говорю! — подхватила матушка. — Потому и говорю вам, что мне больно все это! За вас, мой друг, больно! Конечно, как мать, я люблю мою Милочку и желаю ей всякого счастья; но я справедливая мать и не ослепляю себя в моем чувстве к ней. И, как мать-то, я вам и говорю: повремените! еще успеете!.. Будь это не вы, а кто другой — да я бы слова не сказала! Но, зная, какой чудный, какой благородный человек вы — я, может и против материнского чувства, считаю за святое дело предупредить вас: будьте осторожней. Вы еще не знаете вполне хорошо ее характера, а я уж, слава тебе Господи, вдоволь изучила его!.. Это ужасный характер!.. уж-жасный!! Что я слез от нее пролила! Сколько огорчений видела!.. Вы думаете, она как *следует* вышла замуж за Коробова?

— А то как же? — насторожил уши Вельтищев.

— И не воображала!.. *Было* у нее и до Коробова!.. Я, по материнской слепоте своей, сначала ей верила, но потом горько разочаровалась!.. Она ужасная обманщица, ужасно фальшивая! Обманывала мать, обманывала приятеля, обманывала мужа и — почему знает! — может, и вас будет обманывать!.. Это уж такая натура лживая и скрытная!.. О, я хорошо ее знаю!

— Она, напротив, всегда казалась мне такою холодною, такою бесстрашною, — слегка вступился Платон Васильевич.

— Она-то? Рыба!.. камень!.. лед! — горячо подтвердила матушка. — Да вот на этот-то лед и манятся мужчины! Эта женщина сроду никого не любила и любить не способна! Для нее одно только: деньги, деньги и деньги! Интерес да тщеславие!.. Из-за тщеславия да из-за денег она на все пойдет! Вот она какая!.. Я — грешный человек — мне всегда была нужна любовь,

дружба, сочувствие, ей же, хоть и родная дочь моя, а ничего этого не надо! Она, я вам скажу, вот какая женщина: это — блудливая кошка. Ее и кормят, и поят, и холят вдоволь, а она все-таки пойдет да и лизнет исподтишка сливок! И совсем ей этих сливок ни к чему не нужно, а она все-таки вот выпьет их, да еще и горшок разобьет — из любопытства просто, из одного похотенья такого — сделать нехорошее, без всякой надобности!.. А ведь посмотреть-то с виду — ну просто ангел небесный! Ангел чистоты и невинности!.. Ох уж эти мне ангелы! Они и всегда такие-то бывают!.. И не верьте вы той женщине, которая ангелом выглядит!

Вельтищев слушал эту своеобразную характеристику и не мог не сознаться в душе, что, несмотря на грубую форму, в ней заключается много горькой и тонко-психической истины.

— И разве она понимает вас?! — продолжала матушка в более спокойном и минорном тоне. — Разве она способна оценить вас, как оценила бы *другая* любящая женщина?.. Ей нужно ваше положение в свете, ваше имя, деньги, блеск — вот что ей нужно, а вовсе не сердце ваше!.. Мне, может быть, как матери, и не следовало бы высказывать это, но я беспристрастна, я не могу скрыть истины. Милочка не стоит вашей любви, Платон Васильевич! И потому не торопитесь вы с этим разводом!

Оба молча и грустно вздохнули, и оба горячо пожали друг другу руки.

\* \* \*

Оставшись одна, Ольга Романовна вдумалась в свой последний разговор и задала себе вопрос: хорошо ль это она делает, что расстраивает счастье дочери? Но, припоминая минуту, она не могла не сознаться, что все эти признания вылились почти помимо собственной ее воли из ее влюбленного и ревнующего сердца. Она, как лошадь, непривычная к шпорам, почувствовала прикосновение к бокам своим их острой и щекочущей стали, закусил удила и понесла — понесла через камни, плетни и кустарник — и чувствует уже сама, что несет, несет без удержу, что, может быть, грохнется с разбегу в пропасть, — но нет сил остановиться...

Она безотчетно поддалась эгоистической силе своего собственного чувства к Вельтищеву. Старухи всегда более всего на свете дорожат своею последнею любовью,

потому именно, что для них это уже последняя. Она ревновала свою дочь к Платону и жестоко завидовала ей во всем — и в ее любви, и в ее положении, и в ее средствах, и в ее красоте и молодости. Никогда не любивши бескорыстно и горячо свою дочь, она теперь иными минутами стала чувствовать к ней какую-то злобу и ненависть. Поэтому — хотя укоряющий вопрос и мелькнул на мгновение в ее сознании, — но он тотчас же улетучился, не оставив ни малейшего следа в ее совести.

— Я сама люблю его! — созналась она себе в заключение. — Я сама хочу еще быть счастлива!

## Х

### КРЕПОСТЬ ИЩЕТ КАПИТУЛЯЦИИ

Вельтищев почти ежедневно продолжал бывать у старой балерины, но, ведя очень ловко «интересную игру», не мог, однако ж, отважиться на последнее и самое решительное признание. Тщетно он старался уверить себя, что она вовсе еще не старуха, что еще есть в ней некоторая свежесть и даже остатки красоты и миловидности и что, наконец, должно же когда-нибудь ему решиться «ради дела, ради спасения себя, своей чести и свободы». «Нет! не могу!.. надо как-нибудь иначе ухитриться!» — говорил он себе, а время между тем уходило.

Влюбленная балерина в свою очередь ежедневно ждала от него положительного признания и затем решительного приступа, чтобы немедленно сдаться ему на капитуляцию; но, видя медлительность противника, крепость эта сама решила наконец облегчить ему доступы.

— Платон Васильевич! — приступила она к нему однажды в то время, как он наслаждался ее «ко-офэ». — Скажите мне откровенно, неужели вам это доставляет такое наслаждение мучить и терзать женщин, этих несчастных и слабых созданий?

— Кого же я терзаю? — усмехнулся Вельтищев.

— Наш бедный пол.

— А именно?

— Наш пол, говорю вам!.. Вы просто демон! — со страстным придыханием голоса выпалила она, подавшись к нему плечами и грудью.

— Не замечал за собою таких художеств! — будто бы не догадываясь, отрицательно качнул он головою. — Притом же я относительно женщин очень робок и застенчив.

— Вы?! Ха, ха, ха, ха! — рассмеялась она своим горловым театрално-александринским смехом. — Стало быть, вы любите, чтобы женщина сама делала вам первое признание?

— То есть в чем это?

— О, Боже мой! в любви, разумеется!

— Н-да, с одной стороны, полагаю, это приятнее.

— О! Так вот вы какой мужчина!.. Значит, я правильно понимаю вас... Это более льстит вашему самолюбию... Но вы разве не понимаете, как трудно иногда бывает бедной женщине сделать первой подобное признание?

— В таком случае пусть она его не делает.

— Но если вы невольно вызываете ее на это?

— В таком случае пусть признается.

— Нет, вы гадкий, противный, и больше ничего! — слегка хлопнула она его по руке шелковой кистью своей накидки.

— Но что бы вы сказали, — продолжала она после некоторых нерешительных колебаний, — и что бы вы сделали, если бы женщина... положим, такая, как я, открыла вам свое сердце?

— Я?... я бы спросил, чему я обязан такую откровенностью?

— И если бы вам ответили, что вы обязаны этим ее любви к вам?

— В таком случае я поблагодарил бы за честь и... вероятно, постарался бы при случае воспользоваться этою любовью.

Экс-балерина просияла радостно и самодовольно.

— Ну, так знайте же... — начала было она в сильном волнении, вся вспыхнув и подаваясь к нему; но он, словно бы не замечая этого, неожиданно и как бы продолжая досказывать свою мысль, перебил ее признание.

— Кроме того, вы знаете, что любовь всегда требует жертв и доказательств, — сказал он, лукаво улыбаясь.

— Да на какие же жертвы не способна любящая женщина, если она жертвует даже своею честью, своим положением?!

— Жертвы бывают разные... а я от любящей женщины, может быть, могу потребовать безусловных жертв, безусловной веры в меня, в мою любовь, в мое

слово, в мое желание, в мою прихоть, наконец, и кроме того — полного и безусловного подчинения моей воле.

— Любящая женщина не рассуждает и на все готова! — томно вздохнув и закатив глазки, мотнула головой балерина.

— В таком случае подобная женщина достойна полной любви и безграничного уважения.

— Ну, так знайте же, что я одна из подобных женщин! — выстрелила залпом Ольга Романовна.

«Боже мой!.. да минует чаша сия! — с внутренним комическим ужасом подумал Вельтищев. — Вот когда наступает она, роковая-то минута! Ну, Платон Васильевич, выдерживай роль! Крепись!.. Игра «на пан или пропал» идет!.. Устраивай себе радостно-изумленную физиономию!»

— Да! я эта женщина! — закусив удила, с торжествующим и страстным пафосом продолжала балерина, выпрямившись во весь рост перед Вельтищевым. — Может быть, это и смешно с моей стороны, но... вы хотели от меня этого признания — ну, вот и дождались!.. Я уже было думала о себе, что моя пора минула, что я вся живу в моей дочери, и только, — вы меня уверили в противном, вы подстрекали меня, вы кокетничали со мною, вы раздражали мое женское чувство, вы сделали все, чтобы заставить меня безумно влюбиться в вас... Вы достигли всего, чего хотели!.. Да! я — старуха — безумно влюблена в вас!.. Вы хотели этого!.. Делайте же теперь со мною все, что ни вздумается!.. Приказывайте, повелевайте, распоряжайтесь мною — я вся ваша! Я ваша раба, и... я на все готова!

Глядя и слушая, Вельтищев даже испугался внутренно. Его не на шутку поразил огонь той искренней и пылкой, хотя, быть может, и не совсем-то целомудренной страсти, который рвался в словах, в звуке голоса и кипел в глазах, в лице, в жесте, во всей фигуре этой женщины. В ней даже не осталось теперь ничего комического. Напротив, при мысли о ее возрасте она казалась ему ужасной.

Но ужас и колебание его были непродолжительны.

«Теперь или никогда уже больше!» — сказал он внутренне самому себе, вспомнив о своих деньгах и рабстве, — и эта последняя мысль пересилила все остальное.

— Однако вот что, мой друг! — сказал Вельтищев как бы между прочим, когда успокоился первый пыл ее волнения. — Я еще вчера хотел было просить вас, да, признаться, времени не было, как следует заняться делом. Мне необходимо надо сверить наши суммы с моими счетами, я еще до сих пор не успел этого сделать, а между тем это необходимо, чтобы не выйти из верных расчетов... Так мы с вами вот как устроим: я вас приглашаю сегодня к Борелю; там мы пообедаем *en deux*<sup>1</sup>, отпразднуем, как должно, наш первый счастливый день, но предварительно заедем ко мне — я же сегодня, кстати, в карете, — стало быть, нас никто не увидит, а вы захватите с собою наши пачки, мы их оставим дома у меня, а после обеда вернемся опять ко мне, вы отдохнете, а я тем временем сделаю сверку и возвращу вам их обратно, потому — мне все еще необходимо, чтобы они хранились у вас. Затем отвезу вас домой, с деньгами, и, значит, мы опять-таки вместе кончим у вас наш счастливый день. Согласны?

Ольга Романовна, не усомнясь ни на минуту, охотно согласилась с его желанием. Ей так приятно улыбалась эта идея вкусного обеда *en deux* с таким романтическим оттенком, при роскошной и комфортабельной обстановке отдельного кабинета, в одном из лучших ресторанов, но еще приятнее казалось то, что она будет «у него», в его квартире, со всею таинственной обстановкой любовного свидания. Она поспешно переменила костюм и вручила Вельтищеву заветные пачки, которые были тщательно завернуты и перевязаны все вместе. Он плотно прижал их к груди, сокрыв свою драгоценность под запахнутой шубой. «А что, как если теперь да вдруг Людмила попадется навстречу?» — подумалось ему в то время, как они вдвоем сходили с лестницы, — и эта мысль слегка повеяла на него неприятным холодом.

«Пронеси, Господи, счастливо!» — возвел он глаза свои к небу с тем религиозно-суеверным и сильным чувством, которого решительно не замечал в себе и даже не подозревал для себя его возможности до этой минуты.

---

<sup>1</sup> вдвоем (фр.).

«Ну да, впрочем, теперь хоть бы сто Людмил попало, но им у меня, пока жив, не вырвать уже эту пачку!» — решительно подумал он, посадив в карету Ольгу Романовну и спешно захлопнув за собою дверцу.

\* \* \*

Приехав к себе домой, Вельтищев, пока его гостя ахала и восхищалась, рассматривая картины, мраморы и всю изящную обстановку его квартиры, поспешил первым делом захлопнуть под замок в несгораемую кассу свои драгоценные пачки.

— Так-то вернее, — заметил он обернувшейся на него балерине, опуская в карман ключ от кассы. — Не хорошо оставлять на виду такие деньги: невольный соблазн для прислуги.

Балерина вполне согласилась с этим практичным замечанием.

— Ну, а теперь едем обедать! — торопливо предложил он. — Нечего по пустякам-то терять золотое время!

И они поехали к Борелю.

Он заказал самый тонкий и дорогой обед с самыми тонкими винами. Немудрено: он праздновал, он торжествовал, он был рад и счастлив так, как никогда еще в своей жизни; этот редко счастливый день был истинным праздником его души — праздником возврата «своих» денег и освобождения от рабства.

Он предварительно нарочно распорядился, чтобы прислуга как можно более длила обед, а после обеда нарочно старался развлекать Ольгу Романовну веселою и забавною болтовнею, лишь бы только как-нибудь оттянуть время.

Наконец часы пробили половину десятого.

— Знаете что, мой ангел! — сказал он ей. — Я сегодня так счастлив и вами, и моим днем, и моей любовью, и нашим обедом, и всем на свете и так весело настроен, что решительно не в состоянии заняться каким бы то ни было серьезным делом; да к тому же и поздно... Уж я лучше завтра сведу мои счета и сам доставлю к вам деньги, а сегодня давайте пить, и пить, и дурачиться!.. Поедьте-ка прямо к вам блаженствовать за чаем!.. Ну, стоит ли и в самом деле, из-за этих скучных расчетов, отдавать на несколько часов нашу радость, портить первый день нашего счастья?! Едем, дорогая моя!.. Едем!



«Ах, как он любит меня!.. Ах, какой прелестный!» — думала старая грешница, восторженно и нежно глядя на Вельтищева.

\* \* \*

Она устроила в своей комнате «томный полусвет», который проливал подвешенный к потолку матовый фонарик, и сделала это не без умысла: она знала, что «томный полусвет», скрывая очень успешно морщины и другие прорехи ее возраста, вообще помогает женщине казаться более интересной.

В настоящий вечер «томный полусвет» освещал небезынтересную картинку.

Вельтищев сидел за старым роялем, на котором еще училась некогда играть маленькая Милочка, и аккомпанировал себе одну из бойких и шикарных шансонеток. Ольга Романовна, успевшая снова переодеться в свою распашную блузу, под влиянием недавно выпитого шампанского, стояла подле Платона и, без слов вторя его голосу, производила руками и плечами те известные телодвижения, которые так нравятся в канканерках посетителям Буффа и Берга.

Оба они пели так весело, так беспечно, увлекаясь звуками игривой шансонетки; рояль так громко звучал под беглыми пальцами Вельтищева; канканерские движения экс-балерины были так пикантно выразительны, — и вдруг... неожиданно-негаданно в дверях появилась Людмила Коробова.

И нужно же ей было появиться именно в эту минуту!

Наши певцы так увлеклись своим делом, что не слышали звонка, который для них, кроме собственных голосов, был еще заглушен и громкими звуками разбитого рояля.

Людмила стояла в дверях, вся бледная, с нахмуренными бровями и с выражением в лице строго-холодного удивления.

Но Ольга Романовна, стоявшая к дверям спиной, в первые мгновенья решительно не замечала безмолвного появления дочери и экспрессивно продолжала свои игривые движения, нагибаясь к Вельтищеву чересчур уже интимным образом.

— Прекрасное занятие! — раздался вдруг за нею звучный голос Людмилы.

Ольга Романовна обернулась и, пораженная до по-

следней возможности, словно бы застыла на несколько мгновений в немом изумлении и испуге.

Вельтищев тоже оборвал на полуноте свою шансонетку, вскочил с места и остался не в лучшем положении.

Оба были поражены и сконфужены донельзя.

Людмила, оставив свою позицию в дверях, вошла в комнату.

— Ах, Милочка... это ты? — растерянным голосом заговорила первая Ольга Романовна.

— Да, это я, и кажется, не совсем-то кстати.

— Отчего же... я... я всегда тебе рада!

И матушка сделала движение к дочке, чтобы поцеловаться.

— Что это? Никак, вы пили?.. От вас вином пахнет! — с презрительным отворачиванием сказала Людмила, отстраняя от себя мать.

— А если бы и так, тебе-то что?! Не в гувернантки, кажись, надо мною приставлена, — задорно возразила матушка, которую задело за живое это замечание.

— Платон Васильевич, потрудитесь объяснить, что все это значит? — холодно и твердо обратилась Людмила к Вельтищеву.

— Я не понимаю вашего вопроса, — уклончиво ответил он, успев уже овладеть собою.

— Я вас прошу объяснить мне, что это такое у вас тут происходит?.. Поведение ваше и моей матушки откровенно меня мне кажется несколько странным.

— Я полагаю, что ни я, ни Ольга Романовна не обязаны никому давать отчет в нашем поведении, и если самые простые и невинные вещи могут казаться вам странными, то тем хуже для вас.

Вельтищев сказал это не без достоинства; оправясь от первого смущения, он быстро сообразил, что так как деньги теперь уже у него, то он может держать себя с Людмилой вполне независимо, и даже сразу дал ей почувствовать это.

Людмила после его слов взглянула на него с нескрываемым удивлением.

— Отчего вы не изволили пожаловать ко мне, когда я утром сегодня нарочно писала вам? — спросила она.

— Оттого, что прежде всего я сам господин своего времени и не думаю, чтобы был обязан, ради всякой вашей прихоти, лететь к вам по первому зову.

— С давних ли это пор, Платон Васильевич? — язвительно и злобно спросила Людмила.

— С той самой минуты, как стал сознавать себя

свободным человеком, — проговорил он, взявшись за шапку. — До свидания, Ольга Романовна!

И запросто, дружески пожав руку матушки, он с сухим, иронически-вежливым поклоном издали обратился к дочке:

— Честь имею кланяться, сударыня.

И затем удалился совершенно просто, спокойно и с подобающим достоинством.

«Свободен!.. свободен!» — радостно повторял себе Вельтищев, шибко мчась домой по петербургским улицам. Полuosвещенные каменные громады, вывески, яркие окна, встречные извозчики и пешеходы — все это казалось ему таким праздничным, таким нарядным, светлым и веселым; каждый газовый фонарь, казалось, приветливо мигал ему навстречу, как будто все это тоже разделяло его собственную радость и безмолвно говорило ему, приветствуя, то же самое заветное слово «свободен!».

## ХП

### ОБЕ ЛУЧШЕ

Людмила уже несколько времени назад стала замечать в отношениях к ней ее матери некоторую перемену. В чем именно состояла эта перемена, она и сама не могла бы определить себе с ясной и положительной точностью, но только смутно чувствовалось ей, что тут — «что-то не то», так, словно бы в каком механизме ослабел какой-либо, по-видимому, ничтожный винтик или попортилась какая-то маленькая скрытая пружинка. Ей, например, казалось странным, что мать стала бывать у нее гораздо реже, а потом и вовсе прекратила свои посещения; не менее странным было и то, что прежде, говоря беспрестанно о деньгах и добиваясь, как и откуда достались Людмиле ее капиталы, она вдруг прекратила всякие расспросы и толки на эту тему, равно и всякий разговор о Вельтищеве не встречал в ней никакой поддержки; одним словом, и деньги, и Вельтищев, и сама Людмила и ее планы и намерения — все это как будто разом и вдруг перестало интересоваться Ольгу Романовну. Так, по крайней мере, казалось Людмиле. Сначала она было не обращала на это ровно никакого внимания, но с прекращением посещений матери такой поворот в ее поведении все более и более стал рисоваться в глазах

Людмила в виде несколько странного и малопонятного вопроса: «Что бы все это могло значить?» Людмила недоумевала, но все-таки продолжала придавать этому вопросу весьма ничтожное значение. «Верно, дуется за мою скрытность, ну и пусть ее!» — успокоительно думала она, когда вопрос о перемене в матери приходил ей в голову.

Вельтищев тоже давно уж у нее не был, да и вопрос о бракоразводном деле, после визита фон Шнитцли, замолк и словно бы канул для нее в Лету. Такое неопределенное положение стало наконец надоедать Людмиле и даже несколько тревожить ее. Она ждала каждый день каких-нибудь новостей по интересному для нее делу, но дни проходили за днями, а новостей все нет, как нет, и Вельтищев не является без зову, да и мамаша давненько что-то не жалуется. Людмилу взяло сомнительное раздумье... Она написала Платону письмо, прося его заехать к ней в назначенный час, но этот час прошел, и оказалось, что она прождала весь день напрасно. Привыкши в последнее время встречать в своем друге хоть и подневольную, но полную покорность и исполнительность, она не могла не сознаться себе, что нынешняя манкировка с его стороны является чем-то необыкновенным. «Уж не болен ли? — подумала Людмила. — Но в таком случае он должен был уведомить, написать или прислать кого, а не заставлять меня ждать понапрасну!»

Вечером раздумье Людмилы усилилось. Все эти дни, чувствуя легкое нездоровье, она никуда не выезжала, оставалась все одна да одна и поневоле стала скучать. Скука приносила с собою недовольство, раздражительное состояние духа, которое еще усиливалось вследствие неизвестности о ходе разводного дела, отсутствия матери и натянутых отношений к Платону.

Прождав напрасно Вельтищева, она со скуки и досады решила ехать к нему сама, под тем предлогом, чтобы узнать, не болен ли. Задумано — и сделано. Но каково же было удивление и досада Людмилы Сергеевны, когда человек Вельтищева сообщил ей, что барин перед обедом изволили заезжать на минуту вместе с какою-то пожилой дамой и опять уехали с нею куда-то в карете! «Это еще что за пожилая дама?! Уж не кроются ли тут какие-нибудь штуки?» — вспыхив на новую свою неудачу, подумала Людмила и отправилась домой.

Она была в том состоянии души, когда человек, долгое время испытывав одиночество, чувствует наконец

потребность разделить с кем-нибудь тяготящий его груз вопросов, мыслей и сомнений, — а для Людмилы, кроме матери, разделить его было не с кем. Она было и решила себе заехать в Свечной переулок, но при этом у нее невольно поднялся вопрос о странной перемене Ольги Романовны. «Отчего она и в самом деле перестала вдруг бывать, а главное, отчего перестала интересоваться деньгами?»

И Людмиле вдруг пришла в голову нехорошая мысль: «А что, если милая мамаша задумала обратить эти деньги в свою собственную пользу?.. Ведь это было бы возможно!.. Как у Платона на меня, так и у меня на нее нет ведь ровно никаких законных улик и доказательств... И вдруг она выхлопывает себе заграничный паспорт и улетает с деньгами в какую-нибудь Швейцарию или в Америку... И разве такой исход не возможен?»

Это предположение не казалось ей невероятным. И что мудреного? Если она сама воспользовалась нечистым путем нечистыми деньгами, то почему подобный же путь был бы невозможен и для ее мамы? Людмила Сергеевна судила по себе и потому с каждой минутой все более находила возможным, что в поведении матушки кроется потаенная причина именно подобного рода. «Верно, что-нибудь задумала насчет этих денег...»

Эта почти нечаянная мысль несколько встревожила Людмилу. «Не лучше ли взять их обратно? — подумалось ей. — Теперь уж, кажется, можно вполне безопасно держать их у себя. Так-то, пожалуй, вернее будет!..»

И с этой мыслью она направилась к своей матери.

Читатель уже знает первые минуты и эффект ее неожиданного визита.

\* \* \*

С уходом Вельтищева Ольга Романовна вскочила с места и нервно зашагала по комнате.

— Я желала бы знать, — затараторила она с сильным раздражением, — на каком это основании вы позволяете себе делать скандалы в моем доме?

— Скандалы? — сдвинула брови Людмила.

— Да-с! Да-с!.. Скандалы!.. Какое право имеете вы говорить дерзости моему гостю?! Я этого не позволю! Никому не позволю! Здесь, кажется, не вы, а я хозяйка!

— Да вы, никак, с ума сошли!.. Вы забываете, кто он мне!

— Вам? Никто!.. Сбоку припека, и только!..

— Ну, оставим эти разговоры, они ровно ни к чему не ведут! — довольно сдержанно заметила Людмила. — Я к вам приехала за делом, а вовсе не для того, чтобы браниться.

— Никаких дел иметь с вами более не желаю.

— Это как вам будет угодно. Можете не иметь впредь, но сначала надо кончить старые. Где у вас мои деньги?

— Какие? — обернулась к ней Ольга Романовна.

— Что за вопрос? Мои, разумеется.

— У меня нет никаких ваших денег!.. И покорнейше прошу оставить меня в покое! Я женщина нервная и слабая, и мне вредно всякое волнение!

— Нет, позвольте, вы мне ответьте прежде на вопрос: где у вас те деньги, которые я вам давала спрятать?

— Ах, скажите, пожалуйста, какие новости!.. «Мои деньги»! Как будто это и в самом деле ваши!

— Полагаю, что уж ни в каком случае *не* ваши.

— Не мои, да и не твои, матушка, а Платона Васильевича! Скажите, пожалуйста, какой контролер государственный проявился! С каким форсом, некстати!.. Ха, ха, ха, ха! «Мои деньги»! Это мне нравится!

— Чьи бы они ни были, но раз что я давала вам их на сохранение, то вы, ежели честная женщина, обязаны теперь возвратить мне их.

— Извините, матушка!.. Опоздали-с!.. Деньги возвращены по принадлежности-с!

— Кому?! — с ужасом вскочила Людмила.

— Как кому? Понятное дело, хозяину!.. Деньги Платона Васильевича — Платону Васильевичу я их и возвратила!

— Вы лжете! — вне себя закричала Людмила.

— Перед такой мразью, как ты, да еще лгать стану! А впрочем, покорнейше прошу в моей квартире не кричать, а то ведь я и за дворниками пошлю — у меня, матушка, не долго!

— Вы лжете! — истерически задыхаясь, повторила Людмила.

— Сроду еще вруней не была! Не в тебя, матушка!.. А что правда, то правда! Потому как деньги его и он спросил их, я ему и отдала!

Людмила всплеснула руками.

— Господи!.. Этого только не доставало!.. Давно вы сделали это?

— Когда б ни сделала, тебе-то что? Сегодня сделала! Вот тебе, когда ты знать хочешь!

— Да нет, я не могу этому верить!.. Деньги у вас! у вас! — настаивала Людмила. — Вы хотите сами воспользоваться ими, но вам этого не удастся!.. Если так, то не доставайся ж оне никому! Я себя не пощажу, но все это разрушу!

— Рушь, сколько хочешь! Мое дело сторона! Я — женщина честная и поступила добросовестно! Я не воровка, и чужого мне не надобно — деньги у Вельтищева! Вот тебе и сказ!

— А-а! Теперь я понимаю! — с мрачным ужасом и злобой домекнулась Людмила. — Так вот что значит это ваше канканное подплясыванье, эти песенки, этот запах винный!.. О, теперь я все понимаю!.. Ах вы, старая развратница! — со злым презрением бросила она в лицо матери резкое слово — и это слово было каплей, переполнившей сосуд желчи и всякой мерзости. Ольга Романовна вспыхнула яростью. Она забыла в эту минуту и женский стыд, и то, что она *мать*. Имя развратницы ударило ее ножом в самое сердце, и не столько еще самое имя, сколько эпитет «старая». Главное то, что *старая*. Этого слова она не могла простить: оно жестоко поразило и оскорбило мелкое, но зазорное самолюбие молодящейся и счастливо влюбленной кокетки, содержанки былого времени. Ей мгновенно и во что бы то ни стало захотелось воочию доказать, что она не только не старая, но еще и счастливая соперница оскорбившей ее женщины. Эта мысль и желание овладели всем ее существом безраздельно и всецело; кроме их, она уже ни о чем более не в состоянии была думать и рассуждать, окончательно потеряв всякую способность сдерживать себя вовремя.

— Я развратница?! Я?.. Я старая?.. старая?! Ну, так знай же ты, молодая, какая я старая!.. Видишь этот браслет? Видишь? Он подарил... И бархатное платье подарил, и брошку подарил, и брильянтовые серьги подарил, а тебе — шиш!.. Вот ты и молодая!.. Развратница не я, а ты, ты, ты — развратница! Потому что ты только обираешь, грабишь человека, ты не любишь человека, а я люблю его!.. Я — честная женщина! Да, да! Люблю! И он меня любит!.. А ты можешь отчалить к своему благоверному! Вот тебе какая я старая!

Раздражение нежной маменьки дошло до высшей степени. Долее не было сил уже держаться. Она чувствовала, что под нею подкашиваются ноги, что рыдания

подступают к груди, а спазмы сжимают горло, — и потому, опрокинувшись в первое попавшееся кресло, разразилась сильным истерическим припадком.

Озадаченная и пораженная Людмила, с гадливым презрением хлопнув за собою дверь, в ту же минуту оставила квартиру своей матери.

### ХIII

#### ДВА ВЗГЛЯДА

Чуть лишь вернулся домой Платон Васильевич, как тотчас же распорядился не принимать никого, ни под каким предлогом, ни о чем ему не докладывать, не беспокоить, не входить к нему без звонка, потому что он будет занят делами; затем он спустил в своем кабинете тяжелые шторы и отпер свою несгораемую железную кассу.

«Вот они, кровные!.. Наконец-то воротились!.. Но и какого же труда, какой игры это стоило!..»

Платон Васильевич с улыбкой подумал, что он с полным успехом и с честью мог бы занять на любом европейском театре амплуа «светского злодея и обольстителя».

«Здесь ли опись и счет магазинный?» — было первой его мыслью, когда он вскрыл заветную пачку.

Он стал искать, перерывать бумаги и деньги, но нужных документов нигде не оказалось.

Это обстоятельство повергло его в грусть и уныние.

«Господи! — думал он. — Неужели же после стольких трудов и усилий и все еще не конец?! И нужно опять бороться, опять строить, придумывать, измышлять, играть новые роли, быть может... быть может, решаться на новое преступление!.. Неужели!..

Нет!.. Довольно!.. довольно уже преступлений!.. будет... Я не могу уже больше, я устал... утомился...

Деньги здесь, у меня, но что из этого?!

Надо знать, где бумаги? Где эти два проклятые документа, от которых вся судьба зависит?

Если у маменьки, то пустяки: мы их достанем!..»

Он вспомнил, что Людмила ему говорила, будто они в «надежных руках» и, в случае ее смерти, эти надежные руки передадут их прокурорскому надзору.

«Значит, у маменьки! — решил себе Вельтищев. — А если нет?.. Если у Людмилы?



Тогда надо их выкрасть у нее скорее, какими бы то ни было судьбами... Ох уж эти судьбы!.. Жестоко они издеваются надо мною!»

\* \* \*

Утром он получил от Людмилы коротенькую записочку следующего содержания:

«Милостивый государь!

С получением этой записки потрудитесь немедленно пожаловать ко мне для необходимых объяснений, если не желаете, чтобы противу вас были приняты крайние меры, которые могут угрожать вам весьма печальными последствиями. Считаю нужным предварить, что если через полтора часа вы не приедете, то уже будет поздно».

— Значит, у нее! — с досадой и скорбью сказал себе Вельтишев. — Значит, надо ехать, а потом... потом за новую работу. И тотчас же, не теряя времени!.. Ну, Платон Васильевич! Сделал ты много, так не падай же духом и доделывай последнее!

К назначенному сроку он уже был у Людмилы.

К крайнему удивлению, она приняла его без малейшей злобы и суровости; напротив, тон ее был очень спокоен и даже любезен.

— Благодарю за сегодняшнюю аккуратность! — с улыбкой начала она, указывая ему на кресло. — Вы не опоздали ни одной минуты. С вашей стороны это очень любезно!.. Извините меня, что я потревожила вас, — продолжала Людмила, — но надеюсь, вы сами понимаете, что мне необходимо переговорить с вами.

Вельтишев слушал, храня упорное молчание.

— Прежде всего я должна отдать полную справедливость вашей мастерской интриге, — продолжала Людмила Сергеевна. — Не знаю, как и через кого вы узнали, что деньги хранились у моей матери, но вы достигли своей цели. Это показывает и ум, и большую ловкость. Если со временем вы сделаетесь моим мужем, я — без шуток — вправе буду гордиться этими вашими качествами: они могут открыть вам блестящую дорогу!.. Да, ловкость и интрига — это две важные силы нашего времени!.. Но теперь вот что, Платон Васильевич: вы умны бесспорно, да ведь и я не глупая девчонка!.. Главная сила не в деньгах, которые вам удалось добыть себе вторично; главная сила в документах, которых вы

никогда не добудете! Не ищите их у матери: там вы ничего больше не найдете, да их у нее никогда и не было, и верьте, что вам никогда не отыскать их. Хотите вы выслушать мое последнее решение? Я хочу, чтобы вы сделали одно из двух: можете или оставить у себя деньги, но при этом вы должны знать, что документы будут представлены сегодня же и все дело раскроется — я никого щадить не буду! — или же можете привезти их ко мне; но не позже, как сегодня же! В последнем случае мы с вами помиримся совершенно и я дам слово никогда не упрекать вас вчерашним поступком. Вы видите, что я и теперь говорю с вами без малейшей злобы. Мало того, мне бы хотелось, чтобы отныне мы были по-прежнему искренними и близкими друзьями; но помните только одно, что я не шучу и что решение мое ни в каком случае неизменно! Вам дан срок — от вас, значит, зависит теперь выбрать то или другое.

Вельтищев слегка поклонился.

— Я подумаю, — сказал он тихо.

«Ну, Палаша, выручай!.. Теперь, как видно, опять за тебя надо приниматься!» — подумалось ему в эту минуту.

Он поднялся, чтобы уходить.

— Послушайте, Людмила Сергеевна, мне эти деньги нужны именно на нынешний день, поэтому я вас умоляю отсрочить мне возврат их хоть до завтрашнего вечера!

— Платон Васильевич, мое слово сказано, и другого вы от меня не услышите! — порешила Людмила и очень любезно пошла провожать его до прихожей.

Вельтищев, по-видимому, никак не ожидал этой последней любезности и потому несколько оторопел и замаялся.

— Пожалуйста, не беспокойтесь... К чему же это? — пробормотал он, очевидно быстро обдумывая и соображая что-то другое.

— Ничего!.. Я хочу быть до конца любезной хозяйкой.

Палаша уже держала в руках его шубу.

Он значительно поглядел на девушку, та — на него.

От Людмилы не скрылись эти взгляды.

«Эге!.. Это еще что за перемигиванье?» — подумала она, следя за обоими.

— Сегодня... скорей!! — решился Вельтищев шеп-

нуть Палаше в ту самую минуту, как та открывала ему дверь.

Девушка чуть заметно мигнула в знак согласия.

Людмила подметила и это; она не расслышала, что именно шепнул он, но знала, что какое-то слово было сказано.

Последнее обстоятельство показалось ей подозрительным.

«Надо зорко теперь следить и наблюдать за нею!» — решила себе m-me Коробова.

#### XIV

#### В ВИДУ БУДУЩЕГО

— Сударыня, позвольте мне со двора.

— Куда это?

— Мне нужно-с!.. По делу...

— По какому делу?

Палаша задумалась.

— Так... свои дела есть... к знакомым сходить.

— Когда же ты думаешь отправиться?

— Я? Сейчас, коли отпустите.

— Сейчас? — переспросила Людмила и задумалась. — Нет, сейчас я не могу отпустить тебя, а вечером иди себе, коли хочешь...

— Мм... мне надо сейчас, сударыня... мне непременно надо.

— Если я раз сказала — вечером, то это уж во всяком случае будет так, а не иначе.

Палаша еще что-то хотела было возразить, но замаялась, надула губы и вышла из комнаты.

«Шепот и перемигиванья и это «сейчас» — все это что-то неладно! все это неспроста! — подумала Людмила. — Уж не в заговоре ль и она у него, вместе с моей прелестной матушкой?.. Это перемигиванье, вероятно, условное и, вероятно, уже не первое, иначе оно не было бы так сразу понято ею... Значит, они уже виделись... Но где и зачем?.. Не из-за прелестей же Палаши!

Это не иначе как по поводу денег, — порешила себе Людмила, — это все нитки одного и того же клубка, все та же интрига!»

Людмила строго порицала себя за свою доверчивость и беспечность. Она поняла теперь, что Вельтищев на-

рочно играл с ней предвзятую роль, чтобы мнимой своей покорностью усыпить ее бдительность. Она видела теперь, что ему удалось достигнуть этой цели, что деньги у него, что благодаря своей беспечности и доверчивости она проглядела ловкую интригу его с матушкой, теперь-то, положим, ей понятна с этой стороны вся интрига, но при чем тут Палаша и что такое эта Палаша и какую роль она играет? Какое назначение предназначено ей Платоном Васильевичем?

В голову Людмилы запала мысль, не хочет ли он с помощью горничной избавиться от нее окончательно?.. И разве эта самая Палаша не может быть куплена? И разве она не может подсыпать ей чего-нибудь в первую же чашку чая, в первый кусок какого-нибудь кушанья? Если он не остановился перед смертью брата, то почему бы мог задуматься над новой смертью?.. Теперь это довольно удобно: первый опыт сошел с рук благополучно: деньги в его руках, мамаша на его стороне, влюблена, очарована; а он, пожалуй, не откажется и поделиться с нею некоторой частью этих денег — и мамаша будет довольна, мамаша будет молчать...

Людмиле на минуту сделалось страшно.

Эта тревожная мысль имела, на ее взгляд, много вероятия. «Надо опасаться, надо следить, надо принять свои меры!» — решила Людмила.

Среди столь тревожного состояния духа ей минутно пришла было мысль отказаться от денег, оставить в покое Вельтищева, одним словом, поразить его своим великодушием; но она тут же сама засмеялась над своей идеей. «Слишком позднее великодушие! — сказала себе Людмила. — Он вправе будет с презрением посмеяться над таким великодушием... Но разве, кроме этого, мне ничего уже более не остается?»

Пришла и другая мысль: пойти с Вельтищевым на любовную сделку, то есть продать ему за хорошую цену уличающие документы. Эта идея улыбалась ей более, потому что была основана на более практической почве; но против нее восставало все тщеславное самолюбие, которым с таким избытком была наделена Людмила. «Как! — говорило ей это чувство. — Пойти на сделку — значит, признать себя побежденною, значит, из королевы доброхотно превратиться в торговку; помириться на деньгах, тогда как я могла бы владеть всем человеком, всем безраздельно, и его душой, и его именем, и всеми его средствами! Эта сделка, пожалуй, была бы пригодна, если бы у меня не оставалось уже ни-

каких иных шансов, но разве все мои шансы уже потеряны? — все до одного, кроме этих документов?.. Неправда! Пока документы в моих руках — он мой! Он хочет вырвать их, вырвать с помощью этой девчонки, — может быть, с помощью преступления, — все это так, но я не уступлю без боя! Я буду бороться!.. Борьба еще не кончена, Платон Васильевич! Посмотрим, чья-то еще возьмет! Уж лучше же, если не мне, так никому оно не достанется!»

Людмила хотела блеску, но не блеску содержанки, хотела богатства, но не богатства шикарной публичной женщины, на которую всякий имел бы право указывать пальцем. Она чувствовала, что ей нужно было бы громкое имя, солидное общественное положение, общественный почет и уважение. Прирожденные содержанки, так сказать, содержанки, по лягушечьей натуре, всегда стремятся к этой противоположной крайности, ибо у них вместе с жадностью к деньгам и блеску всегда стоит на первом плане болезненно тщеславное самолюбие, которое высшую цель свою поставляет в идее — быть блестящей, светской и непременно «порядочной» женщиной, у ног которой лежали бы все сильные мира. Она не лгала Вельтищеву, не брала на себя лишнего, когда говорила ему, что сумеет быть для него редкой в наши дни женой, сумеет всегда и везде поддержать на достойной высоте его имя и положение; она чувствовала в себе достаточно энергии и силы на все это, и вдруг теперь — очутиться в положении торговки!..

Эта мысль заключала в себе для нее нечто ужасное.

«Надо сломать его во что бы то ни стало! Надо довести его до непритворной, до безусловной покорности!

Но как?.. Как это сделать?..

Надо распутать последние нити его интриги — столкнуть с дороги эту девчонку... Надо бороться!»

Она чувствовала, что при всех усилиях своей энергии, при ее настойчивости, при неусыпном внимании и наблюдении за этой интригой она может помешать ее осуществлению, может добиться своей главной цели; но тут напало на нее новое сомнение, которое, впрочем, длилось весьма недолго. Ей пришла мысль, что, женившись, Вельтищев может все-таки хотеть и стараться от нее избавиться, что жажда крупной наживы и независимости будет постоянно препятствовать ему помириться с его будущим положением и что как, если он задумает отправить ее к праотцам?..

Эта последняя мысль сначала было испугала ее, но,

раздумавшись поглубже, Людмила пришла к иному заключению: она верила в могущество своей красоты, в обаяние своего тела; она знала уже по опыту, до какой степени простирается в этом отношении ее власть над Вельтищевым: он никогда не мог выдержать характера перед этим всеильным соблазном; до последнего времени она в своем будуаре, с глазу на глаз, делала из него все, что хотела; здесь он терял свою волю, свою твердость, становился послушным ребенком. Людмила знала это и потому все свои надежды в будущей брачной жизни возложила на искушающую силу своего женского обаяния. Она решила, что с выходом замуж ей должно будет всемерно и постоянно, но тонко будить и дразнить в этом человеке его чувственные инстинкты, удовлетворяя им редко, чтобы быть всегда в высшей степени желанной, чтобы каждая ее ласка казалась ему блаженством и величайшей наградой; она разочла, что эту тактику придется поддерживать ей до тех пор, пока он весь не очутится в ее воле, пока ее будуар не пересилит его алчного стремления к наживе, пока он вполне не помирится с тем положением, которое по ее планам предстоит ему в дальнейшей жизни.

Людмила знала, что как женщина она может и, стало быть, должна добиться торжества этого рода.

## XV

### «СОРВАЛОСЬ»

Вельтищев по пути домой заехал к знакомому слесарю и купил у него коллекцию самых разнообразных и разнокалиберных отмычек.

Время ему было дорого. Он нетерпеливо ждал Палашу; но часы проходили один за другим, а горничная не являлась. Платон испытывал злобное и тоскливое чувство, близко похожее на отчаяние, и это чувство с каждым часом, с каждой минутой росло и усиливалось, он чуть не рыдал от нетерпения и досады.

Наконец, в девятом часу вечера, она явилась.

— Что ты делаешь со мною! Я жду тебя целый день! — кинулся к ней Вельтищев.

Девушка объяснила, что барыня раньше этого часу никак не отпускала ее, да и теперь-то отпустила только потому, что и сама ушла одновременно с нею.

— Куда ушла? — живо спросил Платон.

— Сказывали, будто к мамаше.

«Ну, тем лучше! Стало быть, времени терять нечего! Скорей!» — порешил он внутренне и — сразу обратился к девушке:

— Вот что, Палаша! Теперь ты мне должна оказать самую большую услугу, за которую требуй с меня сколько хочешь — я не откажу тебе, только выручи.

— Что ж, я завсегда готова для такого милого барина, — пожеманничала Палаша.

— Ты не выдашь меня?

— Чтой-то, помилуйте, как это возможно...

— Ну, так слушай: у твоей барыни есть письма... ну, одним словом, ты понимаешь, какие письма... если бы мне хоть одно такое досталось, я бы мог уличить ее, и тогда — прощайте, Людмила Сергеевна! Помогите мне это сделать.

Девушка в затруднении пожала плечами.

— Да как же это мне возможно-с!..

— Возможно! Возможно! Уж я знаю! Тебе, например, известно, где у нее хранятся ее бумаги?

— Бумаги у них обыкновенно где — в столе в письменном, в шкатулочке из черного дерева и потом еще в секретере.

— Только в этих трех местах?

— Кажись, что только.

— Так ты вот что, ты мне как можно скорее, то есть сегодня же, добудь все вообще ее бумаги, какие только есть, и тотчас же лети с ними ко мне, а я уж потом сам разберу их и отыщу, что мне нужно.

— Ай, что вы! — замахала руками Палаша. — Ведь это, значит, мне уворовать придется...

— Где же уворовать, коли ты потом опять их назад положишь!

— А коли барыня, не дай Бог, застанут — тогда-то как же я?..

— Ну, против этого у меня есть верное средство! — успокоил Вельтищев и, подойдя к шифоньерке, где у него между прочим помещалась домашняя аптечка, достал из нее скляночку морфи. — Ты ведь всегда ставишь ей на ночь на столик стакан воды? — спросил он.

— Постоянно-с.

— И она всегда выпивает его?

— Постоянно-с, как, значит, ложатся, так выпьют сколько там, и ночью потом; для этого я и графин с водою завсегда им ставлю.

— Ну, так возьми эти капли и найди случай незаметно вылить немножко меньше половины склянки в стакан с водою. Понимаешь?

Девушка недоверчиво, со страхом и изумлением поглядывала на Вельтищева.

— Нет, уж я на это не согласна, — проговорила она упавшим голосом. — Подсыпать да подливать — за это ведь и на каторгу гоняют.

— Дурочка, да разве это яд! — засмеялся Платон. — Ведь это не более как сонные капли, и вот для доказательства — смотри!

Он откупорил склянку, налил себе на язык две-три капли и проглотил их.

— Разве мне охота подводить тебя под уголовное дело! — продолжал он. — Да и с какой стати морить мне хоть бы твою барыню?.. Я даю тебе сонные капли для того, чтобы ты могла спокойнее и надежнее сделать свое дело — понимаешь?.. Когда она выпьет хоть три-четыре глотка, этого будет достаточно для самого крепкого сна часа на четыре, а в это время ты осторожно отомкнешь ее ящики и добудешь мне бумаги... Я сам буду ждать хоть до утра у вас на черной лестнице — ты мне туда их вынесешь.

— А ежели проснется? — раздумчиво спросила Палаша.

— Не проснется, говорю тебе! Надо только не пропустить времени! — убеждал Вельтищев. — Через час после того, как она выпьет, ты свободно входи в комнату и работай!

Палаша еще более задумалась.

— Как же я буду работать, коли все ключи у них завсегда в кошельке под подушкой спрятаны? — заметила она.

Вельтищев достал связку отмычек.

— Этим работай! — предложил он.

— Что это-с?.. Отмычки?.. Ни за что! Ни за что на свете! — замахала испуганная Палаша. — Разве я мажурница какая, чтобы мне с отмычками на такое дело пускаться!.. И чтой-то вы, право, Платон Васильевич! Это даже обидно с вашей стороны! Я такой морали напущать на себя никогда не согласна!.. Нет уж, Господь с вами! Делайте вы сами как знаете, а я вам в этом не помощница!

Вельтищев горячо принялся убеждать ее, что это отнюдь не кража, что опасности для нее нет в этом деле ни малейшей, что он всегда сумеет выгородить и защи-



тить ее, но девушка уперлась на своем и никак не соглашалась.

— Нет уж, Платон Васильевич, как хотите, а только этого я ни за какие деньги не могу! За это ведь в тюрьму берут, а из тюрьмы-то вышедши, вся моя честь потеряна и места хорошего я себе нигде уж не найду — потому какие же господа возьмут меня с волчьим билетом?.. И сама не согласна, да и вам — извините меня — не посоветую!

Вельтищев решил действовать крупным соблазном. Он отомкнул свою кассу, достал оттуда холщовый мешочек и высыпал на стол перед Палашей кучку блестящих червонцев.

— Здесь тысяча рублей — это в задаток! — сказал он, подвигая рукой к девушке свое золото. — Сработает дело, получишь еще вдвое!.. Соглашайся, Палаша, — у меня время не терпит!

Соблазн был велик, но девушка устояла.

— Нет, Платон Васильевич! — решительно сказала она. — Не смущайте вы меня ни вашими словами, ни вашими деньгами! Не надо мне ничего от вас!.. Отпустите меня лучше домой, потому я никак не согласна!.. Я доводить на вас не пойду, а только делайте себе, как сами знаете, а меня не путайте!

Вельтищев, в злобном отчаянии, крепко стиснул свои руки.

— Злодейка ты моя! Что же ты со мною делаешь!.. Ведь ты режешь меня! Режешь! — вне себя прошептал он сквозь сцепленные зубы и словно обессиленный, в изнеможении опустил в кресло и тяжело задумался.

Прошла минута самого глубокого непрерывного молчания. Вдруг он вскочил с места, как бы внезапно осененный новою мыслью.

— Так ты на это решительно не согласна! — обратился он к девушке. — Ну, хорошо; значит, оставим эту мысль, но зато помоги мне сделать другое!.. Это уж совсем пустяки и для тебя ровно ничего не стоит! Любимы теперь, ты говоришь, нет дома?

— У мамыши-с.

— Хорошо. Поедем сейчас вместе, и пока ее нет, я сам осмотрю все, что мне надобно. Ты только запрешь двери и в прихожей, и в кухне, и, кто бы там не звонил, кто бы не стучался, — хоть бы сама твоя барыня, хоть бы полиция, — ты не отмыкай, пока я не кончу. Это не будет долго, а тогда мы выйдем с тобою либо по парадной, либо по черной лестнице, и через десять

минут ты вернешься как ни в чем не бывало. Палаша молча стояла в нерешительном недоумении.

— Палаша! некогда!.. Время не терпит! — убедительно дергая ее руку, напряженно молил Вельтищев. — Бери что хочешь с меня, бери это золото, но только едем сию минуту!.. Едем, а то неравно она успеет вернуться!.. Едем, проклятая, говорю тебе!

И почти насильно увлек ее за собою в прихожую.

Лакей накинул на него шубу и отомкнул дверь.

Вельтищев ступил за порог, но вдруг отступил назад в немом и смущенном ужасе.

На площадке его лестницы стояла Людмила.

\* \* \*

Она не поехала к «мамаше». Когда Палаша вечером вторично стала проситься у нее со двора, m-me Коробова приказала ей дать себе одеться, сказав, что она отправляется к матери. Выйдя ранее своей горничной, она порядила себе извозчика и, велев ему стать в тени, против ворот своего дома, на противоположной стороне улицы, стала зорко наблюдать, когда выйдет Палаша.

Последняя не заставила долго ожидать своего появления.

Людмила видела, как она порядила себе сани, и приказала своему извозчику ехать сзади, ни на миг не упуская из виду девушку. Почти по следам ее она поднялась на лестницу и решила дожидаться здесь выхода либо Палаши, либо Платона Васильевича.

Швейцар подошел к ней и осведомился, чего ей угодно.

Людмила сунула ему в руку рублевую бумажку и объяснила, что ей нужно именно здесь, на лестнице, подождать Вельтищева. Удовлетворенный этим объяснением, швейцар скрылся в свою конуру и не беспокоил ее более своею особою.

Людмилу подмывало дернуть за звонок, войти в квартиру и захватить обоих на месте, но она удержалась от этого намерения, разочтя, что звук звонка предупредит их и заставит либо скрыться, либо принять какие-нибудь меры предосторожности.

Впрочем, ей не долго пришлось дожидаться.

\* \* \*

— Потрудитесь вернуться. Я не задержу вас! — твердо и спокойно сказала Людмила, входя в прихо-

жую. — А! и ты здесь, Палаша?! Очень рада. Кстати, мне и тебя надо видеть. Оставайся! Платон Васильевич, — обратилась она к Вельтищеву, — потрудитесь скинуть вашу шубу и войти со мною в комнату: я задержу вас не более как минут на пять.

Смущенный, как школьник, Платон беспрекословно подчинился ее требованию.

— Войди и ты, Палаша, — предложила она девушке.

И все втроем они прошли в кабинет Вельтищева.

— Моя милая, — спокойно и сдержанно обратилась Людмила прежде всего к своей горничной. — Ты можешь ко мне более не возвращаться. Завтра утром зайди за твоими вещами и за расчетом, но чтобы сегодня я у себя уже не видала тебя больше! Теперь можешь выйти отсюда.

Девушка, невольно покоряясь ее холодно-твердому взгляду и властному слову, безмолвно вышла из комнаты.

— Теперь мне остается кончить с вами, Платон Васильевич, — запирая за нею дверь, обратилась Людмила к Вельтищеву. — Какие-нибудь две недели назад вы умоляли меня пощадить вас. Я вам поверила и согласилась на известных условиях, но все ваше поведение оказалось сплошным притворством: вы затеяли против меня подпольные интриги и сделали то, что я теперь не могу вам более верить. Я не хочу знать, зачем у вас была эта девчонка, но мне достаточно, что она у вас была, — и я отлично понимаю ваши цели. Теперь я убедилась, что мне с вами жить невозможно; нам надо расстаться. Вы на меня смотрите как на врага, тогда как доселе я была вам самым искренним, самым близким другом. К сожалению, вы этого не понимаете.

Платон улыбнулся иронически и горько.

— Нечего усмехаться, Платон Васильевич!.. Да, я была вам другом! Если я решила присвоить себе ваши деньги, так это для вашего же счастья! Ведь я слишком хорошо знаю весь ваш характер, вашу несчастную страсть к азартной биржевой игре и эфемерным предприятням, которые вас рано или поздно погубят, доведут до нищеты, до ничтожества, — быть может, до новых преступлений. С этой страстью вы дурно кончите, Платон Васильевич!

Вельтищев слушал мрачно, стоя у стола и низко потупив голову.

— Я думала, — продолжала меж тем Людмила, — я надеялась, что, выйдя за вас замуж, я сумею моей любовью пересилить в вас эту несчастную страсть, что вы наконец очнетесь и вместо спекуляции займетесь честным и достойным вас делом, которое далеко могло бы выдвинуть вас в жизни; я думала, что, любя меня, вы наконец охладеете к бирже; я заботилась не о настоящем, но о будущем, о вашей старости, наконец, о ваших детях, если бы они могли у нас быть, и вот для всего-то этого я и хотела сохранить неприкосновенно ваши нынешние средства; я знала, что они будут сохранены только в моих руках; говорю вам, я знаю ваш характер — потому-то мне и пришлось действовать с вами так настойчиво, так круто. Вот вам объяснение моих поступков! Теперь же взгляните на ваши! Ваши поступки относительно меня — ряд самых низких интриг, из которых каждая — самое жестокое оскорбление! А я, Платон Васильевич, никому не прощаю оскорблений, поэтому мы с вами еще посчитаемся!

Людмила поднялась с места.

— Я думаю, что с этой минуты между нами все уже кончено! — решительно объявила она Вельтищеву. — Оставляйтесь с вашими деньгами, а я останусь с моими документами. Но чтобы обезопасить себя от ваших интриг и покушений, я завтра же уезжаю из Петербурга. Куда? — это пока вам не будет известно, но вы вскоре обо мне услышите!

И Людмила спокойно вышла из кабинета.

Вельтищев долго еще стоял у стола понутив голову, как словно бы столбняк нашел на него. Ни проблеска мысли, ни движения какого-либо чувства не было заметно на его бледном, омраченном лице. Он весь был подавлен, уничтожен, ошеломлен и не успел еще очнуться.

Но вот он, крепко стиснув челюсти, злобно закрипел зубами и с дикою тревогой огляделся вокруг. Под руку подвернулся ему стул — он с бешенством хватил его об пол и разломал в куски.

Лакей прибежал было на шум, но Вельтищев так сверкнул на него глазами и таким голосом крикнул «вон!» — что тот опомнился только в своей комнате.

На стене у Платона висел большой фотографический портрет Людмилы, прекрасно иллюминированный акварелью.

Вельтищев случайно взглянул на него и, вдруг сорвав его со стены, грянул об пол изящную ореховую

рамку и злобно стал мозжить каблуками стекло и топтать портрет любимой женщины.

Это было жалкое, бессильное мщение.

Спазмы стали душить его грудь и горло. Вцепившись руками себе в волосы, он бросился ничком на широкую оттоманку и зарыдал. Рыдания душили его, но слез не было. Он грыз зубами бархатную подушку и весь дрожал конвульсивною дрожью в жестоком истерическом припадке.

«Раб... раб... теперь уже все кончено... теперь уже раб ее навеки!» — смутно мелькала страшная мысль в пылавшей голове Вельтищева.

## ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

### I

#### «ИДЕТ ОН, КАК ВОЛ НА ЗАКЛАНИЕ»

Вельтищев никогда еще не проводил таких мучительных, бессонных часов, как нынешней ночью. Исступление, злоба, отчаяние, яростное желание убить Людмилу — и уже не из-за денег, а просто из мести — все эти чувства сменялись в его душе одно другим, пока их бурный наплыв не одолел, не обессилил его окончательно. Утомленный, разбитый и нравственно, и физически, он пришел наконец в какое-то оцепенение, словно бы лишился способности мыслить, чувствовать и понимать что-либо. Это была крайняя степень моральной усталости и изнеможения. Но это состояние принесло ему с собою и долю необходимого покоя. С туманом забытья явился тот глубокий, глухой, мертвый сон, которым только и могут спать крайне утомленные люди.

Этот продолжительный сон подействовал на него освежающим образом, главное — он успокоил его нервы, умиротворил всю бурю, клокотавшую вчера в его душе, и возвратил голове способность мыслить и более или менее спокойно обсуждать настоящее положение.

Он бросил случайный взгляд на исковерканный, разможенный и растоптанный портрет Людмилы и усмехнулся над самим собою горькою и грустною усмешкой.

Однако же предстояло на что-нибудь решаться: ему невозможно было оставлять себя долее в столь неопределенном положении относительно Людмилы и в полной неизвестности относительно ожидающей его участи, которая теперь всецело была в руках этой женщины. Время не ждало, и каждый час промедления был сопряжен для него с величайшим риском: а вдруг она теперь же представит документы и выдаст его головою?

Одна эта мысль обдала его холодными мурашками.

«И чего, в сущности, хочет эта женщина?»

Вельтищев понимал, что хочет она денег, но в то же время понимал, что главное для нее все-таки не в деньгах: деньги тут были средством, но не целью; она не продала бы ему документы за какой-нибудь куш, хотя бы и очень солидного свойства: она хотела продать его ценою всей нравственной, гражданской и физической личности Вельтищева. Платон понимал, что ей прежде всего хочется того почетного блеску, который дает видное, привилегированное общественное положение. «Но если уж все пути мне отрезаны, — думал он, спокойно взвешивал свое некрасивое положение, — если уж ничего более не поделаешь, ничего не изобретешь, ничем не выкрутишься, то в сущности — отчего бы и не жениться на ней?..»

Быть нищим и жить под опасением позора и каторги, а может — и быть нищим, и быть на каторге; или же обойти три раза вокруг наложницы и сохранить за собою если не внутренне и если не действительно, то хоть наружно почти все преимущества своего теперешнего положения, — что лучше? что предпочесть из этого?

Выход из такой дилеммы не представлял более сомнений для Вельтищева. Он просто устал, утомился всеми своими подвигами и всею борьбою и всеми этими передрыганиями последних дней. Ему прежде всего хотелось бы теперь покоя, отдыха — не навсегда, конечно, но на некоторое время, потому что после того как игра его с Людмилой была проиграна и как он поневоле признал себя вконец побежденным, потребность успокоения стала вдруг действительно сказываться в его истрепанной душе.

«Жениться!.. да, жениться! А там — все это перемелется, и авось-либо еще и мука будет! — утешал себя Вельтищев. — И наконец, разве нельзя будет своевременно избавиться и от будущей супруги?.. Годика эдак через два, когда все это попризабудется да поуляжется у нее в душе, вдруг в каком-нибудь мирном городишке Италии или Швейцарии... скоропостижная смерть... страдающий, несчастный муж... интересный вдовец...»

Но мысль о новой насильственной смерти вдруг сделалась ему противной. В душе его шевельнулось какое-то трудноопределимое чувство, которое смутно подсказало ему, что едва ли он решится когда-нибудь относительно Людмилы на этот уже знакомый ему шаг — и именно относительно ее одной только. Не ее угрозы и не собственная трусость, не опасение за свою судьбу и даже не сознание нравственного превосходства над ним ее характера, ее силы и воли заронили в него это со-

мнение в возможности избавиться от нее впоследствии тем же путем, как уже избавился он от кузена Мака, — нет, смутное чувство, внезапно шелохнувшееся в душе его при этой мысли, было совсем иное: то было чувство своеобразной, животной любви и страсти к этой женщине, которое не могло быть истреблено в его душе даже всею силою ненависти к ней. Это была любовь — пожалуй, гадкая и темная в своем источнике, но сильная и одолимая не волей, не рассудком, даже не ненавистью, а одним лишь всеисцеляющим и всепокоряющим временем. Но это время далеко еще не наступило для Платона Вельтищева.

Смутно припоминая вчерашнюю сцену, он вспомнил, что Людмила, кажется, сегодня же хотела уехать из Петербурга. Куда именно, в какое место думает она отправиться — он не знал и даже не мог представить себе приблизительно; но он боялся, что она уедет, не повидавшись с ним, под полным впечатлением вчерашнего разрыва, что теперь она озлоблена на него и, пожалуй, начнет немедленно же мстить ему, а если и не немедленно, то все же он останется на неопределенное время при полной неизвестности насчет ее целей и намерений и должен будет жить под постоянным страхом, что вот-вот, не сегодня-завтра, она начнет против него действовать, а тут, может быть, пойдут через нее же разные предварительные темные слухи... И все это теперь, все это именно в ту минуту, когда ему более всего хочется покоя, отдыха, забвения, когда ради этого желания он даже искренно готов смириться, уступить, покориться воле этой женщины, даже искренно примириться с ней и со своим будущим положением, лишь бы только где-нибудь и в чем-нибудь найти себе это желанное успокоение.

Боясь упустить Людмилу, он, не теряя времени, отправился к ней на квартиру.

## II

### НА МИРОВУЮ

Дверь отворила ему краснощекая дворничиха, которую на время пригласила к себе Людмила Сергеевна. Палаши уже не было в этой квартире.

В гостиной, посреди комнаты, на полу, присутствовал развернутый чемодан, на столах стояли какие-то коробо-



ки, на стульях и креслах лежали разные узелки, свертки, саки и вещи, очевидно приготовленные к дорожной укладке, которая была неожиданно прервана приходом Платона Васильевича. Но самой Людмилы он не нашел в этой комнате.

— Что это? Никак, барыня уезжает? — нарочным тоном удивления спросил он дворничиху.

— Как же-с!.. Саводни в чатыре часа едут... Вот и меня позвали помочь убираться, — апатичным русским распевом ответила краснощекая баба.

— А Палаша-то где же? — значительно тише спросил Вельтищев.

— Эта девушка-то ихняя?.. Отпустили-с!.. Рассчитали вот только что перед вами, а меня позвали: потому им к спеху...

В это время растворилась дверь из будуара, и на пороге появилась Людмила с выражением холодного вопроса в лице.

Платон, с приветливой улыбкой, направился было к ней, но она, не покидая своего места в дверях, загородила ему дальнейшую дорогу.

— Бога ради, на несколько слов!.. — по-французски пробормотал Вельтищев, чересчур уже озадаченный и невольно, хоть и ожидающе смущенный таким резко холодным приемом. — Я привез ваши деньги... вот они, здесь, со мною...

— Вы ошибаетесь: у вас не было и нет никаких *моих* денег, — холодно возразила Людмила.

— Прости меня, Людмила! — горячо заговорил он на том же языке. — Делай теперь со мною что хочешь — я безусловно твой!.. Говорю тебе искренно, честно... Верь мне!..

Она в ответ чуть-чуть усмехнулась улыбкой враждебного недоверия.

— Ведь вот же я исполнил твою волю, я привез эти деньги, — говорил он, тщетно стараясь сунуть ей в руки свои пачки.

— Вы забываете, что я еще вчера совершенно отказалась от них, — отстранила она его руку.

— Нопусти же меня!.. хоть на два слова!.. Мне, наконец, необходимо переговорить с тобою!

— Говори здесь, если угодно...

— Но это неудобно же! — покосился Вельтищев на дворничиху.

— Что ж делать!.. Но я решилась вообще не говорить и не видаться с вами впредь иначе как только при

свидетелях, — пояснила Людмила со своею подавляющей холодностью.

— Господи!.. да ведь не убью же я вас!..

— Как знать! Разве вы на это не способны?

— По крайней мере, в настоящую минуту!.. — горько усмехнулся он. — И наконец, ведь рядом же с вами будет эта женщина... дверь не заперта... Людмила! — обратился он к ней вдруг с самою искренней, порывистой мольбою. — Пойми, мне надо, *надо* говорить с тобою... Сжался!.. Ты не знаешь... я... я слишком жалок и несчастен в эту минуту!.. Не откажи мне!

Последовала минута колеблющегося раздумья.

— Пожалуй, быть по-вашему! — усмехнулась она. — Собственно, для того, чтобы вы не думали, будто я и в самом деле трушу перед вами, страшусь вас... Войдите!

И она затворила дверь за вошедшим Вельтищевым.

— Смотри и считай — они все налицо! — сказал он, положив перед ней на стол свои пачки.

Та отказалась.

— Людмила! Что ж это значит?

— Вам уже объявлено мое вчерашнее решение.

— Но что ж ты хочешь делать?

— А это уже мое дело, в которое я вовсе не намерена посвящать вас.

Вельтищев замылся и замолчал.

— Ты уезжаешь? — сказал он после минуты смущения.

— Как видишь.

— Куда же ты едешь?

— Это до вас не касается.

— Но возьми же, по крайней мере, деньги-то!

— Можете оставить их при себе!

— Но ведь ты же сама желала иметь их у себя?!

— Да, до вчерашнего вечера; до тех пор, пока еще не считала вас для себя чужим и враждебным человеком.

— Людмила, я не враг! — горячо и с глубоким чувством заговорил Вельтищев. — Я не переставал любить тебя, хотя минутами — признаюсь — я глубоко тебя ненавидел... Я и теперь люблю тебя, как прежде, но... ты со мною так круто, так жестоко повернула с этими деньгами, ты так неожиданно и сразу захотела взять надо мною нравственный верх, сломить, уничтожить всю мою личность, мою самостоятельность, что я не мог подчиниться тебе с первой же минуты: против

этого вопияло и самолюбие, и эгоизм, и все мои расчеты... Ведь согласись, что ты же первая обманула мое доверие, ты захотела сделать из меня раба, а против этого заговорила вся моя душа, восстала вся моя натура. Я должен был бороться; пойми ты это — *должен!* Я не мог уступить без борьбы, пока у меня была еще хоть искра надежды... Я лгал, я притворялся, я обманывал — все это так, но я считал, что в этой борьбе наши оружия равны: ты употребила надо мною нравственное насилие, я употребил интригу и думаю, что насчет оружия мы сквитались. Но теперь... теперь я признаю себя побежденным. Мне больно и горько это сознание, но я говорю искренно — так искренно, как, может быть, никогда еще не говорил в моей жизни. Я сознаю, что ты умнее, ловчее, прозорливее меня, гораздо сильнее меня волей и характером, — и я готов подчиниться тебе... Теперь я сам признаю твою власть надо мною и молю тебя: прости меня!

Он порывисто схватил ее руку и молящим взглядом ждал ее слова, ее решения.

— Две недели назад, — неспешно заговорила Людмила, равнодушно высвобождая свою руку, — вы с такой же точно покорностью, с таким же смирением умоляли меня не *простить*, а *пощадить* вас, после того как вам не удалось задушить или застрашать меня, — и я вам поверила. Теперь вы молитесь о прощении, но... я уже не могу более верить вам. Какое ручательство можете вы дать мне в том, что, выйдя за порог этой квартиры, вы тотчас же не начнете против меня новых интриг и козней?

— Мне уже нечего более начинать! — пожав плечами, покорно склонил он голову.

— Вы и тогда говорили, что у вас нет никаких выходов, и, однако же...

— И, однако же, я попробовал? Да, вы правы. Я напряг все свои силы и способности в этой игре и проиграл... проиграл в ту минуту, когда считал себя победителем... Теперь я устал: у меня нет более ни сил, ни охоты вести более эту игру: я хочу покоя, и только покоя! Поэтому я еще раз говорю вам: простите, берите эти деньги; я сам — сам теперь привожу их к вам и прошу взять их; взамен их я желаю одного лишь покоя, говорю вам!.. Ведь есть же мера и предел всякой силе, всякой энергии. Моя энергия уже истощилась. Дайте мне отдохнуть, Людмила Сергеевна! Дайте мне забыться!

— Я не препятствую, кажется, ни вашему отдыху, ни вашему забвению, — возразила Людмила. — Я, как видите, уезжаю и не беру ничего вашего; я только хочу оградить себя от всяких ваших посягательств, а для этого, полагаю, мне лучше не оставаться в Петербурге.

— Но... документы, — несмело начал было Вельтищев.

— А, вас беспокоят документы! — перебила его Людмила Сергеевна. — Из-за них-то, конечно, вы и сегодня пожаловали сюда... Но это одно, чего вам теперь никогда не удастся добыть!

— Я не о том! — поспешил возразить Платон. — Я хотел сказать вам только, что с вашим отъездом вы осуждаете меня на жизнь в самом неопределенном состоянии, вы осуждаете меня на вечный страх и тревогу, на вечное беспокойство и опасение за ваши намерения, вы ставите меня в окончательную зависимость от вашего каприза, а я не вынесу долго такого положения. Чем вечно жить под таким страхом, так лучше же самому окончить все это разом.

— То есть что вы хотите этим сказать? — через плечо обернулась на него Людмила.

— А то, что я чувствую, что не в силах буду вынести эту медленную пытку!.. Я хочу сказать, что я настолько уже изнемог, настолько жажду нравственного успокоения, что одно из двух: или я размокну себе голову, или пойду и сам добровольно объявлю суду все, что было!

Коробова мельком кинула на него удивленно-испытующий взгляд.

— Да! Да!.. — горячо подтвердил Вельтищев. — Лучше разделаться за все разом и окончательно!.. И я в состоянии решиться на это!.. Лучше однажды в жизни перенести позор на суде, принять кару и успокоиться, наконец, чем влачить то существование, на которое вам угодно осудить меня!.. И в самом деле, что вы мне предлагаете? Подумайте! Вы говорите, что вам не надо теперь моих денег, но не оставляете и мне права распоряжаться ими, как мне вздумается; вы говорите, что между мною и вами все кончено, а между тем увозите с собою намерение прихлопнуть меня в любую минуту, когда вам это вздумается, и хотите, чтобы я жил, чтобы я оставался спокоен и беззаботен и покорно ожидал, когда наконец вам угодно будет выполнить ваш каприз надо мною!.. Но ведь такой пытки не выдержит ни одна человеческая натура!.. И вы еще говорите, что любите

меня, что были моим искренним другом!.. Боже мой, да что бы ни было потом, что бы мне ни предстояло — хотя бы даже и каторга, — так все же и каторга лучше того, что вы мне сулите, каторга, по крайней мере, дает человеку *определенное положение*, а вы меня его лишаете!

Вельтищев высказал все это искренно и горячо, глубоко чувствуя значение своих слов и потому волнуясь; к концу монолога волнение его достигло весьма значительной степени: нервы, возбужденные еще вчерашним истерическим припадком, взбудоражились снова: он побледнел и с трудом кончил свою речь уже голосом, задышающимся от тяжелых рыданий.

Людмила почувствовала в его словах такую искренность и такую решимость, что ее поневоле взяло серьезное сомнение, как бы он и в самом деле не привел в исполнение своих намерений. Она разочла теперь, что ей надо отчасти спустить тон и пойти на кое-какие сделки.

Выждав время, когда он несколько успокоился, Людмила Сергеевна заговорила с ним уже миролюбиво.

— Вы жалуетесь на свое положение, — начала она. — Согласна, положение крайне тяжелое, да и мое ведь не многим лучше вашего. Вы говорите, что я осуждаю вас на вечный страх и беспокойство; но ведь я имею полные основания думать, что и вы меня можете осудить на то же самое: я не убеждена, что вы не решитесь даже отравить меня, потому-то я вынуждена бежать отсюда! Ну, и скажите же сами, как нам быть обоим при таком странном положении? Здесь ведь обоюдный страх и обоюдное недоверие!.. Не скрою от вас: мне кажется, что теперь вы говорите искренно, совсем искренно, но... что, если я обманываюсь?.. Вы ведь уж доказали мне, что вы превосходный актер — как же мне верить вам?.. А я бы хотела верить!.. Да, я очень хотела бы, но не решаюсь, не осмеливаюсь, — и вот вам прямой результат всей вашей интриги!

Вельтищев, не возражая ни слова, слушал грустно и покорно.

— Вы говорите, что я не люблю вас, — продолжала Людмила. — К несчастью, люблю! И я уже неоднократно говорила вам, что мое «насилие», как вы называете, вызвано желанием вам же добра и счастья... Ну, и как же мне быть теперь с вами? На что я должна решиться?

— Я устал, говорю... я хочу покоя! — смутно прошептал Вельтищев.

— Но вам, кроме меня, никто не даст его, — сказала она. — Я и сама хочу его! Разве мне не надоела эта жизнь, это вечное мыканье, эта каторжная зависимость содержанки, это подлое двусмысленное положение, которое я ненавижу всеми силами души своей!.. О, как мне все это надоело, если б вы знали, и как я сама хочу покоя!.. Но я могла бы и себе и вам дать этот покой не иначе, как только сделавшись вашей женою. Вы не хотите этого. Что же мне остается?..

— Теперь... я умоляю вас об этом! — тем же смутным, подавленным и усталым шепотом проговорил Вельтищев.

— Хм... «теперь»! — грустно усмехнулась Людмила. — Зачем же это только *теперь*, теперь, когда вы сделали все, чтобы уничтожить мое доверие к вам? Зачем не прежде?.. Но хорошо! — согласилась она. — Я понимаю ваше тягостное положение, и мне душевно жаль вас; я верю, что в эту минуту вы непритворно страдаете; я... я все-таки люблю вас, Платон Васильевич, и потому хочу найти для нас обоих примиряющий выход из этого проклятого положения.

И Коробова медленно, с потупленною головою прошлась по комнате, очевидно обдумывая нечто.

— Хотите вы выслушать мое последнее слово? — остановилась она перед Вельтищевым.

Тот внимательно поднял на нее взоры.

— Ну, так вот что, Платон Васильевич! Я вас проверю еще на одном испытании. Я на время уеду из Петербурга, во всяком случае, потому, что я все еще не вполне доверяю вам. (Что ж делать? Пеняйте на себя! Знаете, обжегшись на молоке, будешь дуть и на воду! Вы сами же в этом виноваты!) Я уеду; но даю вам слово не предпринимать против вас ничего дурного. Что касается до этих денег, то мне все равно, отдадите ли вы их мне или оставите у себя — это как вам будет угодно. Я поручаю вам только одно: поскорее устроить, какими бы то ни было судьбами, мой развод с мужем. Даю вам на это три месяца сроку, — кажется, для подготовки дела это срок достаточный. Через три месяца я извещу вас, куда вы должны писать мне. Если ваша подготовка будет удачна, я возвращусь, и тогда мы кончим дело и с мужем, и с нами; но с вами мы кончим его не иначе как на прежних моих основаниях. Согласны?

Вельтишев тихо поцеловал ее руку, и этот поцелуй был немым знаком его полного согласия. Да и что более оставалось ему?

— Я не смею рассчитывать на полное доверие, — смущенно заговорил он после некоторого молчания, — но чтобы вы хоть несколько верили в мою полную искренность, я прошу вас оставить эти деньги у себя, я решительно не увезу их с собою!

Людмила подумала и не согласилась.

— Мм... мне не совсем удобно, — сказала она. — При той кочевой жизни, которую я, вероятно, буду вести, таскать с собою такие крупные капиталы, с этими переездами, с этой отельной жизнью, — мало ли что может случиться!.. Это, во всяком случае, риск, а я ничем рисковать не желаю! Поэтому оставьте их лучше у себя в кассе; а с меня достаточно и той уверенности, что вы не распорядитесь ими самовольно.

— А если я возьму да вдруг удеру с ними в Америку? — грустно пошутил Вельтишев.

— Тогда вслед за вами тотчас же полетят агенты и телеграммы сыскальной полиции, — отшутилась Людмила.

Но в этой шутке крылось весьма серьезное предостережение, и Платон Васильевич из ее легкого намека понял как нельзя лучше, что при малейшем его покушении на собственную свободу и на самовольное хозяйничанье деньгами ему тотчас же грозит неотвратимое и суровое преследование.

— Я хотя и буду далеко, но это не мешает мне следить за вами, — предварила она тоном все той же шутки. — А теперь берите вашу шапку и удаляйтесь! Не мешайте мне укладываться.

— Вы меня гоните! — проговорил он с грустной усмешкой.

— Непременно. А то как же иначе?

— Но теперь-то за что же?

— Ба! Я все-таки ведь не доверяю вам! — слегка рассмеялась она с обычной своею несколько лукавой кокетливостью.

— Когда же вы едете? — помявшись, предложил еще один вопрос Вельтишев.

— Думаю, что сегодня же вечером. Квартиру эту вы можете сдать и распродать все вещи.

— Но... могу я, по крайней мере, приехать проводить вас?

— Н... нет, это будет совершенно лишнее! — наотрез отказала Людмила. — Я запрещаю вам отслеживать

меня, да оно вам и не удастся, а если вы точно хотите душевного спокойствия и желаете искренно примириться со мною, так лучше всего принимайтесь-ка скорее да энергичнее за бракоразводное дело, и тогда, Платон Васильевич, — клянусь вам! — вы будете еще счастливы!

— Счастлив... Но до счастья мало ли что может еще случиться! — скептически возразил Вельтищев. — Вы можете умереть... или я могу умереть — все мы ведь под Богом ходим! Умрете вы — документы рискуют попасть в посторонние руки, даже просто в руки полиции, которая вскрыет их, и тогда — какое же мое-то положение?... А умри я — вы рискуете остаться ни при чем, если деньги будут не у вас, а в моей кассе... И выходит, что для нас обоих такое положение крайне неудобно.

— Н-да, вы правы, положение рискованное! — медленно проговорила Людмила, вдумываясь в смысл сказанного. — Как же тут ухитриться, чтобы нам обоим было поспокойнее?... Ведь вот все же выходит, что вы сами виноваты! — миролюбиво укорила она Платона. — Не убей вы мою веру в вас, не было бы и этих затруднений.

— Что ж делать! — вздохнул он. — Сделанного не воротишь!.. Значит, нам надо как-нибудь обоюдно загарантировать себя друг против друга.

— Хм... загарантировать... Легко сказать! В чем? — вопросительно пожала плечами Людмила. — Разве вот что? — предложила она, подумав. — Взамен денег, выдайте мне на себя векселя на всю эту сумму.

— А вы возвратите мне документы? — осторожно попытал ее Вельтищев.

Коробова засмеялась.

— Чему вы? — несколько смешавшись, спросил он.

— Да как чему? Вы только что отдавали такие похвалы моему уму и теперь, кажется, снова меня за дурочку считаете. Полно хитрить, Платон Васильевич!

— Хитрить... Но чем же я... Помилуйте... в чем тут хитрость? — пробормотал он, недоумевая и оправдываясь.

— О мой простосердечный! О мой бесхитростный человек! — шутила она самым дружеским тоном. — Или вы уж так расстроены, что и в самом деле не можете сообразить даже такой простой вещи?... Хитрость, видите ли, друг мой, в том, что, получи я с вас взамен документов векселя, вы сейчас же документы уничтожите и сегодня же объявите, где следует, что с вас насилием и



обманом были вытянуты безденежные векселя, а мне потом предстояла бы милая перспектива тягаться с вами по судам и доказывать справедливость моего иска. Нет, друг мой, на эту удочку я не поддамся!

— Так чего же вы хотите? — с затаенной досадой спросил Вельтищев.

— Я хочу векселей, но не взамен документов, — объявила Людмила.

— Да, вот оно что! — усмехнулся он. — То есть, говоря другими словами, вы хотите спутать и связать меня еще более.

Людмила строго подняла удивленные брови.

— Да, так! — продолжал Вельтищев. — Разве не правда? Подумайте!.. Вы вот сделали предположение, что я документы уничтожу, а векселя объявлю безденежными. Хорошо-с. Но позвольте же теперь и мне ответить вам *моим* предположением. Представьте себе, что, уехав куда-то с моими векселями и документами, вы наталкиваетесь где-нибудь на человека, которому действительно отдаете ваше сердце почему бы то ни было — потому ли, что он нравится вам, или потому, что выгоден для вас более, чем я. И что же? Вы с ним сходитесь, быть может, выходите за него замуж, — а я? Какое мое положение в этом случае? И выходит, что я, сделавшись для вас уже совершенно чужим, посторонним человеком, останусь — благодаря векселям — вашим должником и вечным вашим рабом — благодаря документам. Значит, вы теперь, уже вместе с нищетою, сулите мне еще худшую зависимость, чем прежде? Нет, Людмила Сергеевна! Вы слишком великодушны! — в негодовании, решительно поднялся Вельтищев. — Да, вы слишком великодушны, а я слишком устал, для того чтобы терпеть бесконечную пытку, и потому уж лучше кончить мне самому все это сразу и успокоиться в ост-роге!

— Позвольте, я ведь еще не досказала! — остановила его Людмила. — Взамен ваших векселей, я могу запечатать в отдельный пакет мои документы с надписью, что, в случае моей смерти, этот пакет должен быть доставлен к вам немедленно и нераспечатанным.

— Ну, теперь позвольте уж и мне рассмеяться в свою очередь! — иронически поклонился ей Вельтищев. — Вы-то сами за какого же дурачка меня-то считаете?.. Разве ваш «пакет» достаточная гарантия? Уж лучше вот что, Людмила Сергеевна: взамен документов,

поделимся моими деньгами и разойдемся навеки! Вы в сторону, я в другую!

— Платон Васильевич, мы же любим друг друга, не забывайте этого! — помолчав, заметила Людмила с такою невольно выдавшею ее улыбкою, которая показывала, как будто внутренне она сама смеется над подобным предположением. — В стороны разойтись нам невозможно! Да и разойдясь, вы сами же первый станете искать и добиваться меня! Разве я не знаю вас?

— Господи!.. Чего же вы, наконец, от меня хотите? — вне себя, отчаянно и раздраженно воскликнул Вельтищев.

— Хочу быть вашею женою, — спокойно ответила Коробова.

— Но я уже вам говорил, что я сам хочу этого! Я, кажется, к вам и приехал с этим! Я сам привез вам деньги, я молил о мире, о прощении, я готов был покориться вам, готов на множество жертв; но вы ставите мне на этом пути невозможные барьеры! Вы становитесь со мною на ножи; мы держим друг против друга камни за пазухой. Разве при подобных отношениях возможно думать о браке?

И он твердо стал перед нею с видом крайней и окончательной решимости.

— Людмила Сергеевна, я доведен до полного отчаяния!.. Клянусь вам, что я совсем готов решиться теперь на самую безумную меру: я в состоянии пойти и сам донести на себя! Вы, вы меня доводите до этого!.. Вы мне предлагали ваш ультиматум; теперь же позвольте и мне предложить вам не более как два-три вопроса. Угодно вам за половину моих денег продать мне документы?

— Нет. Я уже сказала — нет, — решительно ответила Людмила.

— В таком случае угодно вам, чтобы я сам открыл мое преступление?

— Нет.

— Ну, конечно, нет, — потому что это губит и вас вместе со мною! — саркастически пояснил Вельтищев. — Стало быть, вам действительно угодно сделаться моею женою?

— Да, я хочу этого! — открыто и настойчиво подтвердила Коробова.

— Хорошо. Так слушайте же и не взывайте за откровенность. Мы оба с вами мошенники. Нечего таиться и фарисействовать! Мы крупные мошенники, но вы...

кажется, будете еще покрупнее меня!.. А таким мошенникам, знаете ли, в подобном положении остается одно из двух: или загрызть и потопить друг друга, или же поверить друг другу на каторжное слово, на каторжную честь! Рискните еще раз поверить мне!.. Я теперь еще раз высказываю вам совершенно честно и прямо, что я проиграл мою игру и покоряюсь вам. Я не стану более делать никаких покушений и только всею душою жажду успокоиться, хотя бы и в браке с вами! Но не душите меня! Дайте мне передохнуть хоть минутку!.. Если хотите быть моею женою, так извольте для этого остаться в Петербурге, с вашими документами и с моими деньгами. Для большего вашего спокойствия, если хотите, я даже вовсе не стану посещать вас, и давайте в самом деле энергично приниматься за ваш развод с Коробовым! Но для всего этого я прошу у вас только одного: рискните!.. рискните еще раз поверить мне! А если не так — давайте губить друг друга!.. Выбирайте же: или мою каторжную честь, или общую гибель?

Людмила глубоко и серьезно задумалась. Полное и напряженное молчание длилось довольно долго. В душе у нее совершалась какая-то борьба.

— Ну, хорошо! Так и быть! — подняла наконец она свои холодно-ясные, лучистые глаза. — Я рискую! Я верю в твою каторжную честь — я остаюсь!.. Можешь бывать у меня, как прежде. О прошлом — ни слова!.. Мир! Полный, хороший мир — и давай вместе работать!

Она вскинула ему на плечи свои красивые руки.

— Ну, гляди же на меня!.. Гляди, Платон! яснее, лучше, приветливее!.. Все прошлое забыто!.. Да?.. Да??

— Да, — прошептал Вельтишев, невольно любуясь ее красивым лицом, которое она еще впервые, после всего происшедшего, подставила ему так ласково, так близко. Руки ее так мягко, так женски хорошо лежали на его плечах. Он почувствовал, что опять невольно начинает ощущать обаяние ее увлекательной ласки.

— Что ты шепчешь? — лукаво подставляя ухо, приблизила она к его лицу свою щеку. — Старое забыто?.. Все забыто?.. Да?

— Да! — еще тише, с вибрацией какого-то внутреннего, глубоко потопленного страдания вымолвил Вельтишев.

И, гибко перегнувшись в стане, она увлекательно откинулась головою несколько назад от его лица.

— Да? Ну, так целуй же твою прежнюю Людмилу!

## «НА ВЗАИМНОМ УВАЖЕНИИ И ДОВЕРИИ»

Вельтищев в тот же день отыскал у себя адрес г-на Антизитрова и написал к нему весьма любезную записку, прося его пожаловать к себе завтра утром «по известному делу».

Господин Антизитров не замедлил явиться в назначенное время.

— Вот видите, какая аккуратность! Как сказал вам тогда, что по первому же зову предстану, так и предстал! — развязно начал он, с обычной бесцеремонностью протягивая руку. — Что, видно, по делу приспичило?.. Хе! Я ведь знал, что без меня не обойдетесь!

Вельтищева отчасти внутренне корбило от манеры этого господина; тем не менее он пригласил его садиться и предложил папироску.

— Папироску? — лукаво ухмыляясь, отозвался Антизитров. — Нет, папироски у нас и свои имеются; а вот у вас, должно быть, сигарки хорошие водятся, так вы уж мне одну преподнесите — смерть люблю хорошие чужие сигары!.. Я вполне понимаю, что для мыслящего реалиста хорошая сигара необходима, да, к сожалению, карман-то у нашего брата дырявый.

— Вы говорите, что можете устроить развод? — прямо к делу приступил Вельтищев.

— Развод? Могу-с! И даже с церемонией!

— Нет, да вы без шуток...

— То есть вне всяких шуток! И с церемонией, и без церемонии — как вам будет угодно! Я полагаю, впрочем, что с Коробовым особенно церемониться нечего.

И, закулив дорогую сигару, г-н Антизитров, тоже без всякой церемонии, глубоко завалился в кресло, заломив ногу на ногу. Этою позой он желал выразить свою независимость.

— Но ведь Коробов не хочет, — заметил Платон Васильевич.

— Ну и пушай его!.. Нам-то с вами что до его хотенья! Я и помимо его воли все это дело оборудую.

— Вот именно, я и желал бы знать те пути, которыми вы предполагаете устроить.

— Эге! дудки-с!.. Так я вам и сказал! — с хитрецей ухмыльнулся Антизитров. — Это мой фортель!.. Главные мои основания вам уже известны, то есть что

вы и госпожа Коробова останетесь совершенно в стороне, а уж как я обделаю — это мой секрет; вы только мне скажите: желаете или не желаете?

— Я вас потому-то и просил к себе.

— Понимаю-с. Ну, а коли желаете, так давайте условливаться.

— Но как скоро можете вы все это устроить?

— О, я это живо! Месяц, ну, много — два, но уж никак не более, потому я вижу, что это за фигура этот господин Коробов, я насквозь вижу человека и понимаю его, а потому и говорю, что с Коробовым дело это не потребует особенных проволочек. Мы его живо-с! Но коли я все это вам устрою благополучно, согласны ли вы будете дать мне пять тысяч?

— Конечно; об этом нечего и говорить, — согласился Вельтищев.

— Ну, нет-с, говорить-то всегда есть чего, и даже мало что говорить, а по-настоящему — законтрактоваться бы надо.

— Можно и законтрактоваться.

— Н-да-с!! Эдак-то оно обстоятельнее. Я, изволите ли видеть, человек прямой и честный, и откровенный человек, и притом «маленький человек», поэтому я с вас не заламываю чертову кучу денег, а прошу по совести, потому — как честный работник — я знаю, что такое труд, и всякое дело оцениваю по достоинству — чего оно стоит. Это так-с. Ну и... вот, соображая настоящее дело, я прихожу к заключению, что, по совести, оно стоит пяти тысяч, а потому более и не запрашиваю.

— Делает честь вашей добросовестности! — безразлично улыбнулся Вельтищев.

— Ну, моя добросовестность при мне! Мне и знать про нее! — медвежесовато ворохнулся в кресле г-н Антизитров. — Так как же мы с вами насчет условия-то?

— Я вас слушаю, — слегка кивнул головою Вельтищев.

Господин Антизитров растрошил в зубах конец сигары, созерцательно глядя в потолок, поплюнул ее, поплевал на пол и помычал легонько.

— М-мм... то есть... вот видите ли... условие мы, конечно, заключим домашнее, но правильное, по форме, как обыкновенно пишутся домашние условия.

— Согласен, — кивнул Вельтищев.

— Но-о-о... м-м... так как в условии, я полагаю, нам не совсем-то удобно излагать настоящую сущность

дела, что, дескать, я, Антизитров, берусь устроить развод такого-то с такою-то, а я, Вельтищев, обязуюсь, в случае благополучного исхода, и прочее...

— Да, это уж окончательно неудобно! — подтвердил Платон Васильевич.

— Ну, вот то-то же и есть!.. Так мы поэтому оформим его иначе.

— Например?

— Да, например, хоть так бы: возьмите какую-нибудь новую ученую книгу, хоть Дарвина там, что ли, — ну, что хотите! — и закажите мне якобы перевод с английского на русский. Тогда мы и в условии пропишем так, что я, мол, Вельтищев, заказал Аристарху Антизитрову перевод такого-то сочинения, с условием что, в случае добросовестного исполнения им взятой на себя работы, обязуюсь уплатить ему пять тысяч. Понимаете-с? Тогда у нас и волки сыты, и овцы целы.

Вельтищев молчал и смотрел на гостя своего с двусмысленной улыбкой.

— Послушайте! — решил он наконец высказаться. — Извините за откровенность, но мне кажется, что вы все это говорите совершенные пустяки!.. На что тут эти условия? и какой тут Дарвин? и кто же, наконец, за переводы платит по пяти тысяч? да и куда вы пойдете искать с таким нелепым условием?

— Искать на вас я не пойду никуда, а это, собственно, так, ради-для успокоения совести! — оскалил улыбкой зубы г-н Антизитров.

— Нет, извините, а это вы совсем не дело говорите! Вы даже заставляете меня сомневаться и в том, можете ли вы действительно устроить дело, за которое беретесь?

— Ну и сомневайтесь! А мне-то что? Я, милостивый мой государь, радикально: вуле-ву так вуле-ву, а не вуле-ву, так как вуле-ву! Вот вам и сказ!

— Да кто вас знает! Ведь согласитесь, это все похоже на какую-то мистификацию! Беретесь за дело и не даете даже намека на то, какими путями вы его устроите; выговариваете какие-то окольные условия и хотите, чтобы человек, обладающий здравым рассудком, взял бы вот да и поверил вам сразу. Так серьезные дела не делаются!

— Гм... то есть это значит, вы хотите сказать мне, говоря попросту, что я — какой-то шарлатан и проходимец?

— Признаюсь, — пожался Платон, — вы сами невольно заставляете думать это.

— Так вы хотите, чтобы я, — лукаво прищурился на левый глаз Антизитров, — чтобы я, так сказать, немножко приподнял край моей таинственной завесы и хотя бы намеком показал вам ту дорожку, по которой я думаю направить интересное для вас дело?.. Так, что ли, господин Вельтищев?

— Я думаю, что с этого и следовало бы начать, если вы желаете, чтобы к вам относились с серьезным доверием.

— Хм... Тек-с!.. Понимаю-с. Ну ин быть по-вашему! Приподниму завеску, коли уж вам так хочется! — заранее торжествующим тоном провозгласил г-н Антизитров.

Он поднялся с кресла и, заложив руки в карман, неторопливым, отмеренным шагом стал приближаться к Вельтищеву.

— Возьмете, например, к слову, хотя бы такой веселенький пейзажик, — начал он, все так же щурясь и подмигивая левым глазком. — Что бы вы сказали, если бы, например, Коробов прогулялся по Владимирке-с?.. Как вам нравится перспектива сей длинной и торной дорожки в этом веселеньком пейзажике? Ну-с, отвечайте мне!.. Вы ведь, конечно, знаете, что по законам Российской империи брак в этих случаях сам собою расторгается, буде один из супругов не изъявит желания добровольно следовать по той же дороге для удержания брачных уз и совместного сожительства.

Вельтищев, словно бы озадаченный новой идеей, серьезно и пристально смотрел на своего гостя широко раскрытыми, удивленными глазами.

— Н-да... это вот действительно как будто и на деле несколько похоже, — медленно процедил он сквозь зубы, продолжая созерцать торжествующего Антизитрова.

— Ага?! Находите, что похоже-с?.. А ведь я это только так, просто к примеру сказал! Не более как к примеру — и вы уже ловите хвостик дела!.. Ну и, положим, что Коробов отправляется за хребет Уральский. Можете вы сами направить его по этой дорожке?

— Понятно, нет!.. Какая же у меня к тому возможность?

— Не можете?.. Хе-хе! А еще и к сильным мира сего принадлежите, и не можете! — говорил Антизитров, все более и более празднуя свое торжество над Вельтищевым. — Ну, а приятель ваш Шнитцли — как вы полагаете — может статья, он это может?

— Сомневаюсь, чтоб это вообще кому-нибудь было возможно.

— Так, стало быть, и для «многоуважаемого нашего сотрудника» фон Шнитцли невозможно?

— Да, невозможно.

— Ну, а для кого-нибудь, быть может, и возможно-с. Как знать, чего не знаешь!

— Для кого же это? — попытался Вельтищев.

— Ну, да уж возможно, говорю!.. Стало быть, есть у нас некто — такая таинственная сила, которая может этим орудовать.

— Закон, конечно? — с улыбкой заметил Платон Васильевич.

— Закон!.. хм!.. Что такое закон! — поднял Антизитров кверху свой указательный палец. — Закон, он есть, так сказать, охотник, стоящий на облаве и выжидающий зверя, чтобы подстрелить его своею меткою пулей; а дело опытного облавщика — целесообразно направить зверя под пулю закона! Вот этот-то опытный облавщик и есть та самая таинственная сила, про которую я имею честь вам докладывать. И это сила руководящая и, так сказать, матерински заботливая, потому что если бы она вздумала направить Коробова в далекие страны, то она же и позаботилась бы о нем, чтобы жизнь его там, по возможности, была легка и беспечальна, ибо Коробов сам бы стал одним из факторов этой силы и вел бы там ее дело.

— Послушайте, как прикажете понять все то, что вы сказали? — спросил Вельтищев, очевидно весьма живо заинтересовавшись словами своего гостя.

— Да как хотите, так и понимайте! — развел тот руками. — По мне, хоть бы и никак! Мне-то что!.. Я вам живописую все это только к примеру — не более-с.

— И вы близко знаете эту «силу»?

— Хм!.. Мало ли что я знаю!.. Про то мне знать! Вам-то какое дело? Я вам только предлагаю: вуле-ву так вуле-ву! А уж там как я сделаю — это, говорю, мне знать! А вы, с своей стороны, если увидите на самом факте, что миссия моя исполнена честно и аккуратно, — вы только вручите мне условленную плату — и квиты! О чем тут толковать-то? Разве я с вас вперед тяну всю сумму? Не сделаю — не дадите, и кончено!

Вельтищев, с трудом сдерживая улыбку, которая то и дело набегала на его лицо, молча смотрел на Антизитрова как на курьез, в своем роде весьма достопримечательный.

— Ну, и чего ж вы меня созерцаете да ухмыляетесь? — расставил тот ноги, заложив большие пальцы



рук в карманы безвкусно пестрой, лохматой жилетки. — Дик я вам кажусь, что ли?

— Признаюсь! — пожал плечами Вельтищев. — Вы ведь сами человек бесцеремонный и потому, верно, не попрекнете и на мою откровенность. Я все смотрю на вас и думаю, что вы за человек такой?

— Я-то?.. Хм!.. Уж, во всяком случае, человек никак не вашего закала! — гордо, с сознанием своего достоинства, повел головой Антизитров. — И какое вам, в сущности, дело, что я за человек? Видите, кажется, с руками, с ногами, сделан по образу и подобию общей прародительницы нашей, обезьяны; словом сказать, во всех статьях человек! А что до нутра моего, то это, по-настоящему, не ваше бы дело! Я ведь не интересуюсь знать, какой вы человек, так вам-то что до меня?! А впрочем, коли уж вы так любопытствуете, то я могу сообщить вам, что я сын бедных, но подлых родителей, воспитался в духовном училище, биен и порот многожды, продан в солдаты, но был откуплен одною сердобольной вдовою купчихой, которой очень нравился как привлекательный мужчина; затем вожжался со студентами (дураки все!), был из-за них одно время герметически закупорен в Петропавловке, затем служил по контролю, выгнан за неуважение к начальству и теперь, имея тридцать три года от роду, состою приватным помощником у вашего приятеля. Вот вам и вся моя автобиография! А что до нутра, говорю, так, может, я — член интернационалки, а может, и агент тайной полиции, а может, и то и другое вместе. Может быть, меня пошлют за границу выследить Нечаева и фальшивых ассигнатчиков, и я их выслежу и провезу в Россию чемоданчик с ассигнациями, и распушу их гулять по свету, а мне за то Владимира в петлицу дадут, а я себе с денежками и удеру подобру-поздорову в Швейцарию. Ну, вот и думайте обо мне теперь, как знаете, — засмеялся в заключение Антизитров.

— Я думаю, что вы, во всяком случае, плут порядочной руки! — засмеялся в ответ ему и Вельтищев.

— Я-то? Все мы плуты, все мы человеки, батенька мой! — бесцеремонно похлопал его по плечу г-н Антизитров. — Но... что нам, однако, время-то по пустякам терять! Говорите прямо: желаете вы воспользоваться моими услугами или не желаете?

Вельтищев слегка нахмурился озабоченно и раздумчиво.

— Услугами-то воспользоваться я бы, пожалуй, не

прочь, — высказался он, окончательно решившись быть твердым и не церемониться с этим барином.

— Ну так, тогда условие на перевод! — подхватил Антизитров.

— Нет! — круто отрезал Платон. — Никаких письменных, а тем более глупых и окольных условий на бумаге я с вами заключать не стану. Это мое решительное и последнее слово. Хотите вы мне верить на слово — работайте; не хотите — как угодно! Я никого еще не обманывал, в платежах всегда аккуратен — это вам может подтвердить вся биржа, а вас и подавно мне нет причин обмануть за услугу подобного рода: вы понимаете, что в противном случае я могу себя скомпрометировать не только перед вами, но и перед судом, и перед обществом, и, наконец, пять тысяч — это для меня такой ничтожный куш, что я никак не захочу из-за него нарушать твердость моего честного слова.

Антизитров подумал, что называется, уставясь лбом в землю.

— И то правда! — согласился он. — Пожалуй, будь по-вашему!.. Значит, мы, так сказать, на взаимном уважении и доверии? Ладно-с! Но только вы позвольте мне теперича на ведение дела... Мне немного-с: сотенки две, не более.

— А как надуете? — улыбнулся Вельтищев.

— Значит, и вы меня надуете? — обидясь, возразил г-н Антизитров. — Если я верю вам, так и вы должны верить мне. У меня, полагаю, как и у вас, тоже своя какая-нибудь честишка имеется!.. Да если бы я даже и надул, так что вам стоят какие-нибудь сто — двести рублей? Ведь вы, поди-ка, чай, в один вечер проедите да на французенку вдесятеро более бросите и не поморщитесь, а тут вдруг сомнение: надует, мол!.. Эх вы! аристократы! Разве я у вас даром беру? Я вам расписку дам, что получил, мол, в счет на ведение известного дела столько-то. К мировому на меня представить можете!

Вельтищев подумал — куда ни шло! — и выложил ему на стол две радужные бумажки.

— Но только предваряю, что без толку я вам более давать не стану, — серьезно предупредил он, — а если мало-мальски увижу подходящий результат — можете смело рассчитывать на мою кассу, и ваших пяти тысяч я не задержу ни минуты.

— Значит, по рукам! — растопырил свою здоровен-

ную лапищу г-н Антизитров и, сжав в ней руку Вельтищева, прихлопнул ее сверху другою своей ладонью.

#### IV

##### В ГРЕЧЕСКОЙ КУХМИСТЕРСКОЙ «ЯНИНА»

Был гнилой петербургский вечер. Черное, промозглое небо сыпало на слякотную землю какую-то мокреть — не то снег, не то дождь. По тротуару мимо дома, где жил Валерьян Коробов, уже часа полтора прохаживался человек высокого роста, часто оглядываясь на ворота. Видно было, что он кого-то дожидается или подкарауливает. Уже три вечера сряду «таинственный незнакомец» аккуратно появлялся на этом самом месте и начинал свою неторопливую походку, обходя тротуарные лужи и все поглядывая под ворота. Но, вероятно, доселе цель его прогулок не была им достигнута, ибо, пробродив каждый раз часа два, он с досадой уходил с своего поста и спускался в ближайший трактирчик-низок, чтобы несколькими рюмками водки согреть свой прозябший желудок.

Но на нынешний раз ожидания «незнакомца», кажись, не были тщетны. Походя обернулся он как-то на ворота и вдруг заметил, что из-под них выходит человек в холодном пальтишке. Он быстро и осторожно приблизился и стал у ворот, чтобы сождать проходившего человека. Тот прошел мимо. Наблюдатель зорко, но осторожно и почти мельком взгляделся в лицо прохожего и пошел за ним следом, шагах в десяти, чтобы самому не быть замеченным и в то же время не упустить из виду человека в холодном пальтишке.

Путешествие это было непродолжительно, потому что следимый субъект как раз спустился в «низок», над которым красная вывеска гласила, что здесь обретается «Греческая кухмистерская «Янина».

Тот, который следил за пальтишкой, выждал минуты две у входа и тоже спустился в «ямку», где исчез за стеклянною дверью.

Здесь он расположился у одного из свободных столиков и внимательно огляделся во все стороны.

Холодное пальтишко стояло перед буфетом, на котором красовались черствые бутерброды и разная кухмистерская съедобная дрянь, весьма подозрительного качества. Пальтишко вело переговоры с греческим челове-

ком, который, с полным сознанием своего эллинского превосходства, сидел за буфетной стойкой.

— Позвольте мне рюмку водки и котлетку? — советливо и тихо спросил человек в пальтишке каким-то просящим и неуверенным тоном.

Греческий человек только вращал своими жирными глазами и делал вид, будто не слышит обращенной к нему просьбы.

— Я прошу водку и котлетку, — повторил посетитель.

— Цто?.. катулэтку? — удостоил наконец повернуться к нему жирноглазый эллин.

— Да, пожалуйста... и водки... ужасно есть хочется! — заискивающим и ласковым голосом попросило пальтишко.

— Пазувольте дэнги! — недоверчиво и небрежно заявил грек на эту просьбу.

— Но... Спиридон Ангелосович, вы до сих пор были так любезны — делали мне маленький кредит... Я скоро должен получить деньги и на днях же расплачусь с вами.

— Нэ-эт, на карэдит ни ондина дэнга!.. Ни ондина мазулинка биз дэнга! Ви — цто ви мне должны? Вы пятнадцать силковых узе должны! Позалуста, биз карэдит!..

— Но поверьте же!.. Хоть на этот раз поверьте!

— Харассо! но как цэсная греческая цэловека, ни ондина катулэтка! Нивазумозно!

В эту минуту «незнакомец», все время внимательно следивший за разговором у стойки, подошел к буфету.

— Водки! — лаконически распорядился он, кивнув пальцем на большую рюмку, и пристально стал вглядываться в лицо человека в пальтишке, делая вид, будто старается узнать и проверить себя, точно ли это знакомое лицо.

— Кажись, господин Коробов? — сказал он с приветливою улыбкой.

— Да... я... Коробов, — неохотно и нерешительно ответило пальтишко, как человек, который не успел еще сообразить, ради чего это к нему вдруг приступают, чего от него хотят и как поэтому ему следует отвечать и держать себя.

— Так вы Коробов? Значит, я не ошибся... Позвольте пожать вашу руку!

— Но... позвольте... с кем я имею честь...

— Пожалуйста, без чести, батенька, без чести! Мы

люди простые, едим пряники неписанные; а вот руку вашу, говорю вам, пожать позвольте мне, потому я вас уважаю!

И Коробов почувствовал, как взяли его руку и стали дружески пожимать и трясти ее. Он взгляделся в неизвестного человека, и лицо его показалось ему знакомым. Он старался припомнить, где и когда встречал этого господина.

— Не узнаете, что ли? Или не хотите узнавать?.. Полноте, будьте со мною без церемоний, потому сказано вам раз, что я вас уважаю. Я — Антизитров... Помните, приходил к вам по делу от Шнитцли?

Коробов вспомнил и сухомерно потянул назад свою руку. Ему неприятна стала эта неожиданная встреча.

— Да, я вас уважаю! — подтвердил Антизитров, искренним тоном глубокого и «гражданского» убеждения. — Но вы не догадываетесь за что! А я между тем уважаю вас именно за то, что вы тогда плюнули в физиономию этому патентованному мерзавцу! Вы были первый человек, который сделал это благородное дело, который не позволил безнаказанно оскорбить свою человеческую личность! Вот за что я жму вашу честную руку!

— Вы говорите о господине фон Шнитцли? — спросил Коробов.

— Да-с! о господине фон Шнитцли, знаменитом адвокате и «нашем многоуважаемом сотруднике», как величает его Цемш, — о нем, именно о нем, об этом подлеце и мерзавце, говорю я вам!

— Но... ведь вы сами, кажется, его помощник?

— Да, к несчастью, я был его помощником, то есть, правильнее сказать, он был эксплуататором моего труда и моих знаний. Но вы знаете ли, что между нами произошло после вашего ухода? Я работал в смежной комнате, мне все это было видно и слышно! Ха, ха, ха!.. Как только вы ему плюнули и вышли, он прямо ко мне: «Слышали, — говорит, — и видели?» — «Слышал, — говорю, — и видел!» — «Будьте, — говорит, — свидетелем! Этого барина надо упрятать!» — «За что это, — говорю, — за то, что в рожу-то вам плюнул? Да я, — говорю, — за это самое от всей души моей уважаю его, что наконец-то нашелся такой искренний и честный человек, который не стеснился заявить вам лично чувство подобающего отношения к вашей особе, и что до меня, — говорю, — то я очень рад настоящему случаю, дабы и от себя заявить вам,

что не желаю иметь с вами никакого более дела!» Ну, и пошел, и пошел я тут ему отчитывать — инда три пота согнал с него! Все, уж, как есть, все, что только на душе наболело, — все это я ему досконально выложил и затем откланялся с подобающим почтением. Так что, коли хотите, вы первый дали в некотором роде толчок моей собственной судьбе, и вот за что вас я истинно уважаю! Я в некотором роде обязан вам тем, что развязался с этим негодяем, и выражаю вам теперь за это мою искреннюю благодарность!.. Будемте знакомы, а там — узнаем друг друга поближе, может, и приятелями станем! Ну а теперь, для первого знакомства, позвольте вам предложить выпить вместе со мной.

— Две рюмки водки! большие! — скомандовал в заключение г-н Антизитров, обратясь к греческому человеку.

— На цэй сцот? На вас или на каспутину? — недоверчиво прищурил глаз на Коробова янинский буфетчик.

— На мой, полагаю, если я приказываю! — внушительно заметил Антизитров.

Водка немедленно была налита. Новые знакомцы чокнулись и выпили. Коробов с жадностью видимо голодного человека закусил черствым бутербродом. Но этот кусок еще более раззадорил его аппетит.

— Пожалуйста, котлетку... мы сочтемся! — тихо и застенчиво отнесся он к буфетчику, стесняясь просить громко при новом своем знакомом.

— Пузалуста, биз карэдит!.. Муя сказала узе ни мозна!

— Что это? Кажись, он с вами торгуется? — бесцеремонно ткнул на буфетчика пальцем г-н Антизитров. — Стоит вам еще со всяким Ангелоской разговаривать!.. Позвольте мне этим делом распорядиться! Вы чего желаете? Телячью котлетку? Подать нам две порции котлет!

Коробов опять застенчиво смешался и сконфузился, чувствуя свою беспомощность ввиду голода и окончательного отсутствия денег. Ему было неловко и совестно перед Антизитровым, что этот посторонний человек так-таки с первой минуты заметил всю суть его печального положения.

— Пожалуйста, не стесняйтесь! — дружески предупредил его Антизитров. — У вас — извините — кажется, нет с собой денег, но ведь это и со всяким может случиться!.. Мы с вами оба, батенька, люди труда, оба работники честной мысли и потому отлично понимаем

общее наше положение. Сегодня оно с вами так, а завтра и со мной может то же самое случиться... Вероятно, если бы у вас были деньги, а у меня нет, то вы, заметив, что я есть хочу, надеюсь, не отказались бы предложить мне кусок мяса?.. Так ведь?

Коробов согласился без слов, одной только застенчиво-благодарной улыбкой.

— Ну, конечно, так! — подтвердил Антизитров. — Поэтому надеюсь, не откажете закусить вместе с собратом пролетарием? Две хороших котлетки, водки графинчик и пива! Подать нам все это в ту комнату на отдельный столик! — авторитетно распорядился он у буфета.

\* \* \*

Коробов с невыразимым удовольствием принялся за плохую телячью котлетку. Голод превозмог щепетильную совесть. Положение его с некоторыми пор стало весьма тяжелым. Он запил, поддался этой страсти и не сумел, да и не хотел от нее воздержаться. Прямым и первым следствием этой неводержанности явились упущения в его «черной» литературной работе. Цемш начал морщиться. Между тем для Коробова все чаще и чаще стала являться настоящая необходимость «перехватить» в редакции «сколько-нибудь деньжонок», чтобы поддерживать свое брэнное существование и удовлетворять потребности напиваться. Сначала отказу не было, но так как упущения и задержки в работе все увеличивались, а «перехватки» становились чаще, то Цемш все уменьшал цифру этих перехваток и, наконец, распорядился, чтобы контора редакции окончательно отказала Коробову во всякой дальнейшей ссуде. Огорченный Коробов стал еще более манкировать своей работой. Пришлось закладывать вещи и носильное платье, но и этого ресурса хватило весьма ненадолго. Однажды, придя в редакцию, он нашел на своем обычном месте какого-то нового сотрудника, а секретарь с несколько официальной сухостью объявил ему, что, вследствие постоянных упущений и задержек, г-н Цемш нашел вынужденным поручить его дело другому, более надежному лицу и потому с сожалением должен отказать ему в дальнейшей работе. Коробову оставалось только поклониться и выйти, что он и сделал немедленно, с болью и желчью в душе, но покорно и безответно. Он ругал Цемша, но чувствовал, что прежде всего сам виноват во всем слу-

чившемся и что он теперь беспомощен, а в этом сознании крылся новый мотив, новое побуждение к тому, чтобы топить свою кручину на дне стакана. Он видел и сознавал, что обстоятельства его становятся все хуже и хуже, что он опустился и начинает погрязать в какой-то скверной, засасывающей тине — и не хотел встряхнуться, выкарабкаться из своего болота, освежиться, вздохнуть свободнее, энергичнее приняться за дело и снова стать человеком. Им овладела полная апатия к самому себе, полное безучастие к своему положению. Когда являлся вопрос: что будет дальше и чем все это кончится? — он с равнодушной усмешкой говорил себе: что бы ни было и чем бы ни кончилось — не все ль равно, в сущности? В глубине души его иногда шевелилось сознание, что явилась бы у него и воля, и энергия, и охота стать другим человеком, если бы... Но это самое «если бы» и не представляло ему ни малейшей надежды на свое осуществление, а под «если бы» разумелся возврат к прежней жизни с женщиной, которая все еще была для него любимой. Но это была неосуществимая мечта, которая порой каким-то темным путем подползала к его душе, но за которую он сам на себя злился и гнал ее от себя как нечто подлое, хотя и желанное втайне. Ему самому было стыдно, что в его душе может еще иногда селиться подобное желание. Как бы то ни было, но он, на горе самому себе, все еще любил Людмилу, и это проклятое, вопиявшее в нем чувство вызывало его топить в вине свое горе. Коробов окончательно махнул рукою на всех и вся, и прежде всего на свою собственную особу.

А между тем дела его страшно запутались. За квартиру давно уже не было заплачено, и домохозяин понудил его наконец очистить ее. Валерьян перебрался в одну из конурок, которую за двенадцать рублей в месяц уступила ему содержательница меблированных комнат в том же самом доме. Заплатив с грехом пополам вперед за полмесяца, он стал жить, отгоняя от себя мысль о том, чем-то придется расплачиваться за вторую половину.

Его пока еще не выгоняли, но кредит его с каждым днем лопался все более и более; хозяйка лишила его прислуги, дров и самовара, мелочной лавочник не отпускал уже в долг ни сальной свечки, ни даже полуфунта ситника; оставалась еще греческая кухмистерская, но, наконец, и там перестали его кормить без денег. Тот благодарный ресурс, который во время оно ежемесячно



являлся ему в виде пятидесяти рублей, присылаемых рязанской теткой, уже давным-давно прекратился, так как тетка эта умерла вскоре после женитьбы Валерьяна и именице ее перешло в руки ближайших наследников.

Словом сказать, ему уже неоткуда было ждать никакой помощи. Закладывать тоже нечего — и без того уже заложено все, что только могло быть принято разными «кассами ссуд». Коробов обносился, обтрепался и стал наконец щеголять в одном стареньком весеннем пальтишке. Он обрек себя на жалкое существование самого последнего из последних репортеров каких-то уличных газеток нашей маленькой прессы: в одну сунет «заметку», в другую какое-нибудь «мы слышали» или «возмутительный факт уличного безобразия» — и счастлив, если удастся выцарапать за свой убогий труд какую-нибудь рублевую бумажку. Три рубля были для него в таком положении уже очень большими деньгами. Все это писалось им где попало и как попало, озябшею, дрожащею рукою, между вчерашним голодом и сегодняшней надеждой выпить и пообедать в греческой «ямке».

В таком-то жалком положении находился Валерьян Коробов, когда «судьба» столкнула его в кухмистерской с г-ном Антизитровым.

Кусок мяса и несколько рюмок привели сердце Коробова в умягченное состояние. Этот Антизитров показался ему очень хорошим человеком. Оно, впрочем, и немудрено при том своего рода нравственном неряшестве, которое допускает опустившегося и ведущего нетрезвую жизнь человека легко сходиться с людьми, которые так или иначе оказывают ему приятельство, и в особенности которые «потчуют». А это нравственное неряшество, никогда прежде не знакомое Коробову, начинало в последнее время сказываться в его натуре. У г-на Антизитрова был такой «открытый», «честный» вид, когда он подошел к Валерьяну, он так искренно и беззаветно, таким знакомым языком заговорил с ним, как умеют и могут говорить только люди известных «честных кружков», в которых Валерьян веровал чуть не безусловно, и, наконец, он так просто, так человечески и так товарищески предложил ему эту рюмку водки и кусок мяса, что Коробов не задумавшись признал в нем хорошего человека, доброго и честного малого, «брата по труду и убеждениям», и расположился к нему всем своим откровенным сердцем. Несколько рюмок развязали ему язык, и это было тем легче, что Антизитрову, вследствие его

отношений к фон Шнитцли, были уже прежде известны самые больные стороны существования Коробова, то есть его отношения к жене, и Коробов чувствовал, что это намного должно облегчить тяжесть разговора о щекотливом предмете. Однако г-н Антизитров расчел, что на первый раз ему не следует первым касаться столь больной струны, и предоставил высказываться на этот счет самому Коробову. Впрочем, разговор их на эту тему ограничился весьма немногими и незначащими фразами, ибо Антизитров показал вид, что хотя ему и известны все обстоятельства, но он по деликатности не хочет останавливаться на предмете, столь тягостном для его нового приятеля. Эта деликатность еще более расположила Валерьяна в его пользу. «Честный, добрый, хороший человек!» — повторял он себе мысленно, смотря дружеским взором на г-на Антизитрова.

Разговор их, начавшись с журнальных дел и сотруди-ческих обстоятельств, незаметно перешел от этой общей темы к более частной, то есть к обстоятельствам и положению самого Коробова в качестве «сотрудника», — и Валерьян рассказал, с невольной болью и горечью, как он вынужден строчить «заметки» и разные «по поводу» для жидовских газеток, с трудом выцарапывая за это по рублишку; рассказал и то, до какого положения доведен теперь он разными Цемшами. По общечеловеческой слабости винить других, а не себя, хотя в глубине души и сознавал, что и сам тут не без вины, Валерьян в самых мрачных красках обрисовал всех этих Цемшей, а г-н Антизитров, вполне соглашаясь с ним, не скупился с своей стороны на самые пряные эпитеты в пользу Цемша и прочих. Он слушал Коробова так дружески, так внимательно и выражал ему такое искреннее сочувствие, а Коробов уже так давно ни с кем не говорил «по душе», ни перед кем не изливал всю боль, нанывшую в его сердце, что теперь исповедовался перед Антизитровым, словно бы перед своим добрым и старым другом.

— Послушайте! — сказал ему наконец этот «друг», перебив поток его не совсем трезвых излияний горечи сердца. — Ведь вы человек со способностями, с дарованием, ведь так же нельзя губить себя, как вы губите! Бросьте вы все эти «мы слышали», плюньте на благонамеренных Цемшей и всю их братию! Надо же когда-нибудь и кончить!

— А есть-то что буду? — мрачно спросил Коробов.

— Эка!.. да разве они вас кормят?.. Найдем работу

почище и поблагодарнее!.. В самом деле, надо серьезно подумать о вашем положении! — с дружеским участием произнес Антизитров, как бы соображая и обдумывая нечто. — К черту эту литературу!.. Дайте подумать: я, кажется, могу вас пристроить к одному хорошему делу. Что вы человек честный, это я уже знаю, в этом я убедился еще у подлеца Шнитцли; поэтому я думаю, что не рискну, если поручусь за вас заранее. Вас надо просто вытащить из этой ямы; ну а я хочу подать вам дружескую руку! Знаете, между нами, между мыслящим пролетариатом, должна существовать круговая порука, мы должны взаимно вытаскивать и поддерживать друг друга — тогда мы действительно будем *силой*!

Коровов с чувством, молча и благодарно пожал ему руку.

— Ну, не унывайте же! Смелее! — ободрил его Антизитров. — Будущность не за ними, а за работниками, за пролетариатом; значит, она за нами! Выпьем же за будущность и пойдемте — пора уже!

— Ох! — тяжело вздохнул Коровов и смутно покачал головой.

— Чего вы! Допивайте, и двинемся, говорю.

— Двинемся... — пробормотал Валерьян. — Вам-то хорошо, коли у вас есть куда двигаться, а мне... мне некуда... хозяйка с квартиры гонит... придешь домой, сейчас это она ругаться станет... мировым страшает... холодно, темно, неприглядно все это так-то в комнатешке!.. Эх!.. Скверно, голубчик мой, скверно!.. Ну, да чего там! — быстро встряхнувшись, махнул он рукой. — Прощайте!.. спасибо вам... за все, за все спасибо, и... прощайте!

Коровов встал и шатнулся.

— Э, да какой вы, батенька, слабый! — приятельски заметил Антизитров. — Давайте-ка я возьму вас под руку да провожу домой, здесь ведь недалеко.

— Домой... куда домой? — снова забормотал Коровов. — Холодно, темно, говорю вам... Не хочу я домой!.. Не желаю!.. Пустите меня!.. Я уж лучше пойду куда-нибудь на улицу.

— Да куда же, однако?..

— Все равно... куда глаза глядят.

— Э, полноте... знаете что? Если не хотите домой, пойдем ко мне... у меня и тепло, и свет вам будет, диван тоже к вашим услугам — пойдемте-ка, право!

— К вам?.. Пойдем, пожалуй! — согласился Коровов. — Ведь вы человек хороший... Н-да?.. хороший?..

Ну, стало быть, и кончено! значит... значит, и пойдемте!

И, подхватив Валерьяна под руку, г-н Антизитров заботливо вывел его из греческой «ямки».

## V

### ИСКУС И ПОСВЯЩЕНИЕ

Коробов после ночи, проведенной у Антизитрова, почти совсем поселился в его обиталище. Антизитров был так любезен и показал себя таким добрым, сочувствующим товарищем, что сам предложил ему это помещение. Здесь Валерьяну было и тепло, и удобно; радужный хозяин и кормил, и поил его вволю, а постояльцу, с похмелья, как-то вовсе не приходило даже в голову — зачем, ради каких целей оказывается ему такое гостеприимство? Он просто пользовался им, как несамопомощный человек, успевший уже настолько опуститься нравственно, что ему все равно, кто его кормит и поит, лишь бы только быть сытым и пьяным. Так прошло несколько более недели, и за это время Коробов уже настолько успел освоиться и сдружиться со своим благодетельным товарищем, что считал его за лучшего своего друга, сошелся на *ты* и всем своим доверчивым и незлобивым сердцем уверовал в его «высокую нравственную и гражданскую личность». Бесхарактерные люди всегда очень легко впадают в такую любовь и веру и в такие отношения благодаря своему сердцу да простодушию, особенно в молодые годы, когда еще в этом сердце не угасла увлекающая вера в идеалы, каковы бы они ни были, и в жизнь, и в человека. Он признавал в Антизитрове *силу*, да к тому же еще и зависел от этого самого Антизитрова в материальном отношении, ибо тот не только дал ему угол и кусок хлеба, но еще и снабжал иногда маленькими деньжонками. Признания силы и этой насущной зависимости было совершенно достаточно, чтобы слабый Валерьян незаметно, но вполне подчинился его нравственному влиянию. Это подчинение простиралось даже до того, что, когда самому Антизитрову лень было что-нибудь сделать, или сходить куда, или же когда прислуге некогда было исполнить какую-нибудь его прихоть, он бесцеремонно пользовался Валерьяном — и деликатный Валерьян безропотно и даже охотно бежал для него за папиросами, в полпивную за

напитками и даже сам иногда напрашивался на подобные поручения. В этом заключалось все, чем в падении своем он мог отблагодарить его за приют и ласку.

Антизитров же хотя и держал себя с ним приятелем, но постоянно давал чувствовать посредством разных темных аллегорических намеков, что он *сила*, что у него есть какое-то громадное, таинственное предприятие слишком важного и высокого значения, есть обширные связи и влияние совсем особого рода, но что это за предприятие и что за связи — он не объяснял и предпочитал осторожно и загадочно отмалчиваться, круто обрывая разговор каждый раз, как только Коробов пытался обстоятельнее расспросить его.

А меж тем личные отношения их становились все ближе, короче, и Антизитров видимо старался придать им задушевную сердечность. Но эта-то самая сердечность и ставила порою в тупик добродушного Валерьяна, когда рядом с нею он сопоставлял эту затаенность, это нежелание быть искренним, чуть лишь дело касалось намеков о силе, связях и предприятии, которые иногда, будто бы совсем невольно и нечаянно, прорывались в дружеском разговоре. Подчинясь Антизитрову нравственно и полюбя его душою, Валерьян чувствовал порою даже боль и обиду в сердце при мысли, что приятель, не смотря на всю свою дружбу, не хочет быть с ним вполне откровенным, и эта мысль его мучила. Валерьяну думалось, что друг не считает его достойным своего доверия, поэтому ему страстно стало хотеться переуверить его в себе, сделать так, чтоб Антизитров убедился наконец в прочности его дружбы, в его твердой, несомненной надежности. Ему хотелось сделать что-нибудь такое, свершить какой-нибудь такой подвиг, который снял бы печать надверчивого молчания с уст его доброго друга.

Однажды, когда тон Антизитрова казался особенно теплым, дружески-задушевым и когда, между прочим, прорвался у него один из маленьких намеков, за которым последовала обычная фигура умолчания, Коробов, уже заранее положивший себе добиться наконец какой-нибудь истины, решился атаковать с этой стороны своего друга.

— Аристарх! — сказал он с чувством дружеского упрека, взяв его руку. — Скажи мне, сделай милость, за что ты со мной не откровенен?

— Я? — поднял на него тот изумленные взоры.

— Да, ты, ты, голубчик! — горячо подтвердил Коробов. — Я ведь давно уже вижу, давно замечаю, что

ты иногда невольно проговариваешься о чем-то, а в чем твое дело — сказать не хочешь!.. Ведь это, наконец, даже обидно!.. Друзья так не делают!

Антизитров мрачно и сосредоточенно нахмурился.

— Отстань, пожалуйста!.. Мало ли что... да тебе-то какое дело! — проворчал он, как бы с явною неохотой.

— Но, наконец, считаешь ли ты меня за порядочного человека?

— Странный вопрос, мой милый!.. Разве иначе я мог бы сойтись с тобою?.. Я, кажется, с первой же встречи выразил тебе, насколько и за что именно уважаю тебя!

— И если я порядочный человек, считаешь ли ты меня своим другом? — продолжал Коробов.

— Думаю, что в этом ты давно бы уж мог убедиться! — добродушно усмехнулся приятель.

— Ну, так за что ж ты со мной не откровенен?.. Или я не стою, не заслужил еще настолько в твоей дружбе? Или ты не доверяешь мне, сомневаешься в моей честности?

— Ни то, ни другое, ни третье! — категорически возразил Антизитров.

— Ну, в таком случае я тебя решительно не понимаю! — воскликнул Коробов. — Но не взыщи, голубчик, за откровенность, а только всеми этими недомолвками твоими ты меня решительно обижаешь!.. Я бы, кажись, душу готов за тебя положить, коли понадобится, а ты между тем стесняешься слово лишнее вымолвить!.. Извини, брат, это уж вовсе не по-дружески!

— Нет, вот именно оно-то и есть *по-дружески!* — улыбнулся Антизитров. — Если я с тобой не во всем откровенен, то верь мне, это потому только, что я слишком люблю тебя.

— «Люблю и не верю»! — заметил Коробов с горькой усмешкой.

— Эх, Валерьян! И к чему тебе добиваться узнать то, что, может быть, будет только тяготить тебя?

— А тебя оно разве тяготит?

— Я?.. Я другое дело!.. Я человек уже решившийся.

— Но ведь и я могу быть таким же?

— Хм!.. «таким же»?.. Решаться, друг мой, можно только на то, что знаешь, что строго взвешено и обдумано.

— Потому-то я и хочу узнать.

— Да, но ты забываешь, что *узнать* не значит еще *решиться*.

— Однако то, что ты скрываешь, без сомнения, дело честное?

— Надеюсь.

— Аристарх! Ты знаешь мои убеждения? — поднялся Коробов.

— Знаю! Ты — человек честного образа мыслей, но честная мысль *на словах* и осуществление ее *на деле* еще не одно и то же.

— Так я фразер, по-твоему? — несколько обидевшись, спросил Валерьян.

— Менее, чем кто-либо! Разве я называл тебя фразером? В честности твоих убеждений я не сомневаюсь, — продолжал Антизитров, — но для осуществления их на деле нужен характер, нужно слишком много настойчивости и энергии, а прежде всего нужно полное *самоотречение*. Пойми ты это, голубчик!.. Я — дело другое! Мы уже люди отпетые, люди решившиеся, мы знаем, чего хотим, знаем, куда идем, знаем, что нас может ожидать и при торжестве, и при неудачах; одним словом, мы уже на все решились. А ты... ты еще молод, тебя еще может сманить и эта жизнь, и все ее соблазны... ты можешь раздумать, усомниться... Я не сомневаюсь, что, как честный человек, ты никогда не будешь изменником, но кто же мне поручится, что ты с первого же раза, как узнаешь наше дело, станешь ему сочувствовать?.. А ведь у нас, брат, уже нет возврата! У нас — все равно как на двери дантовского ада: «Входящий, покинь надежду навсегда». Для тебя это звание, это посвящение в дело, говорю тебе, может составить одну только лишнюю тягость. Я не хочу тебя путать, я слишком люблю тебя — и вот почему я с тобой неоткровенен.

— Ну, так путай же, черт возьми!.. Я требую, я хочу этого! — вскочив в азартном увлечении, хлопнул Валерьян кулаком по столу.

Антизитров в ответ на это только тихо засмеялся тем благодушным смехом, каким мы встречаем иные детские выходки.

— Да нечего улыбаться! — задорно обратился к нему Коробов. — Лучше выслушай и пойми меня, тогда авось тебе не до смеху станет!

— «Смеяться, право, не грешно...» — начал было цитировать известные стихи г-н Антизитров.

— Нет, грешно! — перебил его Валерьян. — Грешно, жестоко, бесчеловечно иногда смеяться по-вашему!.. Послушай, любезный друг, ты ведь, кажется, довольно

хорошо знаешь мое положение: жизнь исковеркана окончательно... Эта проклятая женитьба... эта женщина... это чувство постыдное, которое во мне... ну, все, все, одним словом, сошлось так, чтобы испортить, изломать мое существование... Ну, какая теперь у меня цель в жизни? Ровно никакой! Поел, выпил, выспался на чужой счет — и спасибо! День да ночь — сутки прочь, к смерти ближе. Я сделал себя ни к чему не пригодным человеком, я ничего не жду, ничего не хочу, ни на что не надеюсь впереди... ведь там, впереди-то, для меня нет никакого просвета! И я теперь дошел уже до такого нравственного состояния, что мне решительно все равно, что бы со мной ни сделали, куда бы ни швырнули: в солдаты — так в солдаты, в монастырь — так в монастырь, на каторгу — ну, и на каторгу! Все это для меня теперь дело совершенно безразличное, потому что нет у меня никакой цели в жизни, и если живешь еще, то, ей-Богу, кажись, только в силу малодушной и чисто физиологической привычки к жизни, как живет всякое животное. Дай мне эту цель, дай ее! — и ты, может быть, спасешь меня!

— Любезный друг, — серьезно и многозначительно заговорил Антиситров. — Ты говоришь о цели в жизни. Но для того, чтобы я мог создать тебе эту цель, ты прежде всего должен отчураться от этой жизни, от всего ее строя, от всех порядков, предрассудков и перегородок ее — словом, от всего! Ты должен возненавидеть ее всем сердцем, всю душою и всем помышлением твоим! Ты должен обречь себя на вечную и беспощадную борьбу, где уже нет никаких уступок, никаких компромиссов! Ты должен отречься от самого себя, быть готовым на все, безусловно подчиниться и с буквальной точностью исполнить что бы тебе ни было указано! А ты меж тем любишь эту жизнь... Да, любишь! Не возражай мне! Ты и до нынешнего-то своего положения дошел ведь почему? Потому что малодушествуешь любовью к женщине, которая открыто хвостом от тебя вильнула; ты оскорблен как муж, и оскорблен потому лишь, что это у вас так уж условно принято. Ну, разве не правда?

Коробов отрицательно и грустно покачал головою.

— Нет, не правда! — сказал он. — Не правда!.. «как муж»... «условно принято»... Все это вздор, и ты не так меня понимаешь! Я не оскорблен, а я просто несчастный человек потому, что не могу никак отделаться от подлого чувства к этой женщине... О, ты не



знаешь ее! В этой жабьей натуре, несмотря на все мое сознательное презрение к ней, все-таки есть для меня (да и для одного ли меня только!) что-то обаятельное, что-то неотразимо влекущее... Называй это чувство, как хочешь: может, оно — физиологическая односторонность, своего рода мономания, болезненный каприз мой натуры — все это легко может быть, но, любезный друг, против этого ничего не поделаешь! Вот в чем и все мое несчастье! Дай мне какое-нибудь отвлечение в другую сторону! Дай мне уйти от самого себя! Я готов хоть на каторгу! Мне все равно, говорю!

Антизитров угрюмо задумался.

Обоюдное молчание не прерывалось довольно долго.

— Н-да, теперь это понятно! — проговорил он наконец сквозь зубы, как бы сам с собою, и вдруг поднял просветлевший взгляд на Коробова. — Ну что ж, изволь, коли уж так желаешь! Готов дать тебе и цель, и отвлечение; но только помни, что возврата тебе уже не будет! Да и принципы наши знай наперед; они немногосложны. Это, во-первых, непримиримость и мщение всему, что не мы, во-вторых — пропаганда; в-третьих — все средства для достижения цели; в-четвертых — самоотречение и строжайшая дисциплина и, наконец, в-пятых — смерть за лишнюю болтовню и за измену. Согласен ли ты на это?

— Согласен! — опустив голову, но твердо выговорил Коробов.

— Безусловно согласен?

— Безусловно.

— Сочувствие или несочувствие чему-либо из нашей программы у нас ни в какой расчет не принимается. Раз что ты наш, ты обязан буквально исполнять все, что от тебя потребуется. Согласен?

— Я сказал уже! — спокойно и ясно поднял на него Валерьян свои взоры.

— Ну, так слушай же!.. Я — друг Нечаева и был другом Каракозова. Вот тебе моя лучшая рекомендация. Я состою в Петербурге делегатом от нашего Женевского общества и, как член Интернационала, заведую здесь русским его отделом. Наши связи и средства громадны! И громадны так, как ты и представить себе не можешь! Ведь наша организация покрывает непрерывную сетью всю Европу, Америку и всю Россию с Сибирью! Наши работают и в парламентах, и в салонах, и в монастырях, и в полках, и в мастерских, на фабриках и на заводах, и в городах, и в селах, и даже в рудниках на

каторге — везде, повсюду, брат, кипит святая работа! С нами борются, но мы победим, потому что нас миллионы, и терять нам нечего — мы можем только приобретать. Будущность за нами!

Коробов слушал внимательно, дивясь и созерцая, готовый безусловно верить в откровения своего столь авторитетного друга.

— Россия, сравнительно с остальной Европой, стоит несколько в иных условиях, — многозначительно продолжал г-н Антиситров. — Там могут свободно собираться наши митинги, конгрессы, там есть широкие и свободные средства для пропаганды и для организации, там вон, гляди, забастовка за забастовкой, а у нас попробуй-ка — сейчас тебя самого забастуют! Сейчас это герметически в Петропавловку укупорят, и кончен бал!.. Уж я, брат, был укупорен однажды и знаю, что это за милая штука, Петропавловка! Но... надо быть на все готовым!.. И так как Россия стоит в иных условиях, то тут и иная система организации. Мы для России приняли, как наиболее подходящее, старую польскую систему троек: один, например, вербует меня, я тебя, ты в свою очередь третьего, и этот третий знает только тебя, но уже ни меня, ни моего вербовщика не знает, да и знать отнюдь не должен. На этом, брат, вся система зиждется! И какая система! Как это все просто и вместе с тем гениально! Ты, простофиля, и представить себе не можешь, с какою быстротой, с каким успехом растут и развиваются эти *тройки*! Вся Россия, вся Сибирь уже покрыта сетью троек. И какая выгода, заметь себе: попался один — один и гибнет или в крайнем случае — одна, две, а много, если три тройки будут открыты, но уж никак не более. А для общей организации это ущерб ничтожный!.. Но ты, если и попадешься, то, пожалуйста, не бойся и не падай духом. Если тебя сошлют, то это значит, что ты получаешь только новую миссию, новое назначение от общества: ты, значит, обязан вести нашу пропаганду там, куда тебя упрячут: в рудниках ли, в остроге ли, в арестантских ли ротах — везде ты обязан пропагандировать и организовывать тройки; а общество тебя не забудет; оно везде и постоянно следит за всеми *своими*: добрых поощряет, злых карает! И оно всегда найдет возможность и до каторги, и на каторге снабжать тебя постоянно всяческими средствами, и деньгами, и поддержкой — только веди его дело! А изменишь или выдавать станешь *своих* — ну, так уж не взыщи, брат, — отпра-

вим к праотцам! Расправа у нас коротка и безотлагательна.

Много, и долго еще, и широковещательно повествовал г-н Антизитров, продолжая посвящать нового адепта в тайны организации его общества. Он говорил и о средствах, и о связях, причем фигурировали у него самые крупные имена и еще более крупные цифры; повествовал и о своем значении в организации, о своих отношениях к Нечаеву, к Бакунину, к Утину и всем вообще нашим эмигрантам. К покойному Герцену относился слегка и снисходительно, но в Бакуanine и в Нечаеве признавал силу настоящую и великую. Несколько эмигрантских анекдотов, кое-какие сплетни, касающиеся более взаимных карманов и спален, несколько подробностей, характеризующих некоторые черты эмигрантской жизни и быта, несколько деталей, касающихся личных характеров того или другого деятеля, кое-какие скандальные анекдоты про бендликонских поляков и наших цюрихских соотечественниц — все это, рассказанное развязным и самоуверенным тоном, с веским видом авторитета, с уверенностью в собственной непогрешимости, с известного рода компетентностью, — все это произвело свое впечатление на податливого Коробова и окончательно убедило его, что он имеет честь быть другом особы весьма веского качества. Теперь нравственный авторитет г-на Антизитрова и его влияние на Коробова, и без того уже немалое, возросли еще более, а вместе с этим возросла и степень его добровольного подчинения г-ну Антизитрову. С этой минуты Валерьян, посвященный в самую важную тайну жизни своего друга, стал благодарно и тепло ценить в душе его высокое доверие к себе и эту редкостную откровенность. Он почувствовал на себе как бы отражение лучей того ореола, которым сиял был в его глазах г-н Антизитров. Он гордился тем, что может назвать себя *другом такого человека* и что этот человек тоже и его признает своим лучшим и любимейшим другом. Валерьян Коробов как бы вырос в своих собственных глазах. Теперь он, изгнанный сотрудник Цемша, покинутый муж, пьяненький собиратель разных грошовых известий для уличных листков, имел право придать себе некоторое значение, мог сказать о себе, что и он тоже составляет *нечто*, как друг Антизитрова и как член столь великой ассоциации. Цель в жизни и отвлечение в другую сторону были найдены. Валерьяну даже как будто несколько легче вздохнулось.

## ДОКА НА ДОКУ НАШЕЛ

Антизитров, чуть лишь удалось ему завербовать Коробова, не теряя времени, отправился к Вельтищеву.

Платон Васильевич пил свой утренний кофе, пробегая новые газеты, когда ему доложили о приходе этого посетителя.

— А! господин... господин... Анто... Анти... зитров!..

Вот не ожидал-то! Очень рад вас видеть! — не подымаясь с кресла и небрежно протягивая левую руку своему гостю, проговорил Платон. — Вероятно, у вас есть для меня какие-нибудь новости?

— Есть, — отрывисто и сухо буркнул Антизитров, несколько обиженный в душе этою «левою рукою» и этим небрежным тоном.

— Что же вы так долго не показывались, мой милейший?

— Да так, почтеннейший! Зачем бы это я стал к вам без толку показываться? Ни я вас, ни вы меня в числе своих знакомых, конечно, не считаем; стало быть, и шататься нам друг к другу без дела незачем. А вот как оказалось у меня *дело*, так я и пришел.

— Очень рад, очень рад! — пробормотал сквозь зубы Вельтищев, осаженный этим «почтеннейшим», которым был отпарирован его «милейший». — Какого же рода новости вы принесли мне?.. Я горю нетерпением услышать от вас что-нибудь приятное!

— Да что «приятное»? Приятное для вас будет то, что недели через две мы покончим с Коробовым.

— Так скоро? — изумился Вельтищев.

— Чего там медлить-то? Чем скорее, тем лучше!.. Это ведь и в моих собственных расчетах. А потому вы уж потрудитесь заранее приготовить к сроку мои пять тысяч.

— Задержки не будет ни единой минуты! — удостоверил его Вельтищев.

— Ну, а за мной и тем менее может быть задержка!.. Только вы вот что... постарайтесь приобрести для меня ручной типографский станок, и как можно скорее. Хорошо, если бы даже сегодня! Знаете пословицу: куй железо, пока горячо!

— Станок?! — в недоумении взглянул Вельтищев на Антизитрова.

— Да, ручной станок и фунтов двадцать типографского шрифта.

— Это зачем же?

— Для нашего дела-с.

— Потрудитесь, пожалуйста, объясниться пообстоятельнее.

— Ну, нет-с, уж от дальнейших объяснений вы меня увольте! — полунасмешливо поклонился Антизитров. — Вспомните наше первое условие и не забывайте, что я наперед выговорил себе право не открывать вам моих путей и способов.

— И вы требуете, чтобы я сам пошел куда-то покупать для вас какие-то станки?

— Не станки, а станок, — поправил его Антизитров. — И притом — сами ли вы пойдете или поручите кому — это для меня вопрос совершенно безразличный: как знаете, так и делайте, а мне только предоставьте его поскорее, — вот и все.

Вельтищев раздумчиво потер себе переносье.

— Я вас не расспрашиваю, на что именно вам все это нужно, — неторопливо заговорил он после короткого раздумья. — Положим, я все это могу понимать... могу догадываться, но... самому мне при моем положении окончательно уже неудобно совершать для вас подобного рода подозрительные покупки.

— Ну, коли не сами, так поручите кому.

— И поручить точно так же не нахожу удобным. Мало ли что может потом выйти!

— Значит, трусите... хм!.. А дело-то не ждет!.. Ну, и как же мне быть теперь с вами?

— Купите сами, — предложил ему Вельтищев.

— Я?.. Положим, я-то мог бы, потому я знаю даже одного такого человека, у которого еще со времен Каракозова припрятаны в надежном месте и станочек, и шрифтишко, и этот человечек, ради общей пользы, не отказался бы даже продать мне за сходную цену, да видите ли, в кармане-то у меня все купило притупило!

— Я же вам дал денег? — напомнил ему Платон Васильевич.

— Эка! — презрительно усмехнулся Антизитров. — Дали двести рублей, да и думаете, что невесть как благодетельствовали!.. А вы не забудьте то, что на эти двести рублей мне надо было приручить к себе Коробова, надо было показывать себя перед ним в авторитетном свете, надо было приуготовлять его к делу, поддерживать в нем возвышенное состояние духа, так сказать,

температуру крови и раздражение нервов — ведь на эдакое предприятие в человеке должна быть достаточная энергия и решимость. Без энергии нешто он пойдет? Вы как полагаете? Вот ваши двести рублей и ухнули!

— Так вы, значит, хотите получить с меня еще денег? — недоверчиво прищурился Вельтищев.

— Всеконечно-с!.. Об этом, мне кажется, излишне и спрашивать!

— Излишне спрашивать, — согласился Платон. — Но позволительно сомневаться, не служу ли я глупым предметом самой бесцеремонной эксплуатации?

— Сомневайтесь, пожалуй! Но только знайте, что в таком разе дело ваше станет на точке замерзания и не будет ему ни оттепели, ни мороза.

И вслед за тем он поднялся с места.

— Имею честь кланяться! — буркнули его губы, а голова кивком отвесила короткий поклон.

— Куда же вы? — спохватился Вельтищев с движением легкого беспокойства...

— Домой-с! — вполоборота повернулся к нему Антизитров. — С вами, как видно, каши не сварить, и, как вижу, все старания мои были напрасны, так нечего и толковать нам больше.

— Да позвольте же! позвольте! — остановил его Вельтищев. — Какой вы, право, щекотливый! Сам говорит людям дерзости и думает, что прав, а скажешь ему что-нибудь не по шерсти, он уж и обижается!

— Я говорю то, что чувствую.

— Ну и я точно так! Стало быть, нам нечего обижаться друг на друга!

— Да я и не обижаюсь: мне — плевать!

— Ну и мне плевать! Значит, мы можем продолжать наши разговоры, — улыбнулся Платон Васильевич.

— Разговаривать нечего! Надо действовать, а не разговаривать! — внушительно заметил Антизитров. — И если желаете, чтобы я действовал, так выдайте мне еще триста рублей на расходы — и тогда через две недели, а может, еще и раньше я вам обловлю Коробова так, что месяца через два и формальное расторжение брака впоследствии!

Платон Вельтищев отпер свою кассу.

— Извольте! — сказал он. — Выдаю вам триста, но выдаю с полным убеждением, что это эксплуатация. Я почти не надеюсь на тот исход дела, который вы сулите. Мне кажется, вам просто нужны деньги и вы себе думаете, что нашли простачка, у которого можно пожи-

виться, — ну, и Господь с вами, живите себе! Меня ведь такой пустяк не разорит, но я не желаю только, чтобы вы думали, будто можете водить меня за нос.

— Ха, ха, ха, ха! — взявшись за бока, расхохотался Антизитров. — Эка самолюбие-то у вас играет!.. Вам, как вижу, главное не в деле, а в том, чтобы я не думал, будто вы дурак! Полноте, никто вас, батенька, не надует, потому сами вы всякого надуете! — перековеркал он на свой лад известную фразу супруги Кит Китыча.

Вельтищев слегка подернул нахмурившейся бровью, потому что на эту минуту Антизитров верно угадал и метко попал в слабую струнку его самолюбия — и это было ему неприятно.

— Ну да ладно! Что нам болтать по пустякам-то? Дело само себя покажет, — примирительно сказал Антизитров, пряча в карман полученные деньги. — Вы лучше готовьте-ка заранее мои пять тысяч, чтобы потом ни на минуту не вышло задержки!

И они расстались.

## VII

### ОРГАНИЗАТОР

— Я прямо из комитета, — озабоченно и с таинственной вескостью сообщил Антизитров Коробову, вернувшись домой прямо от Вельтищева.

Тот с живейшим интересом устремил на него любопытные и ожидающие взоры.

— Было совещание, и довольно горячее, — продолжал Антизитров. — Ты принят в члены общества на мою личную ответственность. Поздравляю, дружище!

— Как?.. Прямо в комитет?! — воскликнул Коробов, польщенный столь высокою честью.

— Эка хватил!.. в комитет! — поднял нос г-н Антизитров. — Разве мы в комитет собираем как ни попало, с бора да с сосенки?.. Нет, брат, до комитета путь тебе еще далек! Надо сперва еще пройти много степеней в организации, пока доберешься до членства в комитет. Ведь комитет — это наша высшая центральная инстанция, это, так сказать, наша коллегиальная диктатура, а ты сразу захотел скакнуть вона куда!.. Погоди! Сначала пройди то, что положено! В комитете-то и имени твоего даже не знают!

— Так как же ты говоришь, что я принят на твою ответственность? — спустил тон Коробов, оцарапанный отчасти словами приятеля.

— Так что ж? Имя вообще в таких делах вещь небезопасная, и потому у нас имена заменяются особым способом. Тут, брат, целая система выработана! Я просто заявил, что приобрел нового и в высшей степени полезного члена — ну, комитет и положил принять тебя на мою ответственность, ну и записали в протокол, и внесли тебя в разрядную книгу и в членский список.

— Да как же внесли, коли имя неизвестно? — пожал плечами Коробов.

Антизитров, многозначительно и загадочно ухмыляясь, вынул свою записную книжку и, перевернув несколько листочков, сказал Валерьяну:

— Бери перо и пиши!

Тот приготовился, и ментор продиктовал ему, указывая, в каком порядке и как именно должно писать, следующую форму:

Серия С.  
Петербург.  
№ 37  
12129  
Разряд IV

— Это что ж такое? — неприятно изумился Валерьян, написав продиктованное.

— Это твое имя и твой вид, где проставлено уже и твое назначение.

— Объясни, пожалуйста!

— Изволь, голубчик! Это моя прямая обязанность. Вот видишь ли, — начал он, указывая пальцем на первую строку, — «Серия С». Это вот что означает: у нас в центральном комитете заседает двенадцать постоянных и неперменных членов, каждый из них представляет собою одну серию: А, В, С, Д и т. д. Моя серия, как видишь, С. В эту серию входят все лица, нантервованные мною, и все те, которые нантервованы моими вербунками, так, например, если ты завербуешь, положим, како-го-нибудь Иванова, а Иванов в свой черед Петрова, а тот Пантелеева, то все они будут относиться к моей серии и все будут значиться под буквою С. Я, значит, ваш старший, ваш родоначальник, хотя меня знаешь только ты один (и то потому, что я сам тебя завербовал), а Иванов знать меня уже не будет и не должен;



Петров же будет знать только Иванова и т. д. Понимаешь?

— Это-то понятно! — согласился Коробов. — Серия С то же самое, что, например, в зоологии или в ботанике род — genus.

— Вроде этого, мой милый, вроде этого! Ты очень понятлив! Одобряю! — поощрительно и шутя улыбнулся Антизитров. — Затем далее! — ткнул он пальцем на бумагу. — «Петербург» — это означает, что завербованный субъект принадлежит к петербургскому отделу организации и в Петербурге же состоит на жительстве. Затем, в виде числителя, № 37 значит, что ты тридцать седьмой человек из завербованных лично мною, а под чертою, в виде знаменателя, № 12 129 означает твой собственный номер в членском списке по петербургскому отделу.

— Неужели же я 12 129-й человек в организации? — не на шутку изумился Коробов.

— 12 129-й! — как нельзя более уверенно подтвердил Антизитров.

— И это в одном только Петербурге?!

— В одном Петербурге и в его ближайших окрестностях.

— Двенадцать тысяч!.. Но ведь это целая армия!

— Больше, чем армия. Это своего рода всесословная повинность: тут и ландвер, и ландштурм, и все, что хочешь! Но дело не в одном Петербурге. Организация раскинута по всей России.

Коробов мог только в крайнем изумлении пожимать плечами.

— И ты не врешь? — несмело спросил он наконец г-на Антизитрова. — Извини, голубчик, но ведь двенадцать тысяч на один Петербург... ведь тут простительно и усомниться.

— А вот ты сейчас увидишь, как я вру! — многозначительно мигнул Антизитров. — Но прежде дай кончить объяснение... потерпи минутку!..

— «Разряд IV», — продолжал он, указывая на последнюю строку, — это своего рода наши сословия. К первому разряду принадлежит *народ*, которому всегда и везде первое и самое почетное место; ко второму — войско, к третьему — духовенство, к четвертому — интеллигенция. Теперь, если тебе придется завербовать какого-нибудь Иванова и, положим, что Иванов этот будет работником на каком-нибудь заводе, ты ему должен выдать следующий бланк.

Антизитров взял перо и стал писать на той же бумаге:

Серия С.  
Петербург.  
№ 12 129

1

Разряд I

— Единица в знаменателе, — пояснил он, написавши, — означает, что это первый человек, завербованный 12 129-м номером, то есть тобою, и ты будешь знать, что это именно работник Иванов, потому что тебе нетрудно знать и помнить имена твоих собственных вербунков. Бланк Иванова ты сообщишь мне, а я передам в комитет, и там его запишут. Таким образом, все последующие бланки от всех этих Ивановых, Петровых и всех будущих из серии С будут проходить через твои руки ко мне, а я уже должен передавать их в комитет. Штука простая, но поди раскрой-ка подобную организацию! Пусть-ка попытаются узнать, кто именно принадлежит к ней! — самодовольно похвалился в заключение г-н Антизитров.

«А ведь, право, у меня отличный организаторский талант!.. И как все это быстро соображено!» — мысленно улыбнулся он самому себе, поглаживая свои прекрасные черные волосы. — Если б такая-то организация да на самом деле!.. Пречудесно бы!»

— Ну, а теперь вот тебе доказательство, как я вру! — выложил он перед Коробовым пачку денег, полученных от Вельтищева. — Здесь вот триста рублей. Двести пятьдесят — это мое месячное жалованье от общества, а пятьдесят рублей комитет выдал в пособие собственно тебе. Ты, пожалуйста, дай мне расписку в получении, потому у нас уж порядок такой! Я ведь должен дать отчет перед комитетом.

— Как же мне подписать ее? Своим именем? — спросил Валерьян, который был до того озадачен видом неожиданно выложенных денег и этим «пособием», что просто не верил собственным глазам. Пятьдесят рублей — да это теперь казалось ему громадным кушем, после скудных рублевых выцарапываний из редакций уличных газеток! Пятьдесят рублей — шутка сказать! Он — обладатель пятидесяти рублей, которые так легко и словно бы с неба к нему свалились!

Обрадованный Коробов бросился на шею г-ну Антизитрову.

— Ну, ну, голубчик! без телячьих нежностей! — отстранил тот стремительный порыв своего друга. — Я ведь тебе говорил — помнишь? — что можно приискать тебе более солидный труд и вознаграждение, чем все эти грошовые «отметки». А будешь работать как следует — и содержание твое будет увеличиваться! Общество *своих* никогда не оставляет без поддержки! Так ты это и знай! Ну, а расписку, — прибавил Антизитров, — ты должен подписать по следующей форме: «Такого-то числа и года пятьдесят рублей сполна получил» и затем — твой шифр: «Серия С, номер и прочее».

Коровов тотчас же подписал все, что требовалось.

— Этот шифр советую тебе выучить наизусть и помнить так же твердо, как свое собственное имя, потому что он действительно есть твое имя, — внушил ему Антизитров, пряча расписку.

— Ах, теперь надо первым делом пальтишко себе какое-нибудь потеплее сторговать на толкучем! — вырвалось у Коровова задушевное слово, как только он почувствовал себя обладателем такого богатства.

— Погоди ты, «пальтишко»! — серьезным тоном остановил его приятель. — Первым делом вовсе не пальтишко, а то, что от тебя потребуется. Если комитет выдал тебе пособие, то это вовсе не с благотворительной целью — мы ведь не филантропическое общество, а выдано оно тебе затем, чтобы ты употребил его сообразно целям организации.

— Что же я должен делать? — спросил опешенный Коровов.

— А вот что-с. Во-первых, ты обязан немедленно приискать себе маленькое помещение в каком-нибудь уединенном месте, лучше всего за городом, на даче; займи эдак комнатку, две, не более, и найми ее на собственное свое имя, а еще лучше на чужое... Я уж доставлю тебе самый правильный, самый законный фальшивый паспорт: у меня ведь этого добра целая коллекция! Нанимая, можешь объяснить там дворнику или хозяину там, что ли, что переезжаешь за город по бедности, потому человек ты рабочий, а в городе квартиры нынче дороги — вот и конец! Можешь, пожалуй, прибавить, что тебе обещано место на какой-нибудь соседней фабрике или заводе, так ты-де, в ожидании места, и хочешь поселиться на даче, чтобы было и поблизости, и подешевле. Это, так сказать, формальная, показная сторона дела.

— А непоказная? — спросил Коровов.

— А непоказная состоит в том, что, по велению ко-

митета, ты получишь через меня маленький ручной станок и шрифт, перевезешь его, в ящиках, под видом собственного имущества, в твою будущую мурью, установишь его как следует и займешься набором и печатанием прокламаций к работникам.

— К работникам? — переспросил Валерьян. — К каким работникам?

— Ну, мало ли их к каким! Заводов — слава тебе, тетереву! — под Петербургом вдосталь!.. Ну, хоть к работникам Путиловского завода, что ли! — все равно к каким! Вообще к *русским работникам*.

— А какая же прокламация? — осведомился Коробов.

— Текст я получу в комитете и тогда продиктую тебе, ты с него и станешь набирать.

— Но... как же это? — раздумчиво и как бы сам с собою проговорил Валерьян, устремляя в сторону взор, исполненный некоторой нерешительности.

— А так же! — строго, твердо и пристально уставился ему прямо в глаза г-н Антизитров, заметивший это колебание. — *Так же*, мой милый! Отговорок нет, сомнения не допускаются! Тебя никто не тянул к нам — сам пошел, по собственной воле, значит, и исполняй беспрекословно все, что тебе указано! Хоть бы родную мать убить пришлось, и от того не смеешь отказать! Я ведь предупреждал, я вперед говорил тебе, а теперь уже поздно! Теперь или молчи и делай, или смерть! Другого выбора нет тебе!

Коробов решительно подал ему руку.

— Я от своих слов не отказываюсь... Я все исполню, что требуется! Можешь быть покоен! — сказал он другу, как человек убежденный и чувствующий, что корабли его сожжены и все пути, кроме одного, уже отрезаны.

— Вот так-то лучше!.. Молодец, по крайней мере!.. А теперь будем есть, пить, ликовать и жуировать, пока до завтра! — весело воскликнул г-н Антизитров, хлопнув по плечу своего приятеля.

## VIII

### «ПОД ТОПОР!»

По Петергофской шоссеиной дороге, которая остается почти заброшенной с тех пор, как вблизи ее протянулся

железный путь, стоят в зелени старых деревьев ряды барских дач былого времени. Многие из них еще живо помнят дни Екатерины, Павла и Александра, сохраняя не только на своей внешности, но даже и во внутреннем убранстве характер этих эпох. Во времена оны Петергофская дорога кипела жизнью и юрким движением; там, бывало, гремели гвардейские оркестры, трещали фейерверки, блистали иллюминации, глядеть на которые стекались многочисленные толпы горожан; туда же, в эти барственные приюты, стремился и весь фешенебельный Петербург. Императрицы и великие князья посещали эти блистательные праздники, которые задавали им Завадовские, Мятлевы, Шереметевы... Теперь уже не то. Прежняя жизнь отошла в вечность, дачи опустели, сады и парки заглохли, пруды подернулись плесенью, деревянные постройки приходят в разрушение, нет ни прежней жизни, ни движения, и если бы не несколько фабрик да заводов, около которых видна еще кое-какая жизнь рабочего населения, то Петергофская дорога и совсем бы заглохла.

Неподалеку от одного из заводов, в глубине запущенного сада, приютилась под высокими соснами и березами деревянная покосившаяся дачка, построенная некогда в виде павильона, с ротондой и колоннадой. Дачка эта стоит совершенно особо, в глухом, уединенном месте, служа обиталищем одному лишь старенькому инвалиду, справлявшему должность дачного сторожа. Уже года три сряду к воротам, выходящим на дорогу, тщетно приклеивалась бумажка, на которой значилось, что «здесь сдается дача», — желающих пользоваться ею не оказывалось. Старенький инвалид остался даже очень удивлен, когда в один зимний день к нему приехал бедно одетый молодой человек и стал пытаться, нельзя ли ему нанять для житья одну или две комнаты в пустынном павильоне. Это был Коробов.

— Да ты, милый человек, — борони Бог! — не ровен час, может, мазурик какой, не во гнев тебе будь сказано? — недоверчиво спросил его сторож.

— Нет, дедушка! Мазурику тут нечего делать, мазурик все поближе к городу держится, около Сенной да толкучки, а тут что за корысть! — простодушно ответил Коробов.

— И то правда! — поразмыслив, согласился инвалид.

— Я человек простой и тихий, рабочий человек, — продолжал объяснять ему Валерьян. — Обещали мне,

видишь ли, вскорости место тут на заводе, так вот, потому и хочется нанять себе квартиру где бы поближе к делу, чтобы недалеко было ходить... Чай, и сам знаешь, коли место обещают, так все же надо лишний раз зайти понаведаться да поклониться, а из городу-то мне далеке.

— Это так, это правильно, — мотая шершавой головой, соглашался сторож.

— И тебе со мною никаких хлопот!.. Я с приятелями не вожусь, буйством не занимаюсь, а буду сидеть себе тихо да делом своим заниматься. Ты меня и не услышишь.

Старик поразмыслил, сообразил все сказанное, домекнулся, что при его скудных достатках три-четыре лишних рублишка в месяц ему весьма годятся, и согласился уступить Коробову две комнаты в верхнем помещении дачи. Запросил пять рублей — и Валерьян согласился, с условием, чтобы старик ему прислуживал, если что понадобится.

На другой же день после этого он перебрался на дачу. Ручной станок, приобретенный Антизитровым за сто рублей у «знакомо́го человечка», был тщательно укупoren в ящик и в таком виде от «человечка» перевезен прямо в новое помещение Коробова.

Валерьян ретиво принялся за дело. Текст прокламации, продиктованный Антизитровым и записанный собственноручно Коробовым, был у него в кармане. Он распаковал станок, сложил его, приготовил краску, разобрал по литерам шрифт и в тишине полного уединения занялся набором. Сначала, с непривычки, дело шло мешкотно, но на другой день явилась некоторая сноровка, а там и пошло все легче да легче, так что в пять дней текст небольшой прокламации был набран. Во все это время никто его не беспокоил непрошеным посещением. Инвалид приходил утром с вязанкой дров, на покупку которых Валерьян выдал ему деньги, затоплял печь и после этой операции являлся непосредственно с кипящим самоваром. Затем, вплоть до вечернего самовара, он уже и не показывался. Обедать Валерьян отправлялся в одну из ближайших подорожных харчевен и, уходя, запира́л на замок свою квартиру, а ключ уносил с собою. Он был очень доволен, что сторож не понимает и не интересуется, чем занят его жилец с утра до ночи. Одним словом, все как нельзя более покровительствовало этой тайной работе. Сомнения ни разу не приходили ему в голову: он работал с верой и фана-

тизмом человека, твердо решившегося раз на дело и глубоко убежденного в его силе, пользе и высоком значении.

В ночь с пятого дня на шестой, после нескольких неудачных попыток, первый оттиск прокламации вышел наконец настолько сносен, что его можно было прочесть без особенного труда, — и Коробов, с чувством тихой радости и довольства самим собою, залюбовался на это произведение рук своих.

«Под топор!» стояло в заголовке этого литературного произведения. Текст отличался лаконизмом, но чего только тут не было: и доблестная Парижская коммуна, и всемирная революция, и Интернационал, и женевские братья, и женский, и рабочий вопросы, и святые петрольщицы, и забитый, угнетенный, обманутый мужик, и смерть Каткову, и задачи молодого поколения, и приглашение отправить под топор дворянство, офицерство, чиновничество, купечество и духовенство, раздел земель и капиталов, и, наконец, — «долой все!» — долой государство, церковь, правительство, семейство, всякую собственность, «дряхлую науку» классицизм, долой докторов и судей, — все долой! И все это завершалось призывом: «К топорам! к топорам! Скорей к топорам! и — смерть всему, что не с нами!»

Коробов сделал несколько более или менее удачных оттисков и, утомленный, но довольный своими успехами, уже позднею ночью кинулся на свое убогое ложе.

Наутро он захватил с собою эти оттиски и повез их к Антизитрову.

Аристарх Кононович был в восторге, кинулся на шею к Валерьяну, обнимал и целовал его, целовал и пачку прокламаций, которые все оставил у себя, «чтобы показать в комитете», а Коробова, в припадке благодарных чувств, снабдил десятью рублями, приказав купить из этой суммы несколько дестей бумаги для печатания, и спешно отправил его обратно на дачу, чтобы тот как можно усерднее занялся делом, не теряя попусту ни единой минуты.

Дня через два после этого он сам посетил своего друга в его пустынном уединении и нашел, что печатание подвигается быстро: около пятисот оттисков было уже сложено у Коробова под диваном. Антизитров повез его с собою в город, где и снабдил адрес-календарем, несколькими сотнями конвертов и запасом почтовых марок, не забыв внушить, что конверты надо будет опускать, штуки по три, в возможно большее количество

почтовых ящиков, а то иначе — скопление в одном ящике нескольких писем, подписанных одною и тою же рукою, может, пожалуй, навести на подозрение, а достаточно на почте вскрыть один конверт, чтобы и все остальные не дошли по назначению. В силу полученной инструкции, Коробову надлежало обегать с полгорода, чтобы исполнить эту операцию, и обегать непременно пешком, потому что остановка перед каждым ящиком, конечно, могла бы навести на подозрение извозчика. Антизитров все это расчел и предусмотрел заранее, так что добрый Валерьян мог только с чувством внутреннего уважения удивляться его опытности и умению в делах революционной агитации.

— Недаром, брат, меня герметически купорили в Петропавловку! Теперь я ученый! — похвалялся перед ним г-н Антизитров.

## IX

### «ЗА ЗДОРОВЬЕ ДРУГА!»

В одно прекрасное утро многие достопочтенные и весьма солидные люди в Петербурге — отцы семейств, мужи чиновные и тузы финансовые, литераторы, ученые и военные, особы духовные и особы светские, партикулярные — были неожиданно смущены, когда, вскрыв полученные на их имя конверты, развернули и прочли печатные листки, на которых красовалось в заголовке: «Под топор!» с приглашением покорно подставить под это орудие их привилегированные шеи. Но прокламация, кроме того, разошлась и в иных, гораздо менее солидных, сферах: ее находили на лестницах, во дворах и на тротуарах — и у каждого читавшего выражался на лице красноречивый знак полного недоумения. Однако скандал все-таки был произведен; про подпольный листок заговорили и в обществе, и в трактирах.

Платон Васильевич Вельтищев находился в числе первых, которые удостоились получить прокламацию, и притом он был единственный человек, к которому она была адресована и послана не Валерьяном Коробовым. Этот последний труд, без ведома Валерьяна, взял на себя сам г-н Антизитров.

Вельтищев, конечно, тотчас же догадался, что оно значит и с какой стороны дуют сии благоприятственные ветры. Не успел он вторично перечитать яростный



листок, как пред ним предстал самолично г-н Антизитров.

— Получили? — с ониму спросил он с многозначительным и торжествующим видом, заложив в карманы свои руки.

— Получил, — безразлично проговорил Платон, небрежным движением отбросив на стол прокламацию.

— И прочитали-с?

— И прочитал.

— Значит, позвольте и мне получить теперича-с!

— Что это? — вскинул Платон на него взором.

— Деньги-с, — мои заработанные пять тысяч.

— Разве Коробов взят уже?

— Пока не взят, но будет взят. И это уж наверно!..

А теперь он сидит на даче и печатает; и будет все сидеть и печатать, до той самой минуты, пока не придут и не возьмут его. Уж это поверьте! — это так ему приказано. Разослано двести штук, да в запасе у него имеется еще штук поболее чем триста, так что как раз его с поличным и захватят! Каково обработано-с?.. Чистота, да и только! И не эдаких денег стоило бы, — ну да уж я человек некорыстолюбивый!.. Итак, позвольте получить!

— Но ведь он не взят, — говорю? — уклонился Вельтищев. — Он может еще скрыться, удрать из России; на его след, быть может, нападут еще не так скоро, да и мало ли что...

— Нет; уж на этот счет будьте покойны: это все в наших руках! — принялся уверять г-н Антизитров. — Я уж своевременно распоряжусь послать, куда следует, анонимное извещение, что по чувству, мол, верноподданнического долга и прочее, и подпишусь — «ваш усердный доброжелатель». Ха, ха, ха, ха! — нагло захохотал он, потирая руки. — Каково придумано-с?.. *Манифик!*..

— Насколько оно хорошо придумано и обработано, покажет еще время, — заметил Вельтищев. — Пока Коробов на свободе, я не думаю, чтобы дело можно вам считать оконченным.

— То есть позвольте-с, — приняв серьезный и холодный вид, остановил его Антизитров. — Мне весьма любопытно было бы узнать, куда вы загибаете мне эти салазки с экивоками? К чему вы это клоните? К тому ли, чтобы не отдать мне сейчас же моих денег? Так, что ли?.. Или к чему иному?

— Да, с своей стороны я полагал бы вручить вам

деньги только тогда, когда я вполне удостоверюсь, что Коробов взят и посажен.

— Ну уж нет! Это атанде-липранди! — нахмурился Антизитров. — Мне ждать ни одной минуты невозможно: у меня уж и заграничный паспорт на чужое имя в кармане, и чемодашка упакован, так что остается только получить с вас — и я сегодня же, с первой машиной, *деру дахин, во ди цитронен блюн*. Понимаете-с?.. Я ведь рискую каждой малейшей провололочкой: Коробова могут накрыть и помимо моего извещения, а не ровен час, он проболтается на допросе, тогда и меня к Иисусу потянут! Это дудки-с... Мне теперь только драть, драть и драть из милого отечества!

Он непринужденно — руки в карманы — прошелся по комнате и, подрагивая коленкой, остановился перед Вельтищевым, устремив на него взоры с неимоверною наглостью.

— Знаете ли, что будет, если вы мне сейчас же не отдадите деньги?

— А что?

— Да то, что если меня сцапают, то я на первом же допросе покажу, что я настроил Коробова по вашему наущению, что вам желательно упечь его на каторгу, дабы самому свободнее пользоваться ласками госпожи Коробовой, а может, и жениться на ней, что вся эта прокламация есть продукт вашей изобретательности и что я, наконец, за исполнение должен был получить с вас пять тысяч. Так-таки все это и покажу! Даю вам честное и благородное слово!.. Ну-с, как вам нравится подобная перспектива?.. Недурно?..

Вельтищев побледнел и несколько смутился.

— Н-да... но на это нужно доказательства, — пробормотал он сквозь зубы.

— Так что же?.. Положим, формальных доказательств у меня нет, но я энергично и с полной искренностью буду настаивать на этом оговоре, а ваше имя и имя госпожи Коробовой, да и сами вы вместе с нею будете фигурировать на суде; все знают, что вы с нею в интишках состоите, а тогда это и в газетах пропечатают, и в конце концов вы будете сильно скопрометированы.

— Однако вы практик! — с примирительной улыбкой воскликнул Вельтищев, понявший, что ему ничего не остается, как только сдаться и исполнить требование г-на Антизитрова.

— Хм... Практик-то я — практик, — заметил на

это последний, — но тут не столько практичность, сколько быстрое и, так сказать, гениальное соображение-с... Тут Мольтка!.. Я более стратегик, как и он же, и притом всегда держусь честно откровенной политики, à la Бисмарк! В этом-то и есть моя сила!.. Итак, позвольте получить мои пять миллиардов!

Вельтищев призвал артельщика и вручил ему чек на получение в одном из частных банков пяти тысяч.

— Вам придется обождать около получаса, — обратился он к Антизитрову.

— М-могу! — мотнул тот головою и закинулся в кресле.

В это время лакей внес на серебряном подносе обычный завтрак Вельтищева.

— Не прикажете ли? — из вежливости предложил Платон своему гостю.

— М-могу! и готов приказывать, если вам так угодно! — с плотоядной улыбкой востепенелся г-н. Антизитров и обратился к лакею: — Принесите мне, любезнейший, водки, во-первых; во-вторых — прибор, ибо здесь такового для меня не подано, да, кстати, захватите и бутылочку шампанского, ведь у вас, вероятно, имеется в запасе?.. Ну-с, хорошо ли я приказываю? — развязно повернулся он на каблуках к Вельтищеву. — Уж не взыщите! По вашей же собственной просьбе, потому сами вы мне сказали «не прикажете ли» — я и приказал! А кстати, мы с вами и магарыч запьем!

Антизитров хватил рюмки две водки и с аппетитом принялся за баранью котлету. Вельтищеву был крайне неприятен этот состояльник, но — нечего делать! — в качестве хозяина пришлось скрыть улыбку гадливого презрения и завтракать vis-à-vis с бесцеремонным нахалом.

Человек принес шампанское.

— Это какое? — осведомился Антизитров, беря из рук его бутылку для надлежащего освидетельствования. — *Гррри-амедаль!* Прекрасно! Одобряю! Напеньте-ка нам, братец, два стакана!

— Мне не надо, — поспешил предупредить Вельтищев.

— Ой ли?.. Что сей сон означает? — выпучил на него глаза Антизитров.

— Я не пью, — отговорился Платон, не желавший пить вместе «с этим господином».

— Фю-ю! Дудки-с!.. Ради такого экстраординарного и счастливого случая обязаны выпить!.. Магарычи-с!

Литки-с!.. Ведь это мы с вами Коробова запиваем!.. Ха, ха, ха! Хорошо сказано?.. а?.. Не правда ли? Коробова запиваем!

И он собственноручно налил два стакана, с улыбкой истинного наслаждения глядя на золотистую струю пенистого шампанского.

— Ну-с! чокнемся! За здоровье Валерьяна Коробова!.. Дай ему, господи, на каторгу путь легкий и веселый!

Вельтищев не чокнулся и даже не дотронулся до стакана.

— Эге, барин!.. Что ж это вы?.. От такого тоста вдруг отказываетесь!

— Послушайте, — сдержанно сказал Платон. — Я понимаю, что можно убить человека, можно продать его, но, сделавши то или другое, еще издеваться над ним вдобавок — это гнусно!

— Да разве я издеваюсь?.. Помилуй Бог! — расставил руки Антизитров. — Я совершенно искренно пью за моего приятеля, за моего, может быть, лучшего друга! Ведь я даже очень люблю его! Ей-Богу!.. Он такой славный!.. Добрая душа, золотая душа у человека!.. Тут не сожалеть, а радоваться надо, что такие люди уходят на каторгу! Ведь это энтузиаст! Какое убеждение! Какая вера!.. Одна вера чего стоит!.. Ведь это будет апостол нашего дела, носитель идеи нашей; он на каторге пропагандировать станет! Именно такие-то люди там и нужны-с!.. И вы напрасно изволите думать, будто я продал. Никогда-с!.. ни в жисть!.. Я его только на настоящую, на прямую дорогу направил... Да и что вы думаете! Я, ей-Богу, считаю так, что он до известной степени даже обязан мне. Ведь что он такое, в сущности? Добрый малый, конечно; но без высшего руководителя, без толчка, раз данного, он был сущее ничтожество, тряпка, дрянь бесхарактерная, да таким же и на всю свою жизнь остался бы, так бы и заглох, и умер бы в неизвестности, а теперь, по крайней мере, я создал ему положение в жизни, и положение почетное! Создал ему имя, сделал из него, по крайней мере, политического мученика! Шутка сказать! — политический мученик, герой, страдалец! Да разве этого мало?! А без меня он что бы был такое? Прохвост, и только!

— Послушайте, и вы не издеваетесь? — подозрительно спросил Вельтищев. — Вы это искренно говорите?

— Всесовершеннейше!.. Самым найискреннейшим об-

разом!.. И с совершенно чистым сердцем могу выпить за здоровье и успех моего доброго друга!

— Однако что ж ему предстоит!

— Ему-то?.. да как вам сказать?.. По силе 245-й и 251-й статьи «Уложения о наказаниях» двенадцать лет каторжной работы. И это прекрасно: чем больше из общества жертв, чем больше мучеников — тем лучше для нашего дела!

— Нашего? — напирая на слово, переспросил Вельтищев.

— То есть, конечно, не вашего, а *нашего!* — пояснил Антизитров. — Мы теперь с глазу на глаз, и так как вы более или менее запутаны и потому доносить не пойдете, то я и могу говорить с вами откровенно. Для успеха дела жизнь и судьба какого-нибудь одного, хотя бы и хорошего, человека ровно ничего не значит. Мы должны приносить жертвы, хотя бы для поддержки общественного мнения, и потому — пусть Коробов отправляется. Нам и на каторге нужны наши люди.

— Однако ж сами вы небось туда не пожелаете? — улыбнулся Вельтищев.

— Я?.. Я — другое дело, потому у меня есть другое назначение. Мне теперь прежде всего нужно удрать из России.

— Куда же это?

— В Швейцарию, к нашим!.. Ведь там у нас — ух какое дело организуется!.. Там теперь люди нужны, и мне надобно торопиться.

— А что, вы не были шпионом? — с несколько наивным видом спросил вдруг Вельтищев, которому, для довершения характеристики, захотелось несколько поглубже проштудировать прошлое этого барина.

— Был! — твердо и бесцеремонно ответил г-н Антизитров, несмущенно и прямо в упор глядя в глаза Вельтищеву.

В тоне, каким было сказано это «*был*», послышалось даже как будто какое-то гордое сознание собственной доблести и достоинства.

— Да-с, был. Состоял частным агентом по тайной полиции, — подтвердил Антизитров. — Это вас удивляет?

— Меня?.. Нимало!.. Отчего же и не быть?

— Совершенно справедливо! Нет ни малейших причин нашему брату отказываться от такого привилегированного положения. Ведь уж я теперь благодаря ему навсегда застрахован от всяких напастей, пользуюсь благо-

намеренной репутацией, а это для нашего дела очень важно-с! По крайней мере, могу спокойно работать — уверенность есть!

— И доносили вы? — продолжал выпрашивать Вельтищев.

— Доносил-с.

— На кого же?... Из своих на кого-нибудь?

— Нет, на своих не случалось, а на посторонних — отчего же-с? Например, если бы на кого из противных нам лагерей — да это, помилуйте, — это с величайшим удовольствием!.. Это ведь прямая услуга своего же делу. Да ведь еще в каракозовском уставе было введено, чтобы от шпионских должностей отнюдь не отказываться, но, ради пользы общего дела, старательно искать их. Однако ж знаете что! — перебил самого себя г-н Антизитров. — Время уходит, и я боюсь, как бы не опоздать на машину... Я теперь ведь еле-еле успею заехать домой за моим саком...

— Деньги будут сию минуту, — успокоил его Вельтищев.

— Да нет, я не про то; я знаю, что будут! А я, собственно, вот что... Надо ведь написать анонимное извещение, а дома уж некогда будет заняться этим делом, так я хочу, чтобы не терять времени, присесть к вашему столу и сейчас же изобразить все это вкратце, а вы уж сами потрудитесь отослать на городскую почту. Так-то оно и для вас будет вернее и спокойнее.

И, присев к письменному столу, г-н Антизитров изобразил все, что следует, присовокупив и дачный адрес Валерьяна Коробова.

Меж тем артельщик возвратился с деньгами, и Аристарх Кононович, с невольною лихорадкой алчной жадности, трепетной рукою стал пересчитывать радужные бумажки.

— Ну, мои заветные!.. марш в карман! — не удержался он от восторженного восклицания. — Теперь за дело и — прощай, всескверная мати Россия!!

## Х

### НЕЖДАННЫЙ СЮРПРИЗ ДЛЯ ВЕЛЬТИЩЕВА

Господин Антизитров в тот же самый день исчез из Петербурга. Анонимное письмо, составленное им в кабинете Вельтищева, было тогда же пущено по назначению.

Прошли сутки. Платон Васильевич намеревался поехать к одному из своих влиятельных знакомых, под тем предлогом, чтобы вручить ему полученную им прокламацию, а в сущности, разузнать осторожно, арестован ли Коробов. Он уже обдумал свое поведение, он составил себе заранее план — каким образом войдет к своему влиятельному знакомому, как шутя, в дружески-милом тоне расскажет, что он нежданно-негаданно сделался жертвою чьей-то подпольной любезности, которая наградила его призывом «под топор», что он, получив этот призыв, счел за лучшее вручить его «вам» (при этом разумеется именно та самая влиятельная особа, к которой он думал отправиться) — «потому что вы, вероятно, уже вступили с неизвестными авторами в непосредственные отношения». После этого дружески-шутливого заявления Вельтищев предполагал перейти, для приличия, к тону благородно-умеренного негодования, выразить, кстати, свое презрение к «жалким негодьям» и свое изумление тому, как могут еще в наше время, при нашем общественном «трезвом» настроении, «посреди глубокого внутреннего мира и спокойствия», вдруг ни с того ни с сего прорываться на свет Божий «подобные возмутительные мерзости». Все это рассчитывал Вельтищев изобразить перед влиятельною особой, в надежде, что особа, зная его за человека солидного, благонамеренного, за человека с известным весом и значением, разговорится с ним, и если не прямо скажет, то все же даст понять, находится ли уже главный виновник «в наших руках», или же личность его еще неизвестна и след его не отыскан.

Вельтищев делал уже свой туалет, намереваясь отправиться к особе, как вдруг к нему не вошла, а почти вбежала Людмила, бледная, встревоженная и расстроенная до весьма значительной степени.

— Он взят... арестован, — проговорила она запыхавшимся голосом, в изнеможении кидаясь в кресло.

Платон Васильевич был так озадачен неожиданным появлением этой женщины, и в особенности ее расстроенным видом, что в первое мгновение не сообразил даже, что и о ком говорит она.

— Кто взят?.. Что такое? — пробормотал он, глядя на нее недоуменными глазами. — Валерьян Коробов, что ли?

— Да, муж... вчера вечером...

— Ну, так что же?.. Вам бы надо скорее радоваться этому, а не огорчаться. Я не понимаю, что с вами? —

участливо подошел он к ней и взял ее руку. — Успокойтесь, Бога ради, и объясните, в чем дело?

— Обыск... у меня был обыск... полиция была, — сказала Людмила.

— У тебя? — изумился Вельтищев.

— Да, у меня, в моей квартире...

— Давно ли?

— Сегодня утром... Сейчас... Подняли с постели. Я еще спала, как они приехали и обыскали всю квартиру — все, все решительно!

Вельтищев в недоумении пожал плечами.

— Да ради чего же, наконец? Что за цель этого обыска? — спросил он.

— Не знаю!.. Подозревают в чем-то... по письму по какому-то... Меня допрашивали...

— О чем же был допрос-то?

— Допрашивали, живу ли я с мужем? Как давно рассталась с ним? Вижу ли теперь? В каких отношениях к нему, во враждебных или дружеских? И, наконец... наконец, чем я живу, какие средства мои к жизни... Это Бог знает что такое!.. скандал!.. позор! Меня третировали, как содержанку! — нервно вскрикнула Людмила и залилась слезами.

Вельтищев понял, что в последнем-то обстоятельстве, кажись, и кроется главная причина ее женски-взбудораженного состояния. Он дал время утихомириться этому полуистерическому шквалу и, когда наконец Людмила успокоилась, осторожно приступил к дальнейшим вопросам.

— Почему ты знаешь, что Коробов арестован? — спросил он, участливо сядя перед нею.

— Знаю... они сказали.

— Расскажи, пожалуйста, обстоятельно: как именно и почему они сказали тебе это?

— Да вот, видишь ли, — вздохнула Людмила, как бы собираясь с силами и приводя в порядок мысли, чтобы начать обстоятельный рассказ. — Я еще спала... Это было часу в десятом утра... Вдруг звонок. Горничная входит и говорит, что меня спрашивают какие-то полицейские и просят сейчас же встать и одеться. Я выхожу к ним... Какие-то три человека... извиняются и говорят, что они обязаны предложить мне несколько вопросов... Один вынимает какую-то записку и показывает мне: «Знакома вам эта рука?» Смотрю — рука Валерьяна. «Это, — говорит, — к вам адресовано; можете прочесть и сейчас же возвратить мне». Я читаю и не могу в



толк себе взять, в чем тут дело? Пишет наскоро карандашом несколько слов, что судьба его свершилась, что в ту минуту, когда он пишет эти строки, полиция у него делает обыск и готовится везти его в крепость, что он более никогда не увидится со мною, но что, готовясь отправляться на каторгу, шлет мне свое последнее «прости» и просит вспоминать о нем иногда без упреков, без горечи и желчи. В этом и все письмо заключается. Я спрашиваю у них, что же это значит? Отвечают, что во время обыска, который этою ночью был у мужа, он написал эту записку и умолял переслать ее мне и что они исполняют теперь его поручение, а затем говорят: «Извините, но по этому поводу мы имеем предписание и у вас произвести обыск». Стали писать протокол, предложили мне все эти скандальные вопросы, и... я... должна была назвать вас в смысле моего... покровителя. Они взяли с меня подписку о невыезде из столицы и обязательство явиться куда потребуют по первому же вызову, а затем опечатали все письма, бумаги и все это забрали с собою и уехали... За что арестован муж — я не знаю, но что же теперь будет со мною? При чем тут я?.. И в чем я виновата?..

Вельтишев весь побледнел от внутреннего ужаса и, нахмури брови, медленно поднялся со стула.

— Все бумаги опечатаны и взяты? — невнятно спросил он.

— Да, опечатаны...

— Все? — повторил он, напирая на слово.

— Все, до единой.

— И... и мои документы в том числе тоже?

— И документы взяты...

— Гм... были насчет них какие-нибудь расспросы?

— Нет, ничего не спрашивали, а просто взяли вместе со всеми другими бумагами. Я было не хотела их отдавать, просила оставить как совершенно посторонние бумаги, говорила, что это не мои, а чужие документы, что они у меня на сохранении, но те не послушались и все, как есть, все забрали! Говорят, что там после уж все разберем!

Платон отступил шаг назад, словно ужаленный.

— Как! — вскочил он. — Ты не хотела отдавать, ты просила оставить?

— Да, просила. Что ж из того? — подтвердила та, не понимая причины этого внезапного испуга и волнения.

— Несчастливая! Глупая женщина! Да ведь усиленно-

ми просьбами ты придала этим документам особую важность, ты этих господ невольно заставила, быть может, думать, что в этих бумагах кроется что-нибудь особенное, ты сделала то, что на них теперь могут обратить особое внимание! Боже мой, неужели ж ты не понимала, с кем имеешь дело?!

— Ах! — нервно махнула рукой Людмила. — Где уж там было думать и соображать!.. Я была взята врасплох, со сна, и не понимала даже, в чем дело, — мудрено ли тут было растеряться и сделать какой-нибудь промах?

Вельтищев тяжело провел рукою по лбу и по волосам и раздумчиво прошелся по комнате, а между тем мускулы его лица около губ подергивало конвульсивным движением.

— Ну-с, Людмила Сергеевна! — с дрожью в голосе и с саркастической усмешкой произнес он, остановясь перед нею и слегка кланяясь ироническим поклоном. — Кажется, мы с вами можем теперь поздравить друг друга!

Та, вместо вопроса, вскинула на него испуганные и недоумевающие взоры.

— Да, поздравим... от всей души поздравим друг друга! — сдержанно, но с внутренним злостным раздражением продолжал он, глядя на нее злыми и насмешливыми глазами. — Достукались!.. Теперь, я полагаю, эти документы уже «в самых верных и надежных руках». Вы ведь так заботились, чтобы они попали «в верные руки», — ну, вот и радуйтесь! Старания ваши достигнуты. Теперь если все дело всплывет наружу, если мне предстоит погибнуть, то я и вас не пощажу и вы должны будете гибнуть вместе со мною, как сообщница... Да, это верно — как сообщница! И кончится все тем, что и Платон Васильевич, и Ирина Борисовна, и Людмила Сергеевна, и Валерьян Алексеевич — все мы на одном железном канате прогуляемся по Владимирской дороге!.. Благодарю и от всей души поздравляю вас с этим прелестным окончанием! — еще раз поклонился в заключение Вельтищев.

Людмила горько плакала, закрыв лицо обеими руками.

Платон Васильевич, стиснув зубы и опущенные кулаки, молча стоял перед нею и оглядывал ее вполоборота ненавистным взглядом.

Молчание, нарушаемое только тихими рыданиями, длилось несколько времени.

— Вас, конечно, не оставят без дальнейшего допроса; вас призовут не сегодня-завтра, — заговорил он наконец сдержанным голосом. — Вас могут спросить, что это за документы и какими судьбами в ваших бумагах могла очутиться опись, писанная рукою моего покойного кузена? Что вы будете отвечать на это?

Людмила могла только молча пожать плечами.

— Я вас спрашиваю, что вы будете отвечать на это? — настойчиво повторил Платон более твердым и металлическим голосом.

— Н... не знаю... подумаем... научите! — сквозь рыдания проговорила Коробова.

Вельтищев засмеялся насильственным и злобным смехом.

— Да!.. Этого только и недоставало, — злорадно издевался он, — чтобы я, человек, которого вы, сделав своим рабом, постоянно грозили потопить в ложке воды, чтобы я сам же теперь научил вас, как вам вывернуться, и оставил бы вам в утешение на будущее время постоянную возможность держать меня в прежнем страхе, в прежнем положении! Как вы великодушны, Людмила Сергеевна!.. Как великодушны!..

Она отскочила, точно раненая кошка, и глаза ее засветились тем зеленым фосфорическим огнем, который порою мог внезапно проявляться в ее взоре в минуты внутреннего бешенства.

— Не издевайтесь! — задыхаясь, проговорила она сквозь сцепленные зубы, сильно и цепко схватив его руку. — Не издевайтесь!.. Помните, что если гибну я, то и вы сами гибнете вместе!.. Тут общая гибель!.. Думайте, как вам спасти себя... Научите меня, помогите мне — и я, может быть, еще спасу вас... Будут спрашивать не одну меня — могут спросить и вас, да и одних ли вас?.. Есть еще *третья*... Подумайте! Нам надо знать, что отвечать! Нам надо не спутаться!..

Этот энергический порыв обезоружил и образумил Вельтищева. Он понял, что действительно надо им всем наперед «спеться», что времени терять нельзя, что надо скорее думать, изобретать и придумать что-нибудь простое, естественное, но настолько ловкое, что могло бы отвести глаза опытным следователям.

— Я получил повестку, меня на сегодняшнее число вызывали к следователю, — войдя в приемную комнату, обратился Вельтищев к какому-то чиновнику или письмоводителю, который сидел у особого письменного стола и скрипел пером, старательно склонившись над бумагами.

— Ваша фамилия? — безразлично спросил тот, не подымая головы от писаной страницы.

— Вельтищев, — было ему ответом.

— А! Потрудитесь немножко обождать, — сказал чиновник, указав пригласительным жестом на один из стульев приемной комнаты.

Платон Васильевич осмотрелся вокруг себя и вдруг на одно мгновение смешался довольно заметным образом. У окна, почти рядом друг с другом, сидели две женщины — обе одеты просто, но изящно, в черные платья. Одна была Ирина Борисовна Вельтищева, другая — Людмила Сергеевна Коробова. Они не знали друг друга, но Людмила, очевидно, каким-то инстинктом догадывалась, кто такая ее соседка, — и это сразу можно было прочесть из ее взгляда, из невольного выражения ее лица. Вельтищев издала поклонился более глазами, чем головой, и притом таким безразличным образом, что нельзя было сказать, к обеим ли вместе или к одной из двух и притом к которой именно относится его молчаливое приветствие.

Но вот, по прошествии некоторого времени, он уставил на Ирину Борисовну вопрошающий взгляд, который, казалось, ясно пытал ее: «Приготовилась ли? не собьешься ли? помнишь ли, что отвечать, и все, чему учил я тебя?»

«Надейся и будь спокоен», — ответила она ему глазами, скромно потупляя их в землю.

Эти безмолвно-красноречивые переговоры не ускользнули от внимания Людмилы Коробовой.

Она встала с места, слегка оправилась и подошла к Вельтищеву.

— Это она? — спросила Коробова чуть слышно шепотом, незаметно поведя косым взглядом на Ирину. — Вы предварили ль ее, как следует?

— Сделано все уже, — шепнул в ответ Платон Васильевич.

— Извините, сударыня! — громким голосом и притом официально-вежливо обратился письмоводитель со своего места к Людмиле. — До допроса всякие разговоры между свидетелями, призванными по одному делу, у нас строго воспрещаются. Не угодно ли вам сесть на ваше место!

Людмила сконфузилась и в смущении возвратилась к своему стулу. Но, возвращаясь, она видела, с каким тревожным недоумением, с каким ревнивым чувством забегал оживившийся взгляд ее соседки, перекидываясь с Вельтищева на нее и с нее на Вельтищева, словно бы этот взгляд хотел допытаться: «Что это за женщина? зачем она подошла к тебе? о чем говорила? что это значит все?»

В это самое время приотворилась одна из дверей, ведущих во внутренние комнаты, и из нее раздался призывающий голос.

— Госпожа Коробова! пожалуйста! — Людмила несколько побледнела, внутренне заколебавшись на одно мгновенье, кинула на Вельтищева взгляд, просящий ободрения, поддержки, — и пошла на голос, слегка шурша своим шелковым платьем.

Дверь тотчас же захлопнулась за нею.

\* \* \*

— Прошу садиться! — вежливо указал ей на стул перед большим письменным столом чиновник, призвавший ее к допросу.

Это был молодой человек, лет двадцати пяти, с дипломатическими бакенбардами, с двойным английским пробором и министерски-изысканными манерами, чистенький, гладенький, сдержанный, вежливый. В нем с первого взгляда так и сказывался чиновник-джентльмен с петербургским пошибом и правоведскою закваской. Видно было по лицу, что человек весьма не прочь и пожуировать насчет разных жизненных лакомств, но, вглядываясь в него более, трудно было бы постороннему наблюдателю определить: что такое оно в сущности? Потому — и в известном месте человек служит, и в то же время отшибает истым конституционным либералом.

Людмила села и приготовилась.

Чиновник с серьезно-сосредоточенным видом порылся несколько времени в бумагах, перелистал некоторые из них и предложил Людмиле обычные форменные вопросы, с которых обыкновенно всегда начинается дача все-

возможных свидетельских показаний. Итак, первый приступ с формальной стороны был исполнен и ответы, совершенно удовлетворительные, тут же записаны самым обстоятельным образом.

— Я должен заранее просить у вас извинения, потому что мне по необходимости придется сейчас коснуться некоторых щекотливых вопросов, — с легким вздохом предварил он Людмилу. — Скажите откровенно, в каких отношениях находитесь вы к вашему мужу?

Людмила вспыхнула.

— Он не живет со мной, — ответила она застенчиво и тихо.

— Как давно вы расстались?

— Уже несколько месяцев, около... полугода...

— Гм... Но... что же было причиной вашей размолвки? Может, он очень дурной муж?

— Мы... не сошлись характерами, — потупилась Людмила, невольно почувствовав всю банальность этого ответа.

— Вот именно, я хотел бы знать насчет его характера... Я думаю, что дело, совершенное им, может быть объяснимо отчасти некоторыми сторонами его характера, его нравом, обстоятельствами жизни... Скажите, каков он человек вообще?

— Он добрый, но... бесхарактерный, — слегка замятаясь, ответила Людмила, почувствовав внутреннюю неловкость и словно бы какой-то голос внезапно сказавшейся совести, которая воздержала ее от втоптанья в грязь ее и без того уже несчастного мужа.

— Стало быть, он первый вас оставил? — продолжал чиновник.

— Н... нет... мы как-то так... просто разошлись.

— Может, он не любил вас, дурно обходился с вами?

— Я не могу сказать этого.

— Вы с ним видались после того, как стали жить врозь?

— Иногда, но редко.

— Ну, в таком разе, может быть, вы не по душе, а так, по наружности, для одного вида только разошлись? — спросил следователь, вперяя вдруг на Людмилу острый взгляд, которому потщился придать известную пронизательность. Ему пришла мысль, что, может, Людмила, как жена, была посвящена в замыслы мужа и разошлась только для виду, чтобы отстранить от себя лишние подозрения. С помощью последнего вопроса и

судя по его впечатлению, он рассчитывал, не попадется ли в первый же силочек эта прелестная «пташка»?

Но пташка не попалась.

— Я не понимаю, как это — для виду? — пожала она плечами. — По правде говоря, мне очень тяжела тема ваших вопросов, и чтобы кончить... я уж лучше прямо... Да, уж я лучше прямо скажу вам, что я просто сама оставила мужа, потому что... я... я люблю другого и... не хотела обманывать!

— Охотно верю вам, — вежливо склонил он набожок свою головку. — Но... кто этот *другой*, сударыня?

Людмила снова вспыхнула.

— Неужели и это идет к вашему делу? — спросила она, вскинув на следователя застенчиво-молящий взгляд, готовый увлажниться слезою.

— Что делать, сударыня! — со вздохом пожал тот плечами. — Разве иначе я бы позволил себе касаться столь щекотливого предмета?

Людмила находилась в явном затруднении, как отвечать на вопрос, и молчала, потупясь в землю.

— Итак, сударыня, имя *другого*?

— Платон Вельтищев, — ответила она чуть слышно.

— Скажите, каковы были материальные средства вашего мужа? — снова принялся допрашивать чиновник.

— Весьма ничтожные: он существовал только газетною работою.

— Но, может быть, ваши собственные средства восполняли его недостатки?

В бровях у Людмилы задрожала какая-то тонкая жилка.

— Я точно так же, как и муж, ровно ничего не имею, — ответила она отрывисто и сухо.

— Однако ж... Извините, но... ваша обстановка позволяет думать...

— Моею нынешней обстановкой я обязана не мужу, — круто перебила Людмила.

Следователь опять перелистал несколько бумаг из форменного «дела».

— Мои вопросы не совсем так бесцельны, как оно может, пожалуй, казаться, — сказал он, после короткого молчания, с невозмутимой кротостью. — Ваш муж сознался уже в составлении возмутительного воззвания, где, между прочим, есть такая фраза... Вот потрудитесь сами прочесть, сударыня!

И он подвинул к ней листок прокламации, отчеркнув красным карандашом известные строки:

«...Материальные средства нашей организации громады, — читала Людмила. — Кроме тысяч честных рабочих рук, общество имеет в своем распоряжении миллионы рублей, которыми может поддерживать семьи работников во дни забастовок. В одном из следующих номеров нашего листка мы представим отчет о нашем бюджете...»

— Прочли, сударыня? — спросил чиновник.

Людмила возвратила ему бумажку.

— Ну-с, что вы скажете на это?

— Да что ж сказать!.. — пожала она плечами. — Разве только то, что это писано сумасшедшим...

— Гм... но, может быть, оно и вовсе не столь безосновательно?.. Как вы полагаете?

— Я ровно ничего не полагаю, потому что ничего не знаю об этом! — опять довольно круто отрезала Людмила.

Чиновник улыбнулся слегка, но не без загадочного коварства, и снова стал рыться и отыскивать что-то в бумагах.

— Вам знаком этот документ? — неожиданно спросил он, показывая развернутый лист.

Людмила быстро взглянула и сделала над собою внутреннее усилие, чтобы не выдать своих ощущений.

То была «Опись изъятым из обращения капиталам», составленная рукою покойного Максима Вельтищева.

— Да, это было взято у меня при обыске, — сказала она с видом полного спокойствия.

— А не можете ли вы объяснить, чьею рукою это писано?

— Я не знаю. Рука совершенно мне незнакома.

— Прекрасно. Но скажите, что это за опись? Какое значение, какой смысл имеет она и какие это капиталы?

— Об этом я точно так же не имею никакого понятия! — отнекнулась Людмила.

— Однако ж она ведь найдена у вас и притом была запрятана там, где обыкновенно бумаги не прячутся. Почему вы держали ее и еще вот магазинный счет госпожи Вельтищевой в киоте за большим образом, тогда как все прочие бумаги хранились у вас в столе и в бюваре?

— Потому что то бумаги мои, а это чужие, — без запинки ответила Коробова, очевидно приготовившись к этому заранее предвиденному вопросу. — Я не хотела



путать их со своими, — продолжала она, — мало ли какая могла бы выйти случайность? Кто-нибудь схватил бы по неосторожности, или затерялись бы как-нибудь... Я просто из предосторожности, зная, что бумаги чужие и, может быть, нужные, припрятала их в особое, надежное место — вот и только!

— А не можете ли объяснить, — не без ехидства спросил следователь, — какими судьбами, то есть как и почему эти бумаги попали к вам на хранение?

— Очень просто: они были забыты у меня.

— Кем?

— Платоном Вельтищевым.

— Когда именно?

— Н... не помню... Кажись, что вскоре после смерти его двоюродного брата.

— Вы после того раза, без сомнения, виделись с господином Вельтищевым?

— Разумеется...

— И он у вас не спрашивал про эти бумаги.

— Н... нет; не помню... Вероятно, не спрашивал, потому что иначе я отдала бы.

— А почему же вы сами не догадались отдать ему?

— Н-н... да так!.. Он не спрашивал, а у меня вовсе и из ума вон про них! Как положила тогда за образ, так и позабыла вскоре.

Следователь обстоятельно записал показания Людмилы Коробовой, прочел ей записанное и предложил скрепить своей подписью. Людмила еще раз, уже сама, перечитала бумагу и подписала ее.

— Потрудитесь обождать здесь, в этой же комнате: это покойное кресло, афиши и газеты к вашим услугам! — любезно предложил джентльмен-чиновник, указав ей на один из углов комнаты, и направился к двери.

— Госпожа Вельтищева! — пригласил он Ирину.

\* \* \*

Ирина Борисовна появилась на месте Людмилы.

— Вам знакомы эти бумаги? — предъявил ей следователь магазинный счет и опись.

Та посмотрела и ответила утвердительно.

— Чьею рукою писана опись?

— Это рука моего покойного мужа, — невольно дрогнувшим голосом сказала Ирина.

— Вы знаете Валерьяна Алексеевича Коробова?

— Кого? — с некоторым недоумением переспросила ответчица.

Ей было повторено имя.

— Нет, в первый раз слышу, — заявила она тоном полного убеждения.

— А госпожу Коробову? — взглядом указал чиновник на Людмилу, что дало Ирине повод обернуться на нее и оглядеть ее весьма внимательно.

— Тоже не знаю, — утвердительно ответила она.

— И никогда нигде не встречались?

— Никогда и нигде, сколько помнится.

— А не можете ли объяснить, какими судьбами оба эти документа попали в руки госпожи Коробовой и очутились у нее на хранении?

— На хранении?.. У госпожи Коробовой?.. Не знаю и не понимаю, как это... — пожала плечами Ирина.

— Вы никому этих бумаг не отдавали?

— Н... не помню... Может быть, и отдавала... Но если отдала, то разве только кузену моего мужа, Платону Васильевичу... Другому бы некому... Платон Васильевич был ближайший родственник и компаньон моего мужа, у них были постоянно общие дела и денежные обороты, он же и душеприказчиком был, и всем распоряжался... Я сама в делах не понимаю толку и потому после смерти мужа передала ему по доверенности ведение всех моих дел и счетов... У него и теперь находятся почти все мужнины бумаги для разбора и проверки; поэтому и опись легко могла между ними очутиться.

Ирина передала все это с достаточной обстоятельностью, потому что ответ такого рода был заранее внушен ей Вельтищевым.

— Но как они попали в посторонние руки — этого я не знаю, — добавила она в заключение.

— Ну-с, а относительно счета что вы можете сказать? — продолжал допытывать пунктуальный следователь. — Может, вы поручали господину Вельтищеву произвести по нем уплату?

— Право, не помню! — ответила подготовленная Ирина. — Может, и поручала, а может, и нет. Согласитесь сами, обстоятельство такое пустячное, что не трудно и позабыть, и в особенности если это было незадолго до или после смерти мужа: я в то время была так расстроена, больна, что решительно теперь уже не помню!.. А может, и то еще, — добавила она, подумав, — может, этот счет как-нибудь случайно попал к нему между бумагами мужа... Мудреного в том нету,

потому что по моим магазинным счетам большею частью всегда сам муж платил.

Сущность показаний Ирины казалась настолько истинной и настолько была сама по себе ничтожна, что ровно ничего не прибавляла к сведениям, существенно необходимым для следователя. Поэтому он кончил свой допрос, предложил Ирине обождать до времени в этой же комнате и указал ей на кресло рядом с Людмилой.

Вслед за сим был приглашен Платон Васильевич Вельтищев.

На вопрос о счете он отвечал запамыванием, склоняясь, впрочем, к тому мнению, что он мог попасть в его руки совершенно случайно между бумагами покойного, а в описи признал руку двоюродного брата.

Затем ему был предложен вопрос, какими судьбами и счет и опись попали в руки Коробовой?

Вельтищев не ожидал, что его будут допрашивать в присутствии Ирины Борисовны, от которой, зная ее ревность, он тщательно скрывал свои отношения к Людмиле. Вопрос следователя, требовавший немедленного и ясно-положительного ответа, становился, таким образом, весьма для него щекотливым и затруднительным: приходилось в некотором роде плыть между Сциллой и Харибдой. Он чувствовал это, потому что, не глядя даже в сторону обеих свидетельниц, ощущал на себе с одной стороны пристально пытающий взгляд следователя, а с другой — взгляды обеих этих женщин, из которых одна глядела на него с тревожным ожиданием, тогда как в другой кипело уже ревнивое подозрение.

Однако на выручку явилась сродная ему находчивость.

Он отвечал, что, спустя некоторое время после смерти двоюродного брата, заехал как-то к г-же Коробовой, которой был должен деньги, чтобы отдать ей свой долг. Будучи всецело погружен в то время в дела покойного, по доверенности его вдовы, он постоянно ездил с разными бумагами, из которых иные были в портфеле, а иные просто лежали в боковом кармане. Таким образом, приехав покончить со своим долгом, он, сколько помнится, вынимал в квартире у г-жи Коробовой некоторые бумаги, и очень легко может быть, что второпях и по рассеянности позабыл у нее предъявляемые теперь документы, а не вспоминал о них доселе потому, что они не имеют для него никакого важного значения, ибо, например, опись имеется при делах покойника в копии, и, стало быть, в оригинале особенной надобности не

оказывалось. Насчет копии — как и весь, впрочем, ответ свой — Вельтищев симпровизировал самым положительным и беззастенчивым образом. Следовательно начал уже внутренне разочаровываться в своем первоначальном предположении — не имеют ли эти документы, которые так настойчиво отстаивала Людмила при обыске, какой-нибудь существенной связи с тем местом прокламации, где говорится о громадных средствах и миллионах «Организации». Однако же он все еще не терял некоторой, хотя и весьма слабой надежды. На звонок его явился в дверях чиновник из смежной комнаты.

— Прикажете ввести сюда арестанта! — отдал ему приказание следователь.

Вельтищев и Коробова почувствовали себя не совсем ловко.

Минута наступала неприятная, слишком неприятная, и в особенности для Вельтищева, который никак не мог теперь отделаться от гнетущей мысли, что при этом странном свидании мужа с женой и ее любовником должна присутствовать ревнивая Ирина. «Чем-то все кончится? чем разыграется?» — невольно в душе задавал он себе роковые, ноющие вопросы.

\* \* \*

Растворилась дверь — и под звук мерных шагов конвоя вошел бледный, испитой, болезненно осунувшийся Валерьян Коробов.

По бокам его стали два brave жандарма с обнаженными саблями.

Валерьян почти бессознательно осмотрелся, но вдруг заметил Вельтищева, заметил жену свою — и в то же мгновение зарыдал и зашатался.

— Кресло!.. скорее кресло ему! — скомандовал следователь одному из жандармов, меж тем как другой успел ухватить под руку арестанта, который без его помощи, наверное, грохнулся бы на пол.

Коробова усадили, и допросчик весьма заботливо предложил ему освежиться несколькими глотками воды.

Арестант с жадностью выпил целый стакан и поник головою на руки.

Прошло несколько минут самого тягостного молчания.

— Господин Коробов! — обратился наконец к нему следователь. — Достаточно ли вы успокоились?

— Что?.. как? — почти бессознательно проговорил

Валерьян, тяжело подняв на него из-под опущенных век замутившиеся взоры.

Тот повторил свой вопрос с дружелюбной мягкостью.

— Да-да... я спокоен... я совершенно спокоен... я могу отвечать вам, — с внутренней нервной дрожью пробормотал Коробов.

— Придвиньте к столу его кресло, — приказал следователь жандармам.

Те исполнили требование.

— Скажите откровенно, — начал следователь сочувственно-мягким, заползающим в душу голосом, — на чем вы основывали ваше заявление в прокламации о громадных, миллионных средствах вашего общества?

— Ей-Богу, не знаю! — грустно усмехнулся Коробов.

— Однако ж?

— Уверяю вас честью!

— Вот именно к вашей чести я и обращаюсь.

— А я по чести вам говорю, что не знаю.

— Но не ваша же собственная это фантазия?.. Были же какие-нибудь основания?

— Вероятно, — согласился Коробов.

— Какие ж именно?

— Не знаю.

— Да ведь оригинал вашей прокламации писан вашей собственной рукою?

— Моею собственной, но что ж из этого?

— Опять-таки обращаюсь к вашей чести, — вздохнул следователь, словно бы желая этим вздохом выразить кроткую покорность тяжелому кресту своей обязанности, — значит, вы сами все это выдумали, сочинили?

— Нет, не выдумывал.

— По чести?

— Клянусь вам, нет!

— Тогда откуда же вы это заимствовали?

— Мне было продиктовано... Ведь я уж говорил вам об этом!

— Кем продиктовано? — с кроткой, но упорной настойчивостью спросил джентльмен-чиновник.

— Человеком, который представляет собою «Серию С», — а больше я ничего не знаю.

— Этот человек вам известен?

— Разумеется.

— Назовите его имя.

— Этого я не могу... не имею права... и наконец...

наконец, я не знаю его имени... Это — «Серия С». Вот все, что я знаю.

— Господин Коробов! — внушительно-строго и холодно поднял чиновник на арестанта свои взоры, за мгновение еще столь мягкие, кроткие и покорные. — Я должен предупредить вас, что нам уже известно гораздо более, чем, может быть, вы предполагаете, и, во-вторых, этим упорством и запирательством вы только осложняете вашу вину, утягчаете вашу печальную участь. Признайтесь лучше во всем откровенно.

— Я признался уже во всем! — открыто и честно ответил Коробов. — Я не скрывал, что печать и пространство — мое дело. Но имен от меня не требуйте: я их не знаю, да если бы и знал, то даже под пыткой не назову их! Я один виноват, одного меня и казните!

— Вам знакома эта бумага? — неожиданно спросил его следователь, глядя в лицо ему пристально испытующим взором и показывая опись.

— В первый раз вижу! — вглядевшись в документ, категорически отрицательно ответил Коробов.

— Вам ее супруга ваша никогда не показывала?

— Никогда.

— И не говорила ни разу?

— Никогда не говорила.

— Господин свидетель! — обратился вдруг следователь к Вельтищеву. — Вы знаете господина Коробова?

— Очень мало... даже почти вовсе не знаю! — смешавшись, пробормотал Платон Васильевич.

— Но вы так хорошо знакомы с его супругой, что это последнее знакомство заставляет предполагать, что вы достаточно хорошо знаете и мужа?

— Одно из другого не следует, — скривил Платон кислой улыбкой свои губы.

— Господин Коробов! Вы знаете господина Вельтищева?

— Этого мерзавца?! — с дикой злобой сверкнул арестант глазами, ткнув по направлению его в воздухе указательным пальцем, и поднялся со своего места. — Да, я достаточно... я слишком достаточно... слишком хорошо его знаю! — заговорил он прерывающимся от волнения голосом, с трудом переводя спершееся дыхание. — Этот негодяй, как гадина, вполз ко мне в дом... развратил мою жену... отнял ее у меня... отнял все мое счастье, всю радость... всю жизнь мою изломал... Да, я слишком хорошо его знаю!.. Слушайте! — обратился он

непосредственно к следователю, упершись, от внутренней слабости, в край стола обеими руками. — Слушайте!.. Теперь я буду давать вам мое истинное, настоящее мое показание...

Чиновник насторожил уши и быстрым взглядом окинул всех присутствующих. Вельтищев стоял весь бледный, с печатью того томления на лице, которое выражает ноющую борьбу сомнений, ожидание чего-то рокового и надежду, что авось-либо все пронесется мимо и благополучно... По временам он старался подавить в себе невольную дрожь лихорадочного волнения. Людмила Коробова тоже силилась не выдавать своих внутренних ощущений и, нервно сжав губы, сидела почти неподвижно, с глазами, глубоко потупленными в землю. Она как будто приготовилась теперь стойко выслушать свой приговор, свое осуждение из уст Валерьяна. Зато Ирина, несмотря на свое безмолвие, вся горела оживлением и жадным интересом. Ее взор впивался то в Людмилу, то в Коробову, то в Платона и на лице каждого силился прочесть сокровенную мысль и чувство. Для этой женщины приподнималась теперь завеса таких тайников души ее кузена, которые он всячески старался скрывать от нее до последней минуты. Теперь должно было разоблачиться многое, чего она доселе и не подозревала, в ослеплении своей любви, считая только себя единственной любимой им женщиной, и вдруг — перед ее глазами неожиданно раскрывается целая драма... «Значит, он меня обманывал доселе, — шепчет ей смутное чувство. — А она хороша... ох как хороша, подлая!.. Он ее любит: она моложе меня, свежее, лучше...» И в сердце Ирины закипает горечь жгучей ревности и вопиет самолюбие, оскорбленное уже самым присутствием здесь, рядом с ней, этой женщины, этой счастливой соперницы, которая и моложе, и красивее ее и которой принадлежит сердце того, кому она, Ирина, пожертвовала всем, не остановившись даже перед страшным преступлением. Она женским инстинктом угадывала, что то, чему она будет сейчас свидетельницей, то, что предстоит ей услышать из уст этого арестанта, должно больно и близко касаться ее собственной души и собственного сердца: стоит ли в ее глазах на высоком пьедестале человек, которому она беззаветно отдала эту душу и сердце, или же грозное слово этого арестанта опрокинет его в ту пропасть, из которой человеку трудно уже подняться вновь до сердца оскорбленной женщины. Ирина напряженным ухом и живым, блестящим взглядом следила те-

перь за каждым словом, за малейшим движением Валерьяна Коробова.

— Было время, и это еще так недавно, — начал арестант, — когда я и не думал ни о каких прокламациях, ни о каких бунтах и стачках, и самым искренним образом считал все это за величайшие глупости. Я просто себе работал, был занят своим насущным делом и заботился только о том, как бы доставить хоть малейшие удобства в семейной жизни моей жене... Я очень... много и сильно любил ее! (Голос Коробова дрогнул от волнения; в нем послышались слезы.) Вдруг в мой семейный угол врывается этот человек (он указывает на Вельтищева). К чему, зачем ему понадобилось отнять у нищего все его счастье — это уж дело его совести!.. Мне тяжело вспоминать... да тяжело и высказывать вам все это... Одним словом, я долго был обманут... Наконец, я был брошен... в лице жены страдало мое имя... Я все ж таки любил ее, умолял вернуться ко мне, но... все было напрасно! Я стал пить, дошел до нищеты и чуть не до последней степени нравственного падения, где уж мне стало решительно все равно, чем ни быть, где ни жить, что ни делать — хоть на каторгу! Меня душило мое горе: нужен был какой-нибудь исход, отвлечение, нужно было забыться, размыкать как-нибудь свою тоску — и я решил себе снести это горе в Сибирь!.. Я, может, и глупо, но надеялся, что моя несчастная судьба когда-нибудь тронет наконец сердце моей жены, что она хоть вспомнит меня издали со слезой раскаяния... Это была моя надежда, мое утешение, моя месть этой женщине — и я решился. Вот вам психический мотив и нравственные побуждения того, что я сделал. Ее я не обвиняю, но с этим мерзавцем, — поднял голову и руку Коробов по направлению к Вельтищеву, — с ним желал бы я от всей души встретиться когда-нибудь еще на каторге... там, быть может, мы бы рассчитались... Я жалею и раскаиваюсь, что доселе у меня не хватало духу застрелить его, как собаку!

Голос Валерьяна задрожал, оборвался, и рыдания, сдерживаемые доселе, полились из груди с необузданной, истерической силой. С ним сделался нервный припадок.

Следователь приказал жандармам бережно отнести его в отведенный ему номер и послать за доктором, а затем объявил допрос оконченным.

Ирина встала и вдруг сильно шатнулась, едва успев хватиться за спинку кресла, что помогло ей удержаться на ногах. Лицо ее было бледно, руки и губы дрожали.



Чиновник предупредительно кинулся к ней на помощь.

— Что с вами, сударыня?! Вам, кажется, дурно?..

— Н-нет... ничего, — с усилием произнесла Ирина. — Могу я теперь ехать домой?

— О, конечно! И я вас более уж ни за чем не потревожу!

— В таком случае... нельзя ли... приказать проводить меня до кареты.

Услышав эту просьбу, Вельтищев, который был в крайнем затруднении — на что ему решиться и как теперь повести себя с Ириной, поспешил к ней на помощь и, в качестве родственника, предложил опереться на его руку.

Но Ирина обдала его ледяным, презрительным взглядом и, собрав все свои силы, все присутствие духа, молча и без посторонней помощи, твердой походкой вышла из комнаты.

— Скажите, мне будут возвращены мои бумаги? — кротким и покойным голосом обратилась к чиновнику Людмила Сергеевна, когда ее соперница скрылась за дверь.

— Без сомнения, сударыня, вы их получите, — с официальной любезностью ответил следователь.

— И как скоро могу я получить их?

— Мм... смотря как... это будет зависеть вообще... по миновании в них надобности.

— Значит, и я могу надеяться на возвращение мне моих документов? — вмешался Вельтищев.

— Разумеется!.. — удостоверил его чиновник. — Подайте лишь нам простое заявление, и, как только минует в них надобность, мы тотчас же возвратим их по принадлежности.

Людмила сумела выдержать себя настолько, что не выдала своей души и мысли ни малейшим движением — ни внутренним, ни внешним — при последних словах Вельтищева. Но она вполне оценила их значение; она поняла, что Платон все еще хочет вырваться из-под ее власти и рад ухватиться для этого за малейший удобный повод.

Они вышли вместе на улицу и остановились одни перед своими экипажами.

Вельтищев лицемерно выказал намерение подсадить Людмилу в коляску.

— Постойте! — строго и холодно остановила она его руку. — Я вижу, вы опять хотите продолжать со мной

вашу игру... Вы неисправимы, мой милый... но берегитесь: бой будет неравен! И если вы только осмелитесь подать это заявление, я тотчас же раскрою этому самому следователю, какой смысл и значение имеют ваши документы.

## ХП

### МАСКА

На другой день после допроса джентльмен-чиновник получил утром маленькое письмецо, подписанное очень красивым, тонким почерком, в котором нетрудно было узнать женскую руку.

Так как на конверте значилось: «Ивану Ивановичу Вантрик», то джентльмен-чиновник вскрыл письмо с сознанием полного права, ибо оно только к нему и могло быть адресовано.

Жаночка Вантрик (под этим именем джентльмен был известен в кружках своих правоведских товарищей) не без самодовольствия прочел в женском письмеце следующие строки:

«Если для вас имеет некоторое значение просьба молодой и хорошенькой женщины, то забудьте на нынешний вечер ваши несносно скучные дела и приезжайте в маскарад дворянского собрания. Беру на себя смелость уверить вас заранее, что вы не будете раскаиваться в бесполезно убитом вечере».

Подписи не было, но Жаночка Вантрик, прибывший уже к посланиям подобного рода, ни на минуту не усомнился в его женском происхождении, в чем удостоверяло все: и почерк, и легкий запах, и цветная бумага с букашкой, и изящный конвертик — одним словом, все указывало Жаночке, что это — «дело женских ручек», а Жаночка имел слабость считать себя сердцеедом. Один только почерк был ему совершенно незнаком, и это обстоятельство заставило его на минуту усомниться, не кроется ли тут какая-нибудь мистификация?

«Но если бы даже и допустить, что это чья-нибудь приятельская шутка, — подумал себе Жаночка, — то все же нет причины не ехать, потому что маскарад не из ординарных».

И действительно, на сей раз предстояло быть одному из тех маскарадов «с благотворительною целью», которые выдаются из общего уровня и потому довольно

усердно посещаются частью публики, причисляющей себя, так или иначе, к «порядочному кругу»; а так как наш джентльмен-чиновник был прежде всего убежден, что он — «человек порядочного круга», то он не видел причины, почему бы ему и не быть в маскараде, даже и помимо безымянного приглашения.

\* \* \*

Зала дворянского собрания была залита огнями. Пестрая масса посетителей, в которой преобладал, однако, черный цвет фраков и домино, толкалась в самой зале и в окружающих ее галереях. Попеременно гремели два оркестра музыки, и в воздухе уже чувствовалась та духота, которая неразлучна с каждой людскою массою.

Жаночка Вантрик в полном одиночестве уже около часу слонялся из угла в угол, тщетно стараясь угадать по фигурам масок ту, которая назначила ему свидание, и по лицам встречаемых приятелей того, который избрал его жертвой своей мистификации. Жаночка уже начинал приходить в несколько дурное расположение духа, ибо чем более шло время, тем более склонялся он к мысли, что над ним подшутили, как вдруг его слегка ударил по плечу чей-то веер.

Жаночка обернулся и увидел стройную женщину, которая глядела на него так, как будто желала ему дать почувствовать, что удар веером вовсе не был с ее стороны ошибкой или случайностью.

Она была тщательно закутана в капюшон, который не допускал ни малейшей возможности разглядеть цвет ее волос; густое кружево бархатной полумаски тщательно скрывало всю нижнюю часть лица, и весь костюм вообще отличался тою изящною, изысканною скромностью, которую, в отличие от кокоток, умеют, когда хотят, придавать себе «порядочные женщины» на случай маскарадной интриги.

Сердце скушающего Жаночки екнуло от самодовольства, но тем не менее он устремил на маску удивленный и вопросительный взгляд.

— Ты один? — спросила его женщина.

— Как видишь, — улыбнулся Жаночка, тщетно стараясь угадать, кто бы такая могла быть эта «незнакомка»?

— Я тоже одна... и скушаю... Не хочешь ли взять меня под руку?

— Если тебе угодно!

И Жаночка не без ловкости подставил ей свой локоть.

Женщина доверчиво оперлась на его руку и пошла с ним по зале.

— Странное дело! — говорил Жаночка, испытывая немалое довольство, что может показывать себя, гуляя на виду всех с такою «элегантной и порядочной маской». — Ей-Богу, странное дело!.. Надо тебе сказать, у меня уж такой опытный глаз, что я сразу узнаю под маской каждую знакомую женщину, а между тем тебя я никак не могу узнать и не понимаю, что это со мною?!

— Очень просто: ты привык узнавать знакомых, а мы с тобою незнакомы, — объяснила маска.

— Но в таком случае, почему же ты подошла ко мне?

— Потому что я тебя знаю.

— Но я-то *тебя* не знаю!

— Нет, и ты знаешь меня... Мы только незнакомы, но знаем друг друга.

— Прекрасный случай познакомиться поближе! — воскликнул Жаночка, нежно и выразительно пожимая пальчики своей дамы.

— Ты находишь? — заметила она с легким оттенком иронии.

— Почему же бы нет?! Маскарад тем-то и хорош, что дает иногда возможность заключать самые приятные знакомства.

Если бы густое кружево не скрывало нижней части лица Жаночкиной дамы, то Жаночка легко мог бы заметить, какая презрительная усмешка мелькнула на ее губах при последней произнесенной им пошлости. Но Жаночка, благодаря кружеву, не заметил этого и продолжал быть счастливым.

— Но, однако, объясни мне, пожалуйста, — настаивал он, — почему ты вздумала подойти именно ко мне, а не к другому кому?

— Потому что я *хотела* подойти к тебе. Кажется, это очень просто.

— Но ведь ты же незнакомка со мной!

— Какая наивность! Разве подходят к людям только знакомые маски? Достаточно, что я знаю тебя. Я — маска, и в этом одном мое право подойти к кому мне вздумается; а во-вторых, я молода и — могу уверить тебя — вовсе не уродлива собою, а это еще усиливает мое право. Довольно ли с тебя?

— Хм... странно! — раздумывал самодовольный Жаночка. — Разве у тебя в этой зале никого нет более знакомых?

— Напротив, очень много.

— Но в таком случае, почему ж ты избрала меня, человека незнакомого?

— Потому что это мой каприз, во-первых; а потом — почему бы мне и не познакомиться с тобою?

— О, я готов! я готов! — воскликнул Жаночка, снова пожимая кончики ее пальцев. — Но я бы хотел, чтоб это было прочное и приятное знакомство, вполне приятное! — добавил он с выражением той особой двусмысленности, которая мало оставляла сомнений насчет прямого своего значения и смысла.

— Гм! — не то насмешливо, не то поощрительно и, во всяком случае, загадочно улыбнулась маска. — Последнее будет вполне зависеть от тебя самого, я полагаю.

— Маска! ты мне подаешь такие упоительные надежды! — чуть не захлебываясь от самодовольного восторга, воскликнул пошлый на этот счет Жаночка.

— Отчего ж бы и нет, если только ты будешь этого достоин, — молвила она в ответ тем же загадочным и потому подзадоривающим тоном.

— Приказывай — и я у ног твоих!.. Я желаю быть твоим рыцарем, но... что нужно сделать, чтобы быть достойным твоей благосклонности?

— Неужели это для тебя так существенно?

— О, я раб всех хорошеньких женщин! Это еще с детства моя первая специальность!

— А вторая? — лукаво спросила маска.

— Вторая?.. Мм... Нет, у меня не имеется никаких более специальностей.

— И ты это так смело утверждаешь?

— Конечно! Кому же лучше знать про то, как не мне самому? Но разве ты знаешь за мною еще какую-нибудь другую?

— То есть как тебе это сказать?.. Разве твоя служебная деятельность, например, не составляет твоей второй специальности?

Жаночка слегка нахмурился... «Черт ее знает, в каком это смысле она упомянула про вторую специальность!» Жаночка не всегда и не везде любил разговор о своей служебной деятельности.

Маска тотчас же заметила это и ловко поспешила

переменить тему разговора, дальнейшее развитие которого, как показалось ей, могло бы быть не совсем-то приятно для ее кавалера.

Она специально направила свою ловкую, живую, игривую и подчас не лишённую остроумия болтовню на те живые темы, которым раздражающая атмосфера маскарада и инкогнито маски сообщают подчас, при известном умении и такте со стороны женщины, столько заманчивого и увлекательного интереса.

В какой-нибудь час времени легонький Жаночка был окончательно заинтересован, оболещен и алкал в душе счастливого увенчания этой неожиданно счастливой интриги. Он очень хорошо успел заметить, что дама его обладает маленькой, изящно сформированной и щегольски обутую ножкой, что у нее свежий молодой голос, что край щеки и слегка открытая часть шеи просто поражают своею свежестью молодости. Он попросил ее снять хоть одну перчатку, в чем ему не было отказано, — и убедился, что эта маленькая, белая, нежная и мягкая рука с длинными пальцами, на которых сверкало несколько дорогих колец, создана природой с таким счастливым совершенством, какое не оставило для него сомнений в том, что женщина, обладающая столь живыми, прелестными глазами, таким цветом и нежностью кожи, таким молодым звуком голоса, такою ножкой и такою рукой, — необходимо должна быть молода и обаятельно прелестна. Ее манеры, походка и та особенная грация, с которою она умела держать себя, внушали ему убеждение, что его маска — женщина далеко не заурядная, и изящная скромность роскошного по цене наряда, и эти дорогие кольца служили живым доказательством, что она женщина с большим вкусом и тактом, притом женщина весьма достаточная, а может, и совсем богатая, — одним словом, Жаночка в упоении своем был убежден, что имеет дело с женщиной «совсем порядочной» — и это необычайно льстило его сердцедающему самолюбицу.

— Послушай, маска, — сказал он между прочим, взглянув на свои часы. — Время уже довольно позднее... не позволишь ли мне предложить тебе поужинать и выпить со мной бокал хотя в честь счастливого случая, который внушил тебе мысль дотронуться до меня веером?

— Пожалуй, — согласилась она. — Только здесь я не стану ужинать, а если хочешь — поедem ко мне; у меня это будет гораздо спокойнее и удобнее, и даже

вкуснее... Я вообще не люблю ужинов ни в каких общественных местах и нахожу, что у меня дома это гораздо лучше.

Жаночка очень удивился такому неожиданному приглашению и засмеялся. Он не знал, что ему подумать: как это вдруг ехать ночью ужинать с незнакомой женщиной в незнакомый дом, и потом — не обойдется ли ему слишком дорого такая любезность?.. Может, у нее там муж или брат, и не ловушка ли это какая-нибудь?.. А если и не это, то, может, она — кокотка высшего полета, которой придется заплатить за ее гостеприимство такую сумму, какой не ощущал в данную минуту в своем бумажнике сконфуженный Жаночка.

Женщина заметила и, кажись, угадала истинную причину его внезапного смущения.

— Я живу совершенно одна, — пояснила она своему кавалеру. — И если приглашаю тебя к себе, то это потому, что хочу доставить тебе удовольствие провести со мною час-другой вне этой глупой маскарадной толпы, без посторонних глаз и ушей... А здесь это так неудобно, и, наконец, я решительно не могу ужинать в маске.

— В таком случае поедем в любой ресторан? — любезно увернулся Жаночка.

— Pardon! я не привыкла ездить по ресторанам и не люблю их, — деликатно заметила маска с тем оттенком внутреннего достоинства, который опять-таки сбил с толку бедного Жаночку, заставив его снова думать, что он имеет дело с «порядочной женщиной».

— Но... милая маска, и я в свой черед должен тебе сказать, что привык в маскарадах предлагать ужины, а не принимать их от масок, — возразил ей Вантрик, тоже с известного рода внутренним достоинством.

— Это очень дурная привычка, которая мне показывает, что ты привык иметь дело только с женщинами известного сорта, — улыбнулась незнакомка. — Если я приглашаю тебя к себе, — продолжала она, — то это только потому, что ты сам же хотел поближе познакомиться со мною, и я даю тебе к этому хороший случай. В моем доме перед тобой будет уже не маска, а женщина; там — конец маскарадной интриги и начало доброму знакомству, если только ты хочешь.

— О! я от всей души желаю этого! Но... я затрудняюсь только одним...

— Чем это? — серьезно посмотрела на него маска.

— Да как тебе сказать... я затрудняюсь, что как это вдруг... в незнакомый дом... и мы тоже пока еще незнакомы... ночью... Все это, согласись, несколько оригинально, странно... Я, право, не знаю...

— Ты боишься ехать со мною? — спросила она с заметной иронией. — О, мой герой! неужели ты способен раздумывать и трусить пред женщиной?.. Я этому решительно не хочу верить!

— О нет! — поспешил возразить Жаночка, задетый за живое последним замечанием. — Я готов хоть тысячу раз доказать тебе, что я далеко не трус! Но меня останавливает некоторая странность твоего предложения: это так не похоже на наши обыкновенные маскарадные интриги... Я, признаюсь, никогда еще не был героем подобного приключения...

— Ну, так будь! — задорно и настойчиво подстрекнула она, сжав его руку. — Неужели тебя может остановить только одно, что это непохоже на то, как обыкновенно у вас делается? Ты находишь, что это оригинально? Прекрасно! Я сама тоже несколько оригинальная женщина. А чтобы успокоить тебя еще более, повторяю, что я живу одна, совершенно независимо и хочу иногда удовлетворять своим капризам, если мне придет к тому охота. Довольно ли с тебя этого, мой рыцарь?

— Довольно, однако... еще один вопрос, милая маска!

— Что ты хочешь?

— Мне было бы интересно знать, почему твой выбор пал именно на меня?

— Потому что ты мне нравишься!

— Но... что за цель, наконец?.. Не может же быть, чтоб это было так, просто?!

— Фу, какие вы все ничтожные люди! — подавшись несколько в сторону и выдернув от него свою руку, с легкой досадой сказала маска. — Из вас никто, кажись, не может понять отношений без какой-нибудь особой, посторонней цели! Вы все так уже привыкли или покупать себе любовь женщины за деньги, или брать ее за то, чтобы оказать ей взамен какую-нибудь постороннюю услугу; у вас все это так разменяно на мелочь, что вы даже не допускаете и возможности простого каприза со стороны женщины, простого увлечения без какой-нибудь



agrière pensée! Что за жалкие люди!.. Прощай! Очень сожалею, что потеряла с тобою время!

И она юркнула в сторону от Вантрика.

— Beau masque!.. écoutez... un mot...<sup>2</sup> Бога ради!.. Одно только слово! — кинулся за нею вдогонку ошеленный Жаночка.

Он вдруг самым живейшим образом почувствовал себя в положении собаки, у которой неожиданно вырвали из зубов самый лакомый кусок. Теперь ему уже захотелось во что бы то ни стало возратить себе благосклонность этой хорошенькой и капризной маски. Продираясь вдогонку за нею сквозь волнуемую толпу, он даже страдал внутренно и с досады наградил себя названием осла и барана за свои глупые сомнения перед таким редким, оригинальным и счастливым случаем.

— Маска... Au point du ciel!..<sup>3</sup> Одну только минуточку! — вопиющим и умоляющим полусшепотом лепетал Жаночка, достигнув наконец до своей искусительницы.

— Et bien?<sup>4</sup> — холодно, с надменной небрежностью повернула она к нему свою изящную головку.

— Маска! — жалостно умолял ее Вантрик. — За что же такая немилость?.. За что ты меня вдруг оставила?

— За то, что ты рассердил меня.

— Но я готов на коленях умолять тебя.

— Ах, это было бы эффектно, в особенности в этой зале! — засмеялась она в ответ на его фразу.

— Ну, прости меня!.. Я — твой! твой бесконечно!

— Merci!.. Теперь мне тебя уже не нужно. Ты не сумел воспользоваться моим капризом — и я вижу, что ты не стоишь его...

— Но ты беспощадна.

— Настолько же, насколько хороша собою.

— О, клянусь, я это чувствую, как никто в мире!

— Чувствуешь?.. Ну, так знай же, что я тебя не заставила бы раскаиваться, если бы ты был посмелее и решился ехать со мною.

— Я готов, хоть на край света! — воскликнул Жаночка, почувствовав в себе окончательную решимость ввиду столь обаятельного соблазна, который стал ему

---

<sup>1</sup> задней мысли! (Фр.)

<sup>2</sup> Прекрасная маска!.. послушайте... одно слово (фр.).

<sup>3</sup> Во имя Неба!.. (Фр.)

<sup>4</sup> Ну что? (Фр.)

тем дороже, что совсем уже готов был ускользнуть от него. — Я готов, куда хочешь, куда прикажешь!.. Повелевай мною!

— Н-нет, ты слишком мнителен, — сказала маска в колеблющемся раздумье. — Ты разочаровал меня несколько, а я не люблю нерешительных людей.

— Я докажу тебе противное! — горячо и страстно убеждал Жаночка. — Требуй, чего хочешь, — я на все готов, но только едем!.. Ты так обаятельна, ты сделала то со мною, что я решительно не могу теперь расстаться с тобою таким образом!

Маска, слушая его, только улыбалась про себя тихою и коварною усмешкой.

— Будто? — спросила она недоверчивым тоном.

— Удостоверься! Это ведь от тебя зависит!

— Н-нет, ты все будешь думать и сомневаться!

— К черту сомнения! — экзальтированно махнул он рукою. — Если бы ты даже вела меня в разбойничий вертеп — я ни слова не скажу! Теперь я твой, и я всюду пойду за тобою!

— А если у меня и в самом деле есть какая-нибудь особая цель — тогда что? — лукаво поддразнила маска.

— Будь у тебя хоть тысяча самых разнообразных целей, для меня теперь это все равно, потому что у меня, черт возьми, есть моя собственная цель!

— Ах, уже?! — с кокетливым изумлением взглянула на него незнакомка. — А можно узнать какая?

— О, конечно! Я своих целей не скрываю!

— Будто?

— Без всяких будто!

— Даже и по обязанностям службы?

— Ах, оставь ты, пожалуйста, в покое мою службу и обязанности! Мне смертельно надоела эта проклятая служба, и я желал бы видеть человека, который не пожертвовал бы всеми службами на свете за возможность любоваться этою ножкой, этим станом, обладать этою ручкой.

— Довольно: ты начинаешь лгать самыми банальными фразами.

— Клянусь, нет!.. Я увлечен и говорю искренно! Я люблю хорошеньких женщин, и перед ними у меня всякая служба «летит кувырком» — к черту.

— Гм... посмотрим, так ли это...

— Что ты сказала? — не расслышав хорошенько последней фразы, спросил Вантрик.

— Нет, ничего. Я только хотела бы знать, какая это у тебя явилась вдруг цель, перед которою ничего не значат тысячи моих целей?

— У меня? — самая законная! Я хочу только, во что бы то ни стало, доказать тебе, что я вовсе не трус и не мнителен и что у меня есть решимость там, где нужно или где мне хочется. И я теперь от тебя не отстану: ты слишком заинтриговала меня. Если же все это было не более как ловкая мистификация, то я не упущу тебя из виду, я повсюду последую за тобою, я прослежу тебя до порога твоей квартиры и в конце концов узнаю-таки, кто ты такая!

— Похвальная решимость! — засмеялась маска. — Но могу дать слово, что с моей стороны не было тут ни малейшей мистификации или шутки, я совершенно искренно звала тебя к себе и потому вовсе не понимаю, к чему тебе выслеживать меня разными неудобными путями, если я сама предлагала тебе путь самый простой и короткий — ехать со мною, в мой дом, и познакомиться не с маской, а с женщиной. Чего бы, кажется, проще?!

— Ну, так забудь же свою вспышку! Прости меня — и едем! Ведь это было не более как недоразумение! — упрашивал увлеченный Жаночка.

— А ты постарайся заслужить мое прощение? — полусдавалась маска.

— Клянусь всем, чем хочешь!

— Даже и в том случае, если бы у меня оказались какие-нибудь «цели»?

— О, Боже мой, — скорчил Жаночка наивно и ребячьи жалующуюся физиономию. — Ну, к чему ты все преследуешь меня этими «целями»?! Ну, забудь это слово! Оно вырвалось у меня так, сдуру, совершенно случайно!.. С целями или без целей, но только знай — я сдаюсь тебе вполне и безусловно!

— А, это другое дело. Давай твою руку и едем! — умилосердилась наконец капризная маска.

Жаночка ожил. Он поспешил исполнить ее требование и восторженно направился с своею дамой к выходу.

«Черт возьми, не все ли равно? — размышлял он в эту счастливую минуту — более с помощью расходившейся крови, чем рассудком. — И чего я, дурак, сомневался?! Ведь не высекут же меня там!.. А если бы вдруг какая-нибудь подобная неприятность, так ведь можно кричать, звать на помощь полицию, караул, ца-

рапаться, кусаться и мало ли что!.. И наконец... наконец, ведь я не кто другой; ведь со мною и небезопасно шутить подобным образом... Но все это совершенные пустяки! Все это одна только моя глупая мнительность!.. Вернее всего, что эта прелестная маска просто какая-нибудь проезжая барынька, богатая искательница приключений, которой хочется тайком от байбака-мужа всласть пожуировать себе на свободе в Петербурге и которой я понравился как красивый и порядочный молодой человек... Это так, это всего вернее! А я, осел, еще раздумывал!»

Но в ту самую минуту, когда Жаночка искренно посылал себе этот последний укор, маска, не выпуская от него своей руки, вдруг с силою дернула в сторону и стремительно увлекла его за собою. Этот порыв вышел у нее почти бессознательно, почти невольно, и притом он был столь заметно крут и неожидан, что Жаночка не мог пропустить его без внимания.

— Что это... куда ты вдруг кинулась так поспешно... куда ты ведешь меня? — лепетал он, продираясь за нею сквозь толпу.

— Нет, ничего, — успокоила его маска. — Видишь ты этого толстого генерала?.. Я не хотела с ним встречаться: он хорошо знает меня и моих родных... он легко мог узнать меня.

И, остановившись на минуту, она обернулась назад, внимательно следя за кем-то глазами.

Жаночка в данный момент действительно изображал собою осла, влекомого на жертву. Он вовсе не замечал, что взгляд его дамы следит не за толстым генералом, который был не более как первым субъектом, случайно подвернувшимся ей на глаза и потому пригодившимся для наскоро придуманного оправдания. Этот взгляд следил за джентльменом в щегольском фраке, который лениво-апатичной и изящно-небрежной походкой медленно пробирался в толпе.

Джентльмен этот был Платон Васильевич Вельтищев, который, очевидно, только что вошел в маскарадную залу.

Незнакомка, следя за ним глазами, видела, как побежала к нему вдруг какая-то маска и оживленно заговорила с ним о чем-то.

— Ну, едем, едем же скорее! — ласково, но с неулегшейся еще тревогой отнеслась она к Жаночке. — Слава Богу, что генерал меня не заметил!

И они быстро удалились из залы.

## ЖАНОЧКА ЗНАЛ, ЧТО ДЕЛО — НЕ БЕЗ ЦЕЛИ

— Вы подождите меня здесь; я буду к вам сию минуту, только переоденусь, — не снимая маски, сказала незнакомка Жаночке, когда ввела его в небольшую, но роскошную гостиную. — Дуня, — обратилась она к камеристке, — ужинать у вас готово?

— Как же, сударыня! в столовой накрыто. Я уж давно позаботилась.

— Поставьте второй прибор и принесите нам в холодильник шампанского; но только прежде всего, Бога ради, помогите мне скорее раздеться: я ужасно утомилась в этом несносном капюшоне!

И она вместе с камеристкой удалилась в уборную.

— Куда же это я попал? — тщетно задавал себе вопрос бедный Жаночка, который как-то мог в одно и то же время бояться, чтобы его не высекли, и желать представить своей даме убедительные доказательства, что он вовсе не трус и готов быть совершенным мужчиной, столь же мужественным и сильным, сколько светски изящным и любезным. Впрочем — надо отдать ему полную справедливость — последнее желание превозмогало над первым смутным опасением.

Задавая себе все тот же вопрос, Жаночка курил тоненькую папироску и, в ожидании, чем-то он, наконец, разрешится, рассеянно рассматривал дорогие бронзы и недурно написанные картины, как вдруг недоумение его было разрешено самым неожиданным образом.

В комнату легкой и непринужденной походкой вошла хозяйка, слегка шурша своим белым батистовым пеньюаром. Роскошные, чудно золотистые волосы ее были распущены по-домашнему и рассыпались за плечами длинными; густыми и волнистыми прядями.

Жаночка просто ошеломлен от такой неожиданности: перед ним стояла Людмила Сергеевна Коробова.

— Здравствуйте, мой дорогой гость! — весело и просто сказала она, протягивая ему руку. — Видите, я была права, когда говорила, что мы хоть и незнакомы, но знаем друг друга!.. Надеюсь, что с этой минуты мы уже знакомы. Берите меня под руку, и пойдемте ужинать.

Жаночка был так поражен, что не нашелся, чем ей и ответить на такую любезность. Он только почувствовал, как эта женщина просунула ему под локоть свою руку, и почти машинально дал ей провести себя в сто-

ловую. Он сознавал, что теперь ему лучше всего было бы взять шляпу и сухо откланяться. Это благоразумное решение подшептывало ему чувство служебного долга и тех отношений, в которые он, по силе обстоятельств, был официально поставлен к Людмиле как следователь по делу ее мужа; но... как уйти лесным бирюком от такой прелестной женщины!.. Присущая его натуре ласкомость и влечение к столь обаятельному запретному плоду, к которому стоит только протянуть руку и взять беспрепятственно, положительно вязали его по рукам и ногам, всею мощью воспрещая привести в исполнение стоическое намерение относительно добродетельного бегства.

«Черт возьми! Если это жена Пентефрия, то неужели же я буду Иосифом-целомудренным?» — внутренне вопрошал самого себя обольщенный Жаночка.

В небольшой комнате, сплошь отделанной под дуб, накрыт был ужин на два прибора. На столе, освещенном тяжелым бронзовым канделябром, стыло шампанское в сверкающем холодильнике и возвышалась хрустальная ваза, переполненная виноградом и дорогими фруктами; белье, хрусталь, ножи и вилки — все это невольно ласкало глаз своим блеском, лоском, чистотою, и тонкое столовое вино и гастрономические закуски самым соблазнительным образом подкупали аппетит и с достоинством могли послужить самому избалованному вкусу.

Людмила Коробова в этом отношении постоянна за себя. Она знала, на что была, и потому озаботилась приготовить все это заранее самым изысканным образом.

— Вы... всегда это так ужинаете? — совсем некстати сорвался вдруг глупый вопрос у Жаночки, который не успел еще как следует прийти в себя от ошеломивших его впечатлений.

— Постоянно; это моя привычка, — с легкой подавленной улыбкой ответила Людмила. — Садитесь и позвольте мне угощать вас: я хочу быть самой любезной хозяйкой.

Жаночка, успевший достаточно проголодаться с обеда, уселся подле m-me Коробовой и оказал достоподобную честь как ее вину, так и ее ужину.

— Теперь мы будем говорить с вами откровенно и серьезно! — приступила к нему Людмила, после того как Жаночка успел уже осушить два уемистые бокала шампанского, а она налила ему третий и протянула из-под широкого, прозрачного рукава обнаженную красивую руку, с тем чтобы дружески чокнуться с гостем своим

бокалом. — Вы были отчасти правы, — продолжала она, — когда заподозрили во мне особую цель. Признаюсь, она у меня есть... Что делать! Постарайтесь извинить эту невольную женскую хитрость... Мне нужно было говорить с вами, а как иначе это устроить?

Жаночка потщился напустить на себя серьезный вид и даже несколько нахмурился, чтобы изобразить некоторое неудовольствие.

Но Людмила нимало не смутилась его хмурым видом.

— Я хотя и разошлась с моим мужем, — продолжала она, — но... все же я ношу его имя, и, признаюсь вам, мне от всей души жаль этого человека. Скажите, ведь спасти его нет возможности?

— Ни малейшей! — серьезно, деловым тоном заявил Жаночка. — Все улики налицо, и притом собственное сознание вдобавок.

— Но согласитесь, что все дело, которое он затеял, — ведь это крайняя глупость!

— Совершенно согласен с вами! — со сдержанной улыбкой слегка склонил голову Вантрик. — Но, при всей видимой глупости, тут ровно ничего не поделаешь.

— И чем же он за нее должен будет поплатиться?

— Двенадцатилетней каторгой.

— Боже мой! Но это ужасно!.. И притом мое положение — носить имя жены каторжника...

— Брак в этих случаях расторгается; вам стоит только пожелать этого.

— Это так; но его-то жаль бесконечно, — с притворно-грустной задумчивостью проговорила Людмила.

— Обратитесь к адвокату, — посоветовал Вантрик. — Мы со своей стороны ровно ничем не можем помочь ему; наше дело — только следствие, и оно скоро уже будет кончено; затем мы передаем его в руки суда; но адвокат тут еще может оказать какую-нибудь помощь.

— То есть что же именно? — насторожила уши Людмила, у которой вдруг ёкнуло тревожно сердце при мысли о том, что Коробов будет спасен и она останется его законною женою.

— Пусть адвокат в защитительной речи в особенности налагает именно на абсурдную глупость всего этого дела, — пояснил Вантрик, — пусть он укажет на суде на ничтожество, на жалкость этого человека, на нелепость всякой подобной агитации в наше время. Это может подействовать.

— И тогда каторги не будет?

— Н-не знаю... Это уже зависит от суда; но, во всяком случае, такой способ защиты может усилить облегчающие обстоятельства. Двенадцатилетняя каторга может быть заменена шестилетней, а то и четырехлетней; а могут и просто сослать куда-нибудь на поселение.

— Стало быть, он все-таки не избежит наказания?

— Ни в каком случае!

Людмила грустно задумалась, как бы размышляя о чем-то.

— Знаете, что меня более всего убивает? — подняла она голову после некоторого молчания. — Это именно глупость, ужасная глупость этого дела!.. Говоря откровенно, для моего самолюбия было бы гораздо легче сознавать себя женою негодяя, преступника, но умного человека; но носить ославленное имя жены такого жалкого, ничтожного глупца — вот что ужасно!.. Для меня, ей-Богу, было бы легче, если бы дело было поставлено так, чтобы Коробов хотя бы перед общественным мнением не вышел таким ничтожеством!

— Но ведь это усилит его наказание, — возразил Вантрик.

— Э, Боже мой! Не все ли равно! — с горечью махнула она рукою. — Он так хил здоровьем, что, во всяком случае, не перенесет даже и нескольких месяцев каторги. Поэтому, в сущности, решительно все равно, на четыре ли года или на двенадцать лет! Но главное, если бы тут можно было только скрыть как-нибудь эту глупость, глупость несчастную!.. По-моему, уж лучше бы дать делу самый серьезный оборот, насколько это будет возможно.

Вантрик только пожал плечами.

— Ведь тут и мое имя будет фигурировать? — помолчав, спросила Людмила.

— Без сомнения, если ваш муж останется при своем последнем показании, — подтвердил следователь.

— Ах, это ужасно! — содрогнулась она, подняв свои плечи. — Эта публичность, этот скандал... Какое, в самом деле, несчастье быть женою глупого и ничтожного человека! Ведь если я и разошлась с ним, то только по этой причине, — беззастенчиво солгала Людмила, будучи, впрочем, сама убеждена, что высказывает самую святую правду. — Ну, посудите сами: писать такие яростные прокламации и в то же время невыносимо преследовать и оскорблять женщину своею нелепою ревностью, проповедовать на словах свободу чувства и ли-



шать малейшей свободы свою жену... Я через это совершенно потеряла к нему всякое уважение.

— А вы стоите за свободу чувства? — с пошлой игривостью спросил Жаночка, на которого успело уже подействовать шампанское, а еще более — близость прелестной женщины.

— Я это доказываю, кажется, моею жизнью, тем, что я разошлась с Коробовым, — скромно потупилась Людмила.

— И прекрасно! И я тоже стою за нее!.. Итак, чокнемтесь за свободу чувства и дайте мне вашу ручку! — предложил Вантрик. — А что касается Коробова, я постараюсь убедить его, чтобы он отказался от своего последнего показания и не компрометировал вас на суде, пощадил бы имя жены своей. На этот счет вы будьте покойны: я сделаю все, что возможно, и надеюсь на успех!

Коробова с чувством протянула и пожала ему руку.

Впрочем, она заботилась вовсе не о том, какая судьба постигает ее мужа. Весь этот серьезный разговор она завела нарочно, чтобы дать какое-нибудь оправдание ее маскарадной интриге в глазах Жаночки, а в сущности цель этой интриги была совершенно иная. Судьбою мужа Людмила интересовалась настолько лишь, чтобы знать, расторгнет ли брак предстоящая ему кара и скоро ли она может сделаться м-ше Вельтищевой. Питая надежду на новый брак, она, конечно, не желала, чтобы имя ее хоть как-нибудь было компрометировано на публичном суде, что могло бы впоследствии повредить ей во мнении общества. Поэтому-то она и протянула так горячо свою руку Жаночке за его последнее обещание. Прямая же, но сокровенная цель интриги требовала для своего успеха вовсе не серьезных разговоров, а напротив — самого веселого, каскадного настроения духа, и потому, чуть лишь Жаночка предложил ей выпить за свободу чувства, она поспешила сочувственно ответить на его тост и, сделав вид, будто совсем уже успокоена и утешена его последним обещанием, больше не возвращалась к серьезным и грустным темам.

Выдерживать каскадное направление с Жаночкой оказалось вовсе не трудно, потому что оно было более всего присуще ему по самой его натуре, по складу симпатий и характера, так что стоило лишь дать ему маленькое поощрение, чтобы он сам уже без удержу шел на дальнейшие подвиги. Напротив того — оно было глубоко противно самой Людмиле, при ее ледяной,

жабьей натуре, но... для достижения цели она твердо решила принести всякие жертвы, как бы они ни были тяжелы и противны. Она умела хорошо притворяться, могла, в случае надобности, возобладать над собою, «взять себя в руки», пересилить себя вопреки собственному отвращению, заставить себя поступать не так, как приказывает чувство, но так, как того требует расчет подводимой интриги, — и это все, благодаря самообладанию и актерству, удалось ей с замечательным совершенством. Каскадное настроение в тех особых, пикантных, но нецинических пределах, в какие умеет направить его остроумная, ловкая и изящная женщина, лилось у Людмилы с Жаночкой обильным потоком, так что через какие-нибудь полчаса, после того как они перешли из столовой в таинственно освещенный и роскошный будуар, Жаночка был уже влюблен по уши, упоен, очарован и готов все забыть ради благосклонной своей маскарадной богини. А она так ловко и кокетливо, с такою опытностью, с таким тонким расчетом дразнила его чувственность, но каждый раз удерживала его в допустимых пределах, при всяком необузданном порыве, при малейшем чересчур уже нескромном ее проявлении. А это еще более дразнило и раздражало злосчастного Жаночку. Но наконец судьба, или Людмила, стала к нему благосклоннее; он уже готовился торжествовать свою победу, как вдруг в прихожей раздался порывистый звонок, за который кто-то дернул сильною и нетерпеливою рукою.

Это внезапное обстоятельство заставило смутиться и побледнеть обоих. Впрочем, Людмила тотчас же овладела собою, оправилась и со внутренней решимостью приготовилась ко всякой неожиданности. Но Жаночка — бедный Жаночка вконец растерялся и струхнул немалую толику. Он уже, как спасения, искал глазами свою шляпу, старался вспомнить, на каком именно месте оставлены в прихожей его галоши, и соображал, как бы удобнее улизнуть или куда бы надежнее спрятаться на случай решительного и скандального нападения. Ему опять невольно как-то стала мерещиться ужасная мысль, которую сам же он признал нелепою, что теперь-то вот придут и найдут его здесь и вдруг возьмут да и высекут!.. И это все в ту самую минуту, когда он так победоносно стремился доказать обаятельной женщине свою смелость, мужество и неустрашимость, столь обидно для самолюбия заподозренные ею в маскараде!

Нетерпеливый звонок повторился в прихожей еще сильнее и как будто с какою-то озлобленностью.

Бледная Людмила хмуро свела свои тонкие, выразительные брови и с решимостью внутренней досады и гнева, закусив губы, кинула искоса ободряющий взгляд на оторопелого Вантрика.

— Бога ради... мое положение... мое положение в свете... по службе... вы понимаете — мое положение... как я рискую... вы понимаете, — бессвязно бормотал злосчастный Жаночка.

— Будьте покойны, сюда никто не осмелится войти, — с твердостью предупредила его Людмила. — Раз что вы мой гость, вы вполне безопасны.

И вслед за сим, замкнув его на ключ в своем будуаре, она с возможной сдержанностью, внутренне стараясь восстановить в себе необходимое спокойствие, вышла в прихожую и приказала оторопевшей девушке отворить двери.

Девушка отворила — и вдруг с легким криком испуга, в страхе за свою барыню, отшатнулась в сторону: на пороге стоял Платон Васильевич Вельтищев.

#### XIV

#### ЧТО ПРОИЗОШЛО ИЗ РАЗГОВОРА МАСКИ

— Здравствуй, Вельтищев!.. Как я давно тебя не видала!.. Грех забывать, мой друг, добрых знакомых! — пискливым, измененным голосом затараторила маска, уцепившись Платону под руку, почти в ту самую минуту, как Людмила, завидя ее и его, поспешила юркнуть в толпу, увлекая за собою Жаночку. Платон Васильевич с первого раза не узнал привязавшуюся к нему маску. Не зная, как убить остаток своего времени, он только что приехал сюда с одного вечера, уговоренный двумя приятелями посвятить его заодно с ними маскарадному безделью.

— Тебя, вероятно, привела сюда ревность? — назойливо продолжала меж тем пискливая маска.

— Ревность? — апатично обернулся на нее Вельтищев.

— Ну, конечно, ревность!.. Что ж, тут ничего нет удивительного!.. Бедный Платон! Как мне жаль тебя!

— Что ты за вздор говоришь! — небрежно усмехнулся он. — Какая ревность? К кому?

— Ах, Боже мой, скажите пожалуйста! Он еще притворяется!.. «К кому»? Понятное дело, к твоей скверной Людмилке!

— Ну, с подобными нелепостями ты можешь оставить меня в покое! — довольно грубо оборвал Вельтищев и попытался бесцеремонно выдернуть от маски свою руку, но маска обвилась вокруг нее довольно-таки цепко.

— Это вовсе не нелепость! — с уверенностью принялась она оспаривать. — Я сама сейчас видела, как она гуляла здесь с одним интересным блондином, и даже разговор их подслушала! А если тебе приятно ходить с рогами, так не верь, пожалуй!.. Это, впрочем, достойное наказание тебе за то, что ты из-за какой-нибудь дряни, которая держит тебя под башмаком, пренебрегаешь чувствами женщин, которые искренно тебе преданы.

Вельтищев с неудовольствием взгляделся пристально в пискунью и вдруг отступил в немалом изумлении.

— Ольга Романовна!.. да вы ли это?! — воскликнул он, рассмеявшись. — И скажите на милость, что это вдруг за охота пришла вам мистифицировать меня таким глупым образом?

— Я вовсе не мистифицирую вас, Платон Васильевич, вовсе не мистифицирую! Напрасно так думаете! — с печально-торжествующим видом возразила нежная маменька Людмилы. — К прискорбию, все это сущая правда... и хотя она дочь моя, но я не могу скрыть от вас подобной ее наглости!

— Да расскажите, Бога ради, толком! — нахмурился Платон. — Я ровно ничего не понимаю! Она писала мне сегодня, что чувствует себя не совсем-то здоровой и потому просит не приезжать к ней вечером.

— Ага! так вот оно что! — злорадно подхватила экс-балерина. — Не приезжать вечером... нездоровая, а сама небось тем часом в маскарад да интрижки заводить с халахонами? Ну-с, Платон Васильевич, и вы все еще не верите, что она украшает вас оленьими рогами?!

— Я вас прошу прежде всего рассказать мне толком, в чем дело? — настойчиво и серьезно повторил Вельтищев свою просьбу.

— Да что рассказывать?.. Гнусность, самая позорная, неблагодарная гнусность, и только... Вы знаете, я очень люблю маскарады, — начала Ольга Романовна, которая действительно весьма любила их по старой памяти и ездила на них, чуть лишь представлялась ей малейшая к тому возможность; она каждый раз ехала с приятною

надеждой, что авось-либо ей удастся пленить какого-нибудь «красавчика», но каждый раз надежда эта оставалась тщетною, а Ольга Романовна тем не менее все-таки ездила, потому что маскарадный шум и оживление живо, хотя и несколько грустно, напоминали ей посреди скучной и будничной жизни настоящего кипучую жизнь ее золотого прошлого. С этим самым чувством попала экс-балерина и в сегодняшний маскарад, который никак не хотела пропустить, ибо он был одним из не совсем-то заурядных маскарадов Петербурга.

— Так вот, приезжаю я это сюда, — со злорадно-самодовольною сластью продолжала она свой рассказ Вельтищеву, — и между прочим, походивши да посидевши, заглянула в уборную. Глядь, ан перед зеркалом стоит какая-то дама, расфуфыренная, разодетая в черный бархат, в черное атласное домино, и, снявши маску, оправляет что-то свою прическу. Я мимоходом-то и даже совершенно случайно заглянула в рожу, смотрю — а это моя Людмилка проклятая стоит и оправляется! Меня так и взорвало! так и хотела ей, подлой, вцепиться в волосы, потому — вы знаете — мы с ней в ссоре, в жестокой ссоре, с того самого раза, как она вас у меня застала после нашего обеда у Бореля-то. Так мы с нею с тех пор больше и не видимся: ни она ко мне, ни я к ней ни ногой! Но, однако же, я себя сдержала, потому, думаю себе, из этого, кроме скандала в публике, ничего хорошего не выйдет. Тяжко мне это было, признаюсь вам, очень даже тяжело, но все же я себя пересилила, перемоглась и наблюдаю за нею, делая вид, как будто вовсе даже и не знаю ее, и она тоже не узнала меня под маской-то. Я было думала, что она с вами сюда приехала, но только гляжу — а она тщательно эдак закутала голову в капюшон, чтобы никому невозможно было узнать ее, и выходит в залу и через сколько-то времени вдруг подходит к какому-то молодому человеку, очень интересному блондину. «Э! — думаю себе. — Вот оно что! Интрижка!.. Погоди ж ты, матушка!» И, приблизившись к ним сторонкой, будто совсем случайно, стала осторожно эдак прислушиваться к разговору, ну, и услышала кое-что!.. Нда-с, Платон Васильевич, услышала!

— Да что такое? Говорите скорей! — нетерпеливо перебил Вельтищев широковещательное повествование нежной маменьки.

— А то, что молодой человек зовет ее в ресторан, а она ему — нет, говорит, лучше поедem ко мне на квар-

тиру; у меня, говорит, все это можно сделать гораздо спокойней и удобнее. Какова мерзавка-с?! а?.. «удобнее». Как не удобнее, когда один будуар каких шальных денег стоит! Я думаю, что удобнее! Вот вам и благодарность, Платон Васильевич. Эдакой уж гнусности даже и от нее никак не ожидала!

— Вы все это врете! Я не верю вам! — энергично стиснув ее руку, сказал Вельтищев голосом, в котором злобно и болезненно дрогнула струна внутреннего страдания.

— Пес врет, милый друг мой, а я — слава тебе, Господи, — кажись, пока еще человек, а не собака! — обидно возразила маменька. — Что мне за цель врать-то вам? Уж скорей же бы я, как мать, заботилась о ее счастье, должна бы покрыть ее при таком случае, но я не могу... не могу! Вся душа моя возмущается!.. А вы, если сомневаетесь, так лучше всего возьмите да и поезжайте к ней, как снег на голову — накроете! Теперь они, наверное, там вдвоем наслаждаются, воркуют... счастливы, поди-ка, смеются себе да коронуют вас оленьими на просторе-то, а вы себе сидите! Ничего, и без вас обойдется!

Вельтищев, тяжело дыша, с конвульсивным движением в мускулах щеки, нервно заскрипел стиснутыми зубами.

— Оставьте меня... уйдите прочь! — проговорил он наконец таким грозным шепотом, что нежная маменька оторопела сразу и, поджав хвост, поспешила от него удалиться.

Вельтищев, сраженный этою новостью, едва волоча ноги, прошел в одну из боковых комнат и опустился на диван в наиболее уединенном уголке.

Тяжело опустив на руку свою голову, он долго просидел там таким образом, без движения и даже без какой-либо определенной мысли: чувство ревности и оскорбления всецело угнетало его душу. Ему и верилось и не верилось словам Ольги Романовны, хотелось удостовериться, и в то же время он боялся удостовериться в такой страшной истине. В пересохшем рту и в глотке его ощущалась какая-то вязкая горечь. Он прошел наконец в буфет и залпом выпил бутылку сельтерской воды. Это несколько освежило его и даже успокоило отчасти настолько, что он мог теперь думать, соображать, жить не одним подавляющим чувством, но и мыслью. Ненависть, горечь оскорбленной любви, презрение и ревность — все это разом томило его душу; но, размышляя, что ему

теперь остается делать, он остановился на мысли, что прежде всего следует во всем удостовериться собственными глазами и тогда уже кончать так или иначе. Он решился, наконец, отправиться к Людмиле.

Отвергнув услуги назойливых извозчиков, Платон в распахнутой шубе (ему было душно) пешком пошел по пустынной улице, стараясь вдохнуть в себя как можно более холодного воздуха — и воздух, вместе с мощионом, произвел на него свое освежающее и успокоительное действие. Теперь он еще спокойнее, чем давеча, мог обдумать предстоящее ему поведение. Он пришел к мысли, что любовник, кто бы он ни был, несравненно менее виновен, чем Людмила. «Он даже совсем не виноват!.. Сама того захотела, а из нас кто ж бы отказался... виновата она — она одна и никто больше! Что сказать ей?» И вот, раздумывая дальше, Вельтищев нашел, что никакой трагедии, а тем более мелодрамы разыгрывать ему отнюдь не следует, а просто тихим и спокойным образом высказать этой женщине свое достойное презрение и холодно оставить ее. Приходило много и других решений, но все они как-то сбивались и путались одно с другим, так что несколько утомленная мысль его в конце концов возвращалась все-таки к решению наиболее благоразумному, что «из-за такой презренной твари не следует делать шумного скандала и тем ронять свое достоинство и свое положение в обществе»; но при этом Платон сомневался в одном: хватит ли у него настолько спокойствия и выдержки, чтобы с таким пройти до конца свою роль, и не пересилит ли в нем кипучее чувство живого оскорбления и ревности? Закруженный водоворотом таких чувств и мыслей, он, с замиранием сердца, нервно дернул тревожно дрогнувшего рукою звонок у входной двери своей любовницы.

\* \* \*

— Платон Васильевич!.. это вы? — словно бы стараясь разглядеть, прищурилась на него Людмила.

— Да-с... это я, — с усилием произнес Вельтищев надтреснутым голосом, неясные и хриплые звуки которого как-то обрывались и заседали в горле.

— Я вас не могу принять сегодня, — спокойно предварила его Людмила.

— Я это знаю... но... я приехал нарочно... я думаю, что имею право быть здесь... я нарочно желаю только удостовериться...

— В чем это? — слегка повела она недовольною бровью.

— В том, что вы, рапортуясь больной, находите возможность быть тайком от меня в маскараде...

— Ну, так что ж из этого?

— То, что так могут поступать только бесчестные женщины! — резко и нервно возвысил он голос, чувствуя, что не в силах сдержать и превозмочь себя, что резкие ноты вырываются из заклокотавшей груди даже помимо его собственной воли.

— Тссс! — строго и спокойно остановила она его, выразительно подняв свой указательный палец. — Прошу не забываться и не кричать, а относиться ко мне с уважением, как всегда! Полно, Платон! не дури попустому! — перешла она вдруг к самому искреннему и дружескому тону. — Поезжай лучше домой и ложись себе с Богом спать, а завтра я объясню тебе все, как следует, и ты сам увидишь, что твоя выходка неосновательна и забавна просто до смешного!.. Я бы желала, чтобы ты гораздо более верил в меня и не забывал, что я готовлюсь быть твоею женою.

— И вы имеете бесстыдство говорить это, когда я знаю, что у вас за дверью сидит ваш новый любовник?

— Клянусь вам, что, кроме вас, у меня пока еще нет никакого любовника, — с чистосердечным открытым видом и честным голосом произнесла с достоинством Людмила. — Не оскорбляйте меня, Платон Васильевич, вашими подозрениями!

— Как! так вы невинны?.. А это чье пальто висит? — указал он вдруг на вешалку.

— Господина Вантрик, — спокойно ответила Коровова.

— Чье-е? — отступил шаг назад Вельтищев.

— Господина Вантрик, говорю вам. Это следовательно по делу моего мужа, который действительно сидит теперь у меня.

— Гнусная, развратная женщина! — заскрежетал Платон, выказывая явное намерение идти во внутренние комнаты.

— Ни с места!.. Стойте! — спокойно и твердо, с сознанием своей силы остановила его Людмила. — Довольно уже оскорблений! Если угодно, я вам скажу правду: в настоящую минуту я добываю ваши документы — понимаете ли это?.. И если вы только осмелитесь насильно помешать мне, то я тотчас же выдам вас с го-



ловою!.. Ступайте же вон и оставьте меня кончать мое дело.

Вельтищев, обезоруженный этим магическим словом, смущенно поникнул и вышел из квартиры Коробовой.

\* \* \*

— Что там такое случилось? — тревожно заезгил Жаночка, все еще не успевший успокоиться, когда Людмила выпустила его из заточения в своем будуаре.

— Ничего особенного! — совсем спокойно и равнодушно ответила она. — Приезжал Вельтищев, просил позволить ему посидеть у меня, но я его спровадила, сказала, что едва сейчас вернулась из маскарада и что страшно устала, чувствую головную боль и ужасно спать хочу, — он и уехал подобра-поздорову!

— Но... ведь он, пожалуй, может еще вернуться? — опасливо и осторожно осведомился Жаночка.

— Э нет! на этот счет можно быть совершенно спокойным! У меня против него талисман есть — ей-Богу! — шутя уверяла Людмила. — Одним словом, все это совершенные пустяки, которыми нечего тревожиться, а лучше постараемся поскорее забыть эту маленькую неприятность и... будем счастливы! — с увлечением закончила она, нежно протягивая Жаночке свои дивные, до совершенства женственные и красивые руки.

\* \* \*

Вельтищев, выйдя от Коробовой и услышав за собою звук замыкаемой на крючок двери, не ушел домой спать, как советовала ему Людмила, а долго и долго еще оставался в потемках на лестнице, у порога ее квартиры.

Бессильная злоба и жгучая ревность душили и грызли его душу. Он и сам не мог бы дать себе отчета — зачем и для чего остается на лестнице, чего хочет, кого и чего ожидает, но он чувствовал, что так надо; — надо, непременно надо ему быть здесь и подкарауливать... Из хаоса мыслей и ощущений стало наконец с большею ясностью выделяться в нем одно определенное намерение: удостовериться, до которого часа останется Вантрик у Людмилы. «Если долго... если до утра, — с мрачною тоскою думал Вельтищев, — тогда нет сомнения...» Ему все еще хотелось сомневаться, потому что сомнение все же было легче, чем окончательное убеждение в ужасном

для него факте; в сомнении была теперь для него даже какая-то отрада, правда, очень маленькая, но все же лучше думать, что, может быть, действительность и вовсе не так ужасна, что все это только кажется в таких размерах его воображению, возбужденному ревностью и оскорбленным чувством, что Людмила только увлекает, путает в свои сети этого чиновника, но не переступит известной черты, за которую так трепетал теперь Вельтищев.

Лучше бы было ему действительно отправляться домой и лечь спать, последовав сразу благоразумному совету Людмилы!..

Время проходило, а Платон все еще стоял на лестнице. Он с жадностью напрягал чуткое ухо, прислушиваясь у двери, в надежде, что до него донесется хоть какой-нибудь звук, голос, смех, шаги, музыкальная нота, аккорд рояля, стук посуды — одним словом, хоть какой-нибудь намек на живое движение, который бы мог поддержать в нем еще столь желанные сомнения, — но за замкнутой дверью все было тихо и глухо, все дышало ненарушаемым спокойствием сна и ночи.

Минуты тянулись мучительно долго, и с каждой новой минутой все менее оставалось места сомнениям.

Вельтищев спустился вниз, вышел из-под ворот на улицу и перешел на противоположный тротуар: он чаял увидеть свет в окнах Людмилы — и как бы хотелось ему увидеть этот свет, хоть немного успокаивающий душу и еще оставляющий маленькое место сомнениям! Но, увы! в окнах было темно. Платон подошел к фонарю и при свете его взглянул на свои часы. Стрелки показывали половину седьмого. На востоке начинало сереть уже предрассветным отсветом.

Вельтищев вернулся на лестницу и стал внизу, почти на том же самом месте, где некогда стоял и Валерьян Коробов, быть может испытывая подобные же муки, причиной которых был тогда сам Вельтищев.

«Так-то вот и меня поджидал он, — подумалось Платону при воспоминании о встрече с Валерьяном, — на этом самом месте, в день убийства кузена Макса».

Ему пришла нелепая, но злобно-отрадная мысль — дожидаться здесь до той минуты, когда счастливый соперник будет сходить с лестницы, кинуться на него внезапно и задушить собственными руками.

В первые минуты Вельтищеву казалось — и казалось до полного, глубокого и непреложного убеждения, —

что он дождется и непременно приведет в исполнение свой план, непременно задушит Вантрика.

Раза три после этого он осторожно подымался вверх на лестницу, в намерении во что бы то ни стало пробиться в квартиру Людмилы, застать обоих на месте и покончить с ними; но каждый раз, как рука его готова уже была дернуть звонок, — решимость и мужество покидали его душу. Он безотчетно поддавался малодушной робости — и это сознание своего бессилия с каждым разом только усугубляло его страдания и муки.

«Хотел же убить меня Коробов... и не убил, — с горечью думалось Платону. — Может, и он испытывал то же... и не убил... И я не убью... Где уж убить!.. едва ли... Ведь это нелепо!.. И за что?.. да и хватит ли решимости?..»

И вдруг Вельтищеву так живо представилась его Людмила, со всем обаянием ее красоты и тела, в объятиях этого ненавистного Вантрика; и вдруг при этом он почувствовал самого себя таким жалким, ничтожным, отверженным и глубоко несчастным человеком, что, рухнувшись локтями и грудью на перила лестницы, истерически зарыдал и заплакал едкими и трудными слезами.

На дворе уже светало.

Вельтищев смутно осмотрелся вокруг. Рыдания и слезы произвели реакцию в его напряженном внутреннем состоянии: он утихомирился грустно, но уже не так подавленно, как до этих слез. Он чувствовал тяжкую усталость, разбитость, озноб во всем теле. Бессонная ночь, проведенная на холодной лестнице, только теперь дала ему себя почувствовать.

Платон решил, что ему не дожидаться Вантрика и что глупо же, наконец, в его годы проводить ночь, подобно влюбленному мальчишке, ревнуя свою содержанку и не смея войти в ее квартиру. Он сознал, что в поведении его было много смешного и жалкого. Однако же ревность и теперь все-таки продолжала внутри него свою грызущую работу, вопреки этому сознанию рассудка, но и ревность, несмотря на всю ее силу, должна была смириться, спрятаться и признать себя бессильной перед тою страшною угрозой Людмилы, посредством которой она держала в руках судьбу и честь своего невольника. Вельтищев ни с чем уехал домой уже при свете серого утра.

## МИРУ И ПОКОЮ

Состояние души Платона Васильевича было таково, что требовало, для собственного облегчения, вылить перед чьей-нибудь другой сочувствующей душою всю боль и горечь его ревности и оскорбления. Горесть Вельтищева была не из числа тех глубочайших человеческих страданий, которые не ищут никаких излияний даже перед самым сочувственным человеком, а напротив того — уходят сами в себя, в глубь души, и там сосредоточиваются и зреют в неразделенной и ненарушимой тайне глубокого молчания. Горесть Вельтищева происходила из оскорбленного самолюбия, основываясь прежде всего на том, что как-де смела эта женщина, принадлежащая мне, предпочесть другого. Это был первый и самый видный мотив его страданий. Был еще и другой мотив, не менее сильный, — то есть чувство животной страсти и капризной привязанности не к какой другой, а вот именно к этой самой женщине, которая знает, чувствует и понимает свойство и характер этой страсти и, понимая его, сознает свою силу над человеком, имевшим роковое несчастье увлечься ею, и потому господствует над ним и эксплуатирует в свою пользу. Источник подобных чувственно-капризных, мономанически влекущих к известной женщине страстей хоть и никак не относится к высоким проявлениям человеческого духа, но тем не менее это источник сильный, иногда глубоко коренящийся в животной стороне человеческой природы и могуче ее захватывающий. Самое роковое, что есть в подобном чувстве, это — физическая привычка к известной женщине, и сила этой ужасной привычки такова, что заставляет человека забывать и прощать женщине то, что могло бы быть, пожалуй, прощено, но уж никак не может быть забыто. И вот подобною-то роковою страстью к Людмиле были одержимы два человека: Валерьян Коробов и Платон Вельтищев. Правда, надо сказать и то еще, что не каждая, даже очень красивая, женщина может возбуждать к себе подобные страсти; их возбуждают иногда женщины далеко не красивые, далеко сами по себе не страстные, но в которых *что-то есть* — что-то особенное, раздражающее, манящее, и это *что-то* составляет загадочный талисман их магнетической природы. Подобною женщиной можно только родиться, но *сделаться* ею нельзя.

Вельтищев, ревнуя и страдая, был еще и зол на Людмилу. Он чувствовал дурную бабью потребность — просто поругать ее всласть перед кем-нибудь, унижить, втоптать ее в грязь; выразить перед кем-нибудь всю меру злости и презрения — главное, презрения к ней, и тем облегчить хоть сколько-нибудь свою собственную душу.

Но кто ж бы мог быть таким сочувственным ему человеком, перед которым можно бы было удовлетворить этой душевной потребности? Ольга Романовна? Она, пожалуй, и сама весьма не прочь поругать свою дочь и соперницу; но Ольга Романовна больно уж противна своей собственной старушечьей любовью и нежностью. Ирина Вельтищева? Да, Ирина в этом случае представилась Платону самым подходящим человеком. Он решил ехать к ней, тем более что чувствовал себя неправым перед нею, так как в последнее время, за всеми этими передрыгами, решительно оставил ее без всякого внимания.

Хоть и Ирина тоже недавно стала ему противна как женщина (да и кто ж из них не был ему противен, кроме Людмилы?), но все же это было существо теплое, безгранично любящее и некогда весьма ему близкое, — наконец, существо, связанное с ним грехом и преступлением. «В этой женщине, — думалось Вельтищеву, — быть может, еще отыщется доля теплого участия и доброе, дружеское слово». Итак, он поехал к Ирине.

В первые минуты встречи она, конечно, обдала его холодом.

Да и чего ж другого можно было ожидать ему после того, что произошло при ней на допросе Валерьяна Коробова, где ей раскрыты были глаза, где она ясно убедилась, что у нее есть более счастливая соперница, что она брошена и обманута?

Но он выдержал этот первый холод не смутясь, так как знал наперед, что сначала без него дело никак не обойдется.

— Ты вправе на меня сердиться, — приступил он к необходимым объяснениям. — Я понимаю это; я должен казаться тебе, конечно, очень нехорошим человеком, но выслушай меня, дай мне рассказать тебе откровенно все дело, и тогда ты, может быть, взглянешь на него иначе.

— Не все ли равно мне, Платон, — грустно возразила она. — Каково бы ни было твое дело, но все же я была обманута... И это было в те самые минуты, когда... Ужасно вспомнить!

И она с нервным содроганием закрыла глаза ладонью.

Вельтищев с жаром бросился перед ней на колени.

— Выслушай!.. выслушай, дорогая моя! — молил он, покрывая поцелуями ее руки. — Это гадкая, отвратительная женщина, которую и ненавижу и презираю всеми силами души своей!

В выражении лица и звуке голоса, которым были произнесены эти слова, послышалась вдруг такая искренность, что Ирина с вниманием и серьезным удивлением посмотрела на своего друга.

— Да, да, я презираю ее, и это — единственное чувство, которого она достойна! — горячо продолжал Вельтищев. — Слушай — я не скрою от тебя, — было время, когда я минутно увлекся ею... Она сама того хотела... Но ведь это же продажная женщина, и ты не должна унижаться до ревности к ней!.. Я заплатил ей за это мимолетное увлечение — и вот все мои отношения к ней!.. Давно все кончено, тем более что она очень дурная женщина!

Вельтищев лгал, но ему самому казалось в эту минуту, что он говорит в высшей степени искренно; он сам верил, будто все это так и есть, все это правда.

— Однако же ты отнял ее у мужа, ты сделал его несчастным человеком, — с серьезным упреком возразила Ирина.

— Клянусь, нет! — воскликнул с жаром Вельтищев. — Она и до меня уже по разным клубам была известна как искательница приключений; они вместе с своею достойной матушкой этим занимаются — ведь мать всегда торговала ею!.. А этот жалкий чудак — он или слеп был, или глядел сквозь пальцы; но, во всяком случае, он жестоко заблуждается, думая, что я первый отнял у него жену...

— Отчего же ты не возражал ему на допросе? — усомнилась Вельтищева.

— Возражать?! унизиться до возражений, до препирательства с каким-то проходимцем?! Полно, Ирина!

— Но какими судьбами у этой женщины очутились бумаги? — задала она новый вопрос. — Стало быть, ты еще продолжал с нею отношения и после смерти Макса?

— Нет! отношения были кончены! — отрекся Платон Васильевич. — Ведь уже я говорил тебе раньше, что она успела, еще гораздо прежде, вытянуть с меня вексель на тысячу рублей, и в тот раз я привез ей к сроку деньги, чтобы окончательно развязаться. Бумаги,

говоря тебе, были второпях случайно позабыты мною, потому что я ни одной лишней минуты не хотел оставаться в этом подлом вертепе, и если бумаги до сих пор оставались у нее, то это тебе лучшее доказательство, что я у нее не был с того разу, а иначе они были бы мною взяты!

— Хорошо; но как же ты не хватился вскоре? Как ты мог так спокойно оставить их у нее? Ведь это документы!

— Я не придавал им значения, и, наконец, я не знал, что они забыты мною у этой женщины, — отговаривался Вельтищев. — Я думал просто, что потерял, обронил их где-нибудь или что они завалились у меня между другими бумагами. Я узнал об этом только тогда, когда она уведомила меня, что у нее был обыск и что вместе с ее бумагами захвачены и эти документы. За это извещение я ей даже очень благодарен, — продолжал Платон, — потому что, представь ты себе, если бы мы не были предварены и я не научил бы тебя, как и что показывать, — представь, что нас, ничего не подозревающих, требуют вдруг на следствие и неожиданно предъявляют эти документы? Ведь оба мы могли бы подумать, что это какая-нибудь ловушка, что это касается не коробовского, а *нашего* дела, что нас подводят, хотят взять врасплох. Ведь, согласись, мы так легко могли бы спутаться, сбиться в показаниях, наконец, просто смутиться до того, что выдали бы себя головою!

Вельтищев оправдывался более или менее удачно. Это сцепление лжи сознательной и бессознательной, вместе с тем неподдельным жаром и презрением, которые внушали ему оскорбленное чувство и ревнивое воспоминание о Людмиле, придали его словам в глазах Ирины значение полной искренности. Теперь она была еще раз обманута, но этот обман был баюкающего, успокоительного свойства: она создалась себе, что сделала чересчур быстрое и резкое заключение о своем любовнике, что если у него и было когда-то увлечение «этою женщиной», то до того ничтожное, что она не может считать ее своею соперницей, что нравственно он оставался верен ей, Ирине, и что она одна только и до этой минуты царит в его сердце.

Ирине было легко уверовать в это, потому что — в силу извечных свойств природы своей — женщина охотно верит тому, чего ей хочется, что отвечает заветным сторонам ее сердца и, наконец, чему ей просто приятно верить. А Вельтищев был большой мастер на уверения,

которые ему в особенности удались теперь, при этой искренней ненависти к Людмиле.

Когда была удовлетворена первая потребность унижить женщину, оскорбившую его ревнивое чувство, унижить хотя бы бранью и резкими выражениями своего презрения, в нем проснулась другая, не менее сильная, потребность — залечить или хотя облегчить боль своей собственной души нежною ласкою и покоящим сочувствием другой женщины, около теплого сердца которой можно бы было отдохнуть и хоть сколько-нибудь забыть свое гнущее внутри оскорбление.

Такой добрый самарянин нашелся для него в образе Ирины. Она думала, что встретила возврат проснувшегося чувства в горячо любимом человеке; она в душе теперь не хотела даже, чтобы это было чувство страсти; напротив — в том угнетенном внутреннем состоянии, в котором не переставала она жить с минуты насильственной смерти мужа, ей более, чем страсть, хотелось бы встретить в Платоне тихую, добрую любовь и хорошую дружбу.

И он тоже, хоть и не высказывая настоящей причины, не мог отдать ей своей страсти, столь исключительно, наперекор всему, принадлежавшей Людмиле и только ею одною возбуждаемой в его сердце. Поэтому и он, и Ирина — оба сошлись теперь по душе так хорошо, так тихо и мирно, так дружески, как никогда еще не сходились до этого времени. Их душам, разбитым и наболевшим, прежде всего нужно было внутреннее спокойствие, отдых, мир и забвение той горечи житейской, в водоворот которой они окунулись, — и это сочувственное спокойствие, эту тихую дружбу они нашли теперь друг в друге. Надолго ли? — такой вопрос не приходил им в голову: они жили теперь только настоятельною нравственною потребностью настоящей минуты.

Ирина высказала свое заветное намерение, свою желанную мечту — уехать за границу, на юг, и там, в каком-нибудь уединенном городке или местечке, прожить хоть один год в сосредоточенном спокойствии, чтобы дать душе своей возможность отдохнуть от всех этих передраг и волнений, которыми была удручена ее жизнь за последнее время. Вельтишев выразил полную готовность последовать за нею. И ему точно так же начала теперь улыбаться перспектива подобной жизни, потому что и его душе хотелось бы более продолжительного отдыха.



## ЛАВРОВИШНЕВЫЕ КАПЛИ

Людмила очень подружилась с Жаночкой. Это было тем удобнее, что оскорбленный Вельтищев вовсе прекратил к ней свои посещения. Он свои дни проводил большей частью с Ириной, а Людмила с Вантриком. На время она совершенно оставила Платона в покое, не тревожа его ни личным появлением, ни записочками и вообще ни малейшим напоминанием о своей особе, чтобы сосредоточеннее и успешнее заняться своим планом относительно Жаночки. Любопытство — знать, что с нею делается и одна ли она или с Вантриком? — любопытство, возбуждаемое ревностью, заставляло Вельтищева предпринимать иногда по вечерам таинственные прогулки в Дмитровский переулок. Но, сколько ни заглядывал он в окна с противоположного тротуара, стараясь разглядеть, что там творится, или увидеть хоть тень ненавистно любимой женщины, сколько ни ходил мимо дома, подкарауливая ее выход, — старания его не увенчались успехом. Войти к ней в квартиру, расспрашивать о ней у дворника или прислуги или же, наконец, поручить кому-либо из них шпионское наблюдение за Людмилой — он не хотел. Первому препятствовало самолюбие, а второму — вместе с самолюбием еще и опасение, что это все может так или иначе дойти до Людмилы, которая сразу поймет тогда, что он ею, стало быть, живо интересуется, что она все-таки остается над ним *силою* не потому только, что держит в своих руках его судьбу, но и потому, что всецело владеет его чувствами.

Между тем Людмила очень хорошо знала об этих вечерних прогулках, которые чем дальше, тем становились чаще, и стало ей это известно благодаря самому простому и пустому случаю, чуть ли еще не с первой же прогулки Вельтищева. Горничная ее, будучи послана за чем-то в лавку, неожиданно, нос к носу, столкнулась с Платоном и даже окликнула его и поздоровалась, но он поспешил поднять воротник, хотя уже и поздно, и притворился, будто он вовсе не тот, за кого его принимают. Такое поведение показалось девушке довольно странным; отойдя на несколько десятков шагов, она издала стала наблюдать за ним и увидела, что он медленными шагами прохаживается мимо дома, а то вдруг остановится и заглядывает в Людмилины окна. По возвращении домой результаты этих неожиданных открытий

и наблюдений были тотчас же переданы ею барыне. Та захотела удостовериться и, подойдя к окну в темной комнате, ясно узнала, по указанию своей девушки, на противоположном тротуаре фигуру наблюдающего Вельтищева, которая весьма достаточно освещалась отблеском газового рожка, чтобы быть узнанной. Это обстоятельство подало Людмиле мысль вести себя несколько осторожнее. Предполагая, что Платон подстерегает ее свидания с Жаночкой, она, из опасения новых неприятностей, уведомила Вантрика, чтобы он к ней не приходил более, а что уж лучше она сама будет к нему ездить. Последнее обстоятельство — то есть не принимать у себя, а ездить самой к новому другу — было чрезвычайно важно для Людмилы, которая в поведении Вельтищева нашла самый удобный предлог к объяснению Жаночке своих обязательных посещений его холостой квартиры. Каждый раз, как ей нужно было отправляться к Жаночке, она высылала на улицу свою горничную удостовериться — не караулит ли там Вельтищев, да и сама наблюдала противоположный тротуар из своих темных окон. Когда результаты подобной рекогносцировки оказывались благоприятными, Людмила, закутавшись в беличью шубку своей горничной и накинув на голову ее же платок, низко надвинутый на лоб, брала извозчика и отправлялась на свои таинственные свидания.

Лакомый Жаночка был счастлив, плавал в восторге и, в ослеплении своего самолюбия, считал себя героем романа, счастливым победителем одной из самых прелестных женщин Петербурга и не подозревал в этих свиданиях никакой коварной цели, так как ни о бумагах, ни о деле мужа Людмила ни разу более не заговаривала и, по-видимому, вовсе не интересовалась ни его положением, ни исходом его дела. Такое поведение убедило самолюбивого Жаночку, что она влюблена в него бескорыстно, что своею победой он обязан исключительно только самому себе, своим собственным привлекательным качествам, благодаря которым ему удалось, после первого же ужина, увлечь и пленить сердце этой женщины. В самообольщении своим он имел наивность дать почувствовать это даже самой Людмиле, а той как раз на руку было подобное убеждение, вследствие чего она употребила всю женскую тонкость, чтобы еще более укоренить его в Жаночке.

Однажды вечером, спустя уже недели две после их первоначального знакомства, Людмила приехала к Вантрику, не предупредив его заранее о своем посещении,

как случалось это уже несколько раз, и застала его над бумагами, за работой.

— Ты занят? — спросила она, склонившись над креслом Жаночки и через его плечо заглядывая в бумаги, меж тем как рука ее приветливо ласкала его волосы.

— Как видишь, — отвечал он, восклоняясь от работы. — И как ты думаешь чем? Резюмирую доклад из следствия по делу Коробова.

— А! — равнодушно протянула Людмила. — Но разве это очень экстренное дело?

— Достаточно. Надо бы кончить к завтрашнему дню, но так как при тебе я могу быть занят только тобой, то мы это дело побоку! Ждет и до послезавтра! Не так ли?

— Как знаешь; что до меня — я очень рада! Но... вот что, мой друг, — прибавила она серьезным тоном. — Ты обещал устроить, чтобы мое имя не фигурировало в этом процессе. Я с тобой, как знаешь, не говорила про него, потому что не считала себя вправе мешаться... тем более что это официальная тайна и касается твоей службы...

— Друг мой, я вполне ценю твою деликатность! — перебил ее Вантрик, целуя ее руку.

— Но тем не менее ты ведь понимаешь, что оно и меня касается весьма близко, — продолжала Людмила. — Я полагалась на твое обещание.

— И оно исполнено. Твое имя, надеюсь, не будет компрометировано; едва ли даже упомянуто про него: я уговорил Коробова, и он отказался от своего показания против Вельтищева.

Людмила горячим поцелуем выразила ему свою благодарность.

— Вот, кстати, можешь убедиться сама, — предложил Вантрик, показывая ей бумагу. — Я нарочно взял все дело к себе на дом, чтобы удобнее заняться докладом. Смотри и читай эту бумагу; писано рукою твоего мужа.

И он пустил Людмилу сесть на свое место, и подвинул к ней «дело», где она прочла отказ Валерьяна, а затем, продолжая с Жаночкой незначущий разговор на ту же тему, как бы машинально и рассеянно стала переворачивать листы, равнодушно скользя по ним мимо-летным взором, который с полным спокойствием переходил, между разговором, с Жаночки на бумаги и с бумаг на Жаночку.

Вдруг сердце Людмилы ёкнуло: магазинный счет и опись лежали рядом между листами. Но она сделала над собою внутреннее усилие и ни единым внешним проявлением не выдала своих ощущений перед Вантриком; тот, продолжая разговор, ровно ничего не заметил.

Людмила как бы между прочим бросила перебирать бумагу, закрыла обертку и отодвинула в сторону «дело».

— Мне как-то все нездоровится, — томным голосом сказала она минут через пять, склонив на руку свою голову. — Целый день сегодня все как-то не по себе!..

— Что с тобою? — с испугом нежного участия спросил Жаночка.

— Так... нервы... с утра еще.

— Ты чем-нибудь, верно, расстроена?

— Конечно, мой милый.

— Боже мой? что же такое? в чем дело?

— Нет, ничего... пустяки!.. все мой добрейший Платон Васильевич...

— Вельтишев? — переспросил Жаночка, нахмурясь. — Что же он?

— Вечные сцены... подозрения, ревности — все это так мне надоело и так меня расстраивает!..

— А ты не обращай внимания.

— Легко сказать!.. Я и то уж стараюсь махнуть на это рукою и все больше отмалчиваюсь, но раз на раз не придется: иногда и не выдержишь...

— Бедная Мила! — нежно пожалел Жаночка, взяв ее руку. — Значит, сегодня была у вас сцена?

— И самая бурная! — томно солгала Людмила, которая уже две недели и в глаза не видала Платона кроме как из окошка, в потемках.

— Что же ты хочешь... расстаться с ним? — спросил Вантрик с затаенным внутренним беспокойством и опасением, как бы этого и в самом деле не случилось. (Ему так удобно было пользоваться таинственной благосклонностью чужой содержанки!)

— Нет, этого я не думаю и никогда не сделаю! — успокоила его Людмила, поняв затаенное побуждение последнего вопроса. — Раз что он испортил мою судьбу, оторвал меня от семейной жизни, заставил пожертвовать для него моею репутацией, моим положением, он обязан заботиться обо мне!.. Он всегда это обязан!

— Конечно! — с убежденным видом согласился Жаночка. — Это первый его долг, первая обязанность, как порядочного человека!

— Но у него невыносимый характер, — продолжала

Людмила. — Ревнивый, подозрительный, взбалмошный... и ведь мне надо много самоотвержения, чтобы жить с таким человеком!

— Стало быть, ты любишь его? — несколько обиженно спросил самолюбивый Вантрик.

— Нет! — отрицательно покачала она головою. — Я не люблю его, но уж таково мое положение... и я смотрю на это как на судьбу, как на печальную долю... Это крест, который мне послан, и — нечего делать! — надо нести его!.. А ты — ты у меня, как видно, тоже подозрителен? — с тихо-ласковой улыбкой продолжала она, глядя его волосы. — Сейчас и насторожился!.. Успокойся, мой милый. Если я и люблю кого, то ты сам это лучше меня знаешь и чувствуешь!

— Милая! — воскликнул Жаночка, горячо и благодарно целуя ей руку. — Ну как, в самом деле, не ценить, как не обожать такую женщину; больная — и все-таки приехала!

— Ах, мой друг! — из глубины души вздохнула Людмила. — Как не приехать, если я здесь только и отдыхаю душою!.. Ведь здесь — вся моя жизнь, вся моя радость... Я так счастлива, когда могу провести несколько часов вдвоем в этой уютной, хорошенькой комнатке... тихо, спокойно, любя... Боже мой, да это такое счастье, за которое у меня просто нет слов благодарить тебя, Жаночка! Однако знаешь что, — перебила она самое себя, принимая несколько болезненную мину, — мне в самом деле дурно... какая-то ноющая боль в нервном узле, под ложечкою. Нет ли у тебя лавровишневых капель?

— Капель-то? — засуетился Жаночка. — Нет, дома у себя нету, но можно сейчас же послать человека в аптеку...

— Не отпустят без рецепта — уж я знаю! — предупредила Людмила.

— А может быть?

— И не пытайся: наверное не отпустят! А разве вот что, — домекнулась она. — Поезжай ты сам и попроси, для тебя, может быть, и сделают исключение.

— Хорошо! — охотно согласился Жаночка.

— А не то и еще лучше, — продолжала она. — Есть тут у тебя где-нибудь поблизости знакомый доктор?

— Есть. Здесь, недалеко.

— Ну, так поезжай к нему и попроси рецепта, а потом в аптеку, да только возвращайся поскорее! А то

мне одной без тебя скучно!.. Я чувствую, что мне только бы один прием каплей — и эта боль пройдет сейчас же, а мне так хочется хорошо провести с тобою этот вечер!.. Поезжай же, мой милый! Торопись!

Жаночка поспешил исполнить желание Людмилы.

\* \* \*

Менее чем через полчаса он уже вернулся с каплями и коробкой конфет для Людмилы.

— А где же барыня? — с удивлением спросил он своего человека, не найдя ее в кабинете.

— Уехали-с, — было ему ответом.

— Как уехала?.. Куда?

— Не могу знать. Спросила только у меня стакан воды напиться, немного выкушали и уехали... Сказали, что вам тут записка оставлена.

Жаночка бросился к письменному столу и нашел листок бумаги, на котором карандашом было написано следующее:

«Я вдруг почувствовала себя настолько дурно, что принуждена уехать домой. Какая досада!.. Не сердись на меня, мой милый, и, если можешь, приезжай проведать меня завтра вечером».

— Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! — с досадой проворчал Жаночка, от которого вдруг упорхнула надежда на прекраснейший вечер. — Нечего делать! Видно, надо опять приниматься за скучную работу.

И он снова уселся к письменному столу и принялся за дело Валерьяна Коробова.

## XVII

### НАЧАЛО СЧАСТЛИВОГО КОНЦА

Приехав домой, Людмила очень спокойно и нисколько не показывая особенного виду своей горничной тотчас же осторожно замкнулась на задвижку в будуаре, прошла в уборную, достала из шкафа свой дорогой черно-бурый салоп и подпорола мех на спине. Когда эта операция была исполнена, она вынула из-под корсета опись и счет Вельтищева, вложила их в прорешку и затем зашила ее самым искусным образом. Снаружи ровно ничего не было заметно, да и едва ли кому пришла бы в голову мысль ощупывать салоп в том самом месте,

отыскивая в нем документы, едва ли кому точно так же могло бы явиться и самое предположение, что салоп избран для них хранилищем. Людмила повесила его на обычное место и успокоенная вышла из будуара. Она, конечно, не могла не знать, что Жаночка очень скоро хватится документов и что нет ничего мудреного, если у него явится на нее какое-нибудь подозрение; поэтому Людмила быстро составила себе план дальнейших действий.

— А что, Дуняша, посмотри-ка, не ходит ли по той стороне Платон Васильевич? — весело обратилась она к горничной.

— Нет, им бы еще рано; а впрочем, я сбегая — погляжу.

— Ходят! — прибежала она через две-три минуты. — Вон, извольте сами взглянуть, вон они мимо фонаря идут!

— Ага, вижу!.. дай-ка мне мою шубу и шляпу.

И Людмила вышла на улицу.

— Платон Васильевич! Долго ли вы намерены продолжать вашу комедию? — весело и дружелюбно сказала она, прямо подойдя к нему из-за спины, так что он, не заметив ее приближения, даже вздрогнул от испуга и неожиданности и, как пойманный школьник, растерявшись и сконфузившись, остановился на месте.

— Ну, как вам не стыдно: целые две недели ходите, подсматриваете, наблюдаете, и все понапрасну? Мне ведь отлично видно из окна все ваши маневры. Ну, не проще ли было бы войти прямо ко мне и объяснитьсь?.. Я ждала, ждала вас, да, наконец, уже всякое терпение потеряла! Это ни на что не похоже!..

— Оставьте меня, пожалуйста... я вовсе никого не наблюдаю... какое мне дело?.. Очень ошибаетесь, — бормотал сконфуженный Вельтищев.

— Ну, полноте! Что за ребячество!.. Как будто я не знаю и не вижу?

— Я вас прошу оставить меня...

— Перестаньте! Ведь я и то уж, как школьника, поймала вас на месте! Я думала, что вы будете благоразумнее и сами придете ко мне, но вижу — нет, и пришлось самой идти за вами. Ну, полно же дуться — и пойдите ко мне...

— Но... я вовсе не желаю... я не рассчитывал, — слабо упирался Вельтищев, втайне очень довольный, что дело получает такой неожиданный оборот, потому что в

душе весьма тяготился тем положением, в которое сам себя добровольно поставил.

— Ну, нечего толковать! Пойдем и объяснимся дома!

И, решительно взяв сама Вельтищева под руку, она повлекла его за собою.

Тот все еще слегка упирался, но на губы его, помимо воли, набегала довольная улыбка, хотя брови все еще хмурились. Как ни презирал, как ни ненавидел он порою Людмилу, как, наконец, ни жаждал покою, но существование без нее становилось для него положительною невозможностью. Несмотря на всю теплую дружбу Ирины, он за все это время имел внутри самого себя слишком достаточно поводов, чтобы убедиться в этой печальной истине. Его тянуло к Людмиле, но сам он, несмотря на некоторые покушения, все же не решался еще идти к ней. Ненависть бушевала в нем только в первые дни, пока он вдоволь не усадился изливанием этого чувства перед Ириной; затем в облегчившейся душе его оно понемногу улеглось, а дружба Ирины хотя и была очень тепла и успокоительна, но начинала уже казаться однообразной. Улегавшуюся ненависть все более и более вытесняло с ее места возрастающее чувство ревности к Людмиле, которое обратилось наконец в грызущую тоску по этой женщине. Теперь уже одно только самолюбие не позволяло ему сделать первый шаг, чтобы самому переступить порог ее квартиры, меж тем как внутренне он хотел и искал с нею встречи. Тоска его росла, дружба Ирины далеко уже не удовлетворяла, а желание видеть Людмилу, чтобы излить перед нею всю свою горечь, все упреки и жалобы, с каждым днем все более и более одолевало все остальные его чувства и помыслы. Он был раб своей органической привычки к этой женщине, которая составляла его нравственную и физическую потребность. И вот теперь сама Людмила неожиданно пришла к нему на помощь, чтобы облегчить этот трудный первый шаг, сама заговорила первая и вела его за собою, — Вельтищев чувствовал себя намного удовлетворенным ее поступком, и если еще упирался, это, так сказать, ради некоторой выдержки собственного достоинства.

— Ну-с, извольте рассказывать откровенно! — мирно и весело приступила к нему Людмила, усадив его подле себя на обычное место. — Из-за чего вы проделывали все ваши штуки?

— Странный вопрос! — напуская на себя холодный тон, ответил Вельтищев. — Желая быть моей же-



ной, вы слишком рано вздумали уже украсить меня рогами.

— И ты это серьезно думаешь? — серьезно спросила Коробова.

— Желал бы знать, кто бы мог думать иначе, заставая у вас ночью любовника.

— И ты убежден, что это мой любовник?

— Да, к несчастью, я убежден в этом окончательно.

— А нельзя ли узнать, на чем основывается это окончательное убеждение?

— На том, что этот человек оставался в вашей квартире до позднего утра.

— И ты это сам видел, как он оставался?

— Я... я, положим, хоть и не видел, — смутился Вельтищев перед ее прямым и твердым взглядом, — но... но я знаю, что это так!

— Позволь же и мне знать, почему ты думаешь, что «это так»?

— Потому... потому — черт возьми! — что я имел терпение дожидаться его у вас на лестнице до шести часов утра!.. Я думаю, что этого совершенно достаточно!

— И ты его дождался? — улыбнулась Людмила.

— Я... мм... положим, я не дождался... на это моего терпения уже не хватило, но довольно было и того, чтобы окончательно убедиться.

Людмила рассмеялась самым веселым и, по-видимому, самым искренним смехом.

— Ах ты! — воскликнула она, с дружеским упреком качая головою. — Следовало бы тебя за это и оставить при твоём «окончательном убеждении»!.. Бедный Платон! если б ты только знал, какого глупца ты разыграл из себя в эту несчастную ночь!.. Ей-Богу, мне от души тебя жалко!

И она залилась новым приливом смеха.

Вельтищев обиженно глядел на нее недоумевающими глазами.

— Что же вы тут находите смешного? — проворчал он недовольным голосом.

— Да как же не смешно?! Ты сам будешь смеяться, как узнаешь!.. Выслушай меня, мой милый! — совсем дружески приступила она к Платону. — Полагаю, ты не станешь отрицать, что я слишком достаточно знаю тебя?

— Так что ж из этого?

— А то, что я предчувствовала, я предвидела, что ты не уедешь домой, а останешься подкарауливать где-

нибудь на лестнице, и вот видишь ли, как хорошо я угадала?!

— Да что ж из этого, черт возьми?! — повторил Платон, нетерпеливо топнув ногою.

— А не более как то, что едва за тобою заперли двери, как я спровадила этого господина по черной лестнице, чтобы избавить его от скандала с тобою, и он давно уже спал у себя дома, в то время как ты караулил его под дверью. Я очень довольна: это для тебя прекрасное наказание за твою глупую ревность.

— Но маскарад... и это ночное посещение, — такие вещи не делаются невинными образом; для невинных визитов, полагаю, существует время днем, а не ночью.

— О, мой друг, если женщина захочет обмануть, она и днем тебя обманет! — махнула рукой Людмила. — Но я от тебя не скрою; я ему сама назначила тогда свиданье в маскараде.

И она рассказала, какого рода анонимную записку написала Вантрику, как подошла к нему и о чем были у них разговоры, как он звал ее ужинать в ресторан, и она, вместо ресторана, пригласила его самого на ужин к себе и полагает, что поступила этим гораздо приличнее, нежели ехать ночью туда, где люди обыкновенно кутят с кокетками; не отвергла Людмила и того, что употребила в дело значительную долю кокетства, что подало Вантрику самые лестные надежды, при которых он останется и до настоящей минуты; что все это было пущено ею в ход для того, чтобы ловко получить документы; что, ради этой цели, она даже сама была сегодня у Вантрика, и в то время, когда он уже думал, что достиг своей цели, она преспокойно выкрала удачным образом счет и опись и уехала под предлогом расстройства нервов.

— А теперь они у меня уже так хорошо запрятаны, — сообщила она в заключение, — что ни ему, ни вам, да и никому в мире не удастся их у меня выцарапать!

Вельтищев был просто поражен этим искусно и стройно сплетенным рассказом, в котором ложь так тесно перепуталась с истиной, что невозможно было отличить одну от другой, да и рассказчица передавала все это таким спокойным и искренним тоном, что и сам Фома неверующий не усомнился бы, будто устами женщины глаголет сама истина. И Вельтищев поверил ей, — поверил так же точно, как две недели назад поверила ему Ирина, когда он лгал перед нею, переплетая

ложь с истиной. Как Ирине хотелось тогда в душе верить лгущему Платону, так и ему хотелось теперь верить лгущей Людмиле, ибо в обоих случаях вера была столь приятна, столь желательна и для обоих составляла, до известной степени, настоятельную душевную потребность.

Менее чем в один час времени ловкая Людмила кончила с ним полным примирением и даже заставила просить у нее прощенья за «нелепые, обидные подозрения и ревность» — и Вельтищев дружески, полушутя, но искренно просил отпустить ему этот грех, вольный или невольный. Они помирились, и Людмила видимо старалась теперь своею усиленной нежностью и раздражающей лаской загладить в его душе смутное воспоминание о ссоре и еще крепче приковать к себе его покорное чувство.

Вдруг в прихожей раздался звонок.

Вельтищев очень изумился, потому что время было уже довольно позднее, но Людмила почти угадала, чей приход он возвещает.

— Господин Вантрик, — доложила горничная.

— Проси! — спокойно сказала ей Коробова, улыбкою и взглядом приглашая Платона к такому же спокойствию и самообладанию.

Вошел Жаночка — и вдруг остолбенел от изумления: он никак не ожидал столкнуться здесь с Вельтищевым.

— А, Иван Иванович!.. очень рада вас видеть! — приветливо улыбнулась Коробова, протягивая руку. — Господа, позвольте вас познакомить!

И она представила обоих мужчин друг другу.

Жаночка молча и нерешительно, явно затрудняясь чем-то, издали ответил на поклон Платона Васильевича. Он был бледен, смущен, озабочен и, видимо, сильно встревожен.

Людмила начала разговор какими-то незначущими, обыденными вопросами, но Вантрик отвечал односложно, рассеяннo и раза два даже вовсе не в попад.

Платон сквозь золотое пенсне молча и холодно наблюдал этого гостя.

— Извините, — приступил, наконец собравшись с духом, растерянный Жаночка, — мне нужно переговорить с вами два слова по делу.

Коробова с понятным в этих случаях выражением взглянула на Платона, который тотчас же лениво поднялся с места и вышел из комнаты.

— Заприте, пожалуйста, дверь, — попросил Жаночка.

— Запереть дверь? — нарочно громким голосом переспросила Людмила. — К чему же? Разве это крайняя необходимость?

— Я вас прошу... пожалуйста!

— Ну, извольте, — согласилась она, найдя, что на всякий случай это, пожалуй, и вовсе не лишняя предосторожность: неравно Жаночка взболтнет такое, чего бы ей не хотелось, чтоб услышал Вельтищев.

— В чем дело? Что за таинственность? — с видом удивления, но с милой улыбкой спросила она, когда дверь была притворена.

— У меня пропали бумаги, — тихо сообщил Жаночка, смотря в лицо Людмилы недовольно встревоженным взглядом и стараясь уловить, какое впечатление произведет на нее это известие.

— Что такое? — слегка прищурилась она, как бы не поняв или не расслышав.

— Бумаги, говорю, пропали! — внутренне страдая, повторил Вантрик.

— Какие бумаги?

— Из «дела»... прямо из «дела»... из коробовского...

— Неужели? — словно бы и непритворно изумилась Людмила. — Какими же судьбами это могло случиться?

— Не понимаю!

— И давно уже?

— Сегодня вечером, после твоего ухода.

— Тсс!.. Пожалуйста, говорите на «вы»! — тихо установила его Людмила, указав выразительным взглядом на дверь, за которою находился Вельтищев. — После моего ухода? — возвратилась она к начатому разговору. — Скажите пожалуйста, какой случай!.. И важная это бумага?

— Счет и опись, — сообщил Жаночка.

— Счет и опись?.. Хм... что ж это за счет и опись?

Тот пояснил ей.

— Ай-ай!.. Это очень прискорбно! — покачала она головою. — Но точно ли вы убеждены, что они пропали? Быть может, просто завалились куда? — у вас ведь этих бумаг на столе такая пропасть!

— Завалиться они никуда не могли, — с убеждением отверг это предположение Вантрик, — они были подшиты к делу, да и, наконец, я все и везде переискал уже! Они могли только пропасть, исчезнуть.

— То есть как же это исчезнуть, коль скоро они были подшиты?

— Очень просто: нитка развязана, бумаги вытащены и унесены из дому!

— Какой странный случай!.. Вероятно, был кто-нибудь после меня?

— Ровно никого не было.

— Так что же, спиритские духи подшутили, что ли? — улыбнулась Людмила.

— Нет, я думаю, не духи, а люди.

— Но если после меня никто там не был! И наконец, кому же они понадобились?.. Разве это такие важные бумаги, которые имеют большое значение для дела или от которых зависит решение участи Коробова?

— В том-то и сила, что нет! — в недоумении пожал плечами Жаночка. — Да и для дела они не имеют никакого значения, хотя вначале я было и думал иначе...

— В таком разе о чем же вы так беспокоитесь?

— Да как же не беспокоиться? Бумаги — говорю вам! — очевидно вытащены из дела и унесены, вот что-с!

— Хм... И вы так взволновались этим, что собственно ради того явились сюда и сообщаете мне так таинственно? — с легкой иронией заметила Людмила. — Очень сожалею, что это так странно случилось; но чем я могу помочь тут?

— Возвратить мне бумаги.

— Что-о?.. как вы сказали? — отступив на шаг, вонзила в него из-под сдвинутых бровей свой стальной и непреклонный взгляд Людмила.

— Я... я... я прошу только отдать мне их! — пробормотал Жаночка, окончательно теряясь и конфузясь под ее строгим, полным достоинства и магнетически-пытающим взглядом.

— Так вы полагаете, что я у вас украла?

— То есть я... нет, я не полагаю... но я полагаю, что... может быть, как-нибудь по неосторожности... или в шутку.

— Вы начинаете говорить нелепости! — холодно установила его Людмила. — За одно подобное предположение, милостивый государь, мне бы следовало указать вам на дверь, и если я не делаю этого, то только потому, что вы и без того слишком жалки в эту минуту!

— В таком случае я приму иные меры! — пригрозил не на шутку обидевшийся Жаночка.

— Можете! — презрительно и гордо усмехнулась Людмила. — Но меня никакими вашими мерами вы не запугаете!

— Я принужден буду сейчас же послать за понятыми, за полицией и произвести у вас новый обыск.

— Если угодно, — усмехнулась Коробова. — Моя прислуга даже поможет вам созвать, кого вам будет угодно; я не боюсь ваших обысков: производите их сколько хотите, но советую помнить, господин Вантрик, что на новый обыск вы должны иметь законное право, а без того ваши действия будут только насилием, которое для вас не пройдет даром: не забывайте, что у меня есть язык и воля, а у вас начальство и, наконец, что у нас, кроме того, существует еще газетная гласность! А теперь, если угодно, можете приступать к вашему обыску!.. Да, и еще одно не мешает сообщить вам, — прибавила она после короткого молчания! — Обвиняя меня в такой краже, которая в глазах каждого здравомыслящего человека не может иметь для меня никакого смысла и ни малейшей надобности, я бы желала знать, каким образом вы объясните вашему начальству и суду то обстоятельство, что я, жена арестанта, над которым вы производите следствие, могла интимным образом бывать в вашем домашнем кабинете?.. Как вы полагаете, найдет ваше начальство, что это факт непредсудительный для чиновника в вашем положении?.. Отвечайте!

Бедный Жаночка, которому теперь пришлось вдруг понести такую расплату за свое пристрастие к лакомым соблазнам, стоял растерянный, сбитый с толку и вышибленный из последней своей позиции, которую он считал за самую сильную.

— Я... вовсе не о том прошу! — собрался он наконец с мыслями. — Я хотел вам сказать только то, что эти бумаги... хоть они сами по себе и вовсе не важны, но они принадлежат господину Вельтищеву... Господин Вельтищев всегда может потребовать их обратно... и в каком же я тогда буду положении?.. Что я отдам ему?.. Что я отвечу?

— Ах, так вот вы о чем заботитесь! — произнесла Людмила более смягченным, хотя и отнюдь не теплым тоном. — Что касается до этого, то извольте — я готова помочь вашему горю.

— Платон Васильевич! Пожалуйте сюда! — обратилась она к Вельтищеву, растворив дверь.

Платон, все время подслушивавший у замочной сква-

жины и по тону разговора убедившийся окончательно, что подозрения его были неосновательны и что Людмила об отношениях своих к Вантрику поведала ему сухую правду, вошел к ней хотя и с некоторою болью в душе, ибо видел, что придется сказать, конечно, «прости» надежде на возврат своих документов, но, по крайней мере, он был теперь успокоен в чувстве жгучей ревности: он уверовал в свою Людмилу.

— У господина Вантрик пропали ваши документы: счет и опись, — непосредственно приступила она к делу. — Так как, помнится, эти документы для вас не имеют ровно никакого значения, а господин Вантрик меж тем очень обеспокоен этою пропажей, то я прошу вас — удостоверьте его, что вы не потребуете ваших бумаг обратно и не поставите его в неприятное положение перед начальством.

— Можете быть совершенно покойны, — холодно и вежливо поклонился ему Вельтищев. — Эти бумаги мне ровно ни к чему не нужны.

— Ах, бесконечно вам благодарен! — бросился к нему, протягивая руки, обрадованный Жаночка. — Это для меня было самое существенное!.. Именно я опасался только за то, что неравно вы их потребуете!.. Но теперь это пустяки! Так как дело пока еще в моих руках, то мне придется переменить только опись бумаг да подшить ее — и кончено!.. Очень, очень я вам благодарен.

— Стало быть, теперь вы удовлетворены. Весьма рада, что могла оказать вам эту услугу! — издали и холодно поклонилась ему Людмила — и после этого поклона бедный Жаночка сразу же почувствовал, что между им и ею все уже кончено, порвано и притом навсегда. Почувствовал он также и то, что теперь ему неловко, да и незачем оставаться здесь долее, и потому поспешил наскоро откланяться и убраться, довольный в душе одним, что — слава тебе, Господи! — удалось хоть перед начальством-то уберечь свою шкуру.

— Ну-с, Платон Васильевич, — обратилась Людмила к Вельтищеву по уходе Жаночки, — не говорила я вам, что, ревнуя меня, вы брали на себя роль недостойную и глупую?

— Увы! я вижу это! — со вздохом раскаяния поклонился он.

— После этого я имею право требовать от вас полной веры в себя, и я этого требую! — протягивая ему руку, твердо и с авторитетом сказала Коробова.

— Она принадлежит вам... Это урок слишком достаточный и красноречивый! — поцеловал он данную ему руку.

— Очень рада и от души желаю, чтобы это недоразумение было между нами последним и чтобы вы убедились, как хорошо и ловко я умею при случае пользоваться глупцами, подобными этому бедному Жаночке.

— Ох, в этом-то я уж достаточно и на самом себе убедился! — полугрустно, полушутливо со вздохом покачал головою Вельтищев.

— Тссс!.. не произносить таких слов! — ласково приложив к его губам свой пальчик, шутя воспретила Людмила. — Если я и воспользовалась тобою, — прибавила она с выражением любви и убеждения, — так верь мне, что это для твоего же собственного счастья, мой милый.

## XVIII

### ЧТО СЛУЧИЛОСЬ ВСКОРЕ

После столь полного и столь искреннего примирения с Людмилой Вельтищев самым естественным психическим процессом вернулся к любви и к тому обаянию, которое неизменно производила на него эта женщина. Теперь в отношениях его к ней проявилась только та особенность, что он, признав неизбежность будущего брака с нею, а также и превосходство над собою ее ума, характера и силы воли, уже доброхотно и почти незаметно для себя подчинился полному ее влиянию. При этом, конечно, дружба и участие Ирины Вельтищевой отодвинулись на самый дальний план в его сердце. Эта женщина и в особенности ее теплая дружба и посылная любовь стали теперь тяготить его еще более, чем прежде. Он искал случая, как бы поскорее отделаться от нее под благовидным предлогом, а предлог наиболее удобного свойства сам собою подвертывался в желании Ирины ехать за границу. Он пообещал ей устроить ее дела, выдал ей часть ее собственных денег из тех «неприкосновенных» трехсот тысяч, которые были, по завещанию, оставлены ей мужем, и стал усиленно торопить ее отъезд, горячо уверяя, что поспешит за нею и сам сейчас же, как только удастся ему окончательно привести в порядок дела покойника Макса и свои собственные.



\* \* \*

Недели через три Ирина уехала, а в тот же самый день суд приговорил и Валерьяна Коробова, в силу 245-й и 251-й статей «Уложения о наказаниях», к лишению всех прав состояния и к ссылке в Сибирь на каторжные работы при шестилетнем сроке, ввиду некоторых смягчающих обстоятельств.

Валерьян сдержал данное слово: он ни единым намеком не скомпрометировал перед судом имя той женщины, которая называлась его женою, и с тихою покорностью встретил решение своей участи, сопровождаемый полным равнодушием общества и фарисейским порицанием умеренно-либеральной газеты господина Цемша.

## ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

### I

#### ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ

Ирина уже несколько месяцев жила в одном из уединенных пансионатов на берегу Женевского озера. Она ни с кем не познакомилась и вела жизнь до такой степени тихую, исполненную одиночества и добровольного отчуждения, что получила даже от каких-то двух русских семейств, проживающих по соседству, название чудачки. Внутреннее искание мира и затишья, вместе с потребностью покоя, были в ней столь велики в первое время ее прибытия сюда, что она просто боялась каждого нового знакомства и новых встреч, которые могли бы напоминать ей про людей и жизнь, только что оставленную за чертою ее отечества. Для этого она и избрала себе приют, удаленный от шума и гомона городской жизни. Она ждала Вельтищева, который обещал приехать как можно скорее, и вела с ним довольно деятельную переписку. Это были письма, где высказывалось все угнетенное состояние ее души, которая нигде и ни в чем не могла примириться с собою после смерти мужа. Она давно уже чувствовала, что эта смерть как будто и в самом деле провела какую-то роковую черту между нею и Платоном Вельтищевым. Она все еще сильно и много любила этого человека, но уже далеко не по-прежнему: теперь к ее чувству примешивалась вечная тревога, вечное сознание совершенного преступления и потому вечный укор совести. Она не стала презирать Вельтищева, да и не могла этого сделать, потому что сознавала самое себя виноватою в равной с ним степени, и даже еще больше, чем он: «Потому что я могла, я должна была отвратить его от этой мысли, — думала Ирина, — а я этого не сделала, я молча согласилась». После смерти мужа она чувствовала, что не может уже ясно, спокойно и прямо смотреть в глаза

Платону: жгучее чувство стыда и совестливости постоянно заставляло ее при встрече с ним потуплять или отводить свои глаза в сторону; она, конечно, пересиливала себя при этом, но тем не менее в глубине души ее это было так. Иногда ей хотелось бы уйти от людей, и от жизни, и от него, и от самой себя куда-нибудь в такую даль, в такой уголок «не от мира сего», где ничто и никогда уже не напомнило бы ей ни про этого человека, ни про ее прошлое. В эти минуты она испытывала жажду полного уединения, желание окончательной отчужденности и рада была своему одиночеству. Но находили порою и другие минуты: вечный гнет укоряющей совести иногда вдруг принимался давить ее такою тяжестью, что она, изнемогая под ним, живо начинала чувствовать свое бессилие, беспомощность и сиротство — и тогда-то вот в ней являлась потребность видеть своего сообщника, убедиться воочию, что и он страдает точно таким же образом, и, наконец, потребность того, чтобы он поддержал и хотя сколько-нибудь своею взаимностью, своим словом ободрил и облегчил ее душу. В эти минуты она принималась писать к Вельтищеву, призывая его к себе и моля протянуть ей руку нравственной помощи. В ответах своих из России он баюкал ее обещаниями скорого приезда, который каждый раз, и будто бы к живейшей досаде его, все оттягивается какими-нибудь новыми, непредвиденными препятствиями и затруднениями. Однако с течением времени ответы его становились все короче и холоднее, все реже и реже и, наконец, совсем прекратились.

Но не прекратилось в Ирине то стремление ее души, которое порою требовало от Вельтищева нравственного раздела ее страданий. Напротив, чем долее шло время, тем все более усиливалась в ней эта настоятельная потребность. Одиночество, вечная замкнутость в самой себе и полная отчужденность жизни, которые казались столь желанными в первое время по приезде в Швейцарию, теперь уже далеко не удовлетворяли ее. Подобное существование начинало даже тяготить Ирину, ее томило это молчание Вельтищева, и с каждым днем возрастало ее недоумение, ее желание знать и удостовериться — что с ним? где он? отчего не едет и не пишет и что все это значит? чем можно объяснить такое странное поведение?

Наконец она не выдержала столь неопределенного положения и решила ехать обратно в Россию. Это решение даже несколько оживило и ободрило ее.

## СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК

Между тем, во время ее отсутствия, успело совершиться многое...

Коробова уехали в Сибирь, и Людмила, не пожелавшая за ним следовать, совершенно освободилась от уз своего законного брака.

Влияние ее на Вельтишева, и прежде весьма значительное, намного усилилось с отъездом Ирины: теперь уже этому влиянию не существовало никакого противовеса в те минуты, когда Платон, раздраженный ревностью или оскорбленный неумеренною и деспотическою требовательностью Людмилы, уходил к Ирине Борисовне изливать всю желчь и горечь, возбужденную в его душе этою женщиной. Силою обстоятельств Людмила довела его наконец до внутреннего убеждения, что против нее ничего не поделаешь, что дальнейшая борьба невозможна, что остается только одно: искренно покориться своей участи, исполнить все ее требования и утешиться мыслью, что авось и в самом деле все это послужит к лучшему, что Людмила, с выходом за него замуж, сумеет выполнить свои обещания — не уронить его положения и дать ему полное успокоение, а быть может, даже и долю возможного счастья. Хотя в будущее счастье и плохо ему верилось после подобного начала, когда она коварством и насилием взяла над ним верх и связала с собою всю судьбу его, да и вообще хотя трудно ему было окончательно помириться с мыслью о невозможности борьбы и о необходимости покориться, однако же к этому привела его, с одной стороны, логическая неизбежность такого исхода, а с другой — помогло этому смирению то исключительное роковое чувство почти мноманической привязанности, которую, несмотря ни на что, он не мог преодолеть в себе относительно обаяния этой женщины, — и Людмила мало-помалу совсем покорила его именно этою своею силой.

Теперь уже он сам не хотел медлить и оттягивать день своего брака. «Все равно! — думалось ему. — Надо же наконец решиться! И чем скорее, тем лучше!.. Чтобы хоть сколько-нибудь успокоиться душой!»

Он действительно слишком устал, истомился нравственно от всех беспокойств и передрыг последнего времени.

Спустя недель около восьми после ссылки Коробова

Вельтищев с Людмилой Сергеевной очень скромно и тихо обвенчались в одной из домашних церквей, и в тот же день он принес ей заготовленную заранее дарственную запись на все свое имущество.

— Я не хочу оставаться в долгу, — сказала она, благодаря его за этот подарок, который, впрочем, был не более как исполнением одного из главнейших условий, поставленных ею для него между каторгой и браком. — Я не хочу долее томить тебя, — продолжала она, — и, чтобы доказать, что теперь я действительно становлюсь тебе женою и лучшим другом, — вот твои документы! Возьми и сейчас же уничтожь! Чтобы и следа никакого не оставалось и чтобы между нами не существовало отныне ни малейшей горечи наших воспоминаний!

И обличительные документы тотчас же были сожжены в камине, а Платон Вельтищев, после долгого времени, в первый раз вздохнул легко и свободно.

И в самом деле, это был лучший свадебный подарок, какой только могла ему сделать Людмила.

### III

#### ВМЕСТО МЕДОВОГО МЕСЯЦА

Радостей и утех медового месяца у этой четы не было: они были уже изведаны ранее. Но взамен их явилось на первых порах успокоение. Вельтищев уже тем был счастлив, что хоть спать-то мог теперь спокойно, без вечно грызущей и ноющей мысли, которая ежеминутно заставляла его чувствовать над собою дамоклов меч.

Людмила достигла всего, чего хотела: у нее было теперь известное имя, солидное положение в обществе, громадное и притом *свое собственное* состояние, а добавок ко всему этому — этот человек, который, по-настоящему, должен бы быть ее заклятым врагом, находился, покоряясь своей слабости, у ее ног и считал себя счастливым, когда она дарила ему редкие минуты своей женской благосклонности. В этом последнем отношении, с выходом замуж, она сделалась еще скупее, чем в те дни, когда была его любовницей. И это была мастерски рассчитанная скупость, потому что, зная избалованную и пресыщенную натуру своего мужа и зная его исключительную страсть, которую сама же ему внушала, она

слишком хорошо поняла, что для того, чтобы удержать его при себе и чтобы постоянно быть желаемой, нужно быть скупой на свои редкие ласки, — и она не ошиблась в расчете.

«Пока я молода и хороша собою — он мой! — думала себе Людмила. — А там, как подойдет старость, как минет свежесть и красота — там уже поулягутся страсти, и на место их явится прочная привычка».

На первые полгода своего супружества они удалились в родовое поместье Вельтищева, где он рассчитывал зажить жизнью, исполненной мирного затишья и спокойствия. И действительно, в сельском уединении он, так сказать, опочил от всех трудов своих и в это-то самое время окончательно прекратил баюкающую переписку с Ириной.

Молодая чета нарочно уехала в деревню, чтобы избежать на первое время тех толков, какие неизбежно должна была поднять в кругу Вельтищева его неожиданная свадьба. К зиме, когда Платон Васильевич предполагал вернуться снова в Петербург с Людмилой, эти толки, по его мнению, должны будут уже улечься, отодвинутся на самый дальний план, так что он свободно и спокойно введет молодую супругу в свой избранный круг, где она, конечно, сумеет занять подобающее ей место.

\* \* \*

Но душевное спокойствие Вельтищева длилось весьма не долго.

Ближайшим соседом его по имению оказался губернский предводитель дворянства, человек хотя с нетитулованной фамилией, но старого известного дворянского рода, носивший вдобавок звание камергера и проводивший всю жизнь то при дворе, то за границей. Г-н Вязьминов был в полном смысле барин из породы тургеневских Павлов Кирсановых — джентльмен по наружности, изящный в своих привычках и преисполненный большого самомнения. Крестьянская реформа и вследствие ее (а еще более вследствие жизни) несколько расстроенное состояние поневоле привели его в сельскую глушь, под удобным предлогом — «послужить всесильно земскому делу». Но так как «дела» у него, благодаря опытному и ловкому секретарю, оказывалось менее чем немного, а деревенская скука одолевала все более, то он и стал довольно часто навещать по соседству Платона Васильеви-

ча, в котором находил «человека порядочного и, можно сказать, *почти нашего круга*». Но, в сущности, влекла его сюда вовсе не «порядочность» Вельтищева, а красота и привлекательность Людмилы, в которую пожилой и скучающий холостяк немножко влюбился.

Шамбелян еще в юности своей был компетентен в деле победы над женскими сердцами, и эту компетентность очень живо почувствовал теперь Платон Васильевич, тем более что ему были неизвестны некоторые из прошлых романов изящного шамбеляна.

Людмила, которая с выходом замуж стала весьма мало обращать внимания на желания и капризы своего мужа, отнеслась довольно благосклонно к исканиям своего нового поклонника. Для нее это был, так сказать, первый дебют, первый опыт, первая проба сил и умения в деле того особого, исключительно светского кокетства, к которому не имеют надобности прибегать кокетки, но которое хорошо известно опытным светским куртизанкам, умеющим с помощью его, но не иначе как под покровом приличия, мужа и строгой тайны, привлекать к своим ногам веских могущественных поклонников и достигающим через то особых целей своего честолюбия. А Людмила более всего мечтала теперь о том, чтобы видеть у ног своих и сильных мира, и знатных родом, и вообще блистательных поклонников большого света, в который она намеревалась войти не под эгидой какой-нибудь общестимой старухи, а сама по себе, и войти как власть имущая, в силу своей красоты, имени и состояния. К этой цели влекло ее исключительно одно лишь холодное, эгоистическое честолюбие, — и вот изящный шамбелян доставил ей свою особую первую практику этого рода.

Началось это у них как-то исподволь, но оба почти сразу догадались друг про друга, чего каждому из них нужно. Чутьем же проник это и Платон Васильевич. В этом-то проникновении и был первый удар, нанесенный чувству его ревности после брака. Шамбелян, приезжая к нему в дом, обращал на него ровно настолько внимания, насколько это требовалось условиями приличия, но всю остальную любезность свою посвящал исключительно Людмиле. Его знание света, обширное и разнообразное знакомство с европейскою жизнью, связи, встречи, отношения — все это доставляло ему богатый материал для знаменательных бесед, а его тон, манера говорить и держать себя делали его очень интересным в глазах Людмилы. Но странное дело! Вельтищев, присутствуя

при этом, невольно чувствовал в душе, что он выходит совсем посторонним, лишним человеком при этих дружеских беседах, хотя ни Вязминов, ни жена ничем не дали ему с своей стороны осязательно почувствовать это. Но уж так оно как-то само собою чувствовалось Вельтищеву, — и ревность, глухая и затаенная, каждый раз подползала к его сердцу. Он делался угрюм и видимо не доволен чем-то тотчас же после отъезда Вязминова; но Людмила как будто и не замечала таких перемен в настроении его духа, а это еще более мучило и грызло Платона Васильевича.

Однажды она предложила Вязминову прогуляться по их обширному саду. Вельтищев тоже увязался за ними, не званый и не прошенный женою. Но, несмотря на его присутствие, разговор, основанный на тех остроумных, полупрозрачных, полуневинных, но вполне приличных намеках, какими иногда умеет блистать ловкая болтовня бывалого светского человека, шел беспрепятственно между шамбеляном и Людмилой. Они словно бы и не замечали Платона, которому смерть как хотелось бы к чему-нибудь придраться, но — увы! — придраться было решительно не к чему: ни жена, ни тем более гость не подавали к этому ни малейшего повода. Атмосфера кругом их пахла соблазном, но... была безукоризненно прилична. Платон злился в душе и, кусая губы, мог выражать внутреннее свое состояние только тем, что с силою сбивал хлыстиком головки встречных цветов и листья с деревьев. Однако ж и эти проявления не заставили жену обратить на него несколько больше внимания, и в результате оказалось лишь то, что бедный муж еще живее почувствовал, что он не только лишний между этою парой, но и взял на себя глупую роль какого-то безмолвного стража и наблюдателя.

Тем не менее, сознавая это, он все-таки продолжал брать на себя неблагоприятную роль, так что наконец в одну из подобных садовых прогулок Людмила сочла возможным отослать его домой под предлогом распорядиться чаем, которого ей вдруг будто бы очень захотелось, но которого она не пила, когда чай был подан.

Это само по себе ничтожное обстоятельство заставило заговорить молчавшего доселе Вельтищева.

— Мне весьма не нравится, что этот барин слишком часто к нам ездит, — с неудовольствием выговорил он жене по отъезде Вязминова.

— Почему же так? Он очень милый и занимательный человек! — равнодушно отозвалась Людмила.



— Может быть, и милый, и занимательный, но мне это не нравится!

— А мне, напротив, очень нравится, — заявила на это жена тем же спокойным тоном.

— Но я не хочу, чтобы он бывал здесь так часто!

— А я, напротив, этого желаю, я не вижу причины, почему бы ему и не бывать?..

— Я, кажется, муж и хозяин дома и имею право заявлять мою волю!

— А я жена и еще более, чем ты, имею право называться *хозяйкой дома*.

— Но я добьюсь того, что он не будет здесь больше! — вспыхив, закричал Вельтищев.

— Тогда я буду бывать у него, — возразила жена, ни на йоту не изменяя своему образцовому спокойствию.

— Я посмотрю, как это будет.

— Очень просто, самым обыкновенным порядком, а если вы надумаете делать какие-нибудь скандалы, я вас брошу, уеду — вот и все! Не забывайте, мой милый, — прибавила она внушительно, но нестропиво, — не забывайте, что раньше еще, чем выходить за вас замуж, я выговорила себе полную свободу делать, что мне угодно.

— Да, но при этом вы обещали не делать ничего такого, что могло бы касаться чести вашего и моего имени.

— И верьте, что я сумею сдержать свои обещания! — с легким поклоном подхватила Людмила, явно показывая тем, что дальнейший разговор на эту тему будет ей неприятен, а главное — совершенно бесполезен.

И Платон Васильевич должен был умолкнуть.

В другой раз, вернувшись под вечер с охоты, он не нашел в доме Людмилы.

— А где же барыня?

— Уехали верхом кататься.

— Одна?

— Никак нет, с предводителем.

— Вдвоем или и еще кто?

— Нет, только вдвоем-с.

— Седлай мне лошадь! да живет, черт возьми вас всех! — закричал Вельтищев, не нашедший нужным умерить перед прислугой взрыв своей ревнивой досады.

Через пять минут у крыльца заседланный конь уже нетерпеливо бил копытом землю.

— По какой дороге они поехали? — спросил Платон, заноса ногу в стремя.

— На Вязьминовку-с.

«А, черт возьми! это не к нему ли!» — ненавистно подумал он в душе и, дав шпоры коню, как ошалелый, помчался по тому же направлению.

Проскакав около трех верст, он увидел впереди двух всадников, выезжавших на дорогу из осинової рощи. Вглядевшись пристальней, Вельтищев узнал амазонку и ее кавалера.

В душе у него шевельнулось скверное подозрение, и сердце мучительно заныло. Он придержал коня и упорно смотрел вперед, желая и боясь подметить у жены и Вязьминова какое-нибудь движение, которое выдало бы ему воочию интимность их отношений. Он ждал и думал, что, может, она подаст ему руку, может, он обнимет с коня ее талию, привлечет к своему плечу ее головку. Но тщетно подсматривал Платон: ничего этого не случилось — и всадники, очевидно весело болтая между собою, шагом удалялись по дороге к Вязьминовке.

Вельтищев пустился за ними крупною рысью, и вскоре топот его взмыленной лошади заставил их оглянуться.

— Это ты, Платон? — с несколько недовольным удивлением окликнула его Людмила, когда он подъехал на близкое расстояние.

— Да-с, это я! — немного задыхаясь от волнения и от тряской езды, довольно резко ответил Вельтищев.

Людмила хмуро свела на мгновение свои слегка дрогнувшие брови, но так, что спутник ее этого не заметил.

— Что с тобой?.. Ты так бледен!.. Ты, верно, нездоров? — равнодушно, хотя и с видом некоторой заботливости отнеслась она к мужу.

— Нет... я ничего... я здоров совершенно... я кататься хочу, — отрывисто бормотал Вельтищев.

— Ах, кататься? В таком случае, мы не мешаем! — с приветливою шуткой улыбнулась она и вдруг осадилась несколько в сторону своего коня, словно бы давая мужу дорогу и приглашая его следовать далее, но не вместе, а в прежнем одиночестве.

Платон Васильевич опять почувствовал, что он очутился в глупой роли. Следовало бы воспользоваться любезностью супруги и с не меньшею любезностью проехать мимо, благо уж она успела обратить дело в легкую шутку, — и это был бы, конечно, лучший выход из

его положения; но Вельтищев не сделал этого. Он молчал и стоял, не двигаясь с места, и глядел вперед, мимо жены и Вязьминова, хотя и злым, но смущенным и несмелым взглядом, который ясно выдавал, что он чувствует всю неловкость своего положения, но колеблется в нерешительности, не зная, как ему быть и на что решиться.

— Нет, мой друг, я вижу по лицу, что ты положительно болен! Поезжай домой! Я сейчас же вернусь! — сказала ему Людмила тем деликатно-решительным тоном, который не допускал ослушания или возражений и притом сопровождался самым твердым и на все готовым взглядом.

Вельтищев окончательно смутился, неловко приподнял свою легкую шапочку и, повернув коня, мелкой и, так сказать, сконфуженной рысцою поплелся восвояси.

В душе у него кипела бессильная буря.

— Однако вы с ним... не церемонитесь! — лукаво улыбаясь, заметил Вязьминов, когда бедный муж отъехал на приличное расстояние.

— Je m'en fiche!<sup>1</sup> — пожав плечами, весело засмеялась Людмила и, дав сильный хлыст своему скакуну, помчалась в противоположную от мужа сторону.

Изящный шамбелян еле поспевал за своею лихой амазонкой.

Через несколько дней после этого она опять уехала верхом, но уже без Вязьминова, и не позволила мужу сопровождать себя во время этой прогулки. Вельтищев с грустью подчинился ее «капризу» и в мучительном нетерпении, шагая по всем комнатам дома да ежеминутно подбегая чуть не к каждому окошку, тщетно прождал целый вечер возвращения супруги. На дворе уже стемнело, а ее все-таки не было. Он уже хотел было разослать за нею гонцов во все стороны, но долго колебался, не зная, решаться или нет на эту меру, а время меж тем все уплывало — и чего-чего только не приходило в голову Платону в медлительные часы этого нестерпимого одиночества! Но более всего копошилось у него в душе все то же нехорошее подозрение, которое впервые пришло ему на дороге у осинової рощи.

Наконец около двенадцати часов ночи Людмила воротилась и быстрыми шагами прошла прямо в свою комнату.

---

<sup>1</sup> Мне наплевать! (Фр.)

Вельтищев последовал было за нею, на ходу уже начиная приличный обстоятельствам выговор, но супруга, не удостоив его ни единым словом в ответ, проскользнула в дверь своей спальни и вдруг замкнула ее за собою на ключ, совсем уже под носом опешенного мужа.

Он постучался. Ему не отворили. Он еще и еще, и каждый раз все больше, все сильнее, но ответа ему не было. Казалось, Людмила решила, что бы он ни выделял, не подавать ему насегодня отклика.

Вельтищев пождал, пождал и, наконец, взбешенный до последней степени, но бессильный перед стальной непреклонностью жены, ушел в свою комнату.

Эту ночь он провел в одиночестве и почти без сна в своем кабинете.

Наутро, когда Людмила сделала уже свой туалет и как ни в чем не бывало с спокойною и ясною улыбкой вошла к мужу, он встретил ее холодно, сухо, надутый и видимо оскорбленный.

Она окинула его вопросительным и слегка удивленным взглядом.

— Позвольте узнать, — первым заговорил Вельтищев каким-то хриплым, надсаженным голосом, — что значит ваше вчерашнее поведение?

— А именно? — проговорила она, приготовясь парировать.

— Ваш странный уход в спальню и это милое замыканье? — пояснил Платон Васильевич.

— Не более как то, что я была очень уставши! — пожалала она плечами с небрежною гримаской.

— И это вы до третьих петухов все верхом катались?

— Все верхом каталась.

— И вы думаете, что я настолько глуп, чтобы вам поверить?

— Но разве я заставляю вас верить себе?

— Но, наконец... наконец, я, как муж, имею право потребовать от вас отчета-с!

— Требуйте! — усмехнулась Людмила. — Разве я вам запрещаю?

— Так позвольте же узнать, где вы были?

— Мм... Как вам сказать?! В разных местах была.

— Это не ответ, Людмила Сергеевна! — с горечью воскликнул Вельтищев. — Я, кажется, не подавал вам повода издеваться надо мною.

— Бог мой! Но разве я издеваюсь?!

— Так потрудитесь прямо и честно ответить на мой вопрос! Вы были с Вязьминовым?

— Да, с Вязьминовым.

— Где же вы встретились?

— У него.

— Как у него?! Что это значит?

— У него в доме.

— Вы были в Вязьминовке?! — с ужасом и чуть не задыхаясь от ревности, вскочил с места Вельтищев.

— Да, в Вязьминовке, — подтвердила Людмила, спокойно и прямо глядя ему в глаза своим ясным как лед и как лед же холодным взглядом. — Я прямо туда и поехала, — добавила она в пояснение.

— Господи! Этого еще недоставало! — отчаянно всплеснув заломленными руками, опрокинулся Вельтищев в глубокое кресло.

— Да скажите, пожалуйста, из-за чего вы беснуетесь? — пожала плечами Людмила. — И что же тут особенного или неприличного, что я — женщина замужняя и самостоятельная, хотя бы уже по годам моим, — катаюсь верхом, случайно заехала в дом к вашему же доброму знакомому, к пожилому, солидному человеку? Разве это может компрометировать меня в чьих бы то ни было глазах? Слава Богу, мы, кажется, еще порядочные люди!.. Он меня давно уже звал посмотреть его оранжерею, я ехала мимо, вспомнила и заехала кстати. Что ж тут «преступного»?

— И до полуночи вы все любовались экзотическими растениями? — с горечью злобной иронии усмехнулся Вельтищев.

— Нет, не все, но мы пили чай и потом ужинали, — спокойно и равнодушно сообщила Людмила, — а потом Вязьминов проводил меня до дому — вот и весь мой отчет, которого вам так хотелось.

— И вы находите, что это вполне прилично?

— Я уже высказала мой взгляд и надеюсь остаться при своем мнении.

— Да ведь это любовницы только так делают?

— И добрые приятели, — добавила Людмила.

— Людмила! да не мучь же ты меня! — видимо страдая, из души выкрикнул Вельтищев, нервно схватив и потрясая ее руки. — Пойми же ты наконец, что я люблю тебя!

— И я тебя тоже, друг мой.

— Но ты мучишь меня!.. Это невыносимо!

— Вольно же тебе мучиться. Бог весть из-за чего!

— Как!.. Так, по-твоему, я должен глядеть на все спокойно?

— Думаю, что не иначе.

— И ходить украшенным рогами?

— Пока еще ты их не носишь, — двусмысленно усмехнулась Людмила.

— «Пока»!.. Хорошо утешение!.. Но будущее...

— А будущее, мой друг, как говорится, в руке Божией. Впрочем, я смею надеяться, что ты рогов никогда на себе не заметишь; но положишься на мой такт и будь уверен, что я не скомпрометирую себя серьезно в глазах общества: это вовсе не в моих расчетах.

— Но скажи мне, Бога ради, что тебя влечет к этому человеку? — скорбно, но уже несколько спокойнее спросил Вельтищев.

— Ровно ничего серьезного! — добродушно объявила Людмила. — А так себе, интересная игра... Ведь я — кокетка по природе; да, наконец, мне скучно здесь, в этой противной деревне! Я жить хочу! Поймите вы, — жить, жить хочу!..

— Жить! — с горечью повторил Вельтищев, покачав головою. — Я понимал бы это, если б ты была женщиной с пылкими страстями; но ведь ты лед! Тебе этого вовсе не нужно! В тебе ведь нет даже потребности такой? Так из-за чего же ты делаешь это?!

— Из любопытства! — подернув плечом, усмехнулась Людмила.

Вельтищев отвернулся к окну, чтобы скрыть набежавшую едкую слезу от этой ничем не уязвимой, каменной женщины. Теперь ему живо вспомнилась та грубая, но меткая характеристика, сделанная Ольгой Романовой, когда она сравнила дочь свою с блудливой кошкой, которая хоть и сыта по горло, а все-таки не пройдет мимо горшка со сливками без того, чтобы не лизнуть из него, хотя кошке вовсе и не нужно этого, но уж так, из одной лишь прирожденной потребности к блудливости. «Да, это грубо, цинично, но верно!» — с болью в душе подумал Вельтищев о своей супруге.

Она действительно была неуязвима. Делал ли он ей бурную сцену — вся буря оставалась безраздельно на его стороне и, словно о гранитный утес, разбивалась всем своим напором о невозмутимо равнодушное спокойствие Людмилы. Начинал ли он дуться и по целым дням не говорил с нею ни слова — она словно бы и не замечала этого, не обращая ни малейшего внимания на то, что происходит в его душе. Принимался ли он гро-

зить ей — она слегка смеялась над угрозой. Выставлял ли на вид свои мужние права — Людмила парировала их теми условиями, какие были ею предписаны, а им приняты еще до брака. Словом сказать, Вельтищев чувствовал полное свое нравственное бессилие перед этой женщиной. Он любил ее тело и ненавидел ее душу. Но порой, когда смиралось в нем это чувство, когда стихала его ревность и он становился кроток, Людмила тоже делалась и мягкой, и приветливой и на ласку отвечала взаимной лаской. Она не позволяла ему только мешаться в личную область ее своенравной свободы и в этом случае больно царапала его самолюбие своими кошачьими когтями, но чуть лишь становился он кроток и покорен — бархатная кошачья лапка была готова ласково погладить его.

— Господи! ведь можно же быть счастливым! — с оттенком подавленной грусти, из души вздохнул однажды Вельтищев в минуту подобного затишья.

— Можно, мой милый! — подтвердила ему Людмила. — Для этого надо только немножко поменьше ревности и немножко побольше веры в жену свою.

Но сей Фома неверующий только грустно усмехнулся на ее громкую фразу.

\* \* \*

Однако и эти редкие минуты затишья были все-таки отравлены другой назойливой, беспокоящей мыслью. Платон вспоминал тогда, что Ирина, живя в Швейцарии, ничего еще не знает про его женитьбу и все думает, будто он скоро к ней приедет. Его томила неизвестность о том, каким образом отнесется она к этому, вовсе уж неожиданному для нее факту? И это был вопрос довольно-таки тревожного свойства и серьезного характера, — вопрос, который беспокоил его еще с первых минут женитьбы; но он, жаждая тогда прежде всего нравственного отдыха, отгонял от себя его тревожный призрак и, баюкая самого себя, возлагал упования на свое умение вывернуться перед ней каким-нибудь ловким маневром, рассчитывал, что сумеет кончить с нею миролюбиво и свести отношения на бескорыстную и родственную дружбу. Для этого ему по-настоящему следовало бы поддерживать с ней переписку, но как писать, как продолжать морочить ее обещаниями своего приезда и надеждами на долгую совместную жизнь вдали от отечества, когда главный факт его новой жизни был уже со-

вершен? Открыть ей этого факта у него не хватало мужества, в особенности после тех, далеко не лестных отзывов, которые он, незадолго до отъезда Вельтищевой, столь искренно делал ей о Людмиле, — и вдруг теперь эта же самая «гнусная, продажная тварь» сделалась его законной женой! Он очень хорошо чувствовал всю фальшь своего положения перед Ириной и потому не хотел писать ей о женитьбе, надеясь, что личное объяснение, сила слова, взгляда, искусно притворного чувства помогут ему более, чем самое красноречивое письмо.

Однажды, в минуту примиренья, он открыл Людмиле свое затруднительное положение. Та знала, что они в переписке, и вопрос показался ей настолько серьезен, что она остановила на нем свое внимание.

— Мне кажется, — сказала ему Людмила, — тебе действительно следует прекратить пока переписку; каждое твое письмо будет только поддерживать в ней несбыточные надежды. Лучше прямо объясни ей, что ты женился...

— Ни за что! — горячо и решительно перебил ее Платон. — Ни за что!.. Ты не знаешь этой женщины: она, пожалуй, в состоянии будет наделять там тысячу глупостей!.. Так огоршить сразу невозможно!.. Я решил себе лучше обделать это как-нибудь осторожно, деликатно, при личном свидании; тогда авось-либо мне удастся убедить ее: ведь я имею на нее большое влияние.

— В таком разе еще более не следует поддерживать переписку. Это только усиливает фальшь твоего положения. Но мое мнение — все-таки лучше написать ей прямо.

— Ни за что! — еще решительнее повторил Вельтищев.

— Но, мой друг, чего же ты боишься? — пожала Людмила плечами.

— Глупостей, всяческих глупостей, вот чего!

— Но если они и будут, то она их сделает там, вдали; да и, наконец, какого же рода могут быть эти глупости?

— Мало ли какого?.. Это женщина ревнивая, горячая, иногда даже взбалмошная; ей может вдруг прийти в голову несчастная мысль отомстить мне.

— Чем это? — полупрезрительно усмехнулась Людмила. — Уж не вздумает ли открыть... про мужа?

— А что ты думаешь? — озабоченно и похмуро отозвался Вельтищев. — С нее, пожалуй, хватит в такую минуту!



— Полно, друг мой! — засмеялась она самым успокоительным образом. — Ведь это значит самое себя вести на каторгу, на публичный позор! Да, наконец, где же доказательства?

— Как где! А ее письма? Ведь она почти в каждом письме делает довольно прозрачные намеки на это дело, — она очень неосторожна! И поэтому каждое письмо ее чрезвычайно меня тревожит...

— Но ты-то сам, надеюсь, не делал ей в свой черед подобных прозрачных намеков? — заботливо спросила осторожная и предусмотрительная Людмила.

— Боже избави! Дурак я, что ли?

— Нет, да ты вспомни хорошенько!

— Ручаюсь, нет! — с полным убеждением заверил Платон Васильевич. — Я на этот счет всегда был с ней слишком предусмотрителен.

— А у тебя целы все ее письма?

— Все до единого.

— В таком случае их надо сейчас же уничтожить! — самым решительным тоном присоветовала Людмила. — Хотя я и уверена, что из этого не может возникнуть никакого дела, — продолжала она, — но, во всяком случае, никак не следует сохранять подобного рода документов. Ты должен уничтожить все, до последнего клочка бумаги, решительно все, что только может самому тебе напомнить про это дело. Оставь лишь те письма, которые вполне невинны по своему содержанию.

— Да уж со многими документами, а главное — с конторскими книгами и счетами это давно уже сделано, — открылся ей Платон Васильевич, чувствующий внутреннее смущение и неловкость в разговоре с женой, который так близко касался смерти его кузена: ему самому, в глубине своей совести, хотелось бы забыть про это страшное дело.

— Это очень умно, — серьезно похвалила его Людмила, которая и сама каждый день, как только разговор касался этой темы, испытывала подобную же неловкость относительно своего мужа, и потому, по возможности, всегда старалась избегать таких бесед. — Но если ты поступил так с другими документами, — продолжала она тем же серьезным тоном, — то и с ее письмами следует поступить точно так же. Давай их сюда — и через минуту их уже не будет!

Вельтишев принес ей из кабинета целую пачку.

— Припомни, все ли здесь? — заботливо осведоми-

лась Людмила и, получив самый удовлетворительный ответ, собственноручно подожгла их. Через минуту свободный ток воздуха поднял пепел этих писем в открытую трубу камина.

— Теперь уже ничего более у тебя не осталось? — участливо спросила Людмила.

— Ничего! Все опасное или мало-мальски подозрительное — все уничтожено с этой пачкой!

— Ну, стало быть, и кончим раз навсегда наши разговоры на эту тему!

Вельтищев крепко пожал руку жены. Теперь он вторично, после ее свадебного подарка, мог видеть и убедиться, что приобрел в ней заботливого и охраняющего друга.

#### IV

#### ПОВЯЗКА С ГЛАЗ ДОЛОЙ

Ирина Борисовна приехала в Петербург. Первым ее делом было послать с Демьяном извещение о своем приезде на квартиру Платона Васильевича. Она нетерпеливо ждала и надеялась сейчас же увидеть самого Вельтищева, но вместо того перед ней предстал Демьян с каким-то странным — не то улыбающимся, не то недоуменным выражением в лице.

— Ну что?.. был ты и видел его? — с живым нетерпением спросила Ирина.

— Был-с, только Платона Васильевича нет теперь в Петербурге: они уехали к себе в деревню, — доложил старый слуга ее покойного мужа.

— Это известие показалось Ирине несколько странным: Платон терпеть не мог деревни и деревенской жизни.

— Давно уехал? — спросила она.

— Давно-с, уже пять месяцев скоро, а вернутся еще недели через четыре, не раньше.

— Пять месяцев! — воскликнула Ирина, которой это обстоятельство показалось просто невероятным. — Постой, да как же это? — продолжала она, соображая. — Пять месяцев... но ведь я еще месяца четыре тому назад получила от него письмо... Оно было послано из Петербурга?

— Так точно-с, — доложил Демьян, — потому как они оставили здесь своего камердинера, так он теперича мне сказывал, что Платон Васильевич присылали письма

в особых пакетах на его имя, а он уже отсюда сам отправлял их за границу к вашей милости.

Опять новая странность для Ирины: к чему эта передаточная инстанция? К чему не просто из деревни, а непременно из Петербурга? И отчего, наконец, он ни единым словом не уведомил ее о своем отъезде в деревню, а, напротив того, извещал, что разные обстоятельства удерживают его именно в Петербурге?

— Камердинер у них оставлен здесь по той причине, собственно, как они переменили квартиру, — продолжал уже сам от себя докладывать Демьян, — они теперича взяли под себя в том же самом доме другую, значит, квартиру-с, и в бельэтаже-с — очень просторная и на две половины. Мебельщики и обойщики уже без них убирали ее, а камердинер оставлен собственно для досмотра.

— На две половины, говоришь ты? — переспросила Ирина.

— Так точно-с... И очинно все парадно, все заново, — сам нонича все осматривал; он мне показывал, значит.

— На две половины... Зачем же это?

— Затем, что они с барыней, значит, вернутся.

— С барыней?.. с какой барыней? — спросила она, недоумевая.

— С супругою-с.

— Что за вздор!.. какая супруга?.. с чьей супругою?

— Со своею-с... потому как они, значит, изволили жениться и, обвенчавшись, сейчас же уехали вместе в деревню.

Повязка начинала спадать с глаз Ирины, раскрывая перед ней страшную действительность.

Она вдруг изменилась в лице, которое покрылось смертельной бледностью, и несколько минут просидела молча, неподвижно и как бы бессознательно, пришибленная сразу этой страшной вестью.

Смешавшись и недоумевая, Демьян глядел на свою барыню.

Наконец она сделала внутреннее усилие, чтобы овладеть собой.

— Демьян... точно ли... все это правда, что ты сказал? — произнесла она с видимым принуждением.

— Человек ихний сказывал! — словно бы оправдываясь, слегка развел слуга руками. — Говорит, что и свадьбу сыграли без всякого парада, очень тихо и просто-с, даже и в церкви никого не было.

— На ком? — после нового молчания, с новым усилием над собой спросила Ирина упавшим и слабеющим голосом.

— На госпоже Коробовой, — было ей ответом.

Ирина ничего не сказала и только, закусив губы, с каким-то странным, почти бессмысленным выражением уставила глаза свои куда-то в пространство.

— Хорошо... Мы это узнаем... точнее... — почти задыхаясь, через силу сказала она. — Теперь ступай!.. Ты мне не нужен больше... Оставь меня одну... Ступай... уходи отсюда!

С удалением человека насильственно удержанная энергия самообладания быстро покинула Ирину, у которой теперь едва хватило сил дотащиться до дивана, куда она бросилась ничком, крепко сжав руками свою закружившуюся и пылающую голову. Сердце ее, замирая, шибко колотилось в груди, в которой клочкотала истерическая буря; но Ирина напряженно старалась пересилить ее в себе, сдержать свой порыв, не дать расхотиться истерике и для этого крепко давила свои виски и нервно закусывала губы: ей не хотелось, чтобы люди явились свидетелями первых минут ее стыда и страшного горя.

## V

### ОНА РЕШИЛАСЬ

Несколько часов провела она, испытывая эти нравственные муки. В голове ее был какой-то туман и хаос, посреди которого со зловещей яркостью отпечатлевалась одна только мысль: «Женился, женился... на *Людмиле Коробовой*».

Горничная два раза осторожно входила к Ирине, но та в первый раз и не слышала, и не заметила ее прихода, а во второй выслала ее вон, запретив входить к себе без зова. Домашние люди видели, что с барыней деемся что-то странное, но теперь никто уже своим появлением не смел нарушить ее воли. Таким образом, Ирина была окружена глубокой тишиной и полным одиночеством, среди которых мало-помалу, выделяясь из хаоса и тумана, зрели ее новые чувства и отливались в определенную форму мысли, рожденные ее новым положением, открывшимся перед нею столь неожиданно и с такой беспощадной истиной.

Через несколько времени истерическое волнение

утихло, уступив свое место гнету глубокого горя. Ирина всю ночь не раздевалась и не ложилась. Она долго и много ходила по комнате, не испытывая ни малейшей усталости. Страдание ее всецело обратилось на нравственную сторону природы, перед которой, почти автоматически повинаясь ей, смолкла в своих требованиях сторона физическая.

Ирине пришла мысль писать к Вельтищеву и на этот раз высказать ему всю глубокую меру своего презрения, горечи и оскорбления; но слова самые яркие были бессильны, чтобы выразить вполне все то, что испытывало ее беспощадно разбитое сердце. Она несколько раз принималась писать — и все напрасно: писалось все как-то не так и не то, чего бы хотелось. Она рвала лист за листом и, наконец, бросила это дело, решив, что писать бесполезно, да и не следует. Вместе с последним разорванным листом ей показалось, что она и в душе своей все уже разорвала и покончила с Вельтищевым.

Теперь ясно ей представилось, что она никогда не была любима, но постоянно обманываема — постоянно, всегда и непрерывно — даже и в то время, когда считала себя наиболее любимой и потому наиболее счастливой, когда ею был исполнен ради этого человека один из наибольших актов самопожертвования, когда ради его и вопреки своей совести она стала его сообщницей в мерзком преступлении, — даже и тогда он лгал перед нею, сознательно топя ее в бездне греха и преступления ради *другой*, любимой им, женщины. Ирина, конечно, не могла знать, в какое положение был поставлен ее возлюбленный Людьмилю Коробовой, и потому он показался ей еще мерзее, когда она вспомнила, что этот человек, чуть не накануне своей свадьбы, не мог подобрать достаточных эпитетов, которые выразили бы всю меру его презрения «к этой гнусной развратнице». И что же? В то самое время, когда эта «развратница» готовилась уже быть его женою, у него хватило совести забрасывать грязью ее — свою любимую женщину — ради того лишь, чтобы половчее обмануть другую, чтобы убаюкать ее и с ее помощью построить на преступлении благосостояние и счастье этой *другой*. Так казалось теперь Ирине, и она чувствовала, что нет уже более в ее душе никакой струнки, которая могла бы зазвучать прощением тому человеку.

Как женщине обманутой и жестоко оскорбленной в своем лучшем и единственном чувстве, наполнявшем доселе всю ее жизнь, ей хотелось мстить, и мстить так,

чтобы и он, и эта *другая* почувствовали на себе всю тяжкую силу ее мщения.

Но, кроме того, в ней неумолчно вопияла теперь и совесть, говорившая о смерти мужа, о преступлении, ею самою совершенном. А здесь, в этих самых комнатах, все, решительно все, до последней мелочи в обстановке, так ярко и грозно напоминало ей про эту смерть и преступление. Вот столовая, где она кинула последний, сомневающийся взгляд на любовника и на мужа; вот кресло, к которому подвел ее Платон, когда вернулся из кабинета и на коленях так страстно умолял хоть на полтора часа выдержать спокойствие и характер; вот тот самый рабочий столик, с которого она взяла сафьянный сак и передала ему; вот кабинет и оттоманка, на которой она впервые увидела своего мертвого мужа... в этой зале стоял его гроб, покрытый роскошною парчой...

Ирина одна, среди глубокой ночи, бродила по всем этим комнатам и приглядывалась к каждой вещи, невольно повинувшись какой-то обаяющей силе своих страшных воспоминаний.

И вдруг ею овладел ужас — страшный, панический и неодолимый. Казалось ей, будто в этих комнатах присутствует еще дух ее мужа, будто он укоряющим призраком то сопровождает ее в этом ночном обходе, то становится перед нею и преграждает дальнейшую дорогу. В легком движении воздуха, колебавшем на ходу пламя свечи, ей чудилось веяние этого духа, который легким холодком проносится мимо ее щеки и чуть-чуть шевелит на виске отделившийся волос.

Какая-то странная и ей самой непонятная сила невольно влекла ее опять к кабинету, который, более всех остальных комнат, казался ей страшен.

Она подошла к оттоманке. «Вот... вот это самое место...»

Пламя свечи опять качнулось в руках Ирины; какая-то половица или мебель щелкнула вдруг с тихим треском — и ее охватила нервная дрожь. Воображение уже было сильно настроено в известном направлении — и ее страхи стали мерещиться ей с новою силой. Она хотела было бежать, но ноги, словно бы в сонном кошмаре, не повиновались ее воле и оставались на месте, как будто к ним были привязаны тяжелые гири.

Страх окончательно обуял Ирину. Не смея и не будучи в состоянии сделать ни назад, ни вперед ни единого шага, она с мятущеюся тоскою огляделась по сторонам, как бы ища себе в чем-нибудь поддержки и ободре-

ния, — но ни той, ни другого не явилось к ней на помощь, — и вдруг порывисто опустилась на колени перед самою кушеткой. Свеча выпала из рук ее и погасла. Она стала молиться страстно, тоскливо, стремительно. Обессиленные руки ее опустились на то самое место, где некогда лежал ее мертвый муж, и голова в смертельной тоске легла на эти сложенные руки. Она молилась не о прощении, не об отогнании ее страхов, но о том, чтобы ей было ниспослано свыше доброе вразумление — как ей быть, как поступить теперь с собою и на что решиться? Это была молитва без слов, молитва одной мыслию, одним порывисто страстным хотением и алканием души, изнемогающей под невыносимым бременем тоски, страха и горя.

Спасительные слезы вдруг хлынули из ее глаз и принесли с собою некоторое облегчение, а она меж тем все молилась и молилась на прежнем месте, склонясь на коленях и призывая на себя свыше осенение благою мыслью.

В этом положении застали ее первые лучи рассвета.

Она поднялась с колен, уже не ощущая того смятенного страха, который поверг ее в это положение, — и на душе стало как будто несколько иначе, несколько определеннее.

Теперь, казалось ей, она знала, что ей следует делать. Она решилась.

Сна ей не было и спать ей не хотелось. Ирина и теперь даже все еще не чувствовала или не замечала в себе физического утомления.

Она дождалась утра, велела разбудить Демьяна и приказала ему ехать немедленно и узнать в точности, где, когда, с кем и действительно ли венчался Вельтищев, и привезти ей скорее самые обстоятельные сведения. Это была невольная, но уже последняя дань чувству, которую приносила женщина обманутая и оскорбленная. За эту грань оставалось уже существо, исполненное одного только отчаяния. Теперь ей хотелось лишь удостовериться окончательно, чтобы потом не оставалось в душе ни малейших сомнений, ни малейшего упрека себе за судьбу Платона. Женщина кающаяся знала, что ей следует делать.

\* \* \*

Около полудня Демьян вернулся и привез сведения настолько обстоятельные, что никаким сомнениям не могло уже быть места.

Ирина выслушала его почти спокойно и, подумав с минуту, приказала закладывать себе карету, а сама стала одеваться.

Через полчаса человек доложил, что экипаж уже готов к ее услугам.

Ирина сошла на подъезд совершенно твердой и спокойной поступью.

— К обер-полицеймейстеру! — твердым голосом сказала она кучеру, ступая на подножку кареты.

## VI

### КАК СНЕГ НА ГОЛОВУ

Однажды Вельтищев, после утренней прогулки верхом, сидел в своей деревенской столовой, где был накрыт стол для завтрака, и пробегал газеты, только что доставленные с почты. Людмила приготовляла кофе. В это время между ними был мир и царило согласие, потому что Вязьминов дней пять уже как уехал в губернский город, где должен был остаться еще на несколько суток по делам своей службы.

Вдруг на улице послышался звон нескольких почтовых колокольчиков, и через две-три минуты во двор усадьбы въехали три тройки. На одной сидел местный исправник с каким-то чиновником, на другой — жандармский офицер и еще кто-то, на третьей — становой и письмоводитель. Два жандарма помещались на облучках двух передних троек.

— Кого это Бог несет? — обернулся к окну Вельтищев и вдруг побледнел, рассмотрев неожиданных посетителей.

— Людмила... это что-то недоброе, — смущенно проговорил он упавшим голосом. — Там полиция, жандармы, еще кто-то... это неспроста!..

Она подбежала к окну и на мгновенье тоже смутилась, но не более как на мгновенье. Она инстинктивно понимала, что при внезапности этого приезда, который не обещает ничего хорошего, надо прежде всего сохранить хладнокровное спокойствие и самообладание.

— Что бы там ни было, — обратилась она к мужу, вскинув на него ободряющий взгляд и кладя на плечо его руку, — помни только одно: спокойствие! Как можно больше спокойствия! Обдумывай каждый ответ, а



главное — открытый, бодрый вид и спокойствие!.. Ну, не робей! Ободришься, мой милый, — они идут уже!

Через минуту в смежной комнате уже слышались шаги нескольких человек. Лакей приотворил было дверь, чтобы предупредить своих господ.

— Без докладов, без докладов, любезнейший! — остановил его чей-то повелительный голос. — Мы и сами о себе доложим!

И вслед за тем в столовую вошли исправник, жандармский офицер и еще третье лицо, в очень изящном дорожном костюме, но с форменною фуражкой в руке.

Людмила взглянула на последнего из вошедших и невольно отступила на шаг, исполняясь немалым изумлением.

Перед нею стоял Жаночка Вантрик.

Но что это был за Жаночка! — это был сам Юпитер в образе Жаночки. Всякая фибра его лица, всякий взгляд и движение, даже всякая складка одежды как бы прониклись великостью того особого назначения, которое призван исполнить Жаночка. Он чувствовал, что он теперь *особа*, что все эти господа, приехавшие с ним, не более как его «антураж», аксессуарная обстановка, а он — один он здесь вершитель и решитель судеб человеческих.

— Имею честь рекомендоваться! — с правоведски-комильфотным пришепетыванием сквозь зубы начал Вантрик, слегка кивнув головою. — Прислан из Петербурга по особому следствию. Впрочем, мы с вами уже знакомы, а с вами в особенности! — прибавил он, обращаясь к Людмиле не без затаенной язвительности.

— Очень рад, господа! — в качестве радушного хозяина заговорил Вельтищев. — Прошу садиться! Вы теперь с дороги и потому позвольте прежде всего предложить вам стакан чаю и завтрак.

— Не беспокойтесь! — с видом стойка отказался Вантрик. — У нас уже заказан свой собственный обед на постоялом дворе, да и некогда завтракать, потому что нам должно сейчас же приступить к делу.

— К делу? — слегка изображая вид удивления, промолвил Вельтищев. — А я думал, что вы, господа, проездом завернули ко мне отдохнуть, и, признаюсь, очень рад был добрым гостям при нашей деревенской скуке. Разве у нас случилось что-нибудь особенное? — с озабоченным видом обратился он к исправнику, с которым был знаком как местный землевладелец.

— Мы находимся здесь по требованию господина

следователя, — полугрустным, полуконфузным, но в то же время официальным тоном заметил представитель уездной полиции. — Господин Вантрик присланы сюда из Петербурга, будучи облечены особыми полномочиями, — добавил он, — и, конечно, они сами объяснят вам, что найдут нужным.

— В таком случае, господа, если я вижу вас в моем доме, то, значит, дело касается меня лично?

— Вы не ошиблись! — слегка поклонился Жаночка. — Вот предписание! — предъявил он Вельтищеву бумагу, которую достал из своего щегольского портфеля. — На основании его я должен произвести у вас немедленный обыск. Господин исправник, потрудитесь распорядиться, чтобы были введены наши люди и понятые.

— Позвольте прежде узнать, в чем я обвиняюсь? — нахмуренно спросил Вельтищев.

— В отравлении вашего двоюродного брата, с целью воспользоваться его капиталами! — прямо в лицо объявил Вантрик, наблюдая, какой громовой эффект произведет это неожиданное сообщение.

Но эффекта, не только громового, а и вовсе никакого, не последовало.

— Что-о?.. Как вы сказали?.. В отравлении моего брата, с целью воспользоваться капиталами?

— Так точно, господин Вельтищев!

— Что за нелепость! — пожимая плечами, воскликнул Платон с улыбкой, в которой сказались и горечь, и изумление, и негодование оскорбленной чести, и насмешка над видимою несообразностью столь гнусного предположения.

— Тем не менее вы обвиняетесь в этом, — сухо возразил Жаночка.

— Что же это доказывает, господин следователь? — горько улыбнулся Вельтищев. — Разве одно только, что на человека можно взвести какое угодно обвинение?

— Я не стану диспутировать, доказывает ли оно то или другое, — уклонился Вантрик. — Я прислан сюда только произвести предварительное следствие, а там уже будет делом суда разобрать, лепо ли это или нелепо.

— О, в таком случае я совершенно спокоен! — воскликнул Вельтищев. — Сделайте одолжение, господин следователь, приступайте к вашей обязанности: я вполне отдаюсь в ваше распоряжение!

— Господин поручик, — обратился Вантрик к жандармскому офицеру. — Прошу вас немедленно же разединить госпожу Вельтищеву с ее супругом и приста-

вить к ней воинский караул, чтобы она не могла иметь с ним никаких сношений.

— Позвольте! — шаг вперед ступил Платон Васильевич. — Разве жена моя тоже обвиняется?

— Мне так нужно, по моим собственным, особым соображениям! — поклонился ему Вантрик.

— Но это уже насилие! — воскликнула Людмила.

— Сударыня, как следователь, я, на основании закона, имею на то полное право и потому покорнейше прошу вас повиноваться.

— Однако, милостивый государь, для обвинения должны быть какие-нибудь доказательства, — с твердостью и сознанием своего права возразила Людмила. — А вы еще прежде обыска, прежде всякого приступа к следствию уже начинаете поступать с нами, как с уличенными преступниками!.. Во-первых, как хозяйка дома, я желаю быть при вашем обыске, а во-вторых, покажите мне бумагу или что там есть у вас такое! Я желаю знать, в чем я обвиняюсь и на основании чего я обвиняюсь?

— Вот именно основания-то для обвинения мне и нужно расследовать.

— В этом я не препятствую, — согласилась Людмила. — Но не думаю, чтобы какой бы то ни было закон давал вам право лишать свободы женщину по одному только вашему предположению. Потрудитесь сперва найти против меня хоть одно из законных оснований, а тогда уже арестуйте. Если у вас есть ваши полномочия, которых я не знаю, то у нас есть наша честь, наше доброе имя, которое всем известно, которым мы дорожим, а вашим арестом вы кладете на нас пятно в глазах общества.

— Сударыня, смею уверить вас, — ехидно-вежливо улыбнулся Жаночка, — смею уверить вас, это никак не арест, а только предупредительная мера, которая не может класть на вас ни малейшего пятна и которую я тотчас же прекращу, если, впрочем, не усмотрю в ней дальнейшей надобности.

— Этот дом принадлежит мне, он моя собственность, и потому, повторяю, я желаю быть при обыске! — настойчиво заявила Людмила.

— Не смею отказать вам! — вежливо поклонился ей Вантрик и затем тотчас же приступил к делу.

Для Людмилы казалось необыкновенно важным присутствовать при обыске, чтобы не быть разлученною с мужем хотя бы в эти первые минуты. Присутствуя

здесь, она все-таки могла наблюдать — насколько он сохраняет свое спокойствие, насколько в нем сильны уверенность в себе и самообладание, и, наконец, она могла если не словом, то хотя взглядом, хотя одним уже своим присутствием поддержать его внутренне на первых шагах следствия, — и она действительно успела раза два незаметно для посторонних кинуть на него ободряющий, ласковый взгляд и получила в ответ, столь же незаметную другим, улыбку, которая, казалось, говорила: «Ничего, мой друг! будь уверена, я себя ничем не выдам!»

Самый тщательный обыск, который длился часа четыре сряду, не привел ровно ни к каким результатам: никакой подозрительной вещи, ни единого, мало-мальски уличающего клочка бумаги не было найдено. Между разными посторонними документами Вантрик отыскал в шкатулке Вельтищева сохранный расписку Максима Григорьевича на двести пятьдесят тысяч.

— Это что за документ? — спросил он, думая, что благодетельная судьба, быть может, внезапно наводит его на открытие одной из существенных нитей дела.

— Как видите, сохранный расписка, — спокойно ответил Вельтищев.

— Почему же она у вас находится?

— Потому что была выдана мне покойным кузеном и мне принадлежит.

— Разве деньги по ней еще не получены?

— Если бы были получены, то, полагаю, у меня не было бы расписки, а так как она у меня, то, вероятно, и это все для того, чтобы «воспользоваться его капиталами», — с горько-грустной иронией заметил Платон Васильевич.

— Вы были в переписке со вдовою вашего брата? — спросил Вантрик, закончив уже свой безуспешный обыск.

— Был, — не изменяя себе, утвердил Вельтищев.

— Какого рода была эта переписка?..

— Мм... как вам сказать? — больше все деловая, так как после смерти брата все дела пали исключительно на мои руки, или обыкновенная родственная... В этой переписке, сколько помнится, ничего особенного не заключалось.

— Не угодно ли вам представить мне письма госпожи Ирины Вельтищевой, адресованные к вам.

— К сожалению, при всем желании, не могу этого выполнить! — развел руками Платон Васильевич.

— Почему так-с? — быстро спросил следователь.

— Потому что письма эти были не особенно часты, да и едва ли у меня сохранился теперь хоть один листок.

— Вы их уничтожили, значит?

— То есть умышленно — нет, я не имел никаких причин уничтожать их с умыслом; но я вообще не имею обыкновения хранить какие бы то ни было письма, за исключением деловых, а иначе мне пришлось бы заводить целый архив для подобной незначашей переписки.

— Теперь, сударыня, обыск кончен — и, извольте, я должен удалить вас, — обратился Вантрик к Людмиле. — С этой минуты вы не можете видаться с вашим супругом иначе, как только в моем присутствии.

Людмила, не сказав ему ни слова, с гордым спокойствием, в сопровождении жандарма, прошла на свою половину.

## VII

### ЧТО НУЖНО БЫЛО ЗНАТЬ ЛЮДМИЛЕ

Вечером, уже часу в одиннадцатом, Вантрик прислал просить ее к себе для допроса.

Людмила вышла с жандармом в диванную, где Жаночка занимался над своими бумагами.

— Можешь уйти, братец! Подожди там, за дверью! — приказал он сопровождавшему солдату и, с обычною своею вежливостью, поспешил подвинуть кресло даме.

— При каких грустных обстоятельствах приходится нам на этот раз встречаться с вами! — со вздохом тихого сокрушения начал Жаночка, покачивая головою и потупив свои глазки.

— Почему так — «при грустных»? — с особым ударением на последнем слове вскинулась на него глазами Людмила.

— Как! Неужели же и это еще не грустные обстоятельства?! Такое тяжкое преступление...

— Позвольте! — не дав договорить, остановила его м-те Вельтищева. — Слово «преступление», мне кажется, здесь неуместно. Вы потрудитесь прежде убедиться, что оно есть, вы докажите его прежде! А без этого подобное слово и оскорбительно, и неприлично в устах порядочного человека.

— К сожалению, я уже убежден! — вздохнул Жаночка, разведя руками.

— Что же вас «убедило» в этом? — с достоинством усмехнулась Людмила.

— Мм... как вам это сказать?.. *все* убедило... Для следователя иногда важен самый, по-видимому, ничтожный намек... Ваш муж, наконец, заставил меня убедиться...

— Мой муж?! — гордо сдвинула брови м-ме Вельтищева. — Мой муж, говорите вы? Это неправда!.. Мой муж слишком честный человек, чтобы сделать какое бы то ни было преступление, а уж убеждать-то в небывалых вещах он никогда не станет! Позвольте вам не поверить на этот раз, господин Вантрик; и если это была с вашей стороны стратегическая уловка, известный прием, употребляемый иногда господами следователями, то я должна сознаться, что попытка ваша весьма неудачна!

— Что же делать, Людмила Сергеевна!.. Вам оно кажется невероятным, а между тем это так!

— В таком случае вы знаете неизмеримо больше меня и, стало быть, вам меня не о чем далее спрашивать! — поднялась она с места, показывая тем явное намерение прекратить дальнейшие объяснения. — Позвольте вы мне удалиться, господин следователь?

— Нет, я попрошу вас остаться! — поспешил остановить ее Вантрик. — Мы теперь совершенно одни и, стало быть, можем говорить вполне откровенно... Я вас прошу говорить со мною не как со следователем, а как с человеком, который, во имя прежних отношений (Жаночка при этом грустновато вздохнул и кислотовато поморщился), имеет некоторое право на вашу откровенность.

— Я готова! — снова присела Людмила. — Но чего же вы от меня хотите, Иван Иванович?.. Во-первых, если вы мне напомнили о наших прежних отношениях, которые вам самим же угодно было нарушить — помните? — вашим последним посещением и подозрением, будто я что-то такое выкрала у вас, — продолжала она, смягчая несколько свой холодный, недоступно замкнутый тон, — то позвольте спросить вас: какими судьбами вы теперь появились в нашей усадьбе?

— Я был послан... на меня по службе возложено это поручение, а я не имею обыкновения отказываться от приказаний начальства.

— Это очень похвально! — кивнула головой Людмила со своею женски-кошачьей улыбкой, которая уже

и прежде была знакома Жаночке. — Но теперь еще один вопрос: как могло возникнуть такое нелепое предположение? Кому и чему мы должны быть этим обязаны?

— Увы! Я не имею права сообщить вам этого!

— Э, в таком случае наши шансы неравны! Вы же сами предложили мне говорить с вами не как со следователем.

— Да, но... ваш вопрос так близко касается дела...

— Ах, так вы хотели поболтать со мною не о деле!.. Pardon. Я, значит, не так вас понял! — опять сухо поднялась с места Людмила. — Извините меня, я так расстроена... вы поставили нас в такое положение, что никаких разговоров я вести не в состоянии... я решительно не могу в этом случае исполнить роль любезной хозяйки.

— Ошибаетесь! — поспешил вступить за себя Жаночка, который несколько сконфузился от последних слов Людмилы. — Ошибаетесь! Именно о деле-то я и намерен поговорить с вами!

— И просили быть вполне откровенной, — добавила она, замедляясь на ходу перед столом, где лежали бумаги.

— Именно откровенной! — подтвердил Жаночка.

— Ну, так одно из двух: или мы будем взаимно откровенны, и тогда вы ответите на мой вопрос, или же вы рассчитываете половчее выпытать у меня что-то; в таком случае я уже вам сказала, что вы знаете больше меня и разговаривать нам не о чем. Можете снова отправлять меня под караулом!

— Но поверьте, я в видах вашей же собственной пользы...

— Благодарю вас за заботу о моих пользах, но я должна вам сказать, что и муж, и я считаем себя настолько чистыми в этом деле, что бояться нам действительно нечего и, стало быть, нет надобности заботиться и о собственных пользах.

— Однако ж то или другое направление дела?..

— Это разберет суд! — перебила его Людмила. — И суд узнает, где истина! Полноте, господин Вантрик! Оставьте ваши подходы! Я очень хорошо все это понимаю!

— Клянусь вам, у меня нет и в мысли никаких подходов! — воскликнул Жаночка, еще более конфузясь.

— В таком случае делайте, что вам следует, и оставьте меня в покое! Но всеми вашими уверениями вы

поневоле заставляете меня еще более думать, что все это одни только подходы и уловки!

— Ну, хорошо! извольте, я буду откровенен! — согласился наконец Вантрик, который сообразил, что Людмила ровно ничего не выиграет, если он скажет ей, вследствие чего возникло дело, раз что она разлучена уже с мужем, и потом — рано или поздно — это для нее все-таки откроется, а меж тем, быть может, благодаря своей уступке ему и удастся что-нибудь выпытать.

— Извольте, чтобы доказать, что я не хитрю, я вам открою! — начал он, снова усадив ее в кресло. — Дело возникло по доносу вдовы покойника, которая сама добровольно явилась обвинительницей.

Людмила и раньше еще думала, что дело не прошло мимо рук Ирины; ей только хотелось убедиться, и она задалась целью достичь этого теперь же. Однако, рассчитав это, она разочла точно так же, что ей лучше всего будет представиться крайне удивленной.

— Вдова покойника! — воскликнула она. — Помилуйте, да этого быть не может!..

— И, однако ж, это так! — пожал плечами Вантрик.

— Невероятно!.. С какой стати?! Она, я слышала, очень добрая и порядочная женщина и всегда была с моим мужем в самых лучших родственных отношениях... Если бы еще какая-нибудь вражда между ними, тогда это было бы хоть несколько понятно, но так... так, без всяких причин... Нет, я положительно отказываюсь вам верить! — горячо и убедительно заговорила Людмила. — Ведь со смерти Макса прошло уже более девяти месяцев, — чего ж она думала раньше? Чего она ждала до этих пор со своими обвинениями, если бы действительно могло быть такое преступление?

— Но она вместе с вашим мужем обвиняет и себя; она прямо говорит, что была участницей, что знала про все и дала ему свое согласие.

— Как! Обвиняет себя?! Господин Вантрик, да ведь это сумасшествие! — воскликнула Людмила. — Где же доказательства и какие они? И есть ли, наконец, во всем этом хоть какой-нибудь смысл? или, быть может, это с вашей стороны тоже одна из следовательских уловок? В таком случае, я ее решительно не понимаю!

— Что это отнюдь не уловка, я вам могу сейчас же доказать, — сказал Жаночка и, в подтверждение своих слов, прочел копию с протокола, составленного на основании первых показаний, данных самообвинительницей.



— Невероятно! — пожала плечами Людмила. — И заметьте, например, хоть это, — продолжала она. — Здесь сказано, что муж сделал преступление с тем, чтобы воспользоваться богатствами покойника. Как же это она-то могла давать согласие на то, чтобы быть ограбленной? Есть ли в этом смысл? И, наконец, если б оно было так, то ведь в девять месяцев давным-давно уже можно было «воспользоваться» — и, однако ж, Ирина Борисовна бесспорно владеет всем, что досталось ей по завещанию!

Вантрик, не перебивая, выслушал все это объяснение, но по окончании пристально посмотрел на Людмилу с такою самоуверенно недоверчивою улыбкой, которая могла бы смутить многих, однако ее не смутила.

— Что это за странный взгляд, господин Вантрик, в ответ на мои слова? — сказала она, с сознанием своего достоинства подняв голову.

— Все это прекрасно-с и для всякого другого следователя было бы очень убедительно, — ответил Жаночка с ядовитой усмешкой. — Но вы забываете, что я в отношении вас стою несколько в иных условиях. Я вам напомним теперь странную пропажу двух документов из дела вашего бывшего мужа; я вам напомним, что эти документы были найдены у вас в киоте за образом. Положим, хоть в этом деле они не имели никакого значения, но удивительное исчезновение их становится очень знаменательным в связи с настоящим делом. Теперь я понимаю, почему им нужно было исчезнуть!

— Да; но я не понимаю, почему вы это *мне* высказываете и что вы этим хотите сказать? — возразила неуязвимая Людмила.

— Не более как то, что документы эти имеют свое, и притом немалое, значение по настоящему делу, и потому им *нужно* было исчезнуть, а для этого было пущено в ход все, не исключая даже и тех жертв, которые принесла мне ваша добродетель.

— Господин Вантрик! — гордо подняв голову, остановила его Людмила.

— Таково мое внутреннее убеждение! — со вздохом и язвительной улыбочкой пожал плечами Жаночка.

— Можете оставаться при ваших внутренних убеждениях сколько вам угодно: ваше внутреннее убеждение еще не есть доказанный юридический факт, и потому не смейте оскорблять меня подобными предположениями!

— Я не оскорбляю! Я только говорю, что, по внутреннему моему убеждению, теперь я вижу и понимаю, почему этим документам нужно было исчезнуть.

— В таком случае постарайтесь отыскать их! — не без иронии предложила ему Людмила.

— Увы! старания мои были сегодня безуспешными!.. Не поможете ли в этом вы мне, Людмила Сергеевна?

— Могу помочь одним только добрым советом: оставьте в стороне свои внутренние убеждения и действуйте так, как предписывает следователь закон; или же оставьте следствие и присоединяйтесь к обвинению; тогда, по крайней мере, публика услышит ваш пикантный рассказ о том, как вы, будучи следователем по делу политического преступника, вступили в связь с его женою... одним словом, все, что относится до этих документов и до вашего внутреннего убеждения. Могу заранее обещать нам большой интерес и в публике, и в вашем начальстве, которое увидит, какого прекрасного чиновника имеет в вашем лице.

— Я этого не сделаю! — с жаром благородного негодования воскликнул Жаночка, очень хорошо понявший подкладку последних слов. — Я этого не сделаю! Не в моих правилах компрометировать имя женщины, какова бы она ни была!

— В таком случае не можете и мне высказывать ваших «внутренних убеждений», — поклонилась ему Людмила. — Я не возьму на себя труд оспаривать их, — продолжала она, — и если они у вас есть, то постарайтесь на основании их раскрыть небывалое преступление!.. Но, если не ошибаюсь, суд принимает в соображение не внутреннее убеждение следователя, а только факты, которые им раскрыты. Постарайтесь же доставить суду факты, господин Вантрик!

— Надо отдать вам полную справедливость: вы неуязвимы! — с внутренней досадой, при сознании полной своей неудачи, заметил Жаночка, подымаясь с места. — Но я воспользуюсь вашим добрым советом, — продолжал он, — и действительно постараюсь доставить суду факты!

— От всей души желаю, чтобы старания ваши увенчались полным успехом, — иронически поклонилась ему м-ше Вельтищева.

Объяснение было кончено, но герои его разошлись далеко не с одинаковыми чувствами. Жаночка был зол на неудачу и Людмилу, потому что страдало его само-

любие, задетое за живое ее высокомерным тоном и иронией; ему хотелось бы теперь нравственно раздавить, уничтожить эту женщину и тем отомстить ей за настоящее и за прошлое, за ту последнюю сцену, которую он должен был вынести в ее квартире в присутствии Вельтищева; он чувствовал, что и тогда, и теперь — остается постоянно в дураках перед нею и что он бессилён дать ей чувствительные доказательства противного. Будучи внутренне убежден, что преступление действительно было совершено, он все-таки не мог доказать хотя бы даже вероятность его, потому что не идти же ему, в самом деле, рассказывать перед судом историю пропажи документов из «дела», так как от этого могли бы сильно пострадать его репутация и служебная карьера, которую более всего дорожил чиновничьи-щепетильный Жаночка. Он мог теперь мстить Людмиле только разными прижимками и стеснениями ее личной свободы — и решил делать это с особенным удовольствием: «Вот же, мол, тебе! не мытьем, так катаньем!»

Что же касается Людмилы, то после объяснения с Вантриком она вышла из диванной далеко спокойнее, чем за полчаса, когда входила в эту комнату для допроса. Она успела добиться, что ей было нужно. Она знала теперь, что преступление раскрыто Ириной, которая голословно обвиняет себя и Платона, и что Вантрик, из боязни за собственную шкуру, промолчит о пропаже документов. При отсутствии всяких других улик этого было совершенно достаточно для спокойствия Людмилы, которую заботила теперь одна лишь мысль: какими бы судьбами передать все это для сведения своему мужу, чтобы успокоить и его, рассеять в нем то чувство томительной неизвестности, в каком, по мнению ее, он должен был находиться.

Писать ему, казалось ей, небезопасно: записка могла бы быть перехвачена, и тогда явится довольно значительная улика. Да и дойдет ли еще записка по назначению, если в его кабинете постоянно стоит на карауле или жандарм, или тысяцкий? Подкупить их? Но это довольно трудно и было бы возможно только при содействии вполне верного, преданного и очень ловкого человека, а такого не было теперь при Людмиле, которая и сама испытывала всю тяжесть ареста, да и подкуп может быть обнаружен. А для Людмилы было в высшей степени важно ничем не скомпрометировать себя или мужа во всем этом деле.

## НУЖНОЕ СЛОВО СКАЗАНО

На другой день Вантрик объявил ей, чтобы она готовилась к отъезду.

— Куда же мы поедем? — спросила она.

— В Петербург, сударыня.

— И как скоро это будет?

— Нынче же днем, часа в четыре.

— Сегодня! — воскликнула Людмила. — Но, Боже мой, разве есть возможность изготавиться к отъезду так неожиданно, в несколько часов?! Помилуйте!

— Времени слишком достаточно, и тем более что вы должны ограничиться лишь самыми необходимыми в дороге вещами: смена платья да две-три смены белья, и только.

— Как! вы даже берете на себя предписывать мне условия моего гардероба?! Не слишком ли уж это, господин следователь?

— Отнюдь не слишком, сударыня, потому что вы не по своей охоте поедете: вас повезут. До железной дороги, впрочем, можете воспользоваться вашим экипажем, но далее вы поедете на казенный счет, а в Петербурге, надо надеяться, вас ожидает тоже казенное платье, поэтому избыток в гардеробе совершенно излишен.

— Мой муж тоже поедет? — раздумчиво спросила Людмила.

— Ваш супруг? О, всенепременнейше! Но вы поедете не вместе.

— Я должна с ним видаться, господин следователь.

— Извините, я нахожу, что это совершенно излишне.

— Как!.. Вы мне не можете запретить этого! — горячо и настойчиво вступилась за себя Людмила. — У нас здесь остается хозяйство, целый дом, дела — нам надо распорядиться всем этим! Ведь так же невозможно покинуть дом на произвол судьбы! Хотя меня и ждет, по вашим словам, «казенное платье», но из этого еще не следует, чтобы мы с мужем не имели права сделать наши распоряжения, пока от нас не отнято наше имущество! Такое насилие не может быть оправдано никакими следовательскими соображениями, и никакой закон не допустит такого произвола! И наконец, ведь я буду видаться с мужем в вашем присутствии, значит, вам нечего опасаться каких-нибудь стачек!

У Людмилы, при первом же сообщении об отъезде, мелькнула мысль — непременно добиться свидания с Платоном, чтобы сообщить ему результат вчерашнего своего объяснения; поэтому она теперь и ухватилась с такой настойчивостью за необходимость этого свиданья. Жаночка хотя и очень желал бы причинить ей даже и в этом отношении какую-нибудь мелкую неприятность, но ничего не нашел возразить против совершенно законных доводов Людмилы и потому нехотя должен был дать ей свое согласие.

— Хорошо-с, но не иначе как в моем присутствии, сударыня, и с тем, чтобы о деле не было сказано ни полслова, — сухо кивнул он ей головою и приказал привести Вельтищева.

— Ты знаешь, что Ирина совершенно голословно обвинила и себя вместе с тобою, — громко и выразительно заговорила Людмила, едва лишь Платон Васильевич успел войти в комнату.

— Сударыня! — быстро и строго перебил ее Вантрик.

— И мы всею этой нелепостью обязаны только ей! — не слушая Вантрика, dokonчила она мужу.

— Да? — тоном спокойного удивления ответил он Людмиле.

— Сударыня, если вы скажете о деле еще хоть одно слово, я должен буду сию же минуту прекратить ваше свидание и составлю протокол об этом! — пригрозил Жаночка.

Но угроза эта была уже поздно.

— Я никак не думала, чтобы слова мои могли относиться к делу, — с невинною улыбкой возразила Людмила. — Впрочем, если вы это находите, я охотно извиняюсь и более не скажу ни полслова!

Да более ей и нечего было распространяться. Она успела сказать все, что было нужно, и теперь успокоилась еще более, так как при первом же взгляде, брошенном на мужа, ясно увидела, что он спокоен вполне, и это послужило ей верным признаком того, что он не сказал на допросе ничего лишнего, ничего щекотливого или компрометантного, что он не изменил своему самообладанию и остался верен роли вполне правого и невинного человека. Дальнейший разговор шел уже исключительно о разных домашних распоряжениях, так что Жаночка, при всем желании, не мог ровно ни к чему придраться.

— Ну, теперь простимся, друг мой! — сказала она,

когда все распоряжения были сделаны, и протянула Вельтищеву руку. — Главное, будь спокоен, как я!.. Нам бояться нечего!.. будем надеяться на Бога и нашу правоту! Прощай же!

За этим последовало крепкое, выразительное и как нельзя более понятное обоим пожатие руки, и они расстались.

\* \* \*

В пятом часу пополудни у подъезда уже стояли запряженные тройки. Людмила села в свою карету, а рядом с нею, по предложению Жаночки, поместился жандармский офицер; Вельтищева усадили на телегу между двумя жандармами, которые должны были конвоировать его до Петербурга; Жаночка поместился на другой тройке, а земская полиция на остальных — и звенящий поезд двинулся со двора, сопровождаемый безмолвным удивлением несколько смущенных крестьян и дворовых.

## IX

### В ОЖИДАНИИ СУДА

Ирина была арестована и подверглась своему заточению даже с радостью. В лишении свободы она видела уже начало искупления. Проводя целые дни в замкнутом одиночестве, она посвящала их молитве и Евангелию и имела достаточно времени, чтобы на досуге обдумать свое положение. Но решение, принятое ею в ночь, которую она провела между ужасом и молитвой в кабинете своего мужа, осталось для нее неизменным. Она не боялась кары, она ждала и страстно желала ее, потому что сознание своего греха все более и более тяготило ее. Душа алкала искупления. Теперь она не хотела даже мстить Вельтищеву и порою, умягченная в своем сердце, настроенном столь религиозно, даже посылала себе жестокие упреки за то, что в первые минуты не сумела обуздать своей страсти, поддавалась желанию мстить и принесла обвинение вместе со своею и на его голову. «Лучше было бы принять все на себя и одной, одной безраздельно понести всю кару, — думалось ей в эти минуты. — Чем тяжелее кара, тем больше искупление!»

Но сделанного уже не воротишь. Да и как она мог-

ла бы обвинить одну себя, раз решившись говорить только правду и эту правдой положить начало покаянию?

Она бы запуталась в противоречиях, в недомолвках, пришлось бы прибегать к разным хитросплетениям и лгать — опять лгать! А с ложью не могла более мириться душа Ирины. Таким образом, тайна Вельтищева невольно всплывала наверх, выносимая тем началом истины, которое лежало в искреннем покаянии Ирины. Теперь она сделалась к нему не только равнодушна, но в христианском чувстве своем даже жалела его, болела о нем душою и, упрекая себя в его несчастии, намеревалась употребить на суде все от нее зависящее, чтобы, не искажая истины, облегчить его участь. Словно бы огненными письменами запечатлевались в ее сердце слова: «возлюбите враги ваша»; она сознавала всю великость этого христианского завета и, раз отдавшись полному покаянию, не желала более никому и никогда зла на свете. В этом-то чувстве и лежало начало ее упреков самой себе за судьбу Вельтищева и Людмилы. Но рядом с этими упреками не умолкала в ней и жажда возмездия себе за свое преступление; эта жажда искупительной кары сильнее всех остальных чувств проявлялась в ее душе — и Ирина с покорностью и смирением ждала своего приговора, молясь только о том, чтобы приговор этот был жесточе, беспощаднее для нее самой и как можно легче для ее сообщника. В безграничной вере своей, всю силу которой восприняла только в своем заточении, она надеялась, что высшее милосердие услышит ее первую, самую пламенную и самую чистую молитву.

Между тем чета Вельтищевых тоже была посажена. Впрочем, заточение Людмилы было весьма непродолжительно, так как прокурорский надзор освободил ее из-под ареста по недостатку каких бы то ни было законных улик относительно ее участия в преступлении. С мужем она не могла видеться: к нему никого не допускали; но тем энергичнее принялась хлопотать Людмила в его пользу. Она обратилась к фон Шнитцли с просьбой взять на себя защиту ее мужа — непримиримый Гамбетта обещал ей употребить весь свой талант, чтобы блистательно доказать невинность Платона Васильевича.

— Этого требует не только правда, не только дружба моя к нему, — говорил ей Гамбетта, — но и порядочность того литературного, дорогого кружка, к которому мы принадлежим с вашим мужем.

Фон Шнитцли вместе с Людмилой возбудили вопрос о сомнительном состоянии умственных способностей и рассудка Ирины Вельтищевой. Самый факт ее самообвинения был столь редкостен и оригинален, что на заявление знаменитого адвоката было обращено серьезное внимание и Ирина подвергнута испытанию. Ее перевели в клиническое отделение душевных болезней.

Когда дело подходило уже к концу, ей через одного из членов суда и в присутствии экспертов было предложено избрать себе защитника.

— Как! защищаться?! — воскликнула Ирина. — Я не хочу никакой защиты! Мне нужна не защита, а обвинение и кара! Я не позволю никому защищать меня и сама не скажу за себя ни слова!

Эксперты и член суда значительно переглянулись между собою.

— Вам будет назначен защитник судом, — объявили ей.

— Я не приму его! — с твердостью возразила Ирина.

— Но этого требует закон.

— Я не приму его! — повторила она. — И не думаю, чтобы человеку насильно можно было навязывать защиту, если он сам вовсе не хочет ее!

После этого объяснения ее оставили в покое и вскоре опять перевели в тюремное заключение.

\* \* \*

В публике не замедлили распространиться самые разнообразные и противоречивые слухи о «Вельтищевском деле». Первые неясные толки были подхвачены небольшою прессой, затем более обстоятельные сведения перешли на столбцы солидных органов. Одна только Цемшева газета иезуитски молчала до времени о своем друге и сотруднике, дабы быть готовою на всякий случай или горячо поддержать его, или же бросить в него самый тяжкий камень, что совершенно в духе и характере этой жидовско-добросовестной газеты. Публика комментировала по-своему журнальные слухи, дополняя их новыми сведениями, которые иногда были основаны на более или менее верных данных, а чаще всего составляли продукт чьей-нибудь богатой и досужей фантазии. Но так или иначе, все это в совокупности способствовало возбуждению постоянного и громадного интереса в обществе к «Вельтищевскому делу».



## ПОКУПКА И ПРОДАЖА МОЛЧАНИЯ

В самый разгар этих общественных толков, когда Людмила вместе с бароном Шнитцли были наиболее заняты благоприятным для них направлением дела, ей доложили однажды, что к ней приехала ее матушка. Весть об этом неожиданном визите кольнула в сердце и неприятно покорибила Людмилу. Она еще колебалась в нерешительности — принять ли свою нежную маменьку или отказать ей, как в дверь вошла уже Ольга Романовна.

— Здравствуйте, Людмила Сергеевна, здравствуйте! Давно не имела счастья видеться с вами!.. Н-да-с, давненько-таки, давненько-с! — фыркая кверху нахальным носом и принужденно улыбаясь, заговорила маменька, церемонно и словно бы на пружинах подступая к дочери.

— Здравствуйте, мамаша! — ответила та настолько просто и естественно, как будто между ними никогда и ровно ничего не происходило неприятного.

— Н-да-с!.. давненько!.. Вы в это время успели и законным браком сочетаться, без материнского благословения — нонче это, говорят, лишнее, благословенье-то, и без него, мол, проживем! Ан, выходит, не совсем-то так!.. Я думаю, на собственном примере убедились, что значит, когда без родительского благословения!.. И муженек в тюрьме, да и сами посидели!

— Что же вы это, издеваться пришли надо мной? Порадоваться нашему несчастью? — с усмешкой горького упрека сказала ей Людмила.

— Я?! Боже сохрани, мой друг! По одному только христианскому чувству!.. Как мать!.. Как мать, желала я давно уже разделить ваше горе, но не смела первая прийти... Я все думала, что ты первая вспомнишь про мать и обратишься к моему сочувствию; я все ждала, ждала, но только не дождалась!.. Ну, видно, думаю, самой идти приходится!.. Что же, пойду, авось-либо не выгонят!

— А, полноте, мамаша! Будто вы и в самом деле мне сочувствуете!.. К чему пустые слова говорить!

— Для тебя пустые, а для меня нет!.. Но если в нынешний век дочерям материнская любовь и сочувствие выеденного яйца не стоят, так я пришла из сочувствия к зятю... Он всегда был ко мне так почтителен, всегда

так любил и уважал, всегда такую дружбу питал ко мне, что у меня теперь за него, голубчика, все сердце изныло!.. Я только желала знать, что с ним, и в каком положении его дело, и здоров ли он?

— Здоров и спокоен, а дело пока в прекрасном положении, — коротко и сухо вато сообщила Людмила.

— Да?! — радостно осклабилась матушка. — Ну, слава тебе, Господи!.. Я уж и к Спасителю ездила, и у Всех Скорбящих Радости два молебна за него служила! Лишняя слеза перед Богом иногда тоже много, мой друг, значит... Да и Платон Васильевич тоже со временем увидит, что я к нему как в счастья, так и в горести не на словах одних расположение питаю... Он почувствует, как у меня о нем сердце болело!.. Но расскажи же мне, друг мой, про дело! — с выражением живейшего участия обратилась она к дочери.

— Да что же про дело? Я уже вам сказала, что оно в прекрасном положении! — нехотя отговорилась Людмила.

— Хм... да так ли, друг мой, так ли?.. — сомнительно закачала головою экс-балерина. — Я в «Листке» читала, что, напротив, Платону угрожает несомненное осуждение.

— Осуждение не может угрожать там, где нет ровно никаких доказательств! — с плохо скрытым неудовольствием отчеканила Людмила.

— Ну, как же это нет! Да ведь деньги-то были же украдены? И притом украли-то их как раз в самый день смерти?

— Кто же это видел и кто это знает? — уже с явной досадой нахмурилась Людмила.

— Как кто?! Да хоть я, например... Разве не ты сама в ту же ночь привезла их ко мне и передала своими собственными руками?.. Разве этого, мой друг, не было?

— Ну, так что же? — отвернувшись от нее, проговорила Людмила.

— Да ничего. Я только к тому, что ты говоришь, будто нет никаких фактов и доказательств; а разве это не факт и не доказательство?

— А, так вот оно что!.. Ну, признаюсь, я не думала, что вы пойдете в суд и станете доказывать!

— Я?! Чтобы я, и вдруг по собственной своей воле, да сохрани меня Боже! Я — никогда!.. Я только так, к слову это сказала. Сама я никогда не пойду уличать; но если — чего не дай Бог, конечно, — меня притянут

к делу и заставят свидетельствовать, я, как христианка, покажу по совести, потому что я ведь святую присягу перед этим принимать должна — торжественную, друг мой, присягу! Это для вас, нигилистов, присяга не имеет значения, а я еще не так воспитана!

— И потому пойдете свидетельствовать против дочери и зятя?

— Друг мой, я уже сказала, что сама не пойду; но если меня притянут, и притом под присягою... Ах, мой ангел, надо ведь и о смертном часе своем подумать... Вы — люди еще молодые и богатые, так вам оно, пожалуй что, и ничего, а я ведь уже свое отжила, и притом человек я бедный, и позаботиться обо мне некому, да и надеяться не на что!.. Вы вон с муженьком богачи, миллионеры, а я, даром что родная мать тебе, а чуть не без башмаков хожу, и старость моя ничем не обеспечена!.. — запела маменька в грустно-минорном тоне. — А в нынешний век на родных-то деток плоха надежда!.. — говорила она со вздохом. — Да я и не надеюсь... Мне от вас ничего не нужно! Не бойтесь: не попрошу! А самим вам, конечно, где же догадаться, что мать в дырявых башмаках щеголяет!.. После этого, конечно, нечего и со своей стороны рассчитывать вам на родственные чувства!.. Каковы вы ко мне, такова и я к вам!.. Так-то, мой ангел!

— К чему же вы мне все это высказываете? — с нетерпением и горечью сильной досады повернулась к ней Людмила.

— А к тому и высказываю, друг мой, чтобы вы знали и чувствовали!.. Неблагодарность детей — вот что пронзает сердце родительское! Эгоизм ваш и неблагодарность!

— Послушайте, — решительно прищурилась на нее Людмила. — Я понимаю вас! Вы наконец заставили меня понять вас настоящим образом. Скажите же прямо, без околичностей: сколько же вы желаете получить с нас за ваше молчание? Говорите, не стесняясь!

— Мне ничего, мой друг, не нужно!.. Я не желаю чужого! — со вздохом смирения потупила матушка свои грустные глазки. — Если вы сами раньше и добровольно не догадались о нуждах родной матери, так я сама ни просить, ни вымогать не стану!.. Не в моих, друг мой, это правилах!

— Э, Боже мой! — с досадой махнула рукой Людмила. — Бросьте вы, наконец, эти комедии! Что вам со мной-то притворяться!.. Слава Тебе, Господи, кажись, не

первый день знакомы друг с другом! Раз что вы сами мне раскусили и в рот положили — чего вам хочется, так говорите прямо и давайте торговаться! Хотите вы пять тысяч?

— Я продажной женщиной, друг мой, никогда не бывала! — с грустным достоинством заметила матушка.

— Я вас спрашиваю, хотите ли вы пять тысяч? — настойчиво повторила Людмила.

— Пять тысяч!.. хм!.. — укоризненно и уныло покачала головой Ольга Романовна. — Ты, друг мой, постыдилась бы и говорить-то это!.. Пять тысяч!.. От такого богатства да вдруг пять тысяч! Это все равно что собаке с богатого стола бросить корку хлеба!.. Разве пять тысяч могут успокоить и обеспечить мою старость?.. Ведь я сирота! Твой отец — не тем будь помянут, Царство ему Небесное! — не позаботился — спасибо ему — оставить мне запасных капиталов, а что и было оставлено — какая-нибудь малость ничтожная, так все это на твое же воспитание ушло, а сама я ровно ничем не воспользовалась, а теперь, за все мои труды и заботы, за всю любовь мою, за то, что я сердцем моим всю жизнь о тебе болела, ты мне вдруг пять тысяч предлагаешь!.. Да я лучше с рукой пойду, лучше с голоду околею, чем возьму от тебя такую подачку!.. Ничего, пускай люди добрые дивуются да говорят: смотрите, мол, это мать миллионерши Христа ради просит!

— Ну, сколько же вы хотите? Семь, восемь? Ну, наконец, десять тысяч? — брезгливо спросила Людмила.

— Десять тысяч! — подфыркнула матушка. — Да я и мараться из-за такого ничтожества не стану! Чтобы ты потом могла сказать, что родную мать свою за десять тысяч купила! Да ни за что на свете!

— Ну, так назначьте сами! Во сколько вы цените ваше молчание?

— Я не молчание свое ценю, а внимание ваше ко мне оценила бы, если б оно было! — грустно запела Ольга Романовна. — У вас миллионы, а моя старость ровно ничем не обеспечена. Другая бы дочь, которая не забывает, чем обязана своей матери, на твоём-то месте прежде всего позаботилась бы положить на мать капиталец, чтобы хоть процентами обеспечить ее существование. Не бойся, умру — все к вам же возвратится, другим не оставлю! Бывало, я с тобой последним делилась!.. Как у Коробова, бывало, денег нет, а тебе в клуб или в маскарад хочется, я последних пяти рублей

для тебя не жалела!.. А ты теперь торгуешься со мной, как с тварью какой продажной!

И Ольга Романовна накуксилась и заплакала от всей полноты своего чувствительного сердца.

— Что касается до обеспечения, я охотно это сделаю, но только не теперь, — заявила Людмила, — а теперь, сами вы знаете, на имущество наше наложено запрещение, впредь до окончания дела; теперь мне не из чего вас обеспечивать!

— То-то вот, оно и следовало бы раньше об этом позаботиться! — грустно укорила маменька. — Тогда-то, по крайней мере, если бы даже и вовсе отобрали у вас имущество, так все же ты не осталась бы без куска хлеба, знала бы хоть то, что у матери для тебя же припасено на черный день!

— Ну, что ж делать, не догадалась! — пожав плечами, как-то двусмысленно улыбнулась Людмила.

— А на посул-то все мы щедры бываем! — грустно качая головой, со вздохом продолжала маменька. — Мы и с Богом-то так, а не то что с людьми! Как приспеет какое горе или несчастье, тут мы и давай сейчас молиться, и обеты разные даем, и все такое, а прошло горе, наступили опять радости, мы — гляди — и от Бога отвернулись, и обеты свои забыли!.. Так-то, дружок мой, Людмила!

— Эту притчу, конечно, мне надо на ус намотать? — все с той же усмешкой спросила m-me Вельтищева.

— Понимай, как хочешь, мой друг! — скромно потупила глазки Ольга Романовна. — А только, конечно, ежели вы выиграете дело, то ты про мать позабудешь и я останусь на бобах, при одном твоём посуле! Я это прекрасно знаю!

— Так чего же вы, наконец, хотите от меня?! Денег вам теперь я дать не могу — я и сама пока нуждаюсь! — вконец уже вспылила Людмила.

— Не можешь денег дать, выдай документ на себя! — совсем уж беззастенчиво огорошила ее своим предложением маменька. — Выдай мне вексель задним числом, будто он написан еще тогда, когда дело не подымалось, — понимаешь, друг мой? — и пиши его не на срок, а просто «впредь до востребования». Если вы выиграете дело, ты мне заплатишь, а не выиграете — ну, стало быть, уж такое мое счастье сиротское! Тогда и вексель возвращу тебе.

— Это практично! — глядя на мать полунасмешли-

вым, полусерьезным взглядом, процедила сквозь зубы Людмила. — Я даже и не ожидала от вас такой практичности!.. В какую же сумму прикажете писать вам вексель?

— А в такую, чтобы вся старость моя была обеспечена.

— Это слишком неопределительно: как понимать обеспечение! Вы потрудитесь сказать сумму.

— Что мне сказывать! Ты сама должна бы это чувствовать!

— Я ничего не чувствую. Я знаю только, что ни на пять, ни на десять тысяч вы не согласны.

— Не согласна, друг мой, никак не согласна и мараить себя не желаю!

— Ну, так я вам скажу мою последнюю цифру! — решительно приступила Людмила. — Я вам дам двадцать пять тысяч и больше ни копейки! По шести процентов это принесет вам полторы тысячи в год дохода, а так как вы, конечно, будете давать их в рост под заклады, то можете иметь не полторы, а и пять или шесть тысяч в год. Кажется, это достаточное обеспечение для вашей старости!

Ольга Романовна потупилась и молча размышляла.

— Хоть это и не Бог знает что, — сказала она наконец с грустным вздохом, — но в нынешний век от родных детей нечего ждать многого!.. Извольте, Людмила Сергеевна! Я соглашаюсь, потому что на это меня вынуждает крайность, верьте — одна только моя горькая крайность! Мне надо самой о себе заботиться, чтобы на старости лет не умереть от голоду, — другие ведь не позаботятся!

Вексель был написан — и молчание Ольги Романовны куплено.

## XI

### ДЕНЬ СУДНЫЙ

Зала заседания суда была полна публикою, которая наполняла и коридоры, и лестницы и толпилась у подъезда; все это стремилось попасть какими ни на есть судьбами туда, где должен был разыграться самый интересный эпизод юридической драмы. Интерес к «Вельтищевскому делу», муссированный газетами и городскими толками, возрос до величайшей степени. Платон Василь-

евич и Ирина решительно сделались героями дня. Не было той гостиной, не было того уголка в городе, где бы не повторялись их имена, где не говорилось бы о «Вельтищевском деле».

— Суд идет! — громко возгласил судебный пристав, входя в залу заседания.

Публика, с глухим шумом, всегда сопровождающим одновременное движение людской массы, поднялась со скамеек.

Члены суда заняли свои места на возвышении, за красным столом, где стояло золоченое зеркало; адвокаты разместились в обычных, отводимых для них помещениях; стенографы насторожили уши. Все приготовилось к одной из самых интересных минут, какою, по справедливости, может быть названо первое появление виновников дела перед лицом суда и публики. Но более всех блистал и красовался на адвокатском месте защитник Вельтищева, знаменитый барон фон Шнитцли, который, казалось, всем своим лицом и фигурой своею выражал незыблемую уверенность в правоте своего клиента и как бы заранее уже предвкушал свое победоносное торжество. Защитником Ирины был назначен судом какой-то шилообразный господин, который отличался своею ничтожностью, бездарностью и либерализмом цемшевского пошиба. Он был косвенно рекомендован бароном фон Шнитцли.

— Введите подсудимых! — распорядился председательствующий. И через минуту Вельтищев и Ирина, окруженные жандармами, были введены приставом на скамью обвиняемых. Платон Васильевич был во фраке, а на Ирине изящно драпировалось длинными, ниспадающими складками черное суконное платье. Лорнеты, бинокли и сотни взоров одновременно направились на группу этих двух лиц. Каждый из присутствовавших хотел прочесть на их физиономиях выражение того внутреннего чувства, которое волновало их в эту минуту.

Лица обоих были бледны, но спокойны, с тою лишь разницею, что в спокойствии Ирины сказывалась убежденность в своей виновности, ожидание обвинения и покорная надежда на достодолжную кару; в лице же Платона присутствовала какая-то равнодушная апатия; он как будто вовсе даже не интересовался ходом предстоящего дела, и, в то время как взор Ирины устремлялся исключительно на лица заседавших за судейским столом, глаза Платона лениво блуждали по рядам публики, словно бы отыскивая в среде ее своих знакомых.

После обыкновенной процедуры выбора присяжных, их отвода и проч. подсудимым были предложены обычно-формальные вопросы о летах и звании, а затем началось чтение обвинительного акта.

— Подсудимая! признаете ли вы себя виновной? — обратился председательствующий к Ирине по окончании чтения.

— Признаю! — было с ее стороны твердым, сознательным и спокойным ответом.

Но на тот же вопрос, предложенный Вельтищеву, он отвечал отрицательно, и его «нет» было сказано столь же твердо, сознательно и спокойно, как и «да» Ирины.

Начался допрос свидетелей.

Первым был спрошен врач, постоянно лечивший покойного Максима Григорьевича, который показал, что когда был призван к своему пациенту, то нашел его уже мертвым и дал тогда свое заключение для предъявления в полицию, что смерть последовала от нервного удара, ибо покойный, работая чрезвычайно много и усердно, был в последние годы своей жизни постоянно подвержен головным болям и нервному расстройству. При том же мнении врач остается и в настоящую минуту. Что же касается до отравления, то в то время такого подозрения и в голову никому не приходило.

Затем предстал один из самых крупных тузов бывшей откупной колоды — отставной прапорщик Картонаки.

— Вы знали покойного Максима Вельтищева? — спросил его председатель.

— Очень близко; я имел с ним постоянные дела, — отвечал свидетель.

— Какого рода был это человек? Что вы можете сказать о его характере?

— Человек очень предприимчивый, но в высшей степени осторожный, осмотрительный и в расчетах своих был чрезвычайно аккуратен и честен.

— Какое отношение имел он к капиталам подсудимого?

— Насколько нам было всегда известно, — отвечал, подумав, Картонаки, — покойник считал Платона Васильевича в числе своих постоянных компаньонов и вел его дела, по крайней мере — наиболее крупные.

— Каковы были их взаимные отношения?

— Самые близкие и родственные. Впрочем, Платон Васильевич был ближайшим родственником покойного, который очень любил его и относился к нему всегда,



можно сказать, с самым отеческим чувством. Точно так же и в Платоне Васильевиче я всегда видел одну только почтительность, уважение и любовь к покойнику. Они были очень близки между собою.

— В каких отношениях находился покойный к своей жене, и вообще расскажите нам, насколько вам это известно, каков он был в своем домашнем быту?

Картонаки сообразился мысленно с предложенным ему вопросом и ответил с полною искренностью.

— Он был самым верным и любящим мужем, — сказал он, — и, насколько могу судить, супруга его постоянно отвечала ему полною взаимностью; по крайней мере, никакая молва, никакая глухая сплетня никогда не касалась ее имени. Все мы, друзья и хорошие знакомые покойника, постоянно смотрели на его брак как на счастливое и примерное супружество. Нам всегда казалось, что эта чета очень любит друг друга. Притом же покойник вел очень скромный род жизни, имел очень ограниченный круг избранных знакомых, все людей солидных и большею частию семейных, состоятельных и с положением в свете. Он избегал бесцельных светских знакомств, и, сколько помню, мне никогда не приходилось встречать в его доме светских молодых людей и молодых женщин.

— Он никогда не высказывал, хотя бы в косвенных намеках, каких-нибудь жалоб и неудовольствия на свою семейную обстановку?

— Никогда! — горячо заявил Картонаки. — Никогда! Иногда только печалился, что Бог не дает ему прямого потомства, но к супруге своей, и в глаза и за глаза, относился всегда с уважением и любовью. Да, впрочем, то, что он любил ее, уже достаточно видно из его духовного завещания: ведь он сделал ее наследницей тех капиталов, которые никогда не были пускаемы ни в какие обороты и составляли его неприкосновенную собственность. Он копил их нарочно с этою целью; это одно уже показывает, насколько он всегда о ней заботился.

— Вы говорите, что супруга его всегда платила ему полною взаимностью?

— Да, насколько мы, посторонние люди, могли это знать и видеть.

— Но не замечали ли вы чего-нибудь особенного в отношениях госпожи Вельтищевой к подсудимому?

Картонаки пожал плечами.

— Так как подсудимый был самый близкий и неизменный компаньон и притом ближайший родственник

покойного, — отвечал он, — то, понятное дело, что он был и самым близким лицом в его доме; но кроме обыкновенных родственных отношений, между Платоном Васильевичем и Ириной Борисовной ни я да, надеюсь, и никто из нас не замечал ничего особенного.

— Но, может быть, ходили какие-нибудь темные слухи?

— Никогда и никаких! Повторяю, мы все считали это супружество примерным! — с полным убеждением и достоинством отверг Картонаки сделанное предположение.

— Вы присутствовали при похоронах Вельтищева? — спросили его.

— Как же! Я был там.

— Не заметили ли вы тогда чего-нибудь особенного, странного в поведении и в поступках подсудимых?

— Ирина Борисовна при этом не присутствовала, — заявил свидетель, — а что касается Платона Васильевича, то он был очень огорчен, все время шел за колесницей, без шапки, и сам отнес гроб в могилу. Я мог заметить только, что он опечален своею потерей, но особенного или странного опять-таки ровно ничего в нем не видел.

Подсудимый попросил позволения предложить один вопрос свидетелю.

— Не припомните ли вы, господин Картонаки, — сказал он, — когда, идучи за гробом, вы осведомились у меня, почему вдова не присутствует здесь, что я отвечал вам на это?

— Да, я помню, — ответил свидетель, подумав. — Я помню, что действительно спросил вас, и вы мне сказали тогда, что Ирина Борисовна до такой степени потрясена своею неожиданной потерей, что сделалась совсем больна; вы говорили, что боитесь, как бы не было нервной горячки, и даже выражали опасение, как бы эта смерть не повлияла на ее рассудок.

— Благодарю вас; я более ничего не имею спросить вас, — скромно поклонился ему Вельтищев.

Допросы коммерции советника Пупырева и других, более или менее компетентных свидетелей в главнейших чертах своих совершенно согласовались с показанием Картонаки. Да и что же иное могли бы показать эти люди, оставаясь строго добросовестными и беспристрастными?

Во всех ответах, данных этими свидетелями, личность Ирины выходила вполне безукоризненной; она ри-

совалась ими как женщина честная, любящая и любимая своим мужем до конца его жизни. Ни одно пятно даже малейшего подозрения не было наложено перед судом на ее доброе имя по отношению к Платону. Далее, из этих же ответов обнаружилось, что Платон в качестве ближайшего компаньона и душеприказчика занимался даже и в деревне ликвидацией дел покойного, которая была прервана только его внезапным арестом, что более половины дольщиков, и притом самых крупных, были уже удовлетворены им в своих претензиях, получив обратно внесенные ими суммы. Многие свидетели подтвердили также и то, что при похоронах замечали следы глубокого горя и страдания на лице Платона, что они ясно видели, как этот человек был потрясен потерей своего родственника, а некоторые вспоминали и высказанные им опасения за возможность расстройства умственных способностей вдовы, убитой тогда безграничным горем. Все эти показания в совокупности служили как нельзя более в пользу подсудимого.

После опроса свидетелей, вызванных защитой, перед судом предстали один за другим домашние люди покойного и, между прочим, конторщик, а затем Демьян, камердинер.

На вопрос об отношениях, существовавших между супругами и Платоном, вся вообще прислуга показала, что барин с барыней жили ладно, что ссор между ними не замечалось, что барин всегда сам заправлял всем домом, а барыню хоть и любил, но держал в руках и не давал ей воли, что Платон Васильевич почитался всегда своим домашним и родным человеком и был очень дружен с барыней, засиживаясь иногда на ее половине до часу ночи и долее, но что покойник, почитая его за родственника, не видел в этом дурного и не ревновал к нему супругу, — по крайней мере, домашние никогда не были свидетелями между ними сцен этого рода и сами не могут утверждать, было ли в отношениях подсудимых что-нибудь предосудительное.

Когда Платону было предложено возразить что-либо против этих показаний, он с совершенно спокойным и открытым видом заявил, что все это правда, что он действительно был всегда очень дружен с Ириной Борисовной, но источник этой дружбы был самый чистый и проистекал только из близких родственных отношений; а что в нем не было ничего предосудительного, то это лучше всего доказывается взглядом на их отношения самого покойного, который, будучи человеком очень ум-

ным, практичным, осторожным и держа, по словам тех же свидетелей, в руках свою жену, не делал, однако же, ни ей, ни ему ни малейших сцен ревности; стало быть, сам он, зная слишком хорошо и его, и свою жену, не мог допустить даже и мысли о возможности чего-либо предосудительного в этих отношениях.

Ирина не возражала. Она сидела, глубоко потупясь в землю и подперев рукою свою голову.

Демьяну предложили вопрос: был ли подсудимый в доме покойного в день его смерти?

— Они в тот раз у нас кушали, — утвердительно ответил камердинер.

— Кто первый узнал о смерти Максима Григорьевича?

— Я-с. Потому как я вошел в кабинет, чтобы разбудить их — они обыкновенно почивать изволили после обеда, — и здесь увидел, что барин померши; думал сначала, что им дурно, и позвал людей, а потом пошел доложить барыне.

— В каком положении вы нашли барыню, когда вошли к ней в комнату?

— Оне, казалось мне, изволили тоже почивать или дремали... Я их застал, что оне лежали на кушетке, покрывшись платком.

— Как барыня приняла ваше известие о смерти Максима Григорьевича? — спросил защитник Вельтищева, знаменитый фон Шнитцли. — Что она, встретила его спокойно, как бы уже заранее знала про это?

— Ой, нет! — с убеждением отверг Демьян последнее предположение. — Оне сначала, будто спросонков, даже и не поняли меня, не могли, значит, в толк взять, о чем я докладываю: «Кто, говорят, умер? муж? зачем? не может быть!» Так и сказали мне это, а потом приказали вести себя в кабинет, и как я их привел, и как они увидели барина, так только и успели сказать: «Доктора скорее и Платона Васильевича!» — и сами в обморок упали; так и грохнулись на месте!

— Стало быть, вас посылали за Платоном Васильевичем?

— Так точно-с; я сам за ними ездил, только дома не нашел их.

— Когда Платон Васильевич вернулся к вам в дом уже вечером, — продолжал защитник, — кто первый встретил его и сообщил ему известие о смерти?

— Да все я же-с. Я их случайно внизу на площадке встретил.

— Каким же образом он принял известие? Поразило оно его или нет?

— Они мне даже не поверили. «Что ты врешь, старый дурак, — говорят. — Этого быть не может!» Ей-Богу-с! так и сказали, а сами шибко побежали наверх. Они даже очень были поражены этим.

Следующий вопрос был предложен Демьяну со стороны прокурора.

— Вы видели подсудимого, — спросил обвинитель, — когда он после обеда выходил из кабинета, собираясь уезжать от вас?

— Видел-с. Конторщик, значит, имел одну какую-то нужную бумагу и нес ее к барину для подписи и спрашивает меня, можно ли войти, значит, не започивали ль? А я говорю, должно быть, нет еще, потому Платон Васильевич у них, кажись, еще сидят, и сам повел его в кабинет, чтобы посмотреть, значит. Но только в зале встретили мы Платона Васильевича, и они остановили нас: «Барин спит, — говорят, — не тревожьте!» Мы и вернулись себе...

— В это время вы не заметили, не нес ли чего в руках подсудимый? — продолжал прокурор.

— Заметил-с. В руках у них маленький барынин сакдеваяж был.

— Этот сак был пуст?

— Никак нет-с, а кажись — довольно даже туго наполнен.

После вопросов прокурора поднялся опять фон Шнитцли.

— Скажите, — обратился он к свидетелю. — Когда вы впервые вошли в кабинет, заметили вы там какой-нибудь особенный беспорядок — может быть, что-нибудь в мебели, в бумагах? Может быть, касса или ящики в столах были открыты и выдвинуты?

— Ничего этого не было! — с полною основательностью удостоверил камердинер. — Все, значит, было в порядке, на своем месте и в полном комплекте, как и завсегда у нас бывало, и я ничего такого особенного не заметил.

Показания конторщика во всем совпали с показаниями Демьяна.

Кучер Платона Вельтищева показал, что он точно видел, как барин клал какой-то мешок в карету, когда уезжал от брата, а потом он этого мешка уже не видел, потому — не обратил внимания, да и темно уже было; а поехали они в тот раз с баринком в Дмит-

ровский переулочек к госпоже Коробовой и оттуда в десять часов вечера вернулись опять к Максиму Григорьевичу.

Лакей Платона Вельтищева дал показания, что барин его, сколько помнится, точно приехал однажды вечером домой с каким-то сафьянным сакон, но только, кажись, это было не в день смерти, а позднее, но когда именно — с точностью определить теперь, за давностью времени, не может.

Вслед за этим человеком должна была свидетельствовать Людмила; но секретарь заявил, что она, по причине тяжкой болезни, в суд явиться не может; действительность же ее болезни засвидетельствована своевременно врачами.

Болезнь жены не составляла новости для Платона Васильевича. Он знал, что она больна и лежит уже около шести недель, но Ольга Романовна, которой по окончании предварительного следствия было разрешено свидание с зятем в месте его заточения, не сказала ему, какого именно качества болезнь Людмилы. Боясь встревожить и огорчить его, она объявила ему только, что это была простуда, которая сначала казалась довольно серьезной, но теперь, слава Богу, приходит уже к благополучному исходу. Таким образом, Вельтищев если и беспокоился о ее здоровье, то все же был отчасти даже доволен, что Людмила, благодаря своей болезни, будет избавлена от печальной необходимости присутствовать в суде и видеть его на скамье подсудимых рядом с Ириной.

Суд, выслушав заявление о болезни свидетельницы и найдя, что показание ее имеет существенное значение, определил: прочесть показание, данное ею на предварительном следствии. В этом показании говорилось, что однажды, приблизительно около того времени, когда скончался двоюродный брат Вельтищева, Платон привез к ней какой-то сакон и на вопрос ее: что в нем заключается? — отвечал, что разные бумаги и документы, она же сама не полюбопытствовала удостовериться в этом. Сакон был оставлен у нее, ибо подсудимый, бывая у нее весьма часто и даже занимаясь в ее квартире своими делами, оставлял там свои бумаги, что случалось неоднократно и прежде; дня же три или четыре спустя приехав к ней, он вспомнил про сакон, и она возвратила его тогда же по принадлежности.

— Подсудимый! — обратился прокурор к Вельтищеву. — Потрудитесь объяснить, каким образом у вас

очутился сак, принадлежащий вдове вашего двоюродного брата, и что в нем было положено?

— В это время я и покойный кузен мой, — начал сдержанно и спокойно Вельтищев, — оба мы хлопотали об утверждении товарищества на паях в учреждаемом нами железопрокатном заводе. В день смерти кузена я привез ему очень утешительные известия о том, что предприятие наше не встречает задержки. Назавтра мне следовало продолжать мои хлопоты, и для этого покойный передал мне разные документы, которые, впрочем, все сполна имеются ныне при деле, в чем суд легко может удостовериться. Так как со мною не было тогда моего портфеля, а портфели покойного были все заняты под другими его бумагами, то я отправился к Ирине Борисовне и попросил ее дать мне что-нибудь, во что я мог бы спрятать эти бумаги. Она подала мне первую попавшуюся на глаза ей вещь — сафьяновый сак, после чего я некоторое время поболтал с нею, а когда вернулся в кабинет, то заметил, что кузен мой дремлет. Не желая тревожить его, я тихонько запихал в сак документы и осторожно вышел из комнаты. Тогда-то мне и попался Демьян с конторщиком, и я действительно предупредил их, чтобы они не входили в кабинет, потому что брат отдыхает.

— Стало быть, в саке были документы по делу о железопрокатном заводе?

— Так точно. Там был проект, смета, расчеты, переписка и прочее. Впрочем, повторяю, все это вы можете видеть теперь же, не выходя из залы заседания.

Прокурор и некоторые из присяжных пожелали удостовериться. Судебный пристав отобрал для них указанные документы и подал со стола вещественных доказательств сак, найденный при обыске в городской квартире Вельтищева. Все эти бумаги вместились в мешке довольно просторно.

Опять позвали Демьяна и конторщика и спросили у них, такого ли веса и объема был сак в то время, как увозил его подсудимый?

Конторщик отозвался незнанием, так как сам в руках его не держал, но Демьян признал предъявленную ему вещь за ту самую, а относительно объема сказал, что он был словно бы поболее.

— А впрочем, не хочу брать греха на душу, — добавил он сомневающимся голосом, — может, и такой, как этот... может, я и ошибаюсь... Ведь уже сколько времени минуло!

— Подсудимый! — снова обратился прокурор к Вельтищеву. — Объясните, для чего вы привезли и оставили на несколько дней эти документы у нынешней вашей супруги, тогда еще госпожи Коробовой?

— Я был очень близок с нею, — ответил Вельтищев, скромно и смущенно потупляясь в землю, — я бывал у нее каждый день и очень часто работал там... Но так как в этот день мне еще не довелось быть у нее, то я и поехал к ней после обеда. Потом я вспомнил, что для завтрашних хлопот мне нужно кое о чем еще посоветоваться и переговорить с братом, взять от него последние инструкции и объяснения, и потому снова поехал к нему в десять часов вечера, а мешок оставил у Людмилы Сергеевны просто для того, чтобы не таскать с собою понапрасну лишнюю тяжесть, тем более что от брата я предполагал опять вернуться к ней же и тогда уже, при окончательном возвращении к себе домой, захватить его с собою. Но тут меня вдруг застало известие о скоропостижной смерти брата, я должен был при этом взять на себя сейчас же все необходимые хлопоты и распоряжения, так что целые три или четыре дня не имел ни одной свободной минуты, чтобы заехать к моей нынешней жене, и таким образом мешок поневоле оставался у нее все это время.

— Подсудимая! — обратился прокурор к Ирине. — Точно ли в мешке, взятом у вас, были положены и увезены документы по делу о железопрокатном заводе?

— Я не знаю, что там было... может, и документы, — спокойно и тихо ответила Ирина.

— Вам не высказывал ваш кузен, для чего именно понадобился ему этот мешок?

— Нет, не высказывал.

— И вы не видели, что именно клал он в него?

— Не видала. Я все время оставалась в своей комнате...

— Когда он вошел к вам, вы не знали еще о смерти вашего мужа?

— Я знала, что он должен был умереть, но он, — добавила Ирина, указав взором на Вельтищева, — когда он вошел ко мне, он сказал, что все уже кончено, и просил не выходить из моей комнаты, пока мне не придут сказать, что муж умер.

— Вы так и сделали?

— Да, я сделала это.

— Позвольте! — обратился к ней председатель по просьбе фон Шнитцли. — Показания ваших домашних,



не отвергнутые вами, говорят нам, что вы были сильно поражены именно *неожиданностью* смерти мужа и невольно высказали при этом столько сильного горя! Как же согласить это с тем, что вы все уже знали заранее? Я не могу допустить мысли, чтобы притворство, сколь бы ни было оно велико, могло простираться до той степени, чтобы обмануть решительно всех, и притом в такую минуту!

— Я не притворялась! — честно подняла голову Ирина.

— О! я в этом совершенно уверен, — воскликнул фон Шнитцли. — Стало быть, ваши домашние и камердинер показали нам сущую правду?

— Да, правду, — но я так была потрясена, мне так не хотелось верить, чтобы все это точно могло случиться... я была почти как помешанная... я себя не помнила!

— Однако же если вы не помнили себя, то как могли вы в точности исполнить волю подсудимого, который просил вас не выходить из комнаты, пока вам не придут сказать? — обратился к Ирине председатель. — Ведь для этого нужно слишком много самообладания и спокойствия в подобную минуту!.. Объясните же нам обстоятельно: знали ли вы и притворились перед камердинером с полным самообладанием, или же смерть мужа была для вас действительно роковою неожиданностью?

— Что вы хотите сказать этим? — тихо повернулась к нему Ирина.

— То, что ваши слова необходимо исключают одно из данных, подлежащих рассмотрению суда: вы не отвергаете истины в показаниях камердинера и прислуги и в то же время говорите, что знали уже ранее о смерти мужа.

Ирина горько усмехнулась.

— Вы бы поняли это, — заговорила она в ответ, — да, вы бы поняли это, если бы я в состоянии была раскрыть перед вами то состояние моей души, в каком я находилась в те минуты, но, к сожалению, у меня нет ни силы, ни умения выразить вам это словами!

— Но позвольте же вас спросить: если состояние вашей души было столь угнетено совершившимся делом, то как же вы давали свое согласие на смерть мужа?

— Потому что я любила его! — вскинула она глазами на Вельтищева. — Потому что у меня не было своей воли — я была его рабой! Одно слово, один взгляд его мог заставить меня на все решиться!

— Но показания всех без исключения свидетелей говорят о той редкой взаимной любви, которая существовала между вами и мужем?

— Я слишком много виновата перед моим мужем! — с глубоким вздохом проговорила Ирина. — Показания свидетелей!.. Свидетели могли знать и видеть только то, что им казалось по наружности, но не то, что было скрыто внутри души моей!

— Итак! вы говорите, что дали свое согласие на смерть мужа? — принимая изящно-адвокатскую позу, заговорил фон Шнитцли. — Хорошо-с! Но скажите нам, сколько времени длилась ваша любовь до дня катастрофы?

— Около трех лет, — потупясь, тихо ответила Ирина.

Председатель остановил защитника и предварил подсудимую, что она, если ей угодно, может и не давать ему ответов, не касающихся непосредственно самого дела. Вслед за этим между председательствующим и бароном возникло некоторое пререкание, в котором последний настаивал, что его вопрос имеет к делу самое существенное отношение. Пререкание это было остановлено самою Ириной, которая заявила, что она готова отвечать на все вопросы без исключения, с чьей бы стороны ни были они предложены, — и воля подсудимой была уважена.

— Итак, я продолжаю! — снова приняв ту же позу, начал фон Шнитцли. — Если ваше взаимное чувство могло длиться около трех лет, не возбуждая ни в ком ни малейших подозрений, а главное, если ваш муж не видел в этих отношениях ничего предосудительного, то скажите, какая же необходимость была прибегать к средствам насильственной смерти?

— Такова была воля моего сообщника! — пожала плечами Ирина.

— Но эта воля, — возразил председатель, — должна же была иметь свои причины, которые не могли не быть вам известны. Скажите, как, по-вашему, с какою целью сделано преступление?

— *Теперь* я не знаю, с какою целью оно сделано! — подумав, открыто ответила Ирина. — Но *тогда*... мое положение в доме мужа было довольно тяжелое, я имела все, за исключением своей воли, своей свободы... Я вынуждена была прибегать к уловкам, к обману... Платон Васильевич, убеждая меня дать мое согласие, говорил, что эта смерть принесет нам обоим

столько свободы, столько счастья для нашей любви, столько независимости для нашей жизни где-нибудь за границей и, наконец... наконец, столько новых богатых средств... Все это были причины, в этом и была цель... По крайней мере, *тогда* все это говорилось.

— Я позволю себе заранее просить господ судей и присяжных заметить хорошенько это показание подсудимой, — произнес с легким вздохом фон Шнитцли, обводя глазами тех, к кому относилась его речь, принимая при этом еще более адвокатски-изящную, щегольскую позу.

— Теперь еще один вопрос, — продолжал председатель. — Скажите нам, какое средство было употреблено для того, чтобы лишить жизни вашего мужа? Известно ли вам это средство?

— Нет, я не знаю... это было от меня скрыто, — ответила Ирина.

— Но какие признаки насильства нашли вы на трупе? Был ли он убит, задушен или отравлен?

— Не знаю, но думаю, что отравлен.

— Отравлен? Но как вы полагаете, какой яд мог бы отравить его так легко и быстро?

— Не знаю.

— Я попрошу суд прочесть акт медицинской экспертизы! — с утонченною вежливостью обратился к председателю фон Шнитцли.

Секретарь громко и внятно начал чтение протокола, где говорилось, что такого-то числа, месяца и года, в присутствии таких-то и таких-то, было произведено изъятие из могилы трупа покойного Максима Вельтищева для надлежащей экспертизы, но, по самом тщательном и разностороннем исследовании, произведенном такими-то и такими-то, не обнаружено решительно никаких следов, которые указывали бы на несомненное присутствие в организме покойного какого-либо яда, и потому — был ли он отравлен или нет — теперь уже невозможно определить с точностью, ибо экспертиза произведена на десятом месяце после смерти и труп найден в состоянии крайнего разложения. Эксперты, опрошенные после прочтения этого документа, подтвердили перед судом данные ими заключения.

Чтение этого документа и мнение экспертов произвели довольно заметное впечатление на присяжных и на публику. Взоры их с большою благосклонностью стали останавливаться на Вельтищеве и с большим недоумением и любопытством на Ирине.

Фон Шнитцли очень хорошо успел подметить эту благосклонную для его клиента перемену в общем настроении.

— Теперь в интересах моего клиента, — воскликнул он, глядя на судей уповающим и торжествующим взором, — я позволю себе просить суд выслушать заключения экспертов-психиатров, которые наблюдали душевное состояние подсудимой.

При этих словах Ирина вдруг поднялась с места, вся возмущенная и негодующая.

— Как! — воскликнула она взволнованным голосом. — Так здесь хотят доказать, что я сумасшедшая?! Так из меня во что бы то ни стало желают сделать безумную?! (Голос ее возвышался все больше и патетичнее, так что заглушал слова председателя, который тщетно старался остановить ее.) И суд будет слушать это наглое поругание правды?! Нет!.. Не верю!.. Этого не будет!

Председатель призвал ее к порядку.

Она молча опустила на скамью и снова закрыла лицо рукою, стараясь подавить в себе невольно подступившие рыдания.

Вслед за сим в залу был введен первый из трех врачей-экспертов.

Он заявил, что, наблюдая довольно долгое время подсудимую, не нашел в ней ни одного из тех признаков, которые обыкновенно сопровождают умственное расстройство, что логическое течение ее мыслей, отчетливость и ясность понимания, сознание всех своих действий и ощущений, как внешних, так и внутренних, совершенно правильны и не представляют никаких отклонений от нормального состояния умственно здорового организма, но что действительно замечается в ней угнетенное состояние духа; однако ж он приписывает это состояние никак не умственному расстройству, а объясняет его просто как естественное следствие ее прошлого и того положения, в каком находится эта женщина, постоянно мучимая своею совестью и раскаянием.

Ирина при этих словах быстро взглянула на врача просветлевшим и благодарным взглядом. Он возвращал ее надежду — надежду на осуждение и кару.

Другой эксперт, основываясь тоже на личных своих наблюдениях, нашел, что данный субъект представляет несомненные признаки умственного расстройства, что одно уже голословное самообвинение и отрицание всякой

защиты служат довольно осязательными признаками этого ненормального состояния.

Третий эксперт, который сам по себе представлял ученый авторитет весьма немаловажного качества и которому суд сообщил результаты экспертизы двух его братьев по науке, нашел, что и тот и другой из его уважаемых братьев правы со своей точки зрения, но что он постарается провести перед судом среднее мнение, которое, как кажется ему, течет по руслу несомненной истины. Он заявил, что в науке известно множество случаев, когда все отправления организма совершенно правильны, когда не замечается в нем ни одного из резких признаков, сопровождающих полное психическое расстройство, когда даже самое течение и развитие мыслей совершается логически, посредством стройного и правильного процесса, но тем не менее организм носит в себе несомненное психическое страдание, иногда весьма глубокое. К этому разряду страданий относится усиленная мнительность, беспричинная подозрительность, ипохондрия и, более или менее, вообще всякая мономания. Далее, ученый-психиатр заявил, что в данном случае он склонен более всего видеть однопредметное помешательство, при совершенно правильном процессе мышления во всем, что не касается пункта этого помешательства. По мнению его, то глубокое горе, скорбь и болезнь, в которые повергла подсудимую внезапная смерть ее любимого мужа, послужили главной причиной ее мономании. Более чем вероятно, что в одну из первых минут, когда приступы ее скорби и горя отличались наибольшей и, так сказать, истерической силой, ей запала в душу весьма прискорбная, но как нельзя более естественная мысль, что муж ее отравлен. С течением времени, так как горе ее не уმაлялось, эта несчастная мысль незаметно вкоренялась, крепла и росла в ее сознании, пока не перешла в убеждение и наконец обратилась в полную мономанию. Здесь же естественно могла родиться мысль, что муж ее отравлен его родственником, который незадолго до смерти беседовал с ним наедине в кабинете и которого материальные интересы были связаны с ним ближайшим образом. С этим родственником она была дружна, он входил к ней в комнату за несколько времени до того, как она узнала о смерти, она дала ему какой-то сак, — всего этого было совершенно достаточно для ее воображения, раз оно уже было болезненно направлено, чтобы признать его отравителем, а себя сообщницей. Очень может быть даже и то,

что среди своего душевно угнетенного состояния, при таком сильном расстройстве нервов, когда врач ее опасался, как бы не сделалась у нее нервная горячка, ей просто привиделось все это во сне — и впечатление страшного сна, при столь потрясенном состоянии организма, осталось столь живо и сильно, что послужило первым зачатком мономании. Вся последующая жизнь обвиняемой, то уединение, к которому она постоянно стремилась, то отчуждение от жизни, боязнь света и людей, старательное избегание новых встреч и знакомств — все это, по мнению эксперта, служило наиболее успешному укоренению и развитию в ней однопредметного помешательства, которое и привело ее теперь на скамью подсудимых.

По выслушании этого последнего мнения председательствующий объявил судебное следствие законченным и после небольшого перерыва заседания предложил сторонам перейти к судебным прениям.

Речь обвинителя, ввиду несостоятельности улик и доказательств, конечно, не могла отличаться силою и яркостью. Она страдала недостатком прямой доказательности, которая более всего действует на человеческое убеждение. Прокурор как нельзя лучше сознавал всю затруднительность своего положения: с одной стороны, у него было полное, добровольное и искреннее сознание Ирины, с другой — ни одной, не только прямой, но и косвенной улики против Вельтищева. Тем не менее он нашел возможным поддерживать обвинение, основываясь главным образом на том, что психиатрическая экспертиза все-таки не указала положительного присутствия в обвиняемой ни одного из симптомов, обуславливающих умственное расстройство, что, напротив, все поступки, все ответы, все поведение ее, отличаясь логическою последовательностью, убедительно указывают на одно только полное, глубоко искреннее раскаяние в совершенном преступлении и что поэтому там, где нет прямых улик и доказательств, наиболее уважительною и лучшею уликою является собственное сознание.

Настала очередь барона фон Шнитцли.

Гамбетта непримиримый еще раз принял щегольскую позу, которая словно бы говорила и суду и публике: «Смотрите и удивляйтесь, сколь я изыщен, сколь я умен, ловок, красноречив, гениален и насколько я благосклонен к вам в вашем ничтожестве».

Репортеры Цемшевой газеты, присутствовавшие в рядах публики, с благоговейно-торжествующей улыбкой

насторожили свои либерально-почтительные уши и приготовились внимать «нашему многоуважаемому сотруднику». Сам Цемш, который тоже здесь присутствовал, оскаблил свои зубы и аппетитно стал потирать руки, заранее уже предвкушая то наслаждение, которое доставит ему обильный поток слов непримиримого Гамбетты.

— Господа судьи! Господа присяжные заседатели! — зазвучал по зале голос барона тем деланно приятным, ласкающим тембром, который стараются усвоить себе иные адвокаты, когда уже заранее желают заискать в благорасположении судей и публики.

Речь Гамбетты могла назваться перлом адвокатско-ораторского искусства. Он старался говорить недолго, чтобы не утомить внимание слушателей, но в словах его было все, что должно подействовать на чувство и убеждение присяжных, и все, что могло только, так или иначе, возвеличить и блистательно доказать невинность его «почтенного клиента».

— Господа! — говорил, между прочим, фон Шнитцли. — Вы видите сегодня на скамье подсудимых человека, который доселе пользовался полным общественным уважением человека богатого, имеющего вес и значение как в сфере своей служебной деятельности, так и в сфере того порядочного, дорогого литературного кружка, к которому он принадлежит по своим честным убеждениям, — и что же? Нам говорят вдруг: этот человек — убийца, отравитель своего близкого родственника! И кто же произносит такое страшное, клеймящее слово? — Сама вдова покойного! Она идет в суд и добровольно объявляет себя сообщницей ужасающего преступления и даже более: вопреки естественному чувству женской стыдливости, говорит, что имела преступную связь с двоюродным братом своего мужа. Внимание общества настроено, раздражено ожиданием, что вот раскроется одна из самых пикантных светских драм, — и драма здесь действительно существует, но только далеко не та, которую ожидало общество!

Эта драма заключается в том, что на скамье подсудимых рядом с невинным человеком мы видим несчастную женщину, достойную всякого участия, место которой, однако, должно быть не здесь, а по-настоящему — в приюте Всех Скорбящих. И страшно подумать, что от этой достойной во всех отношениях, но несчастной и умственно расстроенной женщины могла бы зависеть честь, доброе имя и вся судьба человека невинного! Но у нас есть правый и гласный суд общественной совести,

и потому я спокоен за судьбу Платона Вельтищева! Судебное следствие уже достаточно обнаружило все данные, которые безусловно служат к полному его оправданию. Подсудимая говорит, будто преступление сделано, во-первых, для того, чтобы доставить более счастья и свободы для независимой их любви. Но вы уже слышали общие, единогласные заявления всех без исключения свидетелей — заявления, которых мы ни в каком случае не можем игнорировать, — что там, где подсудимая, в печальном заблуждении своем, воображала преступную связь между собою и моим клиентом, существовали одни только теплые родственные отношения, родственная близость и ровно ничего предосудительного! Это слишком ясно уже доказано нам! Но, кроме того, я положительно утверждаю, что подобные предлоги и цели у подсудимого не могли иметь места, хотя бы уже потому, что господин Вельтищев честно любил в это самое время другую женщину, чувство к которой он вскоре и закрепил узами законного брака. Но... печальный обман болезненного воображения взводит на него небывалое преступление. Казалось бы — нелепость очевидная! Но раз уже она подлежит вашему обсуждению, защита обязана доказать полную ее несостоятельность. Обвинительная власть, отвергая умственное расстройство подсудимой, основывает свое обвинение на полном и искреннем ее сознании. Я не спорю, что оно действительно и полное, и искреннее, что она сама глубоко убеждена, будто все это действительно было. Она обвиняет вместе с собою Платона Вельтищева. Но на вопрос: была ли она сама при совершении преступного действия? — она отвечает: нет, меня там не было. Ее спрашивают: какого рода насильственной смертью умер ваш муж? — и получают в ответ опять-таки: не знаю! Был ли он убит, задушен, отравлен? — снова: не знаю! Если отравлен, то каким ядом? — и здесь то же самое: не знаю! Везде и во всем одно только «не знаю», «не знаю» — полное «не знаю»! Можно ли принимать серьезное обвинение подобного рода?! Далее, на вопрос: с какою целью сделано преступление? — мы слышим ответ: *теперь* не знаю, но *тогда*... тогда оно будто бы совершено было для большей свободы несуществовавшей связи и ради преувеличения своих *средств*. Рассмотрим же этот последний мотив, так как он может казаться единственным, хоть сколько-нибудь основательным мотивом. Кому нужны были материальные средства? Ирина Борисовна никогда не чувствовала в них ни малейшего



недостатка, и при жизни мужа она не испытывала ни малейших материальных лишений; напротив, была окружена избытком роскоши, довольства, комфорта! Стало быть, они нужны для моего клиента? Но господин Вельтищев, во-первых, имеет и свои собственные прекрасные средства, а во-вторых, со смертью брата, он лишился человека, который даже гораздо лучше, чем он сам, вел его собственные дела и тем добровольно снимал с моего клиента самую тяжелую и скучную обузу материальных забот, расчетов и прочего! Стало быть, господин Вельтищев мог умертвить своего брата только в очевидный ущерб своим собственным интересам. Наконец, в-третьих, если бы Платон Вельтищев желал воспользоваться средствами, то странно при этом — замечу в скобках, — что подсудимая дала согласие на смерть мужа заведомо с тем, чтобы самой быть обобранной!.. Итак, если бы он хотел воспользоваться богатыми средствами, то он уже давно имел бы время и случай преспокойно исполнить это. А между тем мы видим, что он ликвидирует дела покойного, возвращает пайщикам их доли и оставляет вдове в полное ее пользование все то, что ей следовало по духовному завещанию. Но этого мало еще! — вот, господа, документ (и фон Шнитцли с подавляющим торжеством поднял перед собою листок бумаги), вот сохранная расписка, данная покойным Максимом Вельтищевым моему клиенту на двести тысяч рублей серебром, взятых у него покойным на свои собственные надобности. Скоропостижная смерть предупредила уплату по этому документу, и деньги по сию минуту еще не получены!

Неожиданный эффект, произведенный на Ирину и на присутствующих этим клочком бумажки, был необычаен. Один только Вельтищев не изменил своему равнодушно-апатичному спокойствию.

— Ирина Борисовна! — обратился вдруг Гамбетта к подсудимой. — Взгляните на эту бумагу и скажите нам, чьею рукой она писана?

Бледная и встревоженная женщина пристально наклонилась к поданному ей документу, прочла его и с внутренним удивлением, которое невольно сказывалось в звуке ее голоса, проговорила тихо:

— Это рука моего мужа.

— Умоляю вас, дайте себе, если можете, полный отчет в своих словах и мыслях и скажите, не ошибаетесь ли вы, чтобы у нас не было более сомнений! — убедительно приступил к ней фон Шнитцли.

— Да, это несомненно писано его рукою, — подтвердила Ирина.

— Итак, господа судьи! — воскликнул Гамбетта. — Подлинность документа признана самой подсудимой, а подсудимая — бесспорная наследница своего мужа в той части его капиталов, которые отказаны ей по духовному завещанию. Если бы Платон Вельтищев совершал преступление с целью расширить свои средства, к слишком достаточным своим собственным богатствам приложить еще новые, — я вас спрашиваю — что мешало ему предъявить этот документ наследнице тотчас же по вводе ее во владение?.. Двести пятьдесят тысяч — сумма не ничтожная даже и для Ротшильда! И он мог бы получить их бесспорно, если бы только пожелал. Но он этого не сделал. Он решился лучше потерять часть своего собственного имущества, чем обидеть вдову, для которой триста тысяч составляли все ее состояние! Вот вам лучшее доказательство, были ль у него своекорыстные цели!

— Я уже оставляю в стороне, — продолжал защитник, — я прохожу мимо таких полновесных доказательств, как заключение врача, постоянно пользовавшегося покойного, как испуг и недоумение подсудимой при первой вести о смерти мужа, как все поведение в то время Платона Вельтищева, хотя и то, и другое, и третье служат явным подтверждением, что смерть близкого человека была для обоих неожиданностью. У нас есть доказательство полновеснее этих. Труп покойного был вырыт из могилы и подвержен исследованию. И что же? Самый тщательный анализ, произведенный наиболее компетентными людьми, не открывает в нем ни малейших следов яда! Господа судьи! господа присяжные! Каких еще более красноречивых, более веских доказательств надо вам для того, чтобы снять подозрение с честного и невинного человека?! Неужели и после этого найдутся еще те уста, которые решатся произнести слово обвинения? — Нет! Я не верю, я не допускаю этой возможности! «Правда и милость да царствует в судах». Но милости нам не надо; мы требуем от вас только правды, одной правды и ничего более! А правда здесь так очевидна! Если вы произнесете слово обвинения, вы запятнаете доброе имя честного и безвинного человека, вы лишите любящую и больную жену ее мужа, ее единственной опоры, вы лишите лучший, избраннейший честный кружок нашей интеллигенции его лучшего и уважаемого сочлена, вы лишите общество образованного,

честного деятеля, вы, наконец, лишите государство полезнейшего и даровитого слуги. Нет, я убежден, что ваша совесть не допустит вас произнести слово обвинения! Вы, господа присяжные, вынесете полное и безусловное оправдание Платону Вельтищеву!

Гамбетта умолк. Он обвел все собрание уверенным взглядом, который как бы говорил: «Вы побеждены мною!» — и тихо, не без приличной рисовки, изображая вид слегка усталого человека, опустился на свое место. Тогда поднялся шилообразный господин — защитник Ирины.

Он, как дрозд под органчик, был заранее уже нашколен самим бароном фон Шнитцли, и хотя шилообразный адвокат являл собою круглую либеральную бездарность, тем не менее этот дрозд хорошо спелся со своим органчиком. Защиту свою он вполне основал на мнении того ученого-психиатра, который усматривал в Ирине однопредметное помешательство, хотя в его речи, наряду с европейскими авторитетами психиатрии, почему-то вдруг зафигурировали вовсе некстати имена Бокля и Милля, тем не менее главный смысл всей защиты сводился к доказательствам окончательного умопомешательства его клиентки.

— Господа присяжные! — воскликнул он, между прочим. — Господа судьи! Вы, которые стоите на высоте современного развития, позвольте спросить: если бы это преступление действительно было совершено, то может ли кто-нибудь из нас, во второй половине девятнадцатого столетия, то есть в то время, когда общество наше сбрасывает с себя оковы разных обветшалых традиционных предрассудков, — может ли кто из нас, говорю я, допустить возможность такого абсурда, чтобы человек в здравом рассудке, а тем более преступник, вдруг добровольно явился бы перед судом в роли самообвинителя, побуждаемый к тому — чем же?.. Странно даже вымолвить! Голосом совести, угнетаемой страхом Страшного суда, жупела, геенны огненной, наказанием в загробной жизни!.. Очевидно, что подобные печальные явления в наш век возможны только в области психиатрии, где известен даже особый вид подобной болезни, характеризующийся названием *mania religiosa*<sup>1</sup>. Подсудимая, как доказала уже экспертиза, страдает именно этою болезнью, и мой даровитый и многоуважаемый собрат по

---

<sup>1</sup> религиозный фанатизм (лат.).

защите был совершенно прав, когда в блистательной речи своей выразился, что место этой несчастной женщины не здесь, не на скамье подсудимых, а в доме Всех Скорбящих. Господа присяжные! — воскликнул он в заключение. — Я надеюсь, что, как представители совести нашего общества, которое есть дитя прогрессивного и гуманного века, вы не поддадитесь влиянию абсурдных предрассудков, на почве которых было построено шаткое здание самообвинения, и вынесете оправдательный приговор подсудимой!

Так как прокурор не нашел со своей стороны возразить что-либо в поддержку обвинения, то председатель предложил обоим обвиняемым — не имеют ли они еще чего добавить к словам своих защитников.

Оба отвечали утвердительно — и первое слово дано было Платону.

— Я могу сказать только одно, — начал он, весь бледный и взволнованный, — если все судебное следствие, если все усилия защиты были недостаточны и мне суждено услышать обвинительный приговор, я... я покоряюсь ему... с чистой совестью. (Голос его дрогнул и упал.) Что бы мне ни угрожало, но... я не виновен! — закончил он совсем уже глухо.

— Госпожа Вельтищева, очередь за вами! — напомнил председательствующий Ирине, которая сидела погрузясь в глубокое сосредоточенное раздумье.

Она словно бы очнулась и затем медленно и плавно поднялась с места. Взоры всех присутствующих невольно приковались к ее строгой и стройной фигуре, которая, почти ступаясь как-то доселе, вдруг будто бы выросла в эту последнюю минуту. В этой открыто поднятой голове, в этом выпрямленном стане, в этих сложенных и опущенных руках и, наконец, даже в самых складках черного платья, плавно ниспадающих к полу, было что-то строгое и величавое. Лицо этой женщины тоже как будто преобразилось: оно дышало твердым спокойствием решимости, а в глазах горел вдохновенный огонь внутренней силы и убеждения.

Вельтищев взглянул на нее и вдруг невольно подался назад, окованный каким-то странным чувством, к которому примешивалось несколько удивления: она показала ему теперь чудной, прекрасной, но новой — совсем новой, другою женщиной, которой он будто и не ведал до последней минуты. И глаза его остановились и как бы застыли на этой фигуре, поражающей силою своего внутреннего величия.

— Что бы ни говорили, что бы ни думали здесь, — начала с твердостью Ирина, — я все-таки повторяю: я виновна!.. Я не перестану повторять это слово до конца моей жизни. Мне нет оправданий и не нужно защиты! Напрасно хотят из меня сделать сумасшедшую, если мой защитник, для доказательства моего безумия, ссылаясь перед вами на наш век, то я скажу вам, что жалок, ничтожен и достоин всякого презрения тот век, в котором люди могут видеть в искреннем покаянии человека, в голосе вопиющей совести, в страхе суда Божия — одно только безумие и открыто, перед гласным судом, не краснея, бесстыдно называть эти чувства жалкими предрассудками!.. Я не сумасшедшая, и если я решилась явиться сюда, то это потому, что я не могла долее выносить укоров моей совести: это страдание было чересчур велико и тяжело... Я не хотела защиты; я, напротив, надеялась и ждала наказания, потому что в нем было бы искупление моего греха, потому что я хочу примириться с Богом и со своею совестью!

— Господа судьи! господа присяжные! — словно ужаленный, сорвался вдруг с места и горячо замахал руками шилообразный защитник. — Это последнее слово подсудимой служит вам лучшим и самым убедительным подтверждением того, к чему пришла экспертиза и на чем основывалась вся наша защита!

Ирина ответила на эту выходку не словом, а взглядом, но таким взглядом, исполненным глубочайшего презрения, который ярко был замечен всеми, кто только находился в зале, и на всех произвел должное впечатление.

Председатель, не успевший вовремя остановить шилообразного защитника, сделал ему строгое внушение, сказав, что если он позволит себе еще подобную неприличную выходку, то он, председатель, найдет себя вынужденным приказать немедленно вывести его из залы суда, и затем обратился к присяжным с заключительным словом, в котором отчетливо определил все, что выяснилось на суде, и, напомнив о великой и трудной обязанности, падающей на них при настоящих обстоятельствах дела, выразил в заключение надежду, что они, не увлекаясь ни в какую исключительную сторону, вынесут тот приговор, который укажет им совесть.

Затем на обсуждение присяжных заседателей были предложены следующие вопросы:

1) Максим Григорьев Вельтищев умер своею ли есте-

ственной смертью или же каким-либо насильственным способом?

2) Если Вельтищев умер насильственной смертью, то виновен ли в том Платон Васильев Вельтищев?

3) Виновен ли Платон Васильев Вельтищев также в склонении к умерщвлению Максима Вельтищева законной его жены Ирины Борисовой Вельтищевой?

4) С ведома ли Ирины Борисовой Вельтищевой причинена насильственная смерть мужу ее Платоном Васильевым Вельтищевым?

5) Если Ирина Борисова Вельтищева виновна по 4-му вопросу, то не находилась ли она в состоянии умственного расстройства?

Присяжные заседатели удалились из залы и после получасового совещания вынесли вердикт следующего рода:

на первый вопрос: *умер своею естественною смертью.*

Остальные вопросы оставлены без ответов.

— Подсудимые! — обратился председатель к Ирине и Платону. — Сойдите с этой скамьи: суд признал вас оправданными.

Лицо Ирины покрылось смертельной бледностью. Она зашаталась и вдруг без чувств упала на скамью подсудимых. Прислужники и судебный пристав засуетились около нее и поспешили вынести ее из залы.

А между тем непримиримый, но торжествующий Гамбетта радостно обнимал своего оправданного клиента. Редактор Цемш, с помощью усилий, употребленных его усердными репортерами, продрался через плотную стену волнующейся публики и, радостно оскалывая зубы, поспешил горячо пожать руку обоим своим многоуважаемым сотрудникам и выразить им сердечный привет и поздравления «от лица всего нашего дорогого, порядочного литературного кружка, в котором все члены так зорко следят друг за другом и потому заранее все были уверены, что блистательный защитник будет вполне достоин блистательного клиента». При этом Цемш объявляет, что он уже поручил написать к завтрашнему номеру передовую статью, в которой еще раз будет блистательно доказано, что такой честный и дорожащий своей репутацией адвокат, как «наш многоуважаемый сотрудник», не может взяться защищать бесчестное или какое-либо сомнительное дело, что можно наперед поручиться за безусловную правоту дела, если за него берется адвокат фон Шнитцли, и что теперь все общество

было свидетелем, как подтвердилась эта истина, как оправдался один из лучших членов, которым гордится «наш порядочный кружок», и как ярко восторжествовала правда и невинность!

## ХП

### УРОД

Радостный и наконец-то успокоенный духом, поспешил к себе домой Вельтищев. Если совесть его и не была чиста, зато душа избавилась от томительной неизвестности и гнетущего ожидания кары. Теперь он был свободен и чист по закону.

Задыхаясь от радостного волнения, быстро взбежал он по лестнице в свою квартиру, оттолкнул слугу, который хотел было снять с него пальто, и спешными шагами направился во внутренние покои, восклицая громким и взволнованным голосом:

— Людмила!.. Людмила, где ты?.. Я свободен!.. Я оправдан!.. Я здесь, Людмила!

Опираясь на руку Ольги Романовны, навстречу ему слабосильною походкой вышла выздоравливающая женщина.

Вельтищев простер было руки для радостных объятий, хотел уже кинуться к ней на шею, но вдруг взглянул на лицо — и, отшатнувшись в испуге, отступил назад с невольным ужасом, сомнением и изумлением во взоре.

Перед ним стояла не та Людмила, свежая и блистательно-прекрасная, которую оставил он перед своим арестом, а урод, обезображенный страшной оспой.

Недавней красоты не осталось ни следа, ни тени!

Все лицо этой женщины было изборозжено, изрыто, изъедено, испещрено заживающими, но глубокими следами оспенных язвин. В особенности отвратительны были верхняя губа, нос и веки, пострадавшие более других частей лица. Взгляд, по-прежнему холодный и блестящий, но обрамленный некогда таким прелестным прорезом глазных орбит и оттененный чудными, смягчавшими его ресницами, теперь устремлялся из-под красных и облезлых век с каким-то неприятным, отталкивающим выражением, которое сообщал ему именно этот, присутствующий Людмиле, блеск и холод бездушия.

— Неужели... неужели это ты? — в смущении и в

ужасе пробормотал Вельтищев, не решаясь приблизиться к стоявшему перед ним уроду.

Это лицо внушало ему страх и отвращение.

Людмила чутко разгадала то чувство, которое испытывал ее муж в настоящую минуту, и, заморгав оголенными веками, заплакала горькими, едкими и жгучими слезами.

Она поняла, что с этой минуты все кончено для нее в сердце Вельтищева. Она знала, что женская власть ее над ним могуча только силою того, раздражающего чувственность, обаяния, которого так много было в холодке ее прелестного лица, в пластической красоте форм ее тела, и теперь это обаяние — увы! — навсегда уже исчезло, исчезло безвозвратно...

Подобного рода внешним чувствам уже невозможно было любить безобразного урода.

Первою мыслью, пришедшею Вельтищеву после первого, бессознательно невольного движения ужаса, был испуг за свою жизнь, за свою будущность, которая навсегда скована с этою облезлою, безбровую женщиной.

«Вот она, кара-то, когда начинается!» — шепнуло ему нечто, похожее на голос совести.

Плечи Людмилы нервно подергивались от тяжелых рыданий, в то время как Ольга Романовна бережно и заботливо усаживала ее в ближайшее кресло.

Вельтищев не двигался с места и, словно чужой, безучастно и даже бессознательно как-то глядел на жену и слушал ее рыдания.

— Да подойдите же вы к ней!.. Приласкайте... хоть слово-то скажите, бедняжке... Она так мучилась, так ждала вас! — с укором обратилась к нему нежная маменька, поддерживая обнимающей рукою голову дочери.

Вельтищев хотел было приблизиться и почти машинально сделал шаг вперед, как вдруг...

— Нет! нет, не подходи!.. Не надо! — порывисто заговорила сквозь слезы Людмила, сделав отстраняющее движение рукою. — Не надо мне!.. Не заставляйте его!.. Я знаю — я так безобразна!..

И прилив рыданий с новою силою слез затушил ее последнее слово.

Ольга Романовна жестом головы и глазами делала ему меж тем призывные знаки.

Вельтищев пересилил в себе отвращение и подошел к Людмиле и взял ее за руку.

Мало-помалу рыдания ее успокаивались и слезы стихали.



Она глубоко и судорожно вздохнула, отерла глаза свои и тихо, с бесконечною грустью посмотрела на мужа.

— Ну, что ж, хороша твоя Людмила? — с горькой усмешкой промолвила она более спокойным и тихоумиренным голосом. — Ты не ждал такого сюрприза... Ты больше не любишь меня.

— Милая, я все тот же, — пробормотал Вельтищев, но звук голоса невольно выдал ей внутреннюю ложь его слова.

Она сомнительно и горько покачала головою.

— Полно!.. Не уверяй, Платон!.. Я чувствую, я знаю, что говорю! Но... ты теперь свободен, оправдан — я рада... Поздравляю тебя!

И она слабо пожала ему руку.

— Милочка! Ангел мой! тебе успокоиться надо! — заботливо заговорила нежная маменька. — Ложись-ка ты да сосни немножко!.. Позволь, мы проведем тебя...

Людмила не противоречила. Она позволила обоим помочь ей подняться с кресла и, опираясь на их руки, прошла в свою комнату, где Платон оставил ее и направился на свою половину.

Он пришел в свой кабинет и в изнеможении кинулся в глубокое кресло, закрыв лицо руками. Ему было больно, что обаятельная красота этой женщины, красота, которой он так слабохарактерно и много поклонялся, уплыла столь быстро и безвозвратно. Но это было сожаление только о наружной красоте, только о прелестном лице, о чарующей внешности. Раз что они минули — и очарование исчезло. Он живо и даже с некоторым самодовольным удивлением чувствовал теперь, что сердце его вдруг стало холодно и безучастно к изуродованной жене — потому именно, что она изуродована, что без красоты в ней ровно ничего не осталось теплого, влекущего, симпатичного. Еще один лишь час тому назад он бежал домой из суда с совсем иными чувствами, а теперь вдруг увидел, что не любит ее более. Чуть только исчезло чувственное обаяние физической природы, сердце его мгновенно же оказалось пусто и холодно.

«А! — злорадно думалось Вельтищеву. — Теперь ты, матушка, жалкий, безобразный урод! Теперь на тебя, с позволения сказать, плюнуть никто не захочет, а еще так недавно... Боже! подумаешь, как недавно еще это было, когда она без жалости плевала на меня, когда она мучила, оскорбляла меня и ни в грош не ценила моей любви, когда заставляла с унижением выпраши-

вать, выманивать каждую редкую ласку, на которую я, однако, имел полное право; когда ей первый встречный какой-нибудь козлоногий шамбелян нравился более мужа — мужа, который все принес ей в жертву — все, все!.. Н-ну, теперь шашки переменялись!.. Теперь вы, сударыня, видимо, были бы счастливы хоть каплей моего внимания, малейшею моею лаской, а я... Нет-с, око за око и зуб за зуб, дорогая моя Людмила Сергеевна! — тихо и с злорадным торжеством засмеялся он в заключение. — Слишком уж много я вытерпел, слишком много, благодаря вам, у меня на душе накопело!»

А странное дело! ведь как недавно еще и как часто, терзаемый подозрениями и ревностью, он страстно взывал из глубины души своей: «Господи! хоть бы Ты ее изуродовал! хоть бы Ты отнял у нее это лицо — это лицо, проклято красивое! — мне все же легче бы было!.. Пусть будет безобразна, но тогда я был бы покоен, тогда бы я знал, что она никому уже не нужна, что никто на нее не позарится, никто ее не захочет более и никто, по крайней мере, не взглянет на меня больше с оскорбительным сожалением или с двусмысленной улыбкой!.. Тогда бы кончились для меня эти адские мучения!.. Хоть бы оспа, что ли, изуродовала тебя, проклятая женщина!.. Господи!»

И что же?!

Судьба, словно бы нарочно, услышала и исполнила горячую мольбу Вельтищева, которая вырвалась из его души в деревне, в шальные минуты непереносной ревности. Но так как это был человек вполне *внешний*, поверхностный, то и любить он мог только поверхностным, чисто внешним образом и только одну внешность, везде и во всем начиная с внешнего блеска своей служебной и жизненной обстановки и кончая наружною стороною женщины. Оттого-то столь быстро и произошла резкая перемена в его чувствах к Людмиле, и хотя внешние чувства подобных поверхностных людей могут иногда отличаться довольно сильными проявлениями, вроде чувственной страсти, ревности или непомерного эгоистического самолюбия, но все же эти сильные проявления ровно ничего не прибавляют к внутренней, более возвышенной и нравственной стороне человека, да и прибавить не могут, ибо внутренней стороны, в сем последнем смысле, у этих людей вовсе не имеется. И вот потому-то, взглянув на уродда жену, Вельтищев даже жалости и сострадания к ней не почувствовал, а ощутил один лишь ужас и физическое отвращение и даже не сумел притвориться, пересилить

себя на первую минуту, хотя бы из приличия, из одной деликатности, а вместо того со злорадством подумал, что теперь — на его улице праздник! Теперь, мол, я сам и лучше, и красивее, а ты — менее, чем ничто, и я знать тебя не хочу больше как женщину!

Однако явилось другое горе, которое теперь вдруг испугало Вельтищева своею неожиданно раскрывшейся наготой. Злорадствуя над Людмилой, он в то же время терзался страданием и грустью за свое будущее. Это будущее и совместная жизнь с женою, при такой полной материальной зависимости от нее, стали рисоваться перед ним бесприсветно мрачными красками. Это будущее пугало и казалось ужасным. Теперь он был нищий в роскошной обстановке, фактически принадлежащей не ему, а его супруге, в силу дарственной записи на все его имущество и на все капиталы. И в то же время перед мысленным взором его невольно как-то, но с такою отчетливой ясностью и так настойчиво вырисовывался грандиозный образ другой женщины, которая всего лишь два часа назад вдруг нравственно выросла и отлилась в столь величавую форму, в его присутствии, на скамье подсудимых.

Прошло около получаса времени, а он все еще сидел, не изменяя положения и весь погрузясь в свои мрачные думы, как вдруг отпахнулась тихонько портьера — и в кабинет на цыпочках вошла Ольга Романовна, которая успела уже подпудриться и прихорошиться в комнате Людмилы.

— Она заснула... не будем тревожить ее, — полупшепотом проговорила нежная матушка в ответ на вопросительный взгляд, брошенный на нее Вельтищевым, и подошла к его креслу с милою улыбочкой, которой потщилась придать очаровательную застенчивость и некоторое кокетливое лукавство.

— Наконец-то мы опять одни... после столького времени!.. — прошептала она, нежно пожимая пальцы его неподвижно лежащей руки. — Теперь мы можем поговорить на свободе... Она спит и не придет сюда...

Вельтищев молчал и глядел на нее безучастным и слегка недоумевающим взглядом.

— Ты свободен, мой друг!.. Как я рада! Поздравляю, от всей души поздравляю!.. Я постоянно и так горячо молилась за тебя, — говорила Ольга Романовна, присев бочком на ручку его кресла, и, приблизив рукою к своим губам голову зятя, поцеловала его долгим и нежным поцелуем, в котором, однако же, Вельтищев не почувствовал ни малейшего матерински родственного оттенка.

В глубине души ему сделалось гадко, но он пока скрепился и, поделикатничав на первую минуту, ничем не выразил ей своего внутреннего движения.

— Я все время, что Людмила была больна, жила здесь вместе с нею, — продолжала Ольга Романовна, тихо лаская его волосы. — Нужен был уход за нею, а кто же лучше матери сумеет за это взяться?.. И ничего, Бог сохранил меня: не заразилась!.. Но какая ужасная оспа! Как она изуродована, бедняжка!.. Скажи мне откровенно: ты, кажется, нашел ее просто ужасной?.. Я боялась даже заранее предупредить тебя... Ты прости меня за это... Но воображаю, как тяжело тебе будет теперь любить ее при эдаком-то безобразии!.. Бедный Платон мой!.. Но я, насколько могу, я постараюсь, если желаешь, хоть чем-нибудь утешать тебя... хоть чувством дружбы моей?! Скажи мне, ты хочешь, чтобы я и впредь оставалась жить вместе с вами?.. Я думаю, что это можно будет как-нибудь устроить?

— Уйдите прочь... оставьте меня! — гадливо проговорил наконец Вельтищев, уклоняя голову от ее отвратительной ласки. — Ступайте к Людмиле, ступайте куда знаете, но меня — умоляю вас — оставьте в покое!

Ольга Романовна вскочила с ручки кресла. На мгновение она было смешалась от недоумения при неожиданности такого приема, но вслед за тем лицо ее сейчас же приняло милую, благодущную и догадливую улыбку.

— А, мой друг, я понимаю, — заговорила она с кротким участием и вздохом. — Я понимаю, вы теперь так взволнованы, так утомлены... Все эти впечатления... Вам нужен отдых и спокойствие... Я не буду тревожить вас... мы и потом еще успеем поговорить с вами... До свиданья, мой ангел!

И, кивнув ему по-балетному ручкой, экс-балерина на цыпочках и вприскокку выпорхнула из кабинета.

— Господи! Только этого еще недоставало вдобавок! — с злобной досадой и горечью воскликнул Вельтищев, в отчаянии подняв и заломив свои руки.

## ХІІІ

### НА НОВУЮ ДОРОГУ

Ирину в наемной карете привезли из суда в ее собственный дом, где старый Демьян, вернувшийся вместе с нею, принял ее на свои попечения. Тотчас же посла-

ли за доктором, который нашел в ней слабость как естественное последствие обморока, прописал что-то успокоительное, приказал лечь в постель, избегать всякого волнения и объявил, что дня через два она будет совершенно здорова.

Предсказание эскулапа сбылось. Действительно, на третий день Ирина уже чувствовала себя как не надо лучше. Физическое здоровье восстановилось, но внутреннею, душевного мира и спокойствия у нее все-таки не было. И сердце, и совесть настойчиво продолжали требовать какой-нибудь великой искупительной жертвы.

Между тем, так как вопрос о состоянии ее умственных способностей был на суде оставлен без ответа присяжными и никто из родственников Ирины не возбудил дела о взятии ее под опеку, то гражданская правоспособность была вполне оставлена за нею. Через несколько дней после своего освобождения она написала письмо к своему двоюродному дяде, прося его приехать к себе по очень нужному делу. Старый дядя явился.

— Прежде всего, — начала ему Ирина, — я прошу вас окончательно не думать, будто я сумасшедшая: это была не более как удачная адвокатская уловка. Платону Вельтищеву, чтобы самому выйти чистым, нужно было сделать из меня безумную — иного выхода ему не было, но, как видите, присяжные этот вопрос оставили без ответа. Вы знаете дело и, конечно, читали стенографический отчет, читали мое последнее слово, — стало быть, вам нечего объяснять мое нравственное состояние.

— Должен сознаться, — пожал дядя плечами, — пока я вижу в вас совершенно здравомыслящую женщину.

— Ну, я надеюсь и всегда остаться такою! — грустно улыбнулась Ирина. — Я хочу сообщить вам мое решение насчет имущества, — продолжала она, — и просить вас помочь мне в одном деле. На суде обнаружилось, что у Вельтищева есть сохранный расписка на двести пятьдесят тысяч, выданная ему покойным мужем. Подлинность ее признана мною; стало быть, мне, как наследнице, надо прежде всего уплатить по этому документу.

— Но ведь это дело гражданского иска, — возразил ей дядя, — а раз господин Вельтищев не ищет на вас, да и потом... почему не может, дело это еще спорное и сомнительное...

— Нет, нет! — решительно перебила его Ирина. — Не ищет теперь, станет искать завтра, а я не хочу ни-

каких клюз! Надо самой предупредить его отдачей этих денег, тем более что процесс он во всяком случае выиграет. Я хотела бы исполнить это немедленно. Поэтому, будьте так добры, потрудитесь законным порядком отдать ему долг и получите с него обратно расписку.

Дядя ответил склонением головы в знак своего согласия.

— Потом, вторая моя воля, — продолжала Ирина, — наградить Демьяна и вообще людей, служивших мне и покойнику. Для этого я определяю десять тысяч. Затем у меня остается еще сорок тысяч... Вы — человек семейный и не особенно достаточный, у вас есть дети, а у меня никого и ничего... Притом же вы почти единственный и более близкий мой родственник... Поэтому я прошу вас смотреть на эти сорок тысяч, да и на этот дом, кстати, как на полную вашу собственность... Не вам, так детям вашим пригодятся со временем, а что касается до меня, то мне ничего не нужно! Я знаю, что мне теперь следует делать, и я уже твердо решилась!..

Таким образом, Ирина сразу покончила со всем состоянием, доставшимся ей по наследству от мужа. Она не признала за собою нравственного права воспользоваться хоть одною копейкою из этого состояния на свою собственную особу.

#### XIV

#### В ЗАМЕНУ КАТОРГИ

Людмила Сергеевна окончательно оправилась от своей тяжелой болезни. Теперь сине-багровые пятна выступали на ее лице только тогда, если она выходила на свежий воздух; в комнате же они исчезали; но безобразие оставалось с нею везде и повсюду. Ей во что бы то ни стало хотелось если не скрыть, то хоть несколько уменьшить его, и потому она впала в весьма печальное заблуждение, думая, что этому помогут самые тонкие косметические средства. Она стала искусственно подводить себе брови и ресницы и обильно мазать лицо, но — увы! — на всякий посторонний взгляд эти белила и румяна отнюдь не скрывали, а еще более увеличивали ее безобразие. Без косметиков в ней еще оставался хотя какой-нибудь образ женщины, но с этими реставрациями она становилась просто противна всем и каждо-

му. Роскошный шиньон и изящные костюмы только увеличивали печальный контраст между отвратительным лицом и их изяществом. Самая гениальная модистка оказывалась положительно бессильною со всем своим искусством, чтобы хоть сколько-нибудь скрасить и сгладить безобразие этой несчастной женщины.

Она, которая мечтала властительно блистать среди роскоши большого света, поражать красотой и видеть у ног своих министров, дипломатов, финансистов и всех сильных мира сего, она, которая только ради этой цели, ради своего жабьего, но непомерного самолюбия, решилась на воровство и насилие, — она имела теперь и богатство, и имя, и положение в свете... И что это? — При всем этом злая судьба подшутила над нею самым жестоким образом! Не хватало главного — не хватало той красоты, при которой только и могло иметь смысл все остальное. К чему теперь ей были эти богатства и это положение в свете? И что она могла с ними сделать? Теперь она оказалась неизмеримо беднее и бессильнее, чем даже в то время, когда была еще неизвестною женою бедного студента. Теперь у нее, в сущности, было одно только гнусное безобразие — самое прочное и действительное приобретение в ее новом положении.

Вельтицев окончательно разлюбил ее и даже не в состоянии был притворяться — до такой степени это безобразие было противно!

Но мало того; это самое безобразие существенно изменило их обоюдные чувства. С тех пор как Людмила увидела, что муж не любит ее и что она вообще перестала существовать для нежного чувства какого бы то ни было мужчины, эту женщину, доселе холодную и бесстрастную, обуяло чувство пылкой любви к собственному мужу. Бездна и безобразие сделали ее женщиной. Она стала тоскливо и навязчиво требовать от Платона той нежной любви, которую дарить ей он уже был не в состоянии. Это донельзя огорчало и бесило Людмилу. Она плакала, терзалась, тосковала в уединении своего будуара — и все напрасно!.. Владея безраздельно всеми средствами мужа и зная, что он слишком часто нуждается в деньгах, она попробовала было даже покупать себе у него столь желанное чувство, но и соблазн денег оказался над ним бессилён. В этом отношении все было против Людмилы. Она сделалась зла, мелочна, придирчива, обидчива, раздражительна и плаксива. Она безобразно ревновала Платона не только к каждой женщине своего круга, но положительно к каж-

дой посторонней кухарке, к каждой встречной на улице, если только на этой встречной останавливался случайно внимательный взгляд ее мужа. И эта необузданная ревность служила постоянным и бесконечным источником супружеских сцен и бурных ссор между ними. Она чуть не каждую неделю меняла своих горничных, потому что каждая из них будила ее подозрительность и опасения — и ни одна не могла ужиться в этом доме более месяца благодаря невыносимому характеру барыни. Она выгнала из дому Ольгу Романовну и не велела ее больше на порог пускать, потому что и нежная маменька бредила раны ее ревности. Несчастная сознавала, что даже и этот поблеклый фрукт с театральных подмостков все-таки лучше и неизмеримо красивее ее, неизмеримо более имеет прав быть еще женщиной.

С каждым днем все более и более убеждаясь, что для нее все уже кончено в жизни как для женщины, Людмила тем не менее не могла отделаться от своей болезненно-капризной страсти к мужу; но вместе с этою страстью в ней стала теперь зарождаться еще и другая: она сделалась жадна и скаредна, дрожала над каждою своею копейкой, усчитывала кучеров, поваров и лакеев, ежемесячно вычитая из их жалованья копеечные штрафы за разные мелкие провинности, — и люди от всей души проклинали свою барыню и, вечно сменяясь одни другими, не переставали искать себе нового, более подходящего места. Она редко, да и то лишь после усиленных просьб и настойчивых приставаний, выдавала мужу своему какими-нибудь десятками рублей необходимые карманные деньги, сопровождая каждую выдачу назойливыми укорами и пенями и каждый раз требуя полного и точного отчета — куда именно и на что, на какую надобность была им истрачена каждая копейка. Потеряв окончательно уже всякую надежду на возврат его чувства, она стала находить неизъяснимое наслаждение в том, чтобы постоянно, ежеминутно отравлять ему жизнь своими жалобами, укоризнами, попреками и мучить его мелочною придирчивостью. Это с ее стороны было как бы своего рода мщение Платону за его холодность. Она сама даже платила по счетам его портному и сапожнику. Словом сказать, Вельтищеву приходилось теперь испытывать положение, несколько похожее на то, которое занимала Ирина в доме своего покойного мужа, с тою лишь разницей, что жалкое, пассивное положение Платона было во сто, если не в тысячу раз хуже и невыносимее.



Он возненавидел Людмилу от всего сердца, от всей души своей — и она это чувствовала и сознавала как нельзя лучше. Самый простой и ничтожный разговор непременно служил поводом к обоюдным попрекам и кончался между ними не иначе как крупною бранью.

— Ты воровка! воровка! — с выразительным презрением говорил ей Вельтищев. — Последняя развратница с Сенной площади — и та все-таки лучше и честнее тебя!

— Ты убийца! — шипела в ответ ему Людмила. — Последний мазурик выше тебя, потому что его хоть в Сибирь ссылают, а для тебя и там не нашлось места!

Наконец, оба они стали по временам не шутя опасаться друг друга. Людмила боялась, как бы Платон Васильевич не отправил ее на тот свет, по примеру своего двоюродного брата, а он в свой черед начал опасаться, что в одну прекрасную минуту она его отравит. По временам они даже боялись есть и пить не только в присутствии друг друга, но и тогда, если оба оставались дома на своих половинах. Подозревая так страшно один другого, они стали подозрительнее и ко всей вообще своей прислуге. Это был вечный домашний ад, хуже каторги, невыносимее пытки. Казалось бы, при подобном существовании, обоим гораздо лучше было бы разорвать друг с другом все и разойтись навеки в разные стороны. Но в том-то и сила, что этот ад — эта вечная возможность мучить себя, а вместе с собою и ненавистно любимого человека — сделалась в высшей степени достолюбезна Людмиле; она стала ее жизнью, ее мечтою и страстным желанием, ее единственным вожделенным наслаждением; она наполняла, питала и поддерживала ее существование — и Людмила цепкими когтями ухватилась за своего раба и крепко держала при себе свою излюбленную жертву.

В начале этой каторги, когда жизнь казалась еще менее несносною, счастье как будто слегка улыбнулось Платону Вельтищеву: к нему были привезены деньги, доставленные от Ирины в уплату по сохранной расписке. Первым его движением при этом было вовсе отказаться от них. Этому человеку, удрученному своею супружескою жизнью, новый обман и преступление стали казаться невыносимо тяжкими и гнусно противными. Совесть шибко заговорила в нем в эту минуту. Но старый родственник, по неотменному поручению Ирины, настойчиво требовал принятия денег и возврата расписки, грозя в противном случае представить их в суд и требовать этого возврата

путем закона. Вельтищев поколебался. Соблазнительная мысль — вырваться, при помощи этих денег, из когтей супруги, снова стать богатым и независимым человеком — казалась слишком заманчивой — и Платон не устоял перед соблазном. Деньги были приняты.

Не желая, на первых порах, скандалом открытого разрыва с женою плодить в свете лишние толки и сплетни, он решил себе повременить еще немного и затем, под благовидным для общества предлогом, уехать от нее за границу, пожить там несколько месяцев, а потом, тихо возвратясь в отечество, искать себе служебного назначения — на первое время где-нибудь в провинции — и зажить там отдельно от драгоценной супруги. Он более всего боялся общественного скандала, и эту боязнь порождало в нем прежде всего опасение за свое положение по службе: он ведь стоял на слишком хорошей и видной дороге в мире служебной иерархии, для того чтобы решиться потерять что-нибудь в этом отношении. Уголовное дело не повредило ему во мнении начальства, так как исход этого дела и гвалт, поднятый Цемшевой газетой, блистательно доказали начальству и обществу величие его души и невинность. Начальство, в отеческом благодушии своем, усмотрело в Платоне Васильевиче безвинно пострадавшего честного человека и решило, что за его претерпение надо оказать ему некоторое приятное поощрение по службе, на которую он был принят с распростертыми объятиями немедленно по освобождении из-под суда. Начальство возжелало порадовать и утешить полезного и даровитого чиновника, и вот в один прекрасный день курьер привез ему патент и футляр с крестом Владимира на шею. Словом сказать, Платон Васильевич очень дорожил своим служебным положением и потому жестоко стал теперь бояться всякого скандала и по преимуществу скандала в своем быту семейном, ибо общественное мнение в сем последнем случае, принимая во внимание добродетель и физическое безобразие его супруги, не замедлило бы обвинить исключительно его одного, сделало бы из него тирана и бездушного, легкомысленного ветреника, а такая репутация очень и очень повредила бы ему в высших служебных сферах. Платон все это взвесил, сообразил, обдумал, а потому и пришел к заключению, что разрыв с женою надобно ему осторожно, исподволь и не иначе как под самым невинным и вполне благовидным предлогом, чтобы не раздражить гусей всего света. Он решился выжидать и втихомолку подготавливать себе бла-

гоприятную почву и незазорный путь отступления от супруги.

Между тем эти двести пятьдесят тысяч не давали ему покоя. Вместе с ними в нем проснулась с новою силою старая жажда быстрой и богатой наживы. Двести пятьдесят тысяч казались ему относительно еще вовсе не Бог весть каким богатством. Старая и самая заветная мечта — быть миллионером, ворочать громадными суммами и грандиозными предприятиями — снова закралась ему в голову и стала улыбаться такою радужной надеждой, что Платон не выдержал и стал опять играть на бирже. Он мечтал о том, чтобы бросить на жертву жадной Людмиле все свои прежние, отнятые ею средства, составить новое, громадное и ни от кого не зависимое состояние и тогда уже зажить себе новою, широкою жизнью вполне независимого человека. «Тогда, — думал себе Вельтищев, — тогда я принесу эти двести пятьдесят тысяч обратно к несчастной Ирине и умолю принять их от меня, открою ей, что я воспользовался ими нечестно, обманом получил их вторично, покаюсь во всем перед нею и выпрошу себе прощение...» Эта последняя мысль сделалась в то время его единственным утешительной надеждой — и точно, сначала биржевое счастье как будто улыбнулось ему довольно приветливо. Людмила все это знала, догадывалась, следила, шпионила за ним и злилась, терзаясь мыслию и страхом весьма возможной и близкой утраты своего раба, терзать которого ей было так сладко и отрадно. Но биржевое счастье непрочное и потому скоро опять повернулось спиною к своему алчному искателю. Платон стал терять на бирже довольно крупными кушами, но не имел характера остановиться вовремя. Лихорадочное чувство крупного азартного игрока и обаяние заветной мечты пересиливали голос благоразумия, и вот, рискуя все более, все отважней, в один прекрасный день он чересчур уже зарвался и вдруг... снова очутился нищим, проиграв почти все до копейки. Волей-неволей пришлось снова безусловно покориться Людмиле, снова выпрашивать у нее карманные деньги и сносить оскорбительные собственноручные ее уплаты по счетам портных и сапожников. Он стал было на стороне делать кое-какие долги. Людмила узнала об этом, вывела ему отвратительную сцену, с воем и хныканьем уплатила по векселям и пригрозила опубликовать в газетах, что она за него более не плательщица, если подобные проделки еще впредь когда-нибудь повторятся. Платон Васильевич, по

обыкновенно, струсил скандала и, с проклятием в душе, покорился.

Между тем все это было закулисной стороной его домашней жизни, которая, при известном такте супругов, всегда ускользает от равнодушного внимания света, среди его общественного коловращения. Людмила сумела устроить так, что светские знакомые думали, будто это самое достойное и счастливое супружество. Вельтищев почти по необходимости должен был ввести свою супругу в ближайший круг своих знакомых, а оттуда она уже сама, без посторонней помощи, успела проложить себе дальнейшую дорогу.

За глаза и при посторонних она и не говорила о своем муже иначе как только с уважением и похвалою, показывая вид, будто оба они вполне наслаждаются семейным счастьем, — а в свете если и сомневался кто в этом счастье, то все-таки каждый притворялся, будто верит ему безусловно.

Так как для Людмилы Сергеевны навсегда уже исчезла надежда на цикл своих собственных поклонников и вздыхателей, то ей не оставалось ничего другого, как только пристроиться к тому кружку светских биготок, которые высший тон свой и высшее наслаждение полагают в фарисействе всякого рода, в ханжестве и в душеспасительных беседах, в облюбовании собственной добродетели, в косвенном праве читать иногда мораль молодым женщинам и молодым людям и в праве беспощадно казнить своим высоким презрением всякое увлечение хорошенькой женщины. Теперь в глубине души своей она чувствовала непримиримую ненависть к тем из них, на которых глухая светская молва указывала как на счастливых обладательниц чьего-либо сердца. Людмила Сергеевна сделалась светскою благотворительною дамой и играла эту роль с таким совершенством, что ее в самом скором времени избрали даже вице-президентшей одного из дамских филантропических комитетов, и эта роль как нельзя более пришлась ей по мерке.

— Oh, c'est une sainte!<sup>1</sup> — со вздохом умиления говорили о ней светские дамы благотворительного пошиба.

— Да, да, святая — святая женщина! — в сочувственно-минорном тоне вторили им мужчины той же закваски.

---

<sup>1</sup> О, это святая! (Фр.)

## НА ПРОЩАНИЕ С ГЕРОЯМИ РОМАНА

История наша почти кончена. Автору остается только сказать несколько слов о дальнейшей судьбе героев этого повествования, прежде чем расстаться с ними окончательно.

\* \* \*

Обстоятельства Людмилы и Платона Вельтищевых достаточно хорошо известны уже читателю из предыдущей главы: супруги эти преуспевают во мнении света, но несут свою домашнюю каторгу.

\* \* \*

Экс-балерина сполна получила с дочери двадцать пять тысяч, по документу, которым было куплено ее материнское молчание. Этот куш весьма поднял благосостояние матушки. Изгнанная из дому Людмилы, она возненавидела ее всюю душою и никогда не упускает теперь случая с прискорбием пожаловаться на растление нашего века, в который дети утратили всякое почтение и любовь к родителям. С этой темы разговор переходит у нее обыкновенно на «подлую Людмилку», которую она начинает «честить на все четыре корки», и это занятие доставляет неизъяснимое наслаждение ее оскорбленному сердцу. Впрочем, при случае Ольга Романовна не прочь и потщеславиться; тогда она с выразительным ударением произносит фразу: «мой зять, генерал Вельтищев» или «моя дочь, генеральша Вельтищева», и затем обыкновенно следует какой-нибудь рассказ соответствующего свойства. Она произвела их в генералы и очень довольна этим производством собственного изобретения — «потому, мой друг, если и не настоящий генерал, так он уже очень близится к штатским генералам, а это ведь почти все единственно!». В довершение своего благоденствия Ольга Романовна открыла гласную кассу ссуд, в которой ее былой и присяжный поклонник, еще недавно страдающий бессапожием, занимает место конторщика и ценовщика, а потому и ходит в приличных сапогах и в бархатном пиджаке: Ольга Романовна всегда ведь отличалась великодушием.

\* \* \*

О Валерьяне Коробове — ни слуху ни духу. Неизвестно даже, дошел ли он до места своей каторжной работы, а в обществе успела уже исчезнуть и самая память о его эфемерном «политическом деле».

\* \* \*

Зато г-н Антизитров благоденствует. Он организует в Цюрихе какое-то общество, которое «все взъерепенит и пошлет к черту, а наместо всего будем мы». Он очень любит дружить с полячками и жидками, подделывающими русские ассигнации, а в то же время есть основания думать, что надлежащие секретные сведения о русских студентках и о прочих материях подобного свойства доходят в Петербург через обязательное посредство г-на Антизитрова. Впрочем, это нисколько не роняет его в глазах почитателей.

\* \* \*

Что же касается барона фон Шнитцли, то, кажется, нечего и говорить, что после «Вельтищевского дела» адвокатская репутация его, препрославленная обязательным Цемшем, сделалась еще блистательней. Его осаждает масса клиентов, несущих ему богатую жатву. Каждый шулер, каждый светский плут говорит о нем не иначе, как с восторгом, ибо заранее уже чует в нем своего спасителя «во имя прав человека». Тысячи — одна за другою — изобильно перепадают в бессребренные карманы адвоката, «знаменитого своею честностью». Его квартира, экипажи, ужины и любовница сделались еще роскошнее, и при всем этом, как человек твердых принципов, он неуклонно остается Гамбеттой непримиримым.

\* \* \*

Жаночка Вантрик преуспевает по службе, но маскарадный урок, данный ему Людмилой, — увы! — нисколько не охладил в нем смертной охоты гоняться за теми лакомствами, которые представляются ему в виде каждой изящно сшитой и шикарно надетой юбки. В этом отношении Жаночка неисправим, даже в явный ущерб обязанностям своей службы.

\* \* \*

Изящный шамбелян, в один из краткосрочных приездов своих в Петербург, встретясь как-то на улице лицом к лицу с Людмилой, даже не поклонился ей. Впрочем, благодаря оспе, быть может, он и не узнал ее.

\* \* \*

Ирина Борисовна, покончив со своим наследством, поступила в общину сестер милосердия и замкнулась в полную безвестность. Она сразу и круто отказалась от всех привычек своей, недавно еще столь довольственной, жизни и самоотверженно посвятила всю себя Богу и страждущим людям. Проявится ли где холера, или тиф, или черная оспа — Ирина спешит на помощь и, не щадя себя, не страшась заразы, проводит бессонные ночи у изголовья тяжело больного, от которого зачастую в ужасе бегут его родные и домашние. Нет того чердака и подвала, где ни являлась бы она бескорыстною сестрою милосердия. Но зараза и смерть, как будто нарочно, щадят бесстрашную женщину.

## XVI

### ВНЕ ЗАКОНА

Однажды поутру она возвращалась в дом общины от одного умершего в ночь больного, к которому ее призывали сиделкой. Вдруг, почти у самого подъезда, ей заступил дорогу какой-то человек.

Ирина подняла глаза и, пораженная неожиданности, невольно отступила шаг назад, но тем не менее взгляд ее не смутился, а остался все так же ясен, кропоток и спокоен при виде человека, заступившего ей дорогу.

То был Платон Вельтищев.

Но, Боже, как изменился он за это недолгое время! Перед Ириной стоял не прежний блестящий, красивый и беззаботный джентльмен, а какой-то болезненно-погнутой человек, с бледно-желтым, помятым лицом, на которое наложили резкие складки его внутренние страдания. Да и перед ним была не прежняя Ирина. Волосы ее совсем поседели, но лицо, еще так недавно пылавшее огнем сильной страсти к этому человеку, дышало теперь

тою красотой внутреннего христианского спокойствия, которое сообщает неизъяснимую, не физическую, но нравственную прелесть даже и самым некрасивым и старческим лицам.

— Простите меня... что я... остановил вас, — глухо заговорил он голосом, дрожавшим от сильного волнения. — Не отгоните меня... позвольте сказать хоть несколько слов... Я так глубоко несчастен!.. так давно хотел видеть вас... Я искал встречи с вами и наконец...

— Что же вы хотите от меня? — спокойно и беззлобно спросила его Ирина.

— Прощения... одного только прощения!.. Забудьте, если можете, и простите!.. Мне слишком тяжело жить на свете!

— Забыть... — сказала она со вздохом. — Я бы охотно забыла, если бы это было возможно... К несчастью, наша память не зависит от нашей воли; но простить... Я давно уже всем и все простила... Простите и вы меня. Я перед вами тоже виновата!

— О нет, нет! я один всему причиной! — горячо и сердечно, искренно заговорил Вельтищев. — Я запутался в таких обстоятельствах, из которых мне не было иного выхода, как только жениться на этой женщине... И как я наказан!.. Я прошу одной только милости: выслушайте! дайте мне возможность сказать вам теперь все, как было!.. Дайте мне хоть сколько-нибудь облегчить мою душу!

Подбородок его нервно дрожал, и мускулы лица кривола истерическая судорога: он видимо старался удерживать подступавшие слезы.

Ирина взглянула на него с участием: этот человек показался ей слишком жалок и несчастен в настоящую минуту.

— Войдите в мою келию, — предложила она, не изменяя своему кроткому спокойствию.

И Вельтищев искренно рассказал ей все, чем и как опутала его Людмила, в каком рабстве держала она его до женитьбы, как вынудила его на этот брак и в каком положении течет их семейная жизнь в настоящее время.

Ирина, не прерывая, слушала его с большим вниманием, и, когда этот печальный рассказ был окончен, она грустно и глубоко задумалась.

— Теперь вы знаете все! — покорно поникнув головою, говорил Вельтищев. — Во мне уже давно была потребность идти к вам и сказать... всю душу высказать перед вами. Вы не отогнали меня — спасибо вам за



это! Но... еще есть просьба! — колеблясь, прибавил он голосом несмелым и не убежденным, как будет принята его просьба. — Вы были единственною женщиной, которая искренно и безгранично любила меня, — говорил он, — и теперь, кроме вас, кроме этого воспоминания — у меня никого и ничего не осталось в жизни! Я, муж богатой жены, я — нищий и в материальном, и в нравственном смысле. Позвольте хоть изредка, хоть когда-нибудь приходить к вам... видеть вас, говорить с вами... Это для меня будет единственною отрадой... Позвольте!

Ирина в отрицательном смысле, раздумчиво и медленно покачала головою.

— Нет, Платон Васильевич, нам не надо... да и не следует видеться больше! — грустно промолвила она. — В одном только случае это было бы возможно...

— О!.. Что такое?.. говорите, говорите!.. Я на все готов! — как утопающий за соломинку, ухватился Вельтищев за последнее слово слабой надежды.

— Ступайте в суд, откройте всю правду — и завтра же я пойду за вами в Сибирь, в рудники, в тундру, куда бы ни была — хоть на край света! — с чувством горячего убеждения высказалась Ирина. — Тогда вы найдете во мне не жену, конечно, — женою ничьей уж я не могу быть больше, — но вы найдете друга, рабу, сестру милосердия, верного товарища. Вот все, что я могу предложить вам. Хотите?

Вельтищев сначала было раздумался над ее предложением, но вдруг, ужаснувшись столь смелого выхода, с содроганием мучительной тоски закрыл лицо руками...

— Нет... не могу!.. Это выше сил моих!.. Это невозможно! — прошептал он крайне смущенным голосом.

Ирина с сожалением посмотрела на этого слабого человека.

В нем сказался теперь тот Вельтищев, каким поняла она его в минуту своего первого разочарования в нем, — тот эгоистический, внешне поверхностный Вельтищев, у которого всего было достаточно энергии на мелочную суетность жизненных и служебных успехов, на биржевой азарт, даже на страшное преступление, но никогда не хватало ее на то, чтобы подняться нравственно из тины того гнилого болота, которое все больше и больше его засасывало.

— Ну, в таком случае у вас одна дорога, у меня — другая! — грустно, но решительно сказала она, кончая дальнейшую беседу. — Я уже не принадлежу себе: я

ушла от мира и обрекла себя добровольной каре за прошлое. Зачем же еще беречь нам старые раны хотя бы воспоминаниями? Ведь к этим воспоминаниям невольно будет примешиваться всегда слишком много горечи... Не надо человеческих утешений! Мы оба преступники — так в чем же нам утешать друг друга? Давайте лучше без ропота нести свой крест!.. Если можете, смиритесь перед высшей волей. Вот все, что могу сказать вам в утешение. Нас оправдал суд человеческий, но все-таки и вы, и я, и ваша жена — все мы несем в самих себе нашу заслуженную кару, только кара эта — вне закона.



## ОГЛАВЛЕНИЕ

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Часть первая .....    | 7   |
| Часть вторая.....     | 85  |
| Часть третья.....     | 169 |
| Часть четвертая ..... | 293 |

**Серия «СТАРЫЙ УГОЛОВНЫЙ РОМАН»**

**Литературно-художественное издание**

**Крестовский Всеволод Владимирович**

**ВНЕ ЗАКОНА**

*Роман в четырех частях*

**Редактор Т. А. Стельмах**

**Художник Н. Б. Егоров**

**Технический редактор Г. А. Шаристанова**

**Корректор И. И. Попова**

**Издание подготовлено к печати  
по автоматизированной редакционно-издательской технологии  
на персональных ЭВМ**

**Операторы: Аблизина Г. П., Краснова Е. И.,  
Аристархова Е. В., Меламед Н. И.**

Качество печати соответствует диапозитивам,  
предоставленным издательством.

ЛР № 010006  
03.10.1991 г.

Подписано к печати с готовых диапозитивов 15.02.95. Формат 84×108/32.  
Гарнитура Тип Таймс. Печать высокая. Бумага тип. № 2. Усл. печ. л.  
20,16. Усл. кр.-отт. 20,37. Уч.-изд. л. 20,53. Тираж 16000 экз. Заказ 557.  
С 028

Издательство «Современник»  
123007, Москва, Хорошевский район.  
Факс 941-35-44  
Тел. 941-36-69 (приобретение тиража)

Тверской ордена Трудового Красного Знамени полнitraфкомбинат  
детской литературы им. 50-летия СССР Комитета Российской Федерации  
по печати.  
170040, Тверь, проспект 50-летия Октября, 46







